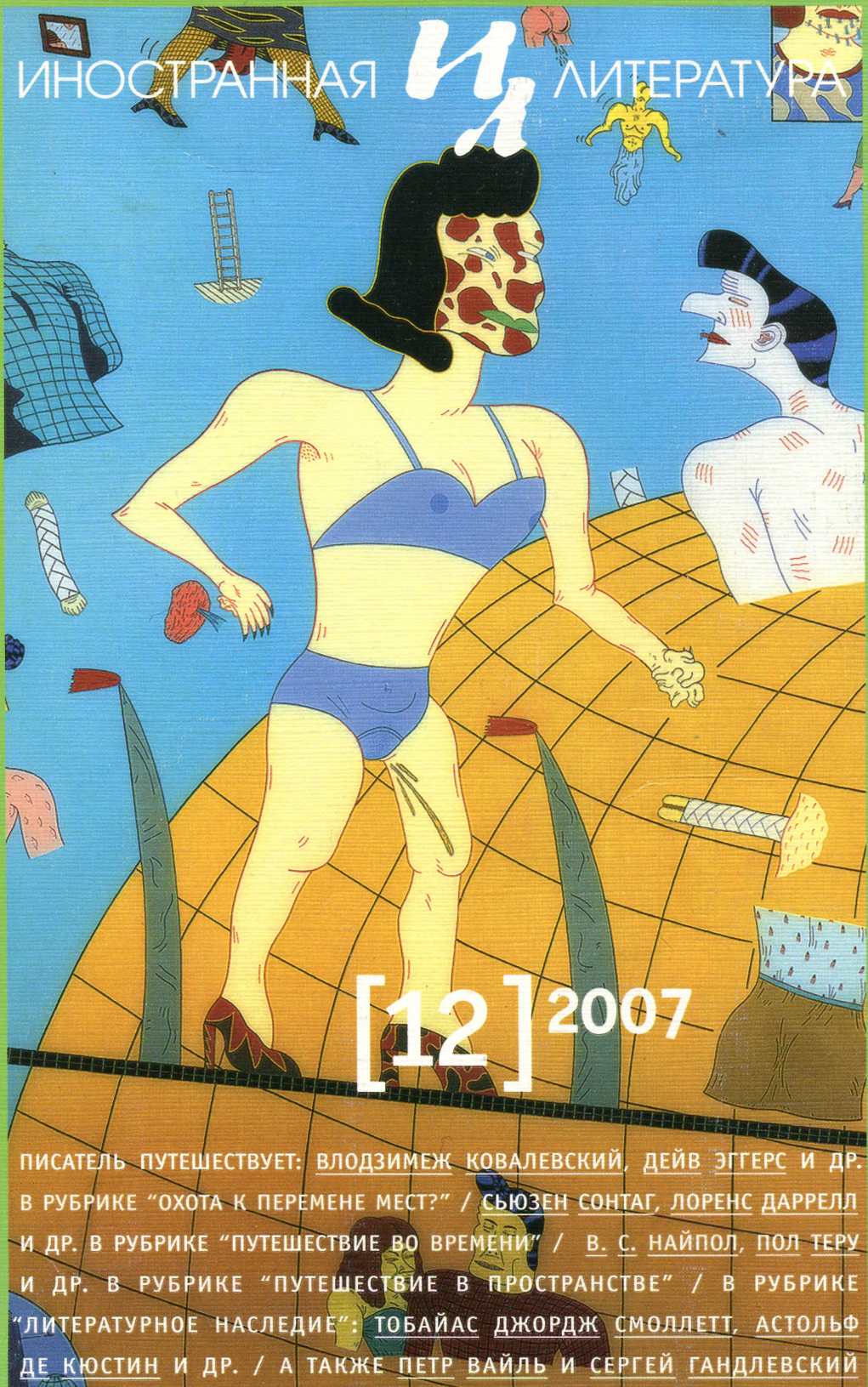
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[12] 2007

ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ: ВЛОДЗИМЕЖ КОВАЛЕВСКИЙ, ДЕЙВ ЭГГЕРС И ДР. В РУБРИКЕ "ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ?" / СЬЮЗЕН СОНТАГ, ЛОРЕНС ДАРРЕЛЛ И ДР. В РУБРИКЕ "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ" / В. С. НАЙПОЛ, ПОЛ ТЕРУ И ДР. В РУБРИКЕ "ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ" / В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ": ТОБАЙАС ДЖОРДЖ СМОЛЛЕТТ, АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН И ДР. / А ТАКЖЕ ПЕТР ВАЙЛЬ И СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

Основан в 1891 году

[12]
2007

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Писатель путешествует

3 **Петр Вайль** *Слово в пути*

Охота к перемене мест?

6 Дейв Эггерс *Давай.* Рассказ. Перевод с английского С. Силаковой

12 Ласло Краснахоркаи *В сумрачном лесу.* Рассказ. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева

30 Эван С. Коннел *Затерявшийся в Индиях.* Рассказ. Перевод с английского Елизаветы Домбаян

48 Влодзимеж Ковалевский *Авторский вечер.* Рассказ. Перевод с польского М. Габачовой и О. Катречко

Путешествие во времени

60 Сьюзен Сонтаг *К вопросу о путешествиях.* Эссе. Перевод с английского А. Нестерова

65 Лоренс Даррелл *Сицилийская карусель.* Фрагмент книги. Перевод с английского С. Силаковой

75 Ян Юзеф Щепанский *Майя.* Из книги "Наше не наше". Перевод с польского Полины Козеренко

85 Вида Огненович *Путешествие по Норвегии с Исидорой Секулич.* Эссе. Перевод с сербского и вступление Н. Вагаповой

98 Арис Фиоретос *Строчки из России.* Перевод со шведского Александра Бердичевского

Путешествие в пространстве

110 В. С. Найпол *Наша универсальная цивилизация.* Выступление в Нью-Йоркском манхэттенском институте. Перевод с английского В. Голышева

122 Сьюзен Сонтаг *Ожидание Годо в Сараеве.* Эссе. Перевод с английского В. Голышева

134 Пол Теру *Все четыре стороны.* Эссе. Перевод с английского С. Силаковой

148 Мишель Деон *Из книги "Я пространствовал немало..."* Эссе разных лет. Перевод с французского Е. Леоновой

167 Сергей Цейтлин *Между благоговением и привычкой.* Эссе. Перевод с английского Льва Оборина

Carte blanche

169 Марина Бородицкая *Горсть мелочи, или Записки из автобуса*

Литературное наследие

184 Тобайас Джордж Смоллетт *Путешествие по Франции и Италии.* Фрагмент книги. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта

216 Астольф де Кюстин *Записки и путешествия, или Письма из Швейцарии, Калабрии, Англии и Шотландии, где автор побывал в различные эпохи своей жизни.* Главы из книги. Перевод с французского и вступление Веры Мильчиной

241 Ханс Кристиан Андерсен *Базар поэта. Путевые заметки 1826–1872 гг. В Швеции.* Главы из книг. Перевод с датского и вступление Норы Киямовой

261 Льюис Кэрролл *Дневник путешествия в Россию в 1867.* Фрагменты книги. Подготовка публикации, перевод с английского и вступление Н. Демуровой

Среди книг

268 Екатерина Тарасова *Тропами Брюса Чатвина*

271 **Сергей Гандлевский** *Писатель и километраж*

Авторы номера 273

Содержание журнала "ИЛ" за 2007 год [1—12] 280

© "Иностранная литература", 2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

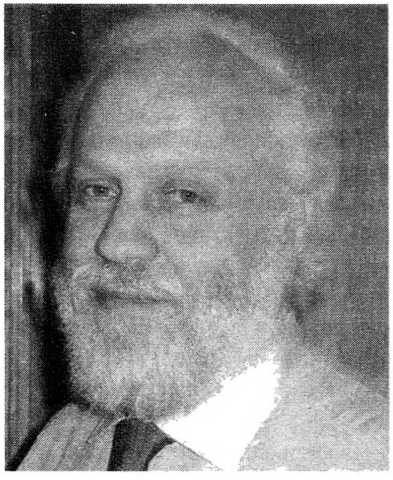
Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
Е. Ю. Леонова
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Петр Вайль



Слово в пути

Мало ли чем существенным в жизни можно заниматься, не описывая и даже не имея этого в виду. Любовь, семья, профессия, еда — явления самодостаточные. Но путешествовать и молчать об этом — не только противоестественно, но и глупо. Более того — невозможно.

Вяземский в "Старой записной книжке": "Вчера приехал Тургенев. Он отдумал ехать в Ирландию, убоясь моря и рвоты, а в Шотландию — потому, что некуда писать оттуда. Брат лучше его знает все, что будет он ему описывать, а меня в России нет..." Так и не увидал Александр Тургенев Ирландии и Шотландии. А они — его.

Движение тут встречное, взаимообогащающее. Место выигрывает от визита вдумчивого наблюдателя, пожалуй, больше, чем он сам. Он что, он частность, а страна и народ превращаются в стереотип, и, в конечном счете, очень важно для всякой жизни — социальной, политической, экономической, — в какой именно.

Крайний и оттого лабораторно чистый — советский случай. Лишенный собственной возможности передвигаться по миру читатель населял планету тем, чему позволено было стоять на полках. Там единовременно жили французы конца XVIII века из "Писем русского путешественника", малайцы середины XIX столетия из "Фрегата 'Паллада'", новогвинейские папуасы 80-х годов того же века из Миклухо-Маклая, американцы 30-х уже следующего столетия из "Одноэтажной Америки", африканцы и южноамериканцы 50-х Ганзелки и Зикмунда. И т. д. Каша в голове, но любая каша лучше, чем пустой котелок. Мир получался по-страбоновски диковинный, но получался. Хорошо, если "страбон" попадался добросовестный и доброжелательный.

А само-то желание описывать свою дорогу неистребимо, иначе лучше сидеть на печи, довольствуясь тем, что напыщенно и искусственно именуется "путешествиями духа". Словно одно противоречит другому.

Путешествие — вовсе не поиск незнаемого. Путешествие — способ самопознания.

© Петр Вайль, 2007

Чтобы понять, кто ты и зачем, существуют разные способы. Большинство из них затруднительны умственно или физически: углубленное изучение философии, погружение в религию с молитвой и аскезой. Не всякому под силу. Есть метод более доступный, веселый и комфортабельный — отправлять в дорогу не дух и разум, а тело. Каждому известно, что он повсюду разный: дома — один, в деловой поездке — другой, в курортном отпуске — третий, и уж вовсе на всех троих непохожий — в чужой стране. Приезжая в различные места, смотришь не только на них, но и видишь себя самого. Переносишь себя в иные декорации и фиксируешь по-новому.

Как нас учили в школе: чем больше точек — тем точнее график. По пунктам собственных передвижений вернее выстроится график твоей жизни, и ты, может быть, больше о себе поймешь.

Сейчас мне кажется, что осознал это очень рано — может, додумываю. Но помню с волнением, как мы всей семьей громоздились в грузовик поверх мебели, и начинался путь из центра Риги к берегу нашего мелкого и холодного Рижского залива, где проходили три месяца — самые увлекательные в году, потому что исполненные захватывающей новизны.

Дорога занимала не больше часа, но была именно путешествием. Сильно подозреваю, что тогда и возникла не утихающая по сей день страсть к перемещениям в пространстве. Ведь всё оказывалось новым: не говоря о растительности и архитектуре, даже люди представали другими. В городе вокруг меня все были русские, а дачи снимались у латышей, их дети давали первые уроки двуязычия. С ними мы играли не только в футбол и пинг-понг, но и в сугубо дачный "новус" — игру, известную, кажется, только в Латвии и Эстонии (квадратный стол, по которому киями на манер бильярдных загоняли в лузы деревянные шайбы). Всё было не так. И важнейшее обстоятельство: новым, иным, малознакомым самому себе оказывался ты сам. На себя можно было — и приходилось — поглядеть со стороны.

Если бы у меня было столько денег, чтобы о них не думать, я бы очень медленно путешествовал по миру. Приезжал бы в какое-то место, снимал жилье, ходил на рынок, пытался болтать с торговцами, готовил тамошние блюда, листал местные газеты, вперялся в телевизор, болел за городскую футбольную команду. Потом, через несколько месяцев (а может, лет), уезжал, узнав довольно много о них — из любопытства, и еще больше о себе — из настоятельной внутренней потребности. Потребность эта есть у каждого, только не все сознают и не все признаются.

Давно уже стараюсь сочетать перемещения в пространстве с перемещениями во времени. То есть становится все более интересно приезжать не в новые места, а туда, где уже бывал. Места-то не изменились, изменился ты. И то, как по-другому воспринимаешь нечто прежнее, опять-таки что-то скажет тебе о тебе. Это как перечитывать классику. "Анна Каренина", прочитанная в двадцать лет — одно, в сорок — совершенно другое.

Писатели осознали целебность перемещений раньше других. Или — наоборот — те, кто осознал, и стали первыми писателями?

Во всяком случае, одна из первых в истории человечества книг, которая может быть названа книгой, — египетский папирус, хранящийся в Эрмитаже: "Потерпевший кораблекрушение". Наследие Среднего царства — примерно четыре тысячи лет назад. Корабль отправился на фараонские рудники, в буре все погибли, спасся один автор, а зашедшее на остров судно выручило его. Написано от первого лица — классический жанр путешествия.

Надо ли напоминать, в каком жанре создана основа основ всей западной литературы — гомеровская "Одиссея"?

А что есть Деяния святых Апостолов, с их приключенческими перемещениями по Восточному Средиземноморью: Ближний Восток, Малая Азия, Кипр, Греция, Рим,

наконец? Специфика жанра допустила здесь самое забавное во всем Писании место: "А иные насмехаясь говорили, они напились сладкого вина. Петр же... возвысил голос свой и возгласил им:...Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня;" (Деян. 2:13—15). Делов-то, среди дня выпить. Подобные бытовые детали — неотъемлемая часть, строительный материал литературы путешествий.

В реальных и виртуальных странствиях наглядно и ощутимо убеждаешься в колоссальной важности географии для характера страны и человека. Применительно к России об этом писал Ключевский, но надо же посмотреть и потрогать самому.

Чем слабее цивилизация, тем важнее география. Даже Москва, не говоря о глубинке, зимой — город "третьего мира", при том, что вполне северные Стокгольм или Осло почему-то круглый год одинаково приемлемы. В централизованном государстве с огромной территорией вырабатываются тяжелые комплексы провинциальной неполноценности: все эти вопли трех сестер "В Москву! В Москву!" И наоборот: в виде компенсации за заброшенность появляется мощная местная мифология, вроде той, которая проводит ось планеты через Пермь. Возмещая увеличивающийся отрыв от Большой земли, дальневосточные поэты, которые мне встречались в Хабаровске, пишут космические абстрактные стихи, в которых нет ни малейшей местной особенности. По-другому, чем столичные политики, держатся правители отдаленных областей. Чем дальше от Москвы, тем сильнее и разветвленнее миф о зловещем злокозненном центре.

Что до личных взаимоотношений человека с местом — связь несомненна. Иногда — пугающе явственна: как в любви-ненависти Джойса к Дублину или Флобера к Руану, в превращении Барселоны в город Гауди, а Эль Греко в художника Толедо, в стилистическом соответствии Малера Вене. В русской культуре — не представимый нигде, кроме Петербурга, Достоевский, мыслимый только в Москве поздний Булгаков, одесский Бабель. Каждый из нас знает, как связаны душевные переживания с декорациями, в которых они происходят, — с проницательной силой это дано у Пастернака в "Марбурге", где город выступает непосредственным участником любовной драмы.

Город вообще — самое интересное. Нервный узел человечества. Сократ говорил: "Деревья и горы не могут меня научить ничему, а люди в городе могут". О. Генри писал: "В одном нью-йоркском квартале красоты больше, чем в двадцати лесных лужайках, усеянных цветами".

Гляди. Замечай. Чем обильнее замеченные и названные предметы покрывают землю, чем вернее их число стремится к неисчислимому множеству, тем больше пространство походит на время. И тогда нанизанные на путеводную нить объекты словно получают четвертое измерение, становятся временными сгустками, фиксируют твое передвижение по миру и по жизни.

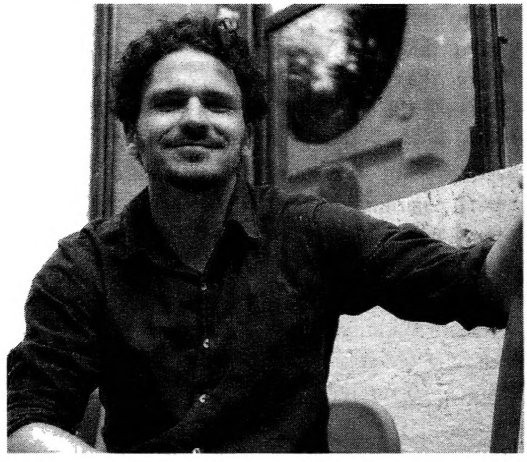
Странствие выполняет по отношению к пространству ту же функцию, что текст по отношению к листу и речь по отношению ко времени: заполняет пустоту.

Смысл словесности путешествий, в которой происходит реализация метафоры "жизненный путь", — расстановка вех в памяти. Попытка запечатлеть настоящее. Веха, имеющая имя и адрес, — конкретна.

Такие опоры существуют в литературном творчестве всегда, но жанр путешествия позволяет их строить из практически чистого материала: автор имеет дело с реальностью, не нагруженной никакими иными ассоциациями, кроме только что возникших.

Цель скитаний — возвращения. Странствия одомашнивают пространство, и чем больше становится приручennых мест, тем больше возвратов. Тем выше вероятность нового прихода домой.

Дейв Эггерс



Давай

Рассказ

Перевод с английского С. Силаковой

В Египет я попал в качестве курьера. Дело нехитрое: прямо в аэропорту вручил пакет и к полудню первого же дня свободен. Для поездок в Каир момент был неподходящий, не та обстановка: у нас не только с Египтом — со всем регионом отношения испортились; но я все равно согласился: на том этапе моей жизни, если только брезжила отдушина — пусть ерундовая, пусть сомнительная, — я обязательно...

Мне стало трудно думать, трудно завершать начатое. Наверно, по-настоящему это звалось тоской или депрессией: я потерял интерес ко всему, что меня обычно интересовало, и без целенаправленного усилия не мог даже допить стакан молока. Но я не впадал в уныние и не ломал голову, что́ это и как быть. Поставь я себе диагноз, стало бы вконец скучно.

Я был мужем — даже дважды; был человеком, который отпраздновал свое сорокалетие в большой компании друзей; у меня были домашние животные, подчиненные, работа на дипломатической службе. Спустя много лет после того, как все это осталось в прошлом, в один майский день я, вопреки рекомендациям властей моей страны, обнаружил себя в Египте, с легким поносом и в полном одиночестве.

Жара там была какая-то не такая: сухая, удушливая, непривычная. Я всегда жил в местах, где климат влажный — в Цинциннати, например, в Хартфорде, — где люди, с которыми я был знаком, друг другу сочувство-

© 2004, Dave Eggers
© С. Силакова. Перевод, 2007

вали. Но борьба за выживание при египетской жаре как-то даже взбадривала: местное солнце делало меня легче и прочнее, переплавляло в платину. За три или четыре дня я сбросил десять фунтов, но чувствовал себя прекрасно.

Все были взвинчены: недавно какие-то террористы перебили в Луксоре семьдесят туристов. А я только что наведался в Нью-Йорк и поднялся на верхушку Эмпайр-Стейт-билдинг спустя несколько дней после того, как некий малый открыл там стрельбу и одного убил насмерть. Не думайте, что я осознанно шел по пятам за несчастьями, но, с другой стороны, какого черта я туда поперся, если...

Как-то во вторник я шатался у пирамид; шел, наслаждался пылью, щурился — солнечные очки, уже вторые по счету, я только что потерял. Торговцы, окучивающие плато Гизы, — честно сказать, самые малосимпатичные симпатяги нашей планеты, — пытались продать мне всякую всячину: маленьких игрушечных скарабеев, брелоки с Хеопсом, пластмассовые шлепанцы. Они знали по два десятка слов на дюжине языков и на пробу обращались ко мне по-немецки, по-испански, по-итальянски, по-английски. Я отмахивался, прикидывался немым или на все отвечал: "Финляндия!" — в уверенности, что уж на финском они ничего не знают, пока один не предложил мне на американском английском конную экскурсию, назойливо нажимая на "р". Ничего не скажешь, ловкие они, сволочи. На верблюде я уже покатался и раскаялся — платишь много, ссаживают быстро, — но, хотя на лошади я в свое время ездил только шагом по кругу, да к большему и не стремился, за этим человеком я пошел.

"По пустыне", — сказал он, ведя меня мимо серебристого туристического автобуса, из которого выходили швейцарские пенсионеры. Я шел следом. "Идем берем лошад. Едем Красная Пирамида[1]", — сказал он. Я шел следом. "Ваш лошад — только для вас, личний лошад", — ответил он на последний из не заданных мной вопросов.

Я знал, что в Красную Пирамиду только что вновь открыли свободный доступ или скоро откроют, но не знал, отчего ее называют Красной. Мне хотелось проехаться верхом по пустыне. Хотелось выяснить, попытается ли этот человек — щуплый, бурозубый, с широко расставленными глазами и какими-то полицейскими усами, — попытается ли он меня убить. Я не сомневался, что очень многие египтяне с удовольствием меня прикончат, и был готов схватиться с любым, кто желает мне смерти. Я был одинок и безрассуден, пассивность сочеталась во мне со вспыльчивостью. Прекрасная была пора: повсюду все искрило, все отталкивало. В Египте я не оставался незамеченным: одни набрасывались на меня с руганью, другие лезли обниматься. Как-то меня угостил тростниковым соком прилично одетый мужчина, который жил под мостом и хотел устроиться учителем в какую-нибудь школу-пансион в Америке. Я ничем не мог ему помочь, но он был уверен в обратном: громогласно уговаривал меня возле уличного лотка с соками в самой гуще каирской толпы, а прохожие таращились на меня пустыми глазами. Я был кумир, неверный, враг, никто.

В Гизе я пошел с лошадником — человеком, не испускавшим никакого запаха, — куда-то вбок, где не было ни туристов, ни автобусов. Куда-то в глубь плато. Твердый песок под ногами сменился мягким. Мы прошли

1. Красная (она же Розовая) Пирамида находится в некрополе Дахшур (Дашур) в сорока километрах от Каира. Считается, что она воздвигнута по приказу фараона Снофру, отца Хеопса. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

мимо дряхлого старика, сидевшего в пещере ниже уровня земли, и мне велели заплатить ему "бакшиш" – дать чаевые, – потому что он "знаменитый человек" и хранитель пещеры. Я дал доллар. Мы с лошадником пошли дальше; примерно в миле оттуда, на стыке между пустыней и шоссе, он познакомил меня со своим напарником – толстяком в изношенной рубашке, распираемой пышными телесами. Толстяк держал в поводу пару коней – оба вороные, арабской породы.

Мне помогли взобраться на того, что поменьше. В каждой клеточке его тела кипела жизнь: конь нервничал, пропотевшая грива чуть ли не хлюпала, как болото. Я не стал говорить египтянам, что ездил верхом всего раз в жизни, да и то на придорожной ярмарке на Четвертое июля[1], полупьяный, шагом по кругу. Тогда я пытался искать в Аризоне кости динозавров – ненадолго возомнил себя археологом. Сам до сих пор не пойму, отчего такой уродился.

– Хешам, – сказал лошадник, ткнув себе большим пальцем в грудь.

Я кивнул.

Толстяк остался на обочине, а мы с Хешамом проехали рысью миль пять по боковой, недавно заасфальтированной дороге мимо ферм. Нас обгоняли такси, сигналя. Ох, как же сигналят в Каире! Водители крутят руль левой рукой: нюансы чувств сподручнее выражать правой. Седло у меня было маленькое и примитивное; я потратил не одну минуту, пытаясь разобраться, как оно держится на лошади и как самому на ней удержаться. Под седлом я явственно ощущал все кости, мышцы и сухожилия, которые не позволяли животному развалиться на части. Я виновато погладил коня по шее, а он, извернувшись, сбросил мою руку. Он меня ненавидел.

Когда мы съехали с дороги и пересекли узкую ложбину, перед нами раскинулась пустыня, уходящая в бесконечность. Я почувствовал себя последней сволочью из-за того, что смел сомневаться в ее величественности и милосердии. Попирать ее ногами было совестно: так любовно была она сделана, так тщательно, слой на слой, был уложен ее бархат.

Когда лошадь сделала первые несколько шагов по песку, Хешам спросил:

– Давай?

И я кивнул.

Тут он хлестнул мою лошадь, а на свою громко прикрикнул, и мы поскакали галопом, поскакали по Сахаре, вверх по склону дюны размером с четырехэтажный дом.

Я никогда еще не ездил галопом. И вообще понятия не имел о верховой езде. Мой конь прямо-таки летел – и, похоже, получал от этого удовольствие. Последний конь, на котором мне доводилось ездить, все время меня кусал. А этот просто ритмично вскидывал голову, пытаясь высунуться в будущее.

Я соскользнул по седлу назад и снова подтянулся поближе к гриве. Накрутив на руку поводья, пригнулся, прижимаясь к шее коня. Но что-то – или все сразу – у меня получалось неправильно. Как я ни изворачивался, тряска была жуткая. Давненько мне так не доставалось.

Хешам, заметив, что я не справляюсь, сбавил темп. Я мысленно поблагодарил его. В мире стало тихо. Я прихватил поводья поудобнее, устроился в седле, подался вперед. Похлопал коня по шее – и еле увернул-

1. День независимости, главный национальный праздник США.

ся от его зубов: он пытался слопать мои пальцы. Я вновь почувствовал себя готовым к бою: теперь-то опыт есть. Поначалу не заладилось только из-за внезапности.

— Давай? — спросил Хешам.

Я кивнул. Он беспощадно хлестнул моего коня, и мы помчались.

Когда мы перевалили через вершину первой дюны, открылась панорама, достойная завоевателя: бескрайний океан, миллион горбатых валов. Мы слетели вниз по дюне и взлетели на следующую. Конь не замедлял бега, и каждое движение отдавалось в копчике. Боже правый, до чего же это было больно. Я никак не мог подладиться под коня — я пытался, честно, но ни толстяк, ни этот, человек без запаха, за которым я следовал, ничего мне не объяснили: мой копчик колотился о седло со страшной силой, в ужасном ритме, и скоро боль стала раздирающей, жгучей. Меня снова и снова роняли на мраморный пол с высоты ста футов, и я ударялся об него задом...

Даже губы не слушались — я не мог сказать Хешаму, что надо бы помедленнее, а еще лучше бы остановиться, пожалеть мои кости. Я отчетливо ощущал, что в моем организме что-то непоправимо ломается. Но надеяться на передышку было нечего: язык отнялся. Судорожно хлебая воздух, я пытался приподняться над седлом, но останавливаться было нельзя — должен же я был показать Хешаму, что продержусь: меня, мол, просто так не возьмешь. Он на меня иногда оглядывался, и я, прищурившись, улыбался, изображал железную выносливость.

Вскоре он снова сбавил скорость. Несколько минут мы ехали рысью. По копчику меня больше не мутузили. Боль отступила. Я был ему ужасно благодарен. Постарался вдохнуть воздуха, сколько влезало в грудь.

— Давай? — спросил Хешам.

Я кивнул.

И он снова хлестнул мою лошадь, и мы перешли на галоп.

Боль вернулась, проникла почти повсюду, обогащенная тонкими нюансами; ее побеги открывали для себя неизведанные места — прорастали в ключицу, подмышки, шею. Новизна этих мучений интриговала: я изучил бы ее, даже в каком-то смысле насладился бы, но неожиданность ударов не позволяла философски от них отрешиться.

Я должен был доказать этому египетскому психу, что могу ездить верхом не хуже его. Что здесь, в пустыне, мы равны, что я в силах угнаться за ним и выдержать эту пытку. Что наказание меня не сломит. Я знал: кара неизбежна, и был готов терпеть сколь угодно долго, пока Хешаму не надоест меня наказывать. Вместе мы проскачем верхом через всю Сахару, хоть и ненавидим друг друга по сотне причин, серьезных и пустяковых. Я был звеном в цепи преемственности, которая уходила в прошлое на тысячелетия и тысячелетия: нигде ничего не меняется. От всех этих мыслей мне стало почти весело, и я ехал, как ехал бы любой всадник в любой момент истории, — в смысле, что в мире были только я да мой спутник, да песок, да конь, да седло; ничто меня не обременяло: я был в белой рубашке, сандалиях и шортах, даже без сумки — и, черт подери, несмотря на всю нашу гнусность, на всю эту мерзкую дистанцию между нами, мы буквально летели.

А я присматривался. Копыта чиркали по песку, конь дышал, и я дышал тоже; грива шваркала меня по рукам, на ноги обрушивались залпы песка, ударяли по голым голеням, а я примечал, как человек движется

вместе с конем. И вдруг, спустя еще двадцать минут беспрестанной тряски на полном скаку, я понял, что́ надо делать. Раньше я не сопротивлялся, когда конь выматывал из меня душу, пытался привстать в стременах, надеясь, что чем дальше я от седла, тем слабее будут толчки, — но оказалось, есть способ вообще избежать боли.

Я освоился. Стал двигаться в такт с конем, и когда я наконец-то стал двигаться в такт с этим стервецом, кивая головой, подаваясь вперед вместе с ним, в едином порыве, боль прекратилась. Я ехал на этом глупом и богоподобном скакуне, слился с ним, пригнувшись к его шее, погрузив лицо в его гриву, и меня...

Хешам заметил, что я приноровился, и мы поскакали еще быстрее. Мы ехали, и над нашими головами стояло солнце. В лицо нам ударял ветер, и я чувствовал себя солдатом всех армий, когда-либо топтавших планету. Человека, вслед за которым мчался, я любил той любовью, которую испытываешь лишь к тем, кого хочешь убить. И когда любовь уже переполнила меня до краев, из песка вынырнула пирамида — несовершенный пик среди идеальных пиков окрестных дюн.

Добравшись до Красной Пирамиды, мы полезли на нее: подтягиваясь, взбирались на ступени — огромные каменные кубы почти пятифутовой высоты. У входа, футах в пятидесяти над уровнем земли, мой спутник указал мне жестом на узкий черный коридор, ведущий куда-то в центр пирамиды. Я последовал за Хешамом внутрь, вниз; ход был узкий, с крутым наклоном, темный, сырой, тесноватый даже для нас. Дорогу указывала натянутая веревка. Я держался за нее, и мы спускались — ступенек не было. Пахло словно бы мелом, воздух был какой-то неподатливый, плотный. Проводник шел впереди с фонарем, словно выкраивая им из тьмы рваный лоскут света.

Когда спуск закончился, мы остановились, свернули в другой коридор, горизонтальный; вскоре, пригнувшись, вошли в какой-то проем и оказались на дне каменной шкатулки. Это был никак не отделанный зал идеальной геометрической формы с высоким потолком. Хешам горделиво, величественно воздел руки. "Дом царя", — сказал он, посветив фонарем в угол. Из мрака возник длинный каменный ящик — гробница. В остальном же камера была пуста: ни надписей, ни изображений, ни драгоценностей, ни резьбы по камню. Такие камеры беспрестанно разграблялись на протяжении веков, и теперь в них остались одни голые стены — ни малейшего знака, нипочем не скажешь, что...

Воздух в помещении представлял собой густую взвесь из пыли; я почувствовал, что тут и задохнуться недолго. А что, если он вздумает меня убить? Или ограбить? Кроме нас тут никого. Но вопреки всякой логике у меня отлегло от сердца. Мы встретились взглядом: ни меня, ни его не особенно пленяла шкатулка, внутри которой мы находились, но мы оба мгновенно изобразили на лицах благоговение. Я был разочарован, хотя и знал наперед, что от этих залов не стоит ожидать многого. Может, в давние времена их убранство и поражало роскошью, но теперь ничто не выдавало, что помещение не всегда было просто кубической камерой со стенами из песчаника; от этой мысли мне стало грустно. Снаружи величественность, внутри — убожество... Хешам, светя фонарем себе в лицо, повернулся в мою сторону — правда, сомневаюсь, что в сумраке он вообще меня видел.

Он громко вздохнул. На его лице сменялись эмоции: надменность, скука, досада. Он был вынужден торчать здесь столько, сколько вздумается мне. Я же вовсе не хотел тут задерживаться, но мне было приятно смотреть, как он мучается, пусть даже самую малость.

Мы снова взобрались по коридору к кривому прямоугольнику света — вот он, рот, которым пирамида пьет небо. Темнело. Когда мы выбрались наружу и наконец спустились на землю, он сказал: "Есть еще одна". Я спросил, как она называется. "Ломаная Пирамида"[1], — сказал он.

Мы вновь сели на коней.

— Давай? — спросил он.

Я кивнул, и он шлепнул моего коня по крупу ладонью. И я поскакал за Хешамом, хотя вскоре он превратился лишь в черную призрачную тень на фоне серебряного неба. Наши кони сердились, дышали часто, судорожно — так шумят гидравлические механизмы. И тут я сообразил: Хешам старается не ради того, чтобы слупить с меня денег. После Красной Пирамиды он не удосужился назначить плату за продолжение поездки. У нас была какая-то другая цель, и это сознавали мы оба. Теперь я был уверен, что он меня не убьет, и знал, что он вообще действует без намеченного плана — совсем как я.

Через час мы были у Ломаной Пирамиды — более высокой, но менее устойчивой. Тем временем тьма сгустилась. Мы вскарабкались по стене ко входу и вновь оказались в священном зале — в помещении, где когда-то покоилась царица или фараон, хотя и тут все было голо. Хешам и я смотрели друг на друга, вдыхая колючий плотный воздух, не испытывая ни малейшего сострадания ни друг к другу, ни к единой живой душе.

Чего ты ждал? — спрашивали меня его глаза.

Я хотел знать, что не умру, как букашка, — сказал я.

Вынужден тебя разочаровать, — сказал он. — Эти люди умерли. Их забальзамировали. А потом украли. Другие люди продавали их и перепродавали. Их кости, всё, из чего они состояли, — всё выменяли на золото. С тобой будет не лучше.

Нет смысла лазить в эти пирамиды, — сказал я.

В принципе, верно, — сказал он.

Внутри мы ничего для себя не узнаём, — сказал я.

Ничего, — сказал он.

Если эти цари во что-то верили, то зачем упрятали себя в эти уродливые ящики под такими тяжелыми камнями?

А они и не верили, — сказал он.

Это все объясняет, — сказал я.

Мы снова выбрались наружу и, спустившись с пирамиды, постояли около нее. Потом, в полной темноте, сели на коней. Я широко развел руки, стараясь обнять всю эту свежесть.

— Теперь на воздухе хорошо, — сказал я.

Он улыбнулся.

— Есть еще одна, — сказал он.

— Я поеду, — сказал я.

— Давай?

Я кивнул, он ударил моего коня, и мы полетели.

1. Ломаная (она же Ромбовидная) Пирамида также находится в Дахшуре и датируется тем же периодом.

Ласло Краснахоркаи

В *сумрачном лесу*

Рассказ

Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева

Ласло Краснахоркаи (р. 1954) обычно упоминают в числе десяти, а то и пяти самых заметных писателей нынешней Венгрии. Известность ему обеспечили несколько нашумевших романов; он — лауреат престижных премий, в том числе премии Кошута. Краснахоркаи, как большинство современных писателей, и не только венгерских, весьма далек от представлений о литературе как об учительнице жизни, но не относится к ней и как к чистой игре. Его проза обращена к действительности, но вся проникнута как бы некоторым удивлением перед феноменом реальности, перед феноменом жизни. Есть тут что-то общее с художественной позицией символизма: и там, у символистов, и здесь, у Краснахоркаи, на первом месте не столько даже попытки проникнуть под покровы бытия (попытки эти заведомо признаются бесплодными), сколько отношение к самому бытию как к тайне, упоение сознанием некоей смутной причастности к тайне — причастности, даваемой поэзией, словом, магией слова.

С этой точки зрения возможность совершить поездку в Монголию и Китай, представившаяся писателю в 1992 г., просто не могла не стать для него подарком судьбы. "Классические" символисты видели тайну вокруг себя, в обыденности, подчас выдумывая, творя ее ("фиолетовые руки на эмалевой стене"); Краснахоркаи же лицом к лицу столкнулся с концентрированной, реально существующей непостижимостью, на несколько недель окунулся в нее с головой. Плодом его потрясенности тайной Востока стала книга "Пленник Урги" (1992).

Урга — старое (до 1924 г.) название Улан-Батора. Но писатель употребляет это слово в расширительном смысле, как обозначение Азии, Востока.

© Krasznahorkai László, 1992
© Ю. Гусев. Перевод, вступление 2007

Книга эта — вовсе не путевые очерки. Это коллекция эпизодов, где в той или иной форме получает художественное выражение непохожесть, несовместимость европейской и восточной ментальности, европейских и восточных представлений об основных человеческих ценностях: добре и зле, гармонии и дисгармонии и т. д.

Более всего тут, наверное, подошло бы понятие, часто фигурирующее в современной литературной фантастике: параллельные миры. И Европа, и Восток существуют реально, в каких-то сферах соприкасаются, даже взаимодействуют; но взаимопонимания между ними нет и, по-видимому, в обозримое время не будет.

Осознание этого иногда приводит рассказчика в отчаяние, особенно когда он сталкивается с азиатской бюрократией (хотя тут-то несходство, пожалуй, не так уж и велико). Иногда он испытывает нечто вроде тихого катарсиса — например, пытаясь постичь загадку особой восточной красоты; рассказ "Письмо богини" и представляет собой одну из таких попыток: его героиня — актриса китайского театра, в которой изысканность, утонченный артистизм странно (для европейского восприятия) сочетается с некоей кукольной искусственностью. Где-то на очень высоком типологическом уровне этот рассказ можно сравнить со стихами А. Блока о Прекрасной Даме.

Из книги "Пленник Урги" взят и публикуемый здесь рассказ "В сумрачном лесу", рассказ о том, как писатель знакомился с Пекином, пытаясь освоиться с его своеобразием, постичь тайну его величия, в котором дух тысячелетий неразрывно сплетен с современностью.

Название рассказа — цитата из "Божественной комедии" Данте: Краснахоркаи тоже "земную жизнь прошел до половины", когда ему довелось окунуться то ли в ад, то ли в рай Урги. Возможно, название это играет и роль объясняющего эпиграфа: только достигнув определенного уровня жизненной зрелости, можно рискнуть углубиться в "сумрачный лес" чуждого, "параллельного" бытия.

Рассказ этот, пожалуй, самый оптимистичный в книге (хотя он и не помещен в ее финал): рассказчик, пусть интуитивно, даже не пытаясь это сформулировать, лишь передавая в атмосфере своей прозы (создание атмосферы, настроения — одна из самых сильных сторон писательского мастерства Краснахоркаи), что-то постигает в красоте, логике, ментальности великой восточной цивилизации, нащупывает мостики — пока хрупкие, призрачные — к взаимопониманию.

I

ВКАТИТЬСЯ на пекинский Главный вокзал, выбраться из пыльного вагона на перрон, найти в необозримой толпе человека, который послан тебя встречать, потом, доверив ему себя и багаж, отправиться с ним в недавно отстроенный посольский квартал, вселиться там в одну из пустующих пока, а потому сдаваемых в аренду квартир, принять душ, чтобы смыть с себя пыль пустыни Гоби, и, наконец, выйти на балкон и с зажмуренными глазами полной грудью вдохнуть вечерний воздух ранней пекинской осени, а после долго смотреть в темно-синее небо и думать: вот она и началась, моя пекинская история; словом: утверждать подобное — в обход лукавых приемов обращения с материалом, придуманных за столетия существования жанра путевых заметок, — утверждать подобное я могу сейчас с полным основанием, ведь приведенный выше строгий перечень того, что со мной успело тут, в Пекине, произойти, в полной мере отвечает действительности; да что перечень, правдив не только пере-

чень, правдива и очередность событий, которые его составляют, а это значит, что на сей раз я предлагаю вниманию читателя такой письменный документ, в котором, например, если прибытие поезда предшествует высадке из вагона, то можно голову на отсечение дать, что факт прибытия в самом деле предшествовал высадке; словом, все, что смогла выхватить моя память в лихорадочной суете первых часов приезда, по дороге от Главного вокзала до просторных комнат пустой квартиры, от необозримой толпы до теплого душа, соответствует описанному выше — ну, пожалуй, с одним-единственным, но для меня, конечно же, решающим отличием: действительно выйдя на балкон и действительно подняв глаза на сияющие над Пекином звезды, я вовсе не думал о том, что, дескать, вот она и началась, моя история; не думал я об этом по той простой причине, что дело-то обстояло как раз наоборот: она, моя история, вовсе и не начиналась еще, и пускай приезд мой прошел как положено, пускай я, приняв душ, стоял на балконе с твердой уверенностью, что вот сейчас, отведя взгляд от небосклона, от сияющих звезд на нем, ощущая торжественный подъем в душе, я огляжусь с высоты балкона, и с этого момента, возможно, моя пекинская история и начнется, — но все напрасно, история эта никак не начиналась, ибо я не в силах был отвести взгляд от неба и от звезд. Не могу сказать, что значение этого момента дошло до меня лишь потом, спустя какое-то время после первых смутных подозрений, ничего подобного: я стоял на балконе, под овевающим меня ласковым ветерком, смотрел, как над Пекином сияют звезды, и как-то так вдруг, сразу и целиком, осознал то самое значение момента; скажем, ты сидишь дома, на кухне, и на тебя рухнет потолок, до тебя это дойдет ведь не постепенно, а сразу, в тот самый миг, когда он рухнет, дойдет моментально, хотя ты, возможно, даже успеешь подумать: "Смотри-ка, на меня потолок рухнул"; вот так было и со мной, когда я стоял на балконе; до меня тоже как-то сразу дошло: смотрика, это же мне пришлось заехать черт знает куда, добраться аж до сердца Китая, чтобы понять, каковы они (назовем их для начала, чтоб не ломать долго голову — глубинные вопросы, которые вечно бегут впереди тебя); как, опять же, дошло до меня и нечто совсем другое: а надо было тебе забираться аж в сердце Китая, в эту полную неприкаянность, где нет абсолютно ничего, что тебя защищало бы, чтобы признаться себе, что ты достиг дантовского рубежа в своей жизни, — ведь именно это произошло со мной: я смотрел в темно-синий бархат пекинского неба с сияющими на нем звездами, размышлял о том, что подошел к дантовскому рубежу, поражался обескураживающей простоте этого момента и в то же время почти с ужасом сознавал, как эффектно, почти театрально-постановочно это совпало с приездом в Пекин; а потом, в конце, я лишь беспомощно озирался, когда эти, так называемые глубинные вопросы вдруг с треском и грохотом обрушились на меня, как потолок на кухне, и бедный разум мой, взыскующий света и ясности, потерпел полное фиаско. Мною ведь так и не было решено для себя окончательно: если я ехал сюда не обычным туристом и не затем, чтобы, после приевшейся отечественной кухни, воспринимая Китай как некую кондитерскую, полную изысканных религиозных впечатлений, поискать там себе каких-нибудь леденцов, которые можно будет сосать и смаковать потом, в домашней жизни, — словом, если не за этим, то — зачем?; зато я понял, что за поисками моими, отодвигавшими решение тяжких проблем в перспективу все более отдаленную и туманную, за вереницей вопросов, которые я ставил и ставил перед миром, есть

одна несомненная вещь: то, что вопросы все-таки задавать можно, и именно потому сейчас, в начале — в буквальном смысле этого слова, — в начале всего, на меня, едва не сжигая, обрушилась слепящая чистота этих глубинных вопросов, чистота, которая, воссияв над ними подобно солнцу и редуцировав мою, казавшуюся мне такой невероятно, исключительно сложной, сущность до размеров крохотной точки, превратила в ничто и все мои, питающиеся сумраком, а временами прямо-таки тьмой, мучившие меня до сих пор вопросы: превратила их в ничто, показав, что вопросов в широком смысле этого слова вообще не существует, ибо, во-первых, вопросительных конструкций реальность не признает в принципе, ведь в ней, реальности, имеет место лишь поток, то взбухающий, то опадающий, поток равноправных утверждений, а во-вторых (или, может быть, даже во-первых, потому что это нам ближе), любой вопрос есть предпосылка ответа, как любое начало есть предпосылка продолжения, так что спросить что-то и начать что-то суть одно и то же, ведь задать вопрос — то же самое, что начать отвечать на него; а что это, извините меня, за вопрос, который предписан ответом, и поэтому спрашивать что-либо, то есть выяснять что-либо, значит, проявляя негаснущий интерес к чему-либо, устранять саму основу этого интереса, устранять, топя объект интереса, еще даже не получивший названия, в замкнутой капсуле "вопрос-ответ", да к тому же еще и вздыхая облегченно после каждого такого успешно выполненного вопроса-ответа, будто так и должно быть, — словом, спрашивать что-либо означает обрекать себя на неволю, которую мы выбираем как бы во имя свободы; вместе с тем само по себе понимание того, что существует состояние *до* постановки вопроса, уже есть глубинный вопрос; и тут мы подошли к признанию, которое никак нельзя откладывать дальше: к признанию того, что к этим, так называемым, много раз упоминавшимся глубинным вопросам в общем-то не подходило — уже в тот момент, когда я стоял на балконе, — никакое из возможных словесных определений. Да, уже в тот момент, когда я стоял на балконе, не в силах оттуда сдвинуться, мне было абсолютно ясно: даже если я чувствую, что они, глубинные эти вопросы, буквально сметают, сокрушают меня, я не могу, да и никогда не смогу сказать точно, что это за такие глубинные вопросы; ибо если, после долгих, мучительных размышлений, мне удалось бы найти какой-нибудь поэтический образ, определяющий, скажем, природу и скорость решения этих вопросов или их структуру и продуктивность, причем природа их, скорее всего, уподоблена была бы бесформенным страхам, скорость решения — внутренней медлительной текучести недвижного пейзажа, структура — "туману, что в долине клубится", продуктивность — "голоду после пресыщенности, которая была не более чем липким, привязчивым наваждением", — в общем, если бы такого рода вещи и можно было высказать на том основании, что они, пускай уму ничего не дают, но хоть звучат красиво, то определить даже одну-единственную сущностную черту этих глубинных вопросов (например, их направленность) было бы столь же невозможно, как — опять-таки не удержусь от примера — сказать о стремительно метнувшейся в океанские глубины громадной акуле, мол, надо же, и куда это она поплыла, — сказать, сидя на берегу и вглядываясь в колыхание водных масс. Итак, размышляя об этих глубинных вопросах, невозможно было сделать ни единого сколь-либо существенного, серьезного замечания, которое помогло бы хоть как-то в них ориентироваться, невозможно было сказать ничего — точнее, ничего, кроме, может быть, того, что содер-

жание их, не поддающееся называнию, выражению в словах, в языковых единицах, позволяло смутно почувствовать, как кардинально и враждебно противятся они называнию, словесному, языковому выражению, противятся уже одной лишь неопределенностью своих контуров; кроме этого обескураживающего вывода, я в самом деле не мог ничего знать об их сущности; в то же время, однако, ничего не уметь сказать об их сущности и абсолютно ясно представлять себе их сущность — две эти вещи без всякого труда совмещались в моей голове в тот вечер, мой первый вечер в сердце Китая, когда я, стоя на прохладном балконе, смотрел на звездное небо, раскинувшееся над Пекином, а затем покинул балкон и звезды над ним с ощущением, что, в полной мере прочувствовав сущность глубинных вопросов, именно с их помощью упорядочил в себе все то, что мне уже удалось разгадать в исключительном этом событии — встрече с Китаем, — так драматично совпавшем с дантовским рубежом моей жизни.

Речь не о том, что до сего момента я называл этот мир, при всем моем хорошем отношении к нему, размытым, лишенным ясности, тогда как я должен был бы собственное бытие, при всем моем хорошем отношении к себе, считать лишенным ясности; речь о том, чтобы, подводя некоторую черту, пересмотреть и исправить суть опрометчивых выводов, к которым привели меня героические, но обреченные на фиаско исследования, — исправить и заявить: не с Неизвестным я имею дело, а с Непостижимым, — так, без всяких там предисловий, сказал я себе, повторив слова одного большого ученого и без раздумий оперев собственное миропонимание на ключевые понятия двойной бухгалтерии, под которой он прятал свою почти юношескую пылкость; таким вот образом вторгался я в простор, в котором неожиданно оказался еще там, на балконе, когда глядел в небо. Итак, Непостижимое вместо Неведомого, повторял я, смакуя эти слова, и, смакуя их, ощущал уже вкус отчаяния, зияющего за ними, — ведь когда, ни о чем не подозревая, я вышел, полчаса назад, на балкон, чтобы смотреть на звезды, я словно... шагнул в другую эпоху; в другую эпоху, когда все прежнее, всю сумятицу встающих передо мной вопросов, всю патетику бесполезных порывов, где после каждого бесполезного порыва все-таки, как компенсация, оставалась притягательность исследуемого, но вечно ускользающего из рук и потому неуловимого объекта, и притягательность эта, именно вследствие неуловимости, была головокружительной, сладостной, неслыханной, — словом, когда на смену прежней эпохе приходит иная, новая, хотя и горькая, эпоха, в которой моему взыскующему духовному ожиданию заранее готов приговор, и он гласит: поиски твои лишены цели, ибо объект их распался, а духовное ожидание лишено смысла, ибо ждать уже нечего... В это время я уже шагал по внутреннему двору к воротам и если и не остановился как вкопанный, то все равно в приговоре этом — то ли он был очень категоричным, то ли немного угнетала его суровость — было что-то такое, что требовало, чтоб я по крайней мере замедлил шаг, чтоб не смирялся так легко и просто ни с громогласностью, ни с чрезмерностью этих, с лету найденных выражений, — так что я в самом деле замедлил шаг, более того, я почти что — на одно-единственное не завершенное движение, отделяющее ходьбу от полной остановки, — задержался на плавном изгибе дороги, проходящей по внутреннему двору посольского квартала, и замедление это стало как бы видимым знаком того, что мне очень, очень необходимо сосредоточиться и что понимание, пришедшее, пока я стоял на балконе, и сообщившее судьбе моей новое на-

правление, я принимаю всерьез, а вместе с тем понимание это, именно потому, что у меня нет соблазна закрыть на него глаза, я хочу немедленно очистить от всяческих преувеличений, которыми чреваты широкие обобщения, порожденные — вообще-то вполне законным в такой ситуации — возбуждением. И прямо там, во внутреннем дворе посольского квартала, едва-едва не замерев как вкопанный, я сказал себе: да, хорошо, я согласен, я склоняюсь к тому, чтобы протрезветь, согласен не питать в дальнейшем иллюзий, будто чаяния и намерения — которые спонтанно возникают в самом моем бытии и которые я, как другие люди, в чьем характере есть такая же, как у меня, стыдливая сдержанность, скромно называю исследовательской пытливостью, — обладают какой-то направленностью, или, попросту говоря, направлением, а у этого направления есть угадываемый центр тяжести, над центром же тяжести парит в невесомости ангел, чей, скажем так, непререкаемый авторитет тактично и ненавязчиво удерживает центр тяжести в одной и той же точке, не позволяя ему ни на йоту отклоняться вбок; точно так же склоняюсь я и к готовности забыть о том, что — если уж развивать это не ахти какое глубокомысленное предположение — мне, в разгаре моих чаяний и намерений, не мешало бы попробовать подойти к этому непререкаемому авторитету поближе, осветить его силой разума, затем, пускай тысячу и тысячу и тысячу раз повторяя одно и то же движение, словно одним-единственным ведром пытаясь вычерпать океан, перенести его, этот спасительный центр тяжести, из неизвестности в знакомую, домашнюю среду... в нашу собственную жаждущую равновесия жизнь. Я сказал себе, что готов пробудиться от этого и подобных ему несчетных, ребяческих, несерьезных, дурацких снов, готов, наконец, отказаться от стремления усмирять не монстров реальности, ощеривших на меня страшные зубы, а сотворенных моим же воображением чучел, готов лишить себя радости, овладевающей мною каждый раз, когда я думаю о неизвестности, загадочности дальних краев, которые воображение мое в избытке наделяет романтикой. Кажется, я сумею свыкнуться с сознанием, сказал я себе, что искомое я не нахожу вовсе не потому, что его не существует, а потому, что я, отныне и навсегда, не способен его увидеть; признаю́, немного ускорил я шаг, что задачи — проще, мотивы — понятнее, а предполагаемые тайны, которые мы носим в себе, не столь непостижимы, как мы считаем; но — и это самое-самое главное — я должен свыкнуться с необходимостью склониться перед миропорядком, только что явленным мне, перед миропорядком, увиденным мною с балкона, перед безжалостным миропорядком, который как раз сегодня, в день моего прибытия в Пекин, счел, что настал момент дать мне понять, что я никогда его не пойму и что, если я не удовлетворюсь мудрым смирением и стану стремиться к чему-то большему, выходящему за пределы тихих размышлений о его колдовской, неприступной структуре, то одиночество мое станет окончательным и бесповоротным и я буду не просто приговорен к недостижимости ее смысла, но обречен на пожизненную неизлечимую глупость.

Ибо речь, конечно же, тут шла именно об этом, об изоляции, об одиночестве, признал я, и, как это ни невероятно, только тут я, раб порочной привычки (в которой каюсь себе не чаще чем раз в год), привычки сначала вспыхнуть, а уж затем посмотреть, из-за чего, собственно говоря, пожар, — лишь в этот момент ощутил в себе такую способность (посмотреть, из-за чего пожар) и, честное слово, лишь на этом этапе развития со-

бытий успокоился наконец и остыл, впервые, пожалуй, после того, крайне бессистемного и необъективного обзора достопамятных глубинных вопросов и после недавних категоричных выводов насчет Непостижимого, когда уже (ибо я приближался к будке часового, призванного стеречь покой посольских апартаментов) невозможно было откладывать осмысление реально случившегося со мной с того момента, когда я, смыв с себя под душем пыль пустыни Гоби, вышел — чтобы началась моя пекинская история, которая, как я уже несколько раз постарался запечатлеть в своей памяти, так еще и не началась, — в судьбоносную атмосферу балкона.

Справа от открытых ворот я уже видел часового-китайца с торчащим у него над плечом стволом винтовки (часовой находился в некоем промежуточном состоянии, слегка кренясь из парадной стойки "смирно", видимо, чтобы расслабить затекшие икроножные мышцы), а в то же время я еще способен был (мысленным взором) видеть себя наверху, на балконе, и установил про себя, что началось все это так: я бросил взгляд на стеклянную дверь, выходившую на балкон, и что-то (вероятно, тихо шевелящиеся кроны платанов на огромном дворе) заставило меня подумать, какая чистая, освежающая, по сравнению со спертым воздухом давно не открывавшейся квартиры, прохлада царит, должно быть, снаружи; и, подумав так, открыл дверь, еще с полотенцем на плечах, вышел, потом, немного поколебавшись, подошел к перилам, встал, положив на перила ладони вытянутых рук и, слегка откинувшись назад, зажмурил глаза и глубоко вдохнул свежий воздух, потом действительно поднял взгляд на усыпанный звездами осенний небосвод над Пекином, в то же самое мгновение с изумлением сообразив, что первый раз за многие годы смотрю на небо, да что на небо: первый раз за многие годы поднимаю взгляд вверх. Можно предположить, что, кроме меня, нашлось бы еще несколько миллионов китайцев, глаза которых в этот вечер ослеплены были зрелищем звездного неба (представляете: несколько миллионов пар глаз, с крохотной искоркой света на черном выпуклом зеркальце глазного яблока, — если смотреть сверху, несколько миллионов звездочек вокруг меня; впрочем, бог с ними), — ведь небосвод, с золотыми брызгами на таинственном, синем, постепенно все более темнеющем бархате, сверкал в тот час невероятной, почти чрезмерной красотой. Конечно, я не один, очарованный, видел все это; однако можно наверняка сказать, что не было никого, кто, глядя в небо, видел бы в нем то же, что я: ведь если я и смотрел в него, и если оно влекло меня, и если я был очарован им, и если я словно бы плыл, поднимаясь к нему, то было и еще кое-что: я вдруг осознал, что я не просто отделен от него немыслимым расстоянием, что расстояние это — словно нечто, вмерзшее в лед, словно некий хрустальный путь, ведущий куда-то, но от того края, куда этот путь может меня увести, я отрезан непроходимой преградой, я отторгнут тем краем, я лишен его, лишен, возможно, отныне и навсегда, — вот что пришло мне в голову за какое-то краткое мгновенье, пока я, еще с купальным полотенцем на плечах, стоял, опершись на перила, и, глубоко вдыхая свежий воздух, смотрел на небо. Мне не требовалось время, чтобы это понять: понимание сверкнуло во мне с фантастической, не поддающейся измерению скоростью, и я точно знал, какой мгновенный, какой кардинальный поворот означает оно в моей жизни; да, поворот, но не поворот, который ведет в царство больших вещей: напротив, поворотом этим я навеки изгонялся оттуда, то есть это был такой поворот, который, напоминая о неудачах, не наполняет тебя горечью проигрышей, а замыкает в сфере единого

всеобъемлющего поражения, давая понять: тут вообще не было шанса на выигрыш, да и игры вообще не было, и конец фантазиям. Сколь бы изобретательно ни маскировал я таящееся в этом моем ощущении сентиментальное простодушие, я ведь на самом деле всегда думал: к чему-то же предназначали меня, для выполнения какой-то задачи готовили, — и в состоянии ли я буду догадаться, что это за задача, или не в состоянии, окажусь на высоте положения (если она есть, эта задача) или все испорчу, и сам я являюсь ли важным фактором в чьих-то дальних расчетах; и вот теперь мне вдруг пришлось осознать, что ни о какой задаче, ни о каком предназначении речи не было и никогда не будет, и вообще подобный образ мысли, который, чтобы избежать столкновения с фактами, прибегает к военным хитростям, пускает пыль в глаза, и подобная жизнь, которая при этом так называемом образе мысли стремится лишь к быстрому получению удовольствия, обречена на неизбежное фиаско, как оказался обречен на фиаско и я, едва позволил событиям дойти до всего этого: до пекинского вечера, до сцены на балконе, где посмотреть на небо значило понять, что я никак не связан с небом, где посмотреть вверх уже само по себе означало лишь, что, как и у времени, в котором я живу, у меня тоже прервалась связь с космосом, что я отрезан от мироздания, отторгнут от него, оно отобрано у меня, и отобрано, видимо, окончательно и бесповоротно. Я с грустью оглянулся на военный порядок, царивший в огромном дворе, на безмолвные подъезды бетонных, лишенных каких бы то ни было украшений дипломатических корпусов, на симметрично расположенные пандусы для автомашин, на широкую дорогу в середине, по которой я только что шел, на платаны по обеим ее сторонам — кроны платанов с тихим шелестом чуть колыхались в едва ощутимом веянии вечернего ветра; и когда за спиной у меня, в этом необъятном безлюдье, вдруг откуда-то появились два автомобиля и, блеснув цветными яркими буквами на номерах ("F" и "B"), пронеслись мимо меня к воротам, я с той же грустью вспомнил ту, другую, немилосердно долгую дорогу, на которой, сквозь клубящиеся абстракции, во мне наконец обрело ясную форму осознание разрыва моей связи с космосом, осознание, дополнить которое, сделав в нем последние уточнения, было совсем нетрудно: нужно было добавить лишь, что я не просто отрезан от мироздания, не просто выключен из него, но сам в этом виноват: ведь я, как бы смирившись подсознательно с отсутствием небесного контакта и не поняв, как достойна жалости эпоха, которая не состоит в контакте с небом, сам себя выключил, сам себя лишил отношений с небом; пускай теперь это доставляет мне боль; поздно, поздно; пускай мне уже хочется все переделать, изменить, начать с начала: сделать это (дошел я наконец до ворот) невозможно.

Часовой был совсем молодой парнишка; винтовка, лежащая у него на плече, даже не дрогнула, сжимаемая рукой в белой перчатке; застыв в неподвижности, выдвинув вперед подбородок и как бы всего себя вложив в эту позу, он, стоя на маленьком деревянном помосте, с довольно испуганным и сердитым лицом принял к сведению, когда я дружелюбно — насколько это возможно было в моем грустном расположении духа — кивнул ему, да еще и произнес, причем дважды: "Цзэньян!", пока перешагивал замаскированную под сток для дождевой воды, а на самом деле сделанную для того, чтобы проезжающие машины на этом месте притормаживали, канавку перед будкой, где находилась невидимая охрана; пройдя мимо будки, я вышел за ворота, чтобы затем, повернув направо, двинуться по Гонжен Тийючан Бейлу туда, где уличное движение становилось более интенсивным. В этом

почти непроизвольном кивке, которым мне удалось, вовсе того не желая, привести в замешательство юношу, почти подростка, застывшего в стойке "смирно!" подобно скульптурному воплощению безличного воина, защитника Строя, в этом провинциальном приветствии, в этом "Цзэньян", прозвучавшем, наверное, в моем исполнении очень забавно, во всем этом было — как ни странно: ведь я чувствовал себя обделенным, даже, можно сказать, ограбленным, — было и некоторое ощущение освобожденности, было такое чувство, будто я, прошагав по длинной и широкой дороге между посольскими корпусами и миновав невидимую в своей будке охрану, а также юного часового, которого я смутил своим приветствием, и выйдя за ворота, вышел не только за ворота, не только из сумятицы распирающих мою бедную голову мыслей, одолевавших меня во внутреннем дворе посольского квартала, в мирное течение Гонжен Тийючан, но и выбрался из загнанности в успокоенность, из непроглядного лабиринта фантазий и иллюзий в горестную прозрачность очевидности, словом, из запутанности в простоту — в состояние облегченности от того, что больше разгадывать нечего, ибо все тут уже разгадано, что нечего больше исследовать, ибо тут всему есть объяснение, что мне больше незачем мучить себя вопросом, для чего я, вместе с эпохой моей, предназначен; ибо, пока я шел до ворот, выяснилось: и я, и вся эпоха моя как бы забыты, не имеют никакого значения для обитателей бескрайнего простора, увиденного мною с балкона, для восприятия ими прошлого и для их планов на будущее.

Я не поднял глаз, даже на прощанье, на звездное небо над головой; и, уж коли мы заговорили о таких вещах, позволю себе, шутки ради, добавить, что не очень, как мне помнится, озаботился я и живущими во мне моральными законами, когда, остановившись на минутку на тротуаре, вынул из кармана куртки плоскую фляжку с дешевым виски, которое приобрел еще в московском аэропорту, в беспошлинном закутке, и, в расчете на то, что сумею захмелеть достаточно быстро, приложился к горлышку, чтобы затем продолжить путь по улице Гонжен Тийючан, в прежнем направлении, туда, где движение было более интенсивным. Все теперь виделось ясным, все казалось простым, виски было хорошим, даже очень хорошим, люди же, обходившие меня на тротуаре, пока я стоял, подняв фляжку ко рту, мирными и терпеливыми, и, пожалуй, именно эта, даже наверняка именно эта, предпринятая мною вовсе не шутки ради, попытка быстро захмелеть, обещающая быстрый успех, ну и еще бескрайнее терпение вокруг привели меня к выводу: сколь легко усмотрел я, на прямой линии внутреннего двора между балконом и часовым с мальчишеским лицом, дантовский рубеж, достигнутый мною ("...в сумрачном лесу..."), столь же трудно мне осознать следствия, вытекающие из этого рубежного состояния, и прежде всего то, что я отрешен не только от сфер небесных, но в некотором смысле и от земных; например, от возможности ориентироваться в системе городского транспорта. Но нет, не только хмель и терпение, не только они в этом повинны: ведь была еще прохладная чистота воздуха, и был аромат листвы, только-только свободно вздохнувшей, освободившись из-под ига пыли, приносимой сюда из пустыни Гоби, аромат, который, смешавшись с вечерним благоуханием празднично расцвеченных проспектов и площадей, волшебными волнами наплывал на тебя; и было еще какое-то поэтичное излучение надежности, которое исходило от сводов древесных крон, вздымавшихся, по всей ширине улицы Гонжен Тийючан, над потоками автомашин, велосипедов

и пешеходов, образуя отдельные анфилады над автомашинами, отдельно над морем велосипедов и отдельно над пешеходами; и был еще велорикша, которого я неожиданно увидел рядом: низко склонившись над рулем, он катил свою тележку с провисшей внизу блестящей цепью, сразу открыв мне еще одну дорогу, дорогу в прошлое; и был еще первый увиденный мною дракон из красных, желтых, зеленых и синих неоновых трубок на парадном фронтоне ресторана; и ведь еще были люди: в большинстве своем — пекинцы, до сих пор как один одетые в серо-стальные кители фасона Мао и плоские башмаки с суконным верхом, и все они, или, во всяком случае, почти все, плотным потоком (вскоре мне стало казаться: все десять миллионов шагают почти что в ногу...) двигались в ту же сторону, что и я, по направлению к "более интенсивному движению"; я бы мог продолжать и продолжать перечисление бессчетных феноменов, которые, все до единого, мешали мне проникнуться сознанием того, что когда я, пару минут назад, вышел, миновав часового, из ворот посольского квартала на улицу Гонжен Тийючан, то оказался вовсе не на свободе, а в каком-то лабиринте, откуда, как я понял пару недель спустя, мне никогда уже больше не выбраться.

Попав в этот лабиринт, я тут же в нем потерялся, хотя ни на секунду не думал о том, что вот я куда-то забрел или где-то потерялся; скажу больше: по мере того как убавлялось виски в плоской фляжке, я в своем легком хмельном состоянии ощущал все больший подъем, а потому все возрастала моя уверенность в себе, причем, как ни странно, более всего как раз уверенность относительно того, где я нахожусь. Я подошел к первому перекрестку и остановился у одного из переходов, в густеющей при красном свете, редеющей при зеленом толпе, чтобы попытаться понять — если уж я не счел нужным собрать предварительно какую-то информацию касательно такого рода практических ситуаций, — какое транспортное средство целесообразнее всего выбрать, если ты (в смысле — я) в первый свой вечер в бывшей северной столице китайской империи и после того, как нежданно обретенное, на одном из балконов посольского городка, понимание сущности мироздания едва не уничтожило тебя (в смысле — меня), ты (в смысле — я), двигаясь в направлении и с целью, конкретно не обозначенными, однако не признавая правомочности каких бы то ни было обходных путей, самым что ни на есть непосредственным образом (как, слегка пошатнувшись, сформулировал я в скопившейся у перехода толпе) попытался понять суть Пекина. Я продолжал твердо (в духовном, а не физическом смысле слова) стоять на месте, порой прикладываясь к плоской фляжке; на протяжении нескольких минут, поскольку я не обнаружил вокруг ни одного средства общественного транспорта, достижения мои сводились к тому, что, найдя надежное место у бровки тротуара, я не позволял увлечь себя ни в одном из двух противоположных направлений; затем упорство мое было вознаграждено: слева возник серый, весь латаный-перелатаный автобус и, даже не подумав затормозить (да и ничего похожего на остановку поблизости не было), умчался и исчез из поля моего зрения среди сигналящих машин и половодья велосипедов.

Итак: автобусом! — сделал я решительный вывод из увиденного, чувствуя, что теперь остается только выбрать направление, а дальше все пойдет как по маслу.

Тут мне вспомнилось (нельзя не заметить, вспомнилось в самый подходящий момент), что сказал человек, встречавший меня на вокзале и привезший потом сюда: он сказал, что наш квартал, а понимал он это в том смысле, что его и мой квартал, — словом, новый посольский квартал лежит недалеко от сердца Пекина, немного, улыбнулся тот человек, к северо-востоку от него, само же пульсирующее сердце это находится почти в геометрическом центре города, в чем я и сам убедился, бегло изучив за время пути через пустыню карту Пекина. Так что у меня уже имелось два факта, с помощью которых определить направление казалось проще пареной репы; я сказал про себя: если я нахожусь на северо-востоке от пульсирующего сердца, тогда единственное возможное направление — юго-запад, а юго-запад, естественно, находится в той стороне, куда стремится вся эта необозримая масса людей; я нацелился на точку, которая располагалась на противоположной стороне улицы, и, увидев зеленый сигнал, двинулся было к ней по пешеходному переходу. Это был необдуманный шаг; и на то, насколько он был необдуманным, сразу же обратили мое внимание появившиеся слева три легковушки, один грузовик и сотни три велосипедистов; сообразив, что зеленый сигнал здесь — скорее лишь что-то вроде указания на теоретическую возможность перехода, или, лучше сказать, такой сигнал, при котором переход в полной мере свободен, если этому не препятствуют иные обстоятельства, — словом, сообразив все это, я дождался следующего зеленого сигнала и, как только он зажегся, раза четыре, если я правильно помню, подвергнув риску свою жизнь, перебрался-таки на другую сторону, потом таким же манером одолел еще один переход; однако, оказавшись наконец в намеченном изначально пункте, я не обнаружил и признака автобусной остановки ни там, где я предполагал, ни позади, в той части перекрестка, которая теперь находилась от меня слева.

Все-таки автобусная остановка быть должна, твердо сказал я себе и, подозревая, что не вижу ее только из-за поражающих воображение масштабов перекрестка, сначала пошел вперед, туда, где мог находиться край этой площади, затем, догадавшись, спустя двести-триста метров, что, хотя я давно уже покинул площадь, но никакой остановки, связанной с площадью, уже не будет, подумал: почему бы мне не пройти в этом направлении немного вперед, до следующей остановки; ведь возвращаться назад абсолютно не имело никакого смысла, если же идти прямо, то рано или поздно я все равно набреду на автобусную остановку, да и, в конце концов, прогуляться, осмотреться вокруг, особенно сейчас, когда я, вместо груза, который давил на меня до сих пор, груза многократно поминавшегося рубежа моей жизни, я ощущаю уже лишь чистый факт этого рубежа, а вместе с ним чудесную раскрепощенность легкого опьянения, — в общем, окончательно решил я, такая прогулка не может не доставить мне радость. Что говорить, прогулка точно доставила бы мне радость, если бы не тот факт, что я прошагал, если верно оцениваю расстояние, по крайней мере три километра; к тому же я испытывал все возрастающее разочарование и прогулка не радовала меня, не говоря уж о том, что и окрестности становились все более серыми, вымершими, — или нет, сказать "вымершие" это все-таки слишком: машин и велосипедных потоков тут было еще много, правда, куда-то подевались пешеходы, и через несколько сотен метров я вынужден был уже констатировать, что вокруг — почти никого, что я почти один, почти как

перст, бреду по тротуару вдоль бесконечного ряда серых, лишенных всяких знаков различия панельных домов, да и направление, в котором я двигаюсь, если в общем и целом остается прежним, то в деталях все более теряет определенность. Да, я прошагал около трех километров, питая надежду, что где-нибудь возле дороги вот-вот замаячит табличка, обозначающая остановку автобуса; да, не менее трех километров, в этом я уверен, — и тут вдруг услышал подозрительное гудение в той стороне, откуда я шел, — и вскоре он действительно прибыл, тот облезлый, неуклюжий автобус, который я заметил за несколько километров отсюда, и автобус этот был *набит до отказа*. Растерянно и вопросительно я помахал невидимому водителю, но автобус, словно бы с демонстративно высокомерным выражением, прогромыхал мимо; я побежал было за ним, потом замедлил бег, остановился и долго смотрел, как он, блеснув на прощанье табличкой с номером 44, кривовато висящей на заднем стекле, исчезает вдали. Как ни был я ошеломлен тем, мягко говоря, странным фактом, что расстояние между остановками тут составляет, без преувеличения, несколько кварталов, изменить это было не в моей власти, и я утешал себя тем, чем мог, то есть тем, что я хотя бы узнал номер автобуса, на котором собираюсь ехать; грех отрицать, это в самом деле было очень полезное сведение: когда я, проделав еще один, последний мучительный переход, наконец действительно смог прислониться к столбу с табличкой остановки, потом сел на бровку тротуара, вытянув пылающие ноги, и вынул из кармана карту (фляжку вынимать уже не было смысла, она давно опустела), только теперь мне удалось, насколько это вообще могло удаться в слабом свете уличного фонаря, определить, где я сейчас приблизительно нахожусь и куда приблизительно может увезти меня отсюда 44-й, если он, конечно, придет.

Так что после изучения карты у меня сложился какой-то план; но потом приехал автобус, и на нем было написано: 403, и с тем все мои планы тут же лопнули и рассыпались в пух и прах.

Найти решение нежданной загадки я в тот момент, вставая с тротуара, пытался сразу в трех накладывающихся друг на друга вариантах.

Во-первых, или 403-й идет не по своему маршруту, или я нахожусь не на улице Чаоянмэнь Бейдайи, хотя в последнем я был уверен, поскольку по дороге несколько раз видел таблички с названием улицы; во-вторых, я или неправильно прочитал номер на том автобусе, что так подло промчался недавно у меня под носом, и 44-й ходит не здесь, или он ходит здесь, но я так наклюкался, что непонятно, видел ли я только что автобус номер 44; и, наконец, в-третьих: или карта, которую я держу в руках, никуда не годится, и тогда все мои дальнейшие усилия напрасны, все равно я потеряюсь в Пекине, или же все вокруг в полном порядке: и карта у меня правильная, и улица эта — Чаоянмэнь, и 44-й автобус здесь ходит, а 403-й сюда просто по какой-то своей причине случайно заехал.

Однако как бы там ни было, времени на размышления, на взвешивание аргументов и контраргументов у меня не оставалось: автобус затормозил и остановился, задние двери с грохотом распахнулись, я вспрыгнул на ступеньку — и в тот же миг оказался лицом к лицу с новыми трудностями, такими трудностями, рядом с которыми не обозначенное на моей карте... как бы это сказать... совпадение маршрутов есть всего лишь цветочки и которые, не прошло и мгновения, показали мне, что до сих пор можно было валять дурака даже с горящими (горящими,

впрочем, отнюдь не фигурально) ступнями и с мучениями одиночных скитаний, но с этого момента, протрезвел я сразу во всех смыслах слова, ситуация становится куда как серьезной.

403-й внутри выглядел точь-в-точь так, как можно было догадываться, глядя на него снаружи: все, что когда-то было стянуто в нем винтами, висело, болталось, стучало, шаткие сиденья скрипели, жестяная крыша тряслась, оконные стекла и двери звенели и гремели, а мы, спрессованные в единую массу пассажиры, дружно кренились и клонились влево-вправо, вперед-назад, ведя бесконечную борьбу за клочок места на ближайшей алюминиевой стойке, за которую, если борьба венчалась успехом, можно было уцепиться. Возле задних дверей, где находился и я, протискиваясь по ступенькам все выше, чтобы наконец более или менее твердо встать на ровную поверхность и чтобы вся масса пассажиров не падала на меня на каждом вираже, — словом, совсем недалеко от себя, в уголке, отгороженном металлическим поручнем, за металлическим откидным столиком, я обнаружил кондукторшу, миловидную молодую женщину, которая равнодушно смотрела, как подпрыгивают стопки билетов на столике, а в выдвижных ящичках дергаются перетянутые резинкой пачки бумажных денег и звенит, трясясь, разнообразная мелочь: вдруг возьмет и выпрыгнет на каком-нибудь, особенно лихом вираже. Впрочем, нет, она следила не за билетами и не за кассой: она смотрела на меня, как смотрели — нет, глазели — на меня притиснутые ко мне пассажиры, на меня, неожиданно появившегося среди них европейца, который в первые минуты явно понятия не имел, что́ он тут должен делать, а главное, как; хотя ясно было, что все только и ждут, чтобы это выяснилось. Меня окружали сплошь любопытные лица, сплошь удивленные, устремленные на меня глаза, сплошь выражающие упорный интерес, неподвижные взгляды, и, пожалуй, именно это явное, почти по-детски напряженное ожидание помогло мне сразу принять решение; и тогда я — отказавшись от искушения и дальше чувствовать себя беспомощным и одиноким в этом чуждом мне универсуме — протянул развернутую карту соседу, сделал знак, чтобы он передал ее дальше, кондукторше, затем, вытянув руку над головами, несколько раз ткнул на карте в центр Пекина и с улыбкой произнес: "to the Heart of the City"[1].

Эффект был поразительным.

После слов "to the Heart of the City", моментально, словно по мановению волшебной палочки, изменилось не только выражение лица кондукторши, изменилась сама атмосфера в автобусе: люди, посветлев лицами, с явным облегчением улыбнулись друг другу, а затем обратили ко мне приветливые, теплые, дружелюбные взгляды, словно я каждому из них по отдельности сообщил, что именно к его сердцу намерен добраться за четыре мао — именно столько взяла, демонстративно подняв над головой две бумажки по два мао, кондукторша из посланной ей пригоршни купюр, а затем и сама с блестящими глазами и с доброжелательным выражением отправила мне два крохотных билетика и проводила взглядом плывущую ко мне в вытянутых с готовностью руках сдачу. Карта, которую, поскольку она стала вдруг чем-то вроде реликвии, никто не взял на себя смелость сложить, после прибытия билетиков и бумажных денег тоже поплыла ко мне над головами; затем последовал короткий, но

1. К сердцу города (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

эмоциональный обмен мнениями, в котором участвовала не только кондукторша и ее непосредственное окружение: свои реплики, причем весьма страстные, вставляли и некоторые пассажиры даже из отдаленных уголков автобуса. После чего, под одобрительный согласный ропот притиснутых ко мне соседей, один из них, напоминающий мандарина, причем, удивительным образом, не мандарина вообще, а императора Пу И, мужчина средних лет, со всеми оттенками доброжелательства, любезности и желания помочь в голосе, время от времени тыча пальцем в середину (и без того уже вытертую) все еще развернутой карты, принялся что-то объяснять мне, на что я, когда мне удалось уловить одно-единственное слово в лавине обрушившихся на меня китайских слов, уверенно кивнул и повторил это слово: "Тяньаньмэнь", после чего лицо моего соседа еще более засветилось, и тогда еще более загорелись, заулыбались лица других пассажиров и миловидное личико кондукторши; мы и дальше тряслись, валились друг на друга, влево и вправо (разве что повторяли время от времени: Тяньаньмэнь), и автобус упорно стремился вперед по теперь уже совершенно неведомому мне маршруту к цели, выбранной для меня моим временным окружением.

II

Здесь, в этот момент решилась не только судьба этой моей незадачливо начавшейся экскурсии, но и вся моя пекинская история, а именно то обстоятельство, что, начиная с этого первого вечера — который, чтобы уж ни у кого не оставалось вопросов, завершился успешным осмотром площади Тяньаньмэнь и отчаянно, сумасшедше дорогим возвращением домой на такси, — все свое время в сердце Китая, или, правильнее сказать, все свое время, которое оставалось на знакомство с сердцем Китая, я, начиная с этого вечера, *проводил в автобусах*. Уже на следующий день я познакомился с маршрутами Чананя, первым и четвертым; затем, на третий день, в хаосе, царившем в окрестностях Главного вокзала, открыл терминал сотенных номеров, после чего экспериментировал то с одним, то с другим необычным маршрутом, например с двадцатым, который проходит по самым серым, невзрачным кварталам, но в одном месте минует, проезжая всего метрах в ста от него, один из самых удивительных по красоте даоистских храмов Северного Китая (из автобуса, правда, его не было видно, но ведь знать, что он так близко, — тоже кое-что); словом, я ездил и ездил, ездил неустанно, все ближе и ближе подбираясь к постижению случайности и неисповедимости, к тайнам системы выбора мест для остановок, цен, расписания отправлений, методов преодоления трудностей посадки и так далее. Одного мне не удалось достичь в этих неустанных поездках: будучи отлученным от небесной ориентации и став одержимым ориентацией земной, разобраться в (на первый взгляд простой, как пареная репа) прямоугольной системе улиц Пекина.

А ведь я, кажется, сделал для этого все; с картой мы, можно сказать, сроднились, а сам я стал едва ли не постоянной достопримечательностью нескольких автобусных маршрутов, — еще бы, на меня трудно было не обратить внимания, когда я, согнувшись в три погибели перед низенькими, рассчитанными на китайцев окнами в трясущемся и подпрыгивающем автобусе, вертел головой, пытаясь прочитать хоть какие-ни-

будь, и так-то с трудом читаемые, названия улиц; но, странствуя между изумительными красотами Запретного города и храма Неба, озера Бэйхай и Императорской Академии, привыкая к их почти уже нечеловеческим масштабам, я обнаружил, что день идет за днем, а для меня ничего не меняется, я по-прежнему не могу увидеть структуру города, просто не способен представить себе город в целом, чтобы передвигаться в нем целенаправленно и осмысленно, а потому все остается как было, и каждый маршрут остается точно таким же непредсказуемым, как в первый раз, и цель каждого моего путешествия точно так же выбирают за меня, глядя на протянутую им карту, мои случайные попутчики, когда я к ним обращаюсь, и я точно так же чувствую всегда и всюду их заботливое присутствие рядом с собой, точно так же лишь благодаря их доброжелательности не теряюсь, не пропадаю в джунглях Пекина, как и в свой первый вечер, когда я сел на 403-й и поехал к площади Тяньаньмэнь.

Наступил и пятый, и шестой, и седьмой вечер, но все старания мои, все усилия оказывались совершенно бесплодными; пускай в сознание мое, поражая волшебной красотой, врезался то один, то другой новый уголок Поднебесной империи — домой я возвращался совершенно раздавленный, с едким беспокойством в душе, то есть каждый божий вечер я входил в достопамятные ворота посольского городка (кстати, каждый раз убеждаясь, что юношу часового, что стоял здесь на посту в первый вечер, я так с тех пор и не видел) с ощущением, что продолжать мои попытки нет никакого смысла. Я чувствовал себя человеком, который смирился с тем, что есть, смирился с тем, что он напрасно находится *в нем*, в этом городе, напрасно пытается из автобуса уловить суть Пекина: ту, несомненно существующую, но скрытую от него систему, которая действительно объединяет в одно целое Запретный город с храмом Неба, Люличан — с Императорской Академией, Академию — со Старой обсерваторией, ту — опять-таки с Запретным городом, — и которую ему не дано никогда постичь.

И все же утром восьмого дня я опять принял решение не складывать руки, а попытать счастья и с трехсотыми номерами.

Я уже знал, что по так называемому третьему кольцу мне нужно доехать до университета, но понятия не имел, какой из трехсотых маршрутов я выберу, так что решение за меня опять принял случай, и спустя добрый час после того, как я вышел из дома, я оказался на 332-м автобусе; итак, все решила случайность в образе торговавшей пирожками с мясом пожилой женщины, которой я тоже сунул под нос карту, дескать, хочу попасть к Западному нагорью, и она втолкнула меня в 332-й маршрут, причем "втолкнула" следует понимать буквально: если бы не ее помощь, то в отчаянной схватке у дверей автобуса я совершенно точно остался бы среди побежденных. А так я попал на довольно хорошее место: в хвосте машины, притиснутый к заднему стеклу, я ехал одним из утренних рейсов 332-го маршрута — и одним из первых пришел в себя, когда, сойдя на конечной остановке, огляделся и принял к сведению, что мои собственные намерения и поспешившая мне на помощь, в образе торговки пирожками, случайность на сей раз вполне совпали: я стоял у Восточных ворот Летнего дворца, там, куда и хотел попасть; я тут же двинулся по берегу неземной красоты озера, среди цветов лотоса, по аллее, потом по знаменитой крытой галерее, потом вернулся назад и, наконец, поднялся по бесчисленным ступеням наверх, на самую высокую точку с обзорной террасой, находящейся на крыше четырехэтажного павильо-

на, носящего название "Аромат Будды", откуда открывается изумительный вид. Но тому, что открылось моим глазам, я все же не мог в полной мере отдаться, ибо все время ломал голову над тем (и никак не мог мысли свои направить в другом направлении), почему на карте моей все выглядит так, будто я, следуя этим маршрутом, покинул пределы Пекина, в то время как автобус все время ехал, трясясь и дребезжа, среди домов, по обжитой территории; а раз так, то куда направляются маршруты, которые я обнаружил здесь, на широкой площади перед Восточными воротами, и которые в какой-то момент поворачивают в направлении, противоположном Пекину? Вопрос этот настолько меня взволновал, что, завершив свою прогулку, я, как вы сами можете догадаться, сел не на 332-й, а на отправляющийся в эту минут 302-й; сесть на него было относительно легко: то ли потому, что время было еще раннее, предобеденное, то ли потому, что место, куда он шел, не притягивало столь многочисленных посетителей.

Мы долго карабкались куда-то вверх, по узкой извилистой дороге и, не прошло тридцати-сорока минут, прибыли на конечную остановку. Автобус остановился на главной площади крохотной деревушки; о том, где я, собственно, нахожусь, мне удалось догадаться лишь спустя некоторое время, когда я двинулся вверх по тропе между убогими глинобитными хижинами. В одном месте, почувствовав, что проголодался, я купил что-то вроде лепешки, а рядом с продавцом лепешек, в грязной витрине деревянного киоска, увидел три открытки, на обратной стороне которых, когда я их рассмотрел, был напечатан один и тот же текст, из которого и выяснилось, что я попал на ближний к Пекину отрог Западного нагорья, на Ароматную гору; чуть позже, когда я двинулся дальше, оставив позади глинобитные хижины и продавцов лепешек, я смог убедиться в том, что в самом деле там нахожусь: я уже видел краснеющие листья знаменитых скумпий, крутую тропу, ведущую к Вершине, отпугивающей злых духов, и слышал те самые колокольчики, что висят на семиярусной пагоде и действительно позванивают от дуновения ветра. Но самым прекрасным в этом поэтически утонченном пейзаже было хорошо известное строение, замечательное творение эпохи Юань, храм Лазурных Облаков на восточном склоне с его мраморными башенками, белеющими среди густых крон. Я сразу же двинулся туда и вскоре вошел в ворота храма; полюбовавшись Залом Будды грядущих времен, я вошел во двор Главных зданий и направился было дальше, вверх, где должен был находиться центр этого великолепного ансамбля, пагода Алмазного Трона, расположенная в самой высокой части храма Лазурных Облаков, — но тут в стороне, рядом с бассейном, обнаружил еще один вход; я бросил взгляд на табличку над ним: какая-то копия ханчжоуского храма, с трудом разобрал я надпись; ну что ж, подумал я, загляну, хоть и копия, а того стоит наверняка.

Перед входом как раз фотографировали ребенка; ему велели раздвинуть руки, он послушался и стоял некоторое время так, с нелепо расставленными руками, ожидая, когда они закончат; я смотрел на это с недоумением; фотоаппарат, наконец, щелкнул, ребенок отошел от ворот, семья, кланяясь, благодарила меня за терпение и предлагала пройти вперед; немного поупиравшись, я вошел в боковую дверь, чтобы, как я планировал, бросить хотя бы взгляд на эту ханчжоускую копию.

В жизни я не был еще столь сильно ошеломлен. В жизни ничто еще не обрушивалось на меня столь неожиданно.

Внутри — я узнал их в одно мгновение! — сидели, тесно притиснутые друг к другу, как это бывает с нами, простыми людьми, в автобусе, — целых пятьсот *лоханей*[1]; пятьсот неподвижных *лоханей* под защитой витринных стекол, и каждый *лохань* вырезан из дерева и позолочен.

В громадном внутреннем пространстве храма, под тяжелыми выкрашенными в красный цвет подпорками, царила, особенно для того, кто попал туда сразу с улицы, почти полная темнота; окна, маленькие и узкие, были прорезаны в стенах где-то под самым потолком, да и на них, *изнутри*, укреплены были защитные деревянные решетки, так что даже несколько минут спустя, когда глаза уже немного привыкли к скудному освещению, невозможно было увидеть ничего кроме того, что здесь стоит густой полумрак; полумрак, в котором дневной свет, процеженный сквозь решетки, призван был не выявлять, не подчеркивать и без того едва брезжащие облики святых, но, наоборот, прятать их, беречь, дабы что-нибудь грубое, резкое (будь то хоть яркий свет) не нанесло урон их тонкой, хрупкой структуре.

Придя в себя от первого потрясения, я медленно двинулся вдоль двойного ряда витрин, позволяя, чтобы они вели меня вперед, они, эти коридоры, образованные витринами, ибо сам я был не способен решить, куда мне идти; я шел, шел даже не вперед, а все глубже и глубже по разветвляющимся коридорам, прочь от не поддающихся описанию, уничтожающе всепонимающих и всеотвергающих, но все же бесконечно смиренных взглядов *лоханей*, и когда мне приходило в голову что-то, что я знал о них, то это "что-то" тут же и выходило из головы, тем более что знал я о них немного: знал, что это — земные мудрецы, причисленные к лику святых, и что во времена Желтого императора они установили всемирный порядок и закрепили пространство и время, чтобы Земля и Небо не поменялись местами, то есть чтобы люди избавились от постоянного страха и все оставалось там, где ему назначено быть; в общем, все это тут же и вылетело у меня из головы, словно никакого, ну никакого значения не имело, что́ я обо всем этом знаю; ведь значение имело лишь то — переводил я взгляд с одного существа на другое во все более запутывавшейся системе коридоров, — что известно им обо мне, о человеке, который сейчас стоит перед ними и смотрит в их лица, увлекающие за собой, выражающие в одно и то же время прощение и презрение, отстраненную святость и снисходящую на меня ласку. Но к этому моменту меня уже занимала мысль о том, что я все время теряю ориентацию в этих коридорах: я никак не мог определить, где в данный момент нахожусь, так как не способен был удержать в голове ориентиры этого пространства, а точнее, тот единственный ориентир, с которым мог бы соотнести себя, то есть выход, найти который, как выяснилось, было столь же трудно, сколь легко уже после первого поворота потерять из виду путь, ведущий назад. Я начал предпринимать всякого рода попытки — вдруг удастся — и, зафиксировав в голове идею выхода, снова и снова пытался выйти к нему среди сонмов *лоханей*, но усилия мои оказывались тщетными, уже после третьего поворота я опять не знал, почему я все время сбиваюсь, идя вперед ли, назад ли, с нужного направления. И теперь я уже ломал голову, почему храм построен как

1. Лоха́нь — в буддийской мифологии человек, достигший наивысшего духовного развития.

лабиринт, и я больше не смотрел на *лоханей*, с опущенной головой шагая между их шеренгами; но все было напрасно: через несколько шагов, едва я начинал ориентироваться в этом лабиринте, общая картина вдруг рассыпалась. Снаружи, наверное, уже смеркалось, а я все шел, преследуемый загадочной структурой лабиринта, с опущенной головой; как вдруг, в один прекрасный момент, меня поразила мысль: ведь тут, собственно, все коридоры расположены друг к другу под прямым углом.

Здесь каждый коридор тоже отходит под прямым углом от другого, сверкнуло у меня в голове, почти вызвав боль, — и здесь тоже, дошло до меня, *прямоугольная* структура коридоров непостижима, как улицы Пекина. Я хожу в том же самом лабиринте, думал я, выйдя, наконец, из дверей храма, в том же пространстве со скрытым для меня смыслом; и я уже не стал взбираться к Алмазному Трону, а двинулся вниз, в деревню, прошел по улочке — действительно, уже опускались сумерки, — к площади, где стоял еще, на мое счастье, последний автобус, и сел в него; видно было, что основная масса гуляющих, экскурсантов уже схлынула: в автобусе даже были свободные места; по той же узкой извилистой улочке мы спустились к Летнему дворцу, а оттуда, на 332-м, я пересек третье кольцо и добрался до дома.

Стоял ясный теплый ласковый вечер; по Гонжен Тийючан Бейлу, под кронами раскидистых платанов, гуляли парочки. Обходя их, я добрался до ворот посольского квартала, горько думая про себя, что на самом деле все обстоит не так, как в сказке: Земля и Небо вовсе не разделены, это лишь я отделен и от Земли, и от Неба, и от Богов, и от знания обрядов, посредством которых мог бы вызвать их, ибо не знаю ни единого движения, совершив которое, мог бы направиться к ним; я ничего не знаю: не знаю, как к ним обратиться, не знаю, как обратиться ко всему этому величественному царству, и — немой, абсолютно немой и опять погруженный в эти печальные мысли, — я перешагнул канавку, которая служила для торможения машин перед невидимой охраной, и снова... и тут вдруг замер, ибо лицо часового на маленьком помосте рядом с воротами показалось мне знакомым... и я снова почувствовал себя беспомощным.

Это был тот самый паренек-часовой, которого я не видел с первого вечера; я даже сделал шаг назад, чтобы убедиться, действительно ли это он; да, это в самом деле был он. Я кивнул ему, на всякий случай улыбнулся, потом — ведь кто его знает, может, за такую фамильярность он должен меня застрелить на месте, — не экспериментируя больше с кивками, двинулся в ворота.

Но тут что-то остановило меня: это была ответная улыбка, на которую я ни в малой степени не надеялся. Парнишка-часовой улыбнулся мне, словно старому знакомому: улыбнулся так, чтобы никто этого не увидел, но вполне доброжелательно и весело.

Эван С. Коннел

Затерявшийся в Индиях

Рассказ

Перевод с английского Елизаветы Домбаян

ДЯДЮШКУ Гейтса я видел пьяным лишь однажды. По случаю золотой свадьбы моих родителей я отправился в родной Канзас-Сити, а дядя Гейтс прикатил туда из Спрингфилда. Родители не хотели, чтобы он садился за руль – в свои восемьдесят старик забывал порой, где находится, – но не тут-то было. "Я знаю, что я делаю", – утверждал дядя. Родители его точку зрения не разделяли. С тех пор как три года назад умерла тетя Рут, он сделался еще настырнее и несговорчивее. В детстве я жутко боялся этого заслуженного профессора истории и литературы Спрингфилдского колледжа. Стоило ему повернуть свою грушевидную голову в мою сторону, и я начинал коситься на потолок, принимался исследовать свои башмаки либо устремлял взгляд в противоположном направлении, к чему-то, видимому лишь мне одному.

Родители сняли банкетный зал в Шони Кантри-клубе и пригласили кучу народа, как на съезд. Мой рейс из Сан-Франциско задержался, поэтому до клуба я добрался поздновато. Вначале, оказавшись в гуще седовласых стариков со слуховыми аппаратами, палочками или в инвалидных креслах, я решил, что попал на собрание ветеранов Второй мировой войны. Рядом с эстрадой для оркестра, где накрыли стол, ломившийся от закусок, суетились три буфетчика в темно-бордовых пиджаках с золотыми кавалерскими крестами. Я подходил к бару, когда меня схватил за руку дядя Гейтс:

– Уильям!

Его слегка покачивало, будто на волнах, и я уловил запах алкоголя. Дядя заметно усох, лицо покрылось морщинами. Теперь-то бояться нечего: передо мной эльф, а не чудовище. Я спросил, что он поделывает с

© Harper's Magazine / December 2005
© Елизавета Домбаян. Перевод, 2007

тех пор как вышел на пенсию. Не сказать, чтобы меня это в самом деле волновало, но в ту минуту ничего другого в голову не пришло.

— Я знал, — сказал дядя, — знал, что ты спросишь. Так вот, сударь мой, я начал работать над книгой воспоминаний. Мемуаров, если угодно.

Он стоял строго напротив меня, почти вплотную. Толстенные стекла очков делали его похожим на жука-мутанта из фильма ужасов. Он стащил очки, осмотрел их на свет, протер платком, нацепил на свой крючковатый нос и воззрился на меня. Его брови разрослись, но запечатлевшаяся в моей детской памяти недовольная мина осталась прежней.

— Да, именно этим я и занимаюсь, Уильям. Замысел тянет на целый проект. Не берусь определить, сколько времени уйдет на его осуществление. Угадай название.

— Название?

— Не угадаешь. Придется сказать. Я намерен озаглавить мой труд "À la recherche du temps perdu"[1]. — Он фыркнул. — Я пустил это название по разным знакомым. И только один человек, коллега по кафедре иностранных языков, сообразил, о чем речь.

Поверх дядиной головы я видел бар. Возможно, удастся, приняв пару стаканчиков для храбрости, поймать в этой толпе родителей и наплести, что я забыл покормить собаку или что-нибудь в этом роде, поэтому должен, мол, успеть на следующий рейс в Сан-Франциско.

Дядя Гейтс махнул рукой, указывая на чашу с пуншем:

— Предлагаю выпить. Чего бы они там ни намешали, пойдет нам на пользу. В этом, дружок, можешь не сомневаться!

Пока он угощался пуншем, я стоял в очереди за порцией мартини.

— То, что надо, — причмокивая, сказал дядя. — В позапрошлом году, когда мы встречались в Сан-Франциско, мы не успели осветить несколько тем. Нам предстоит долгая беседа.

Со дня той нашей встречи минуло почти пять лет. Я сказал, что мне, наверно, следует отыскать родителей, но дядя меня не услышал. Он отрыгивал, свирепо оглядывая толпу. С лацкана его пиджака свисала маргаритка, и я поинтересовался, где он ее раздобыл. Он ответил, что на кухне, но не объяснил, зачем туда ходил. Цветок подарила ему симпатичная молоденькая кубинка, одна из посудомоек. Он спросил, бывал ли я на Кубе.

— Ни разу.

Он посоветовал съездить непременно.

— И обязательно осмотри замок Морро. Там есть камера пыток. Увидишь — вмиг поседеешь.

Мне совершенно не хотелось слушать про живодерню, поэтому я спросил, успел ли он что-нибудь попробовать в буфете.

— Говори громче, — сказал дядя.

— Я про буфет спрашиваю. Ты голоден?

— Нет, — ответил он. — Дай же мне рассказать, что́ они там вытворяли. В темнице стоял массивный деревянный стул, величественный, как трон. Туда усаживали всякого провинившегося, будь то еретик, мошенник, вор, бандит, богохульник или безбожник. Голову, чтобы не двигалась, помещали в примитивный железный шлем. Теперь, Уильям, представь себе по длинному шурупу с обеих сторон этого хитроумного изобретения и слушай дальше. Палач закручивал эти шурупы, продыр-

1. "В поисках утраченного времени" (*франц.*) — название цикла романов Марселя Пруста. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

рявливая череп бедолаги. В нескольких шагах от стула находились камеры, которые напомнили мне загоны в скотопригонном дворе в Канзас-Сити. Узники, ожидавшие в них своей очереди, могли всё видеть и слышали жуткие вопли.

Дядюшка Гейтс полагал, что у многих несчастных были мокрые штаны.

Спиной я столкнулся с какой-то женщиной и обернулся, чтобы извиниться. Примерно одних лет с моей матерью, седые волосы высоко взбиты, губы жирно напомажены, глаза водянисто-голубые.

– Вы Уилли? – спросила она.

– Да, – ответил я, хотя никто не называл меня так с тех пор, как я уехал из Канзас-Сити.

– Глэдис Сприклз. Вы меня, конечно, не помните. Как приятно видеть вас снова. Вы не находите, что сегодняшнее цветочное убранство изумительно?

Запах ее рассыпчатой пудры был невыносим. Я старался не дышать. Мама пользовалась такой же пудрой, и я задерживал дыхание всякий раз, когда она меня обнимала.

– Как поживают родители, Уилли? Мы с Ньюфилдом искали их и наверху и внизу, но они словно испарились.

– Не знаю, где они. Сам ищу.

– Мы с Ньюфилдом бесконечно рады твоим успехам. Как чудесно, что у тебя все хорошо.

Не знаю, о каких успехах она говорила. Ничего особенно хорошего со мной не происходило. Но тут я вспомнил, что в Кантри-клубе принято расточать комплименты.

– У Дженсена Пакета прекрасно идут дела в "Ферст Фиделити". А Мира Сью Партридж процветает в Чикаго, – продолжала Глэдис.

Дженсен Пакет. Мира Сью Партридж. Помолвка Люси Смут. Совет по образованию, налоги, преступность, мэрия, новые правила игры в гольф – главное говорить, не столь важно о чем.

– Согласитесь, что эти огромные мексиканские грузовики – просто кошмар. Мы впустили их в Соединенные Штаты, они ездят по нашим дорогам, а в Вашингтоне об этом будто и не подозревают. Какой позор! Ньюфилд считает, что следует немедленно запретить въезд. Я совершенно с ним согласна. Мы с Ньюфилдом женаты уже сорок восемь лет. Можете в это поверить?

Дядюшка Гейтс дернул меня за рукав.

– Я хочу досказать тебе про замок Морро. Как только узник испускал дух, его стаскивали со стула, давали пинка и он, как бревно, катился вниз по булыжникам, пока не утыкался в железную решетку у кромки воды. И, сдается мне, все местные акулы собирались к обеду, когда с помощью блока решетку поднимали.

Я чувствовал, что у меня уже посасывает под ложечкой, и мечтал, чтобы дядя прекратил тарахтеть об акулах и трупах. Я спросил, понравилась ли ему поездка в Сан-Франциско.

– Понравилась. Твоя подруга Хейзел – чаровница.

– Рейчел, – сказал я.

– Да-да. Я спутал – звучит похоже. Эта молодая особа напомнила мне одну старинную знакомую. Расспрашивала меня о Европе. Я пожалел, что недостаточно информирован.

– Ты ей совершенно запудрил мозги. Потом она полгода только о тебе и говорила. Вестготские принцы или как их там еще, танцующие

на каком-то празднике с первой красавицей Франции, надгробие какого-то волшебника. Тебя было не остановить.

— Вестготские принцы? Ах, она и это запомнила?

— Послушай, когда через несколько недель после твоего отъезда мы с Рейчел обедали, я был для нее буквально пустым местом. Она сидела, сомкнув ладони, над тушеной уткой, глядела сквозь меня и говорила только о тебе. На лекциях ты читал нам об Еврипиде, Монтене, Александре фон Гумбольдте. Я давно все позабыл, а вот она не забыла.

Дядюшка Гейтс нахмурился: он не мог припомнить никакого волшебника. Я сказал, что его надгробие было подвешено к стене одного из парижских музеев.

— Музей Клюни. Никола Фламель. Он был алхимик, а не волшебник, Уильям.

— Ты рассказывал нам, что он превращал свинец в серебро.

— Да, 17 января 1382 года он трансмутировал восемь унций свинца. Его жена Пернель засвидетельствовала эту трансмутацию.

— В общем, Рейчел в тебя влюбилась, — сказал я. — Просто не верится, Господь свидетель, ты ей в дедушки годишься.

— Тебе недостает образования, — сказал дядя.

— Большое образование доводит до сумасшествия, — заметил я.

Обдумывая эту мысль, дядя Гейтс прошелся языком по зубам.

— Переврал, — сказал он, помолчав. — В Новом Завете сказано по-другому: "Большая ученость доводит тебя до сумасшествия"[1]. Хейзел — танцовщица, не так ли?

— Танцевала. Потом бросила. Критики все время писали, что она подает надежды. Ей это надоело, и она вышла за электрика из Юкайи.

— В этом дурдоме ничего не слышно, — сказал он. — Звериный шабаш. Хейзел вышла за электрика?

— За электрика из Юкайи.

— Юкайа, Юкайа, — повторил он. — Какое милое название.

— Это к северу от Сан-Франциско, — сказал я. — Там, кажется, что-то выращивают на деревьях.

— Мне это напомнило Малайзию, — сказал дядя. — Я лелею воспоминание об одном долгом дне на морском пляже. Уильям, тебе необходимо поглядеть на мир. Ты погряз в болоте.

Пять дней в неделю я работал и получал ровно столько, чтобы хватало на жизнь, поэтому в мои планы не входило без толку слоняться по какой-нибудь Малайзии. Я вдруг подумал, что почти не знаю дядю. Когда я был ребенком, он много путешествовал и заезжал к нам раз или два раза в год, оставаясь для меня чужим. Отец говорил, что он сколотил капиталец, играя на бирже, и я надеялся, что дядя научит меня, как разбогатеть на фьючерсных контрактах по сое или на чем другом.

— Неважно выглядишь, — сказал он. — Кишечник не барахлит?

Я ответил, что здоров, но родители, вероятно, недоумевают, куда я мог запропаститься.

Он ткнул меня в живот пальцем, походившим на ржавый коготь, и предложил наведаться еще разок к чаше с пуншем, которую назвал тазиком с медовым нектаром. До пунша он добрался не упав, хотя его изрядно пошатывало.

— Пей до дна либо вовсе не пей, — провозгласил он, поднимая черпак.

1. Деяния святых Апостолов. 26:24.

Я опасался, что дядя не удержит его в руках. Из лацкана выскользнула маргаритка, но он не заметил, как цветок оказался на полу.

– Давай я расскажу тебе о Низаме из Хайдарабада, – предложил дядюшка. – Сущий Крёз. В свое время он был богатейшим властелином в мире.

Я никогда не слыхал о Низаме, но, по крайней мере, с акулами было покончено. В молодости дядя в течение нескольких месяцев путешествовал по Индии, и я спросил, бывал ли он в Хайдарабаде.

– Конечно. Еще бы. Там проходила выставка сокровищ Низама.

Ответ прозвучал так, будто речь шла о волшебнике Изумрудного Города, но меня интонация не удивила. Меня изумляло лишь то, что дядя Гейтс и мой отец выпорхнули из одного гнезда. Отец не сделал бы и трех шагов, чтобы взглянуть на сокровища Низама. И никогда не ставил ни на соевые бобы, ни на свинину, ни на футбольную команду – ни на что на свете.

Какой-то голландец в хайдарабадском отеле сказал дяде Гейтсу, что до дворца Низама рукой подать, и дядя направился туда пешком. Топал битый час.

– Я решил ненароком, что голландец послал меня поохотиться за призраками, – заметил дядя.

Наконец он увидел дворец. Голландец не счел нужным упомянуть о том, что там есть мост, облепленный прокаженными. Многие из них были слепы, но поворачивались к дяде лицом по мере его приближения. У него создалось впечатление, будто их предупредили о том, что идет турист. Он сказал, что глаза у них были облачно-белые.

– Они были совсем близко, Уильям. Напирали, протягивали изуродованные руки. Некоторые совали под нос культи. Хватали за брюки, тащили за рукава, норовя сбить меня с ног. И знаешь, что пришло мне тогда в голову? Дантов ад. Иди дальше, Гейтс, приказал я себе, стоит тебе остановиться хотя бы на миг, и они тебя проглотят. Сожрут с потрохами!

Нахохлившись, как филин из Шони Кантри-клуба, он вспоминал день, когда пятьюдесятью годами ранее пытался не сойти с ума, пока вокруг него ревели и ползали, отталкивая друг друга, прокаженные.

Когда я спросил о сокровищах, он отмахнулся.

– Не дворец, а склад. Средней руки поделки вперемешку с изумрудами. У этого Низама вкуса не больше, чем у вороны. Набрал всякого барахла. Самый богатый человек на земле, а хлам от произведения искусства отличить не мог.

Дядюшка Гейтс избороздил Индию до того, как познакомился с тетей Рут.

– Тогда тебя, молодого, – сказал я, – окружали экзотические женщины чужой загадочной страны. Ты наверняка ощущал себя шмелем в цветнике.

Он пролаял, словно терьер, что подобные глупости не в его натуре, но призадумался.

– Была, помнится, одна женщина в аэропорту, – сказал он, выдавив улыбочку, – хотя не подумай, ничем интересным эта встреча не закончилась.

Его самолет приземлился в Калькутте в полдень. Жара стояла такая, что он помедлил, прежде чем выйти из салона на солнце. Привлекательная молодая женщина в форме компании "Алиталия" предложила

свои услуги. "Чем я могу помочь? Может, номер в отеле?" — "Отлично, это именно то, что нужно".

— Так вот, эта молодая особа нашла для меня комнату в гостинице "Нью-Истерн", усадила меня в такси и проинструктировала шофера. О таком сервисе я и не мечтал. Номер оказался почти шикарным. И если забыть о несусветной жаре, можно считать, что мое знакомство с Калькуттой удалось.

Едва оказавшись в номере, он рухнул на кровать, уснул и не вставал, пока не зазвонил телефон. Женский голос интересовался, не требуется ли чего. "Не нужна ли помощь?" — "Нет, все хорошо". Он решил, что звонит дежурная служащая отеля, проверяющая, довольны ли гости. Он поблагодарил ее за звонок, но в ответ услышал смех.

— Знаешь, Уильям, что сказала мне эта дама, прежде чем повесить трубку? "Сладких тебе снов, американец!"

Дядя смолк. Любопытно, подумал я, встречал ли он ее еще когда-нибудь, столь же молодую и притягательную, какой увидел впервые в калькуттском аэропорту.

— Годы шли, но меня редко беспокоил зов плоти, — продолжал дядя. — Быть может, в этом больше благословения, нежели проклятия.

Гостиницу "Нью-Истерн" он нашел вполне комфортабельной и сравнил ее с увядающей гранд-дамой, поблекшей и пообтрепавшейся. Ему понравился ресторанный зал в викторианском стиле, где играла ненавязчивая музыка, а учтивые официанты щеголяли в белых льняных сюртуках и тюрбанах. Украшенные вензелями серебряные приборы, душистые салфетки, цветы на столах и всевозможные карри. Первая трапеза его потрясла.

— Смотрю в десертное меню и поражаюсь, — сказал дядя, — потому что так же ясно, как сейчас твой нос, вижу там "Пломбир в горячей глазури по-американски". Ничего подобного я не ел с тех пор, как окончил школу. Бог мой, в детстве я легко уминал по две порции этой вкуснятины в магазине Уоткинса.

Он покачал головой — ему все еще не верилось.

Дядя Гейтс не мог припомнить, что́ он заказал на горячее, — вероятно, все-таки карри. Мысли его были заняты исключительно десертом. К тому времени, как он разгладил салфетку на коленях, ресторанный зал уже был полон. Дядя, преисполненный гордости за свое американское происхождение, заявил официанту, что желает мороженого в горячей глазури.

Приготовление заняло больше времени, чем он рассчитывал, но для такого десерта требуется внимание к каждой детали.

— Солидная порция ванильного мороженого нежно обволакивается разогретой карамельной глазурью. Поверх выкладываются всякие орехи: грецкие, бразильские, пеканы, кешью, какие угодно, все это покрывается горкой взбитых сливок, верхушку которой венчает ярко-красная вишенка. Без вишенки уже не то. У Дж. С. Уоткинса был самый вкусный в Канзас-Сити пломбир в горячей глазури. Возможно, в "Нью-Истерне" могли приготовить под стать ему, а то и получше. Вдруг здешний повар знает какой-то тайный рецепт.

Дядя Гейтс сказал, что мысли о пломбире унесли его в мальчишеские годы. Канзас-Сити обрел идиллическую ауру. Дядя вспомнил, как они с друзьями, Эвередом, Динком и Скотти, играли в теннис на растрескавшемся асфальтированном корте через дорогу от школы "Бордер Стар", где он научился читать. Вспоминал, как мисс Хейджддорф учила их пе-

нию, разделив класс на синичек и малиновок. А мисс Элмо, географичка с жирными черными волосами, била его указкой по рукам за то, что он плевался через трубочку жеваными бумажками в Уинифреда Гупту.

Наконец подали десерт: холмик талого снега на фирменной десертной тарелке "Нью-Истерна" с золотой каемочкой. Дядя Гейтс сказал официанту, что вышла ошибка. Официант внимательно поглядел на холодную жижу. Дядя напомнил, что заказывал пломбир в горячей глазури. Официант вторично, клюнув головой, обозрел тарелку.

— Пломбир в горячей глазури, — повторил дядя Гейтс. — Это не то. Вы принесли мне другое блюдо.

Официант немного наклонил голову, чтобы получше рассмотреть десерт.

— Это именно то, что вы заказывали, сэр.

— Нет, — сказал дядя Гейтс. — Я просил пломбир в горячей глазури по-американски. Не знаю, что́ вы мне принесли, но это не то, что я заказал.

Официант поджал губы и, казалось, задумался.

— В горячей глазури, сэр?

— Именно.

— Он перед вами, сэр.

— Унесите это, — сказал дядя Гейтс, — и скажите вашему повару, что я заказывал пломбир в горячей глазури. В горячей глазури! Ясно? Не забудьте про глазурь.

Официант забрал тарелку и поспешно удалился.

— Думаю, он почувствовал себя оскорбленным, — сказал дядя.

Минут через десять официант вернулся. Количество жижи на тарелке заметно увеличилось.

— Уильям, ты помнишь, как пахло формальдегидом в школьном кабинете биологии? Тот кисель, может, и не обрабатывали формальдегидом, но я до сих пор в этом не уверен. Когда я дотронулся до него ложкой, мне показалось, что он живой.

Дядя Гейтс задумался. Я спросил, съел ли он десерт.

— Я человек осторожный, — ответил он. — Опытов на себе не ставлю. Но решил попытать счастья еще разок и спросил, где же все-таки пломбир в горячей глазури. Меня, видно, опять не поняли, и я потребовал меню. Вот здесь, показал я официанту, написано. Видите? Это то, что я прошу. Принесите мне этот десерт.

— Как ты думаешь, с какой стати его включили в меню? — спросил я дядю. — Очевидно, просто не знали, что это такое.

— Я размышлял об этом не раз, — сказал дядя Гейтс. — Индия способна свести европейца с ума.

Он добавил, что, наверно, повысил голос, обсуждая неувязку с официантом, поскольку люди за другими столами стали оборачиваться. Дядя Гейтс говорил с резким акцентом, выдававшим американца со Среднего Запада, так что я живо вообразил, как он выделялся там, в Калькутте. Я даже представил себе эту картину: группа обедающих англичан или французов ворочает головами, чтобы взглянуть на невежу американца, затеявшего спор с официантом.

Я спросил, удалось ли дяде избежать участи путешествующих по Индии туристов. Говорили, она пользовалась дурной славой — там все заболевали. Все, но не дядюшка. Ничто не могло свалить его с ног, и не было случая, чтобы он чем-нибудь отравился. Дядя заявил, что индийская кухня восхитительна. Усаживаясь за стол, он с нетерпением дожидался

заказа. Только раз за все время странствий его настигло недомогание, о котором неприлично упоминать за столом, и было это после обеда в Американском клубе в Париже. Его подкосил приготовленный там рататуй.

Спустя примерно неделю после того случая с пломбиром дядя прогуливался по оживленной торговой улице и рассматривал витрины, как вдруг все замерло. С дружным грохотом опустились вниз железные ставни магазинчиков.

— В мгновенье ока, — сказал дядя, сцепив пальцы, — я остался на улице один.

До его слуха донесся шум, напоминавший спуск лавины или грохот клокочущего вдали водопада, и на улицу хлынул поток разъяренных людей, преследуемых полицией. Стражи порядка прикрывались проволочными экранами, походившими на европейские средневековые щиты, с той лишь разницей, что сквозь свои доспехи они могли видеть, кого преследуют. Большинство полицейских были вооружены бамбуковыми дубинками.

— На глаз чуть больше метра длиной. Попадешься под такую — до свадьбы не заживет.

Поскольку толпа гналась не за ним, а полиция гналась за толпой, дядя пришел к выводу, что до него никому нет дела, и прижался спиной к одной из ставень.

— Прикинулся статуей, — пошутил он.

Над головами летали камни, они отскакивали от полицейских щитов и, ударяясь о железные ставни лавок, падали и пускались по улице вскачь.

— Один раз пришлось подпрыгнуть, — сказал дядя.

Никогда прежде он не задумывался, какой силой могут обладать камни. Думаю, он не был столь уж осторожен, как ему казалось. Можно ли назвать осторожным человека, который протискивался сквозь толпу прокаженных и которому едва не раскололи череп в уличном бою?

Бамбуковые дубинки сделали свое дело. Дядя предположил, что провел в западне целых пятнадцать минут. Я спросил, чем были вызваны беспорядки. Как выяснилось, невдалеке находился стадион, где проходил важный футбольный матч, на который было продано слишком много билетов. Я сказал дяде, что, по-моему, он родился в рубашке, иначе его бы разорвали на куски.

— Вовсе не обязательно, — сказал он. — Люди взбунтовались, потому что их обманули.

Возможно, он был прав. В любом случае лично я вернулся бы в "Нью-Истерн" и выпил пару порций чего-нибудь покрепче. Но дядя Гейтс был не таков. Он запланировал посетить музей — ему хотелось поподробнее изучить индуистскую скульптуру.

— Ничто не сравнится с ней, — сказал дядя.

Слоноподобный Ганеша. Вишну, его девять аватар и одиннадцать, если не ошибаюсь, голов. Шива, Парвати, Дравиды, Священный бык Нанди, Карлик Вамана. Дядя мог говорить о них без умолку. Кришна имел шестнадцать тысяч жен — есть над чем призадуматься. Одна обезьяна, повстречавшись с Гаутамой Буддой, умерла от непомерного счастья. Сам же Будда умер после того, как поел несвежей свинины — не смог отказаться от угощения из уважения к ближнему. Дядя Гейтс, по-видимому, представлял себя в аудитории спрингфилдского колледжа. Я

слушал его краем уха, потягивал мартини и благодарил Вишну за то, что мне не пришлось просидеть на лекциях дяди целый семестр. Я помню, как он утомлял моих родителей разговорами о Софокле, канализационной системе в Мохенджодаро или походах некоего ассирийского полководца, о котором они слыхом не слыхивали.

Вишну сделал три гигантских шага и определил таким образом размеры Вселенной. Следует ли полагать, исходя из этого, что поставленные в "Упанишадах"[1] вопросы "Откуда мы? Где мы живем? Куда мы идем?" свидетельствуют о первых ростках самосознания?

В десятый раз я подумал о том, что нужно отыскать родителей и извиниться за то, что, к сожалению, я должен возвращаться в Сан-Франциско.

— Уильям, послушай. Кришна умер после того, как стрела попала в единственное уязвимое место на его теле — в пятку. Такое нам уже где-то встречалось. Вспоминаешь Ахилла? Царство Кришны ушло под воду. Теперь вспомни Атлантиду. И что же из этого следует?

Для меня — ничего.

Дядя побывал в нескольких древних святилищах, многие из которых оказались нещадно разрушены. Грабители наведывались туда в отсутствие охраны или по ночам. Уносили руки, ноги, головы статуй, а если удавалось, и фигуры целиком.

— От Нью-Йорка до Женевы в галереях мне встречались фрагменты изваяний и торсы из тех мест. Все это, конечно, прискорбно, но не стоит забывать о мраморных барельефах Элгина[2]. Если бы их не стащили, людской поток вокруг Парфенона снес бы половину. Что скажешь?

Он смолк, устремил взгляд в никуда, сделал шаг назад и оцепенел. Мне показалось, что ему стало плохо с сердцем. Затем он чихнул. На кончике носа повисла блестящая капля — вылитый злой волшебник из сказки.

День близился к концу, когда дядя Гейтс решил, что насладился индуистской скульптурой сполна. Перед музеем находился парк, густо заросший тропическим кустарником. Изнуренный жарой, дядя плюхнулся на скамейку.

— И спекся, как блинчик на сковородке, — заметил он.

По аллее, волоча ноги, к нему приближалась средних лет женщина с колтунами в желтоватых волосах и струпьями на лице — судя по внешнему облику, европейка. У скамьи она замешкалась, оглядывая дядю с головы до ног. На ней было грязное розовое платье и стоптанные башмаки с развязанными шнурками. На вид алкоголичка или наркоманка, не мылась, наверно, месяц. Она спросила, не ожидает ли он кого-нибудь. Акцент был австралийский.

— Нет, — ответил он.

— Пивом не угостите?

— Нет.

— Хотите, пойду с вами в отель?

— Нет.

— Хотите ко мне?

— Не хочу.

На этом, как сказал дядя Гейтс, темы были исчерпаны.

1. Один из древнейших памятников индийской древней литературы.
2. Детали фриза Парфенона работы Фидия, вывезенные в 1803 г. из Греции английским дипломатом и коллекционером Томасом Брюсом Элджином и проданные Британскому музею.

— Женщина, похоже, обдумывала ситуацию. Я надеялся, что она уйдет, но недолго думая она присела рядом. Если не считать исходившего от нее смрада, она мне не мешала. Надеюсь, я ей тоже.

Он вспомнил, как в сумерках порхали птицы, как из зарослей вдруг донесся короткий писк, означавший, вероятно, конец еще одной короткой жизни.

По аллее прошел босоногий индийский мальчик лет восьми, с лучистыми карими глазами, и встал напротив скамейки, уставившись на сидящих. Из одежды на нем была лишь набедренная повязка. Спешить ему явно было некуда, он сел, скрестив ноги, прямо на пыльную землю. Все трое молчали.

— Сидели, как три мартышки в джунглях, ожидая, пока стемнеет, — сказал дядя Гейтс.

На той скамейке он подумал, что мог бы провести оставшуюся жизнь в Калькутте. За несколько сот долларов в год найдется и ночлег и обед в какой-нибудь индийской семье. Ходи себе по музеям, когда захочется. Можно даже разузнать побольше об этой женщине, хлебнувшей лиха, судя по лицу. Да мало ли чем еще можно заняться в Калькутте. Стоит ли возвращаться в сумасшедший дом?

— Ну и чем кончились ваши посиделки? Ты, австралийская куртизанка и Маугли?

— У тебя каша во рту, — сказал дядя.

— Я спрашиваю, ты угостил проститутку и мальчика в ближайшем кабаке?

Он забыл, кто ушел первым. Не важно. Ничто не имело значения. Индия начала затягивать его в себя так же, как на протяжении столетий затягивала несметное количество других людей. Он сказал мне, что понял, почему британские колонисты, встречаясь в клубе и день за днем, год за годом обещая друг другу вернуться в Англию, спивались.

Вскоре после того, как дядя отклонил предложение проститутки, он заглянул в личную санитарную книжку и обнаружил, что истек срок прививки от оспы. Разумные путешественники предпочитают не рисковать. Малярия, желтуха, холера, оспа, тропическая лихорадка, тиф — какие только сюрпризы не преподносит Восток простофиле. Что предпринять? Обратиться в ведомство общественного здравоохранения, которое призвано о нас заботиться.

В кабинете врача, которому дядя предъявил свою санитарную книжку, находились две собаки, страдавшие чесоткой и кашлем. Доктор полистал книжку, открыл какой-то ящик и пошарил в нем рукой. По дну ящика катались склянки, иглы, скальпели, ватные тампоны, карандаши, шприцы и еще всякая всячина. Но внешняя сторона дела дядю не смущала.

На вторую ночь он включил прикроватную лампу, чтобы осмотреть место вакцинации: по внутренней стороне руки на три дюйма вверх поднималась подозрительная красная полоса. Дядя разглядывал ее, сидя на краю кровати, и уже не сомневался, что попал в беду. Он оделся и спустился в вестибюль, где не было никого, за исключением ночного портье и еще одного индийца. Дядя Гейтс закатал рукав.

Портье присвистнул и заквохтал:

— Очень плохо. Нехорошо.

Дядя сказал, что ему нужен доктор. Портье обсудил это с приятелем. Они говорили на хинди — и вот все, что дядя Гейтс понял: в этом языке он ни черта не смыслит.

Портье поглядел на часы и озадаченно промычал: мол, очень поздно.

— Его приятель взглянул на мою руку, и индийцы поговорили между собой еще, а по-моему, так просто покудахтали.

Приятель портье кивнул дяде. Дядя Гейтс последовал за ним вниз, через сырой коридор и кухню, затем через черный ход на улицу, где под деревянным навесом стоял мотоцикл. Завести мотоцикл с первого раза не удалось. Но вскоре они уже катили по Калькутте, и дядя Гейтс прижимался к индийцу, как к любимому брату после долгой разлуки. Их подбросило на разбитом тротуаре возле какого-то викторианского памятника, после чего мотоцикл с ревом въехал в переулок. Индиец затормозил, остановился и прокричал что-то в сторону постройки, походившей на склад. Внутри кто-то откликнулся, но свет не зажегся. Мотоциклист слез со своей машины и постучал в дверь. Ответом было молчание. Дядя Гейтс решил, что доктор, или тот, кто был внутри, повернулся на другой бок и уснул.

— В больницу, — сказал дядя Гейтс индийцу. — Госпиталь!

Тот пожал плечами. Тишину переулка снова взорвал рев мотоцикла.

Грузная толстуха в сари цвета павлиньего хвоста провела дядю в один из больничных кабинетов. Он присел, чтобы дождаться врача. Она и оказалась врачом. Дядю обуяло дурное предчувствие. Он закатал рукав. Красная полоса добралась уже до локтевого сгиба. Толстуха мельком взглянула на руку, ушла и вернулась с пузырьком таблеток: принимать по одной каждые четыре часа.

По завершении леденящей душу поездки на мотоцикле дядя проглотил одну таблетку и полчаса просидел на краешке кровати, вглядываясь в шкалу термометра. Ему казалось, что он сделал все необходимое и нет смысла волноваться: наутро он будет здоров либо проснется в бреду, либо вообще не проснется — так уж лучше поспать.

Его разбудило солнце. Рука выглядела не хуже, чем накануне. Он выпил лекарство. Одну таблетку он принял в десять, в два часа принял следующую и еще одну — в шесть. Казалось, гнусная краснота отступает. На следующий день он уже был в этом уверен.

Я сказал, что на его месте я бы запаниковал.

— Думаешь, помогло бы? — спросил он.

На улице у "Нью-Истерна" у него вышла серьезная стычка с мальчиком-рикшей. Как объяснил дядя, "рикша" происходит от японского слова, обозначающего повозку и человеческую силу, то есть это двухколесное устройство, которое приводят в движение один или два человека. Индийский вариант, строго говоря, нельзя назвать рикшей, поскольку он представляет собой трехколесный велосипед. Но речь, в общем, не о том. Стоило дяде выйти из дверей гостиницы, как на него со зловещими криками, точно летучие мыши, накидывались юные рикши. Дяде не хотелось, чтоб его возили по Калькутте на велосипеде, и он отгонял мальчишек: "Вон отсюда! Пошли прочь!"

Через несколько дней рикши стали узнавать его и отстали, все, кроме одного, несносного жилистого коротышки цвета корицы, непробиваемого, как броня.

— Короче говоря, Уильям, мы сделались врагами. Сотню раз я велел ему оставить меня в покое. Думаешь, он послушался? Ха!

Как-то дядя Гейтс решил выйти прогуляться. Недавно прошла сильная гроза, и воздух благоухал невероятной свежестью. Небо оставалось облачным, ливень мог повториться, поэтому дядя захватил зонт. Прежде чем выйти из гостиницы, он окинул взглядом часть улицы, видневшу-

юся из широкого окна: ненавистный рикша, мокрая макака, сидел на своем месте.

— Мог бы попросить швейцара или кого другого прогнать его оттуда, — сказал я.

— А как же чувство собственного достоинства?

Дядя сжал в руках зонт, шагнул за порог и начал быстро удаляться от гостиницы, но враг не отставал, нажимая на педали и выкрикивая оскорбления на двух языках. Справа лежало ухабистое поле — по такой поверхности рикше ехать затруднительно.

— Не знаю, что на меня нашло, — сказал дядя. — Помню только, я думал, что рехнусь, если не отвяжусь от этого чумазого чертенка. И вот, не успел я сделать и трех шагов, сойдя с тротуара, как понял, что попал в переделку. Там было болото. Проклятый паршивец орал во всю глотку, я обернулся и увидел, что он скачет по улице, как саранча. О том, чтобы вернуться, не могло быть и речи.

Дядя пошел вперед и пережил, как он выразился, крещение в мире, которое сам описывал так, будто был сторонним наблюдателем. Будто видел, как некий горе-путешественник пробирался сквозь топь и, преодолев подобно Беньянову паломнику[1] Трясину Отчаяния, ступил в Долину Унижения. Но человеком, который чуть не увяз в болоте, потрясая зонтом и кулаками и сотрясая землю и небеса проклятьями, был не кто иной, как сам дядя Гейтс.

— Даже сегодня, Уильям, я не в силах объяснить свой поступок, — сказал он.

Ему захотелось посетить знаменитую черную пагоду в Конаке, что примерно в пятистах километрах к югу от Калькутты, на берегу Бенгальского залива. По времени — одна ночь в поезде. Дядя позволил себе удовольствие ехать вторым классом, потому что в третьем классе пришлось бы спать на деревянной лавке либо, если все лавки уже заняты, целую ночь провести сидя. Его соседом по купе оказался приятный молодой человек, студент университета из Бангалора, который живо поддерживал беседу и не выключал верхний свет.

— На следующий день меня качало от недосыпу, — сказал дядя.

Подходя к Конаку, он увидел лежавшую в пыли старуху; она выла и махала руками. Когда он шел обратно, старуха неподвижно лежала на том же месте.

В нескольких километрах к северу от Конака находятся храмы Бхубанешвара, возвышающиеся над равниной, словно гигантские початки кукурузы. Трясясь в автобусе, дядя заметил какое-то существо, передвигавшееся вверх по дороге вприпрыжку — то ли раненая собака, то ли бабуин. Так или иначе, по всему было видно, что существо это очень спешит. Увидев его вблизи, дядя понял, что это человек — голый мальчик с лохматой гривой, скрюченный в три погибели, так что крестец был выше головы.

— Сомнений не осталось, — сказал дядя, — когда он, ковыляя мимо автобуса, поднял на меня глаза. Взгляд был человеческий.

В Бомбее он видел, как на тротуаре умирала от голода женщина, в то время как полицейский в белой каске и чистых белых перчатках, стоя в будочке на перекрестке, управлял движением транспорта. Дядя сказал, что полицейский знал о лежавшей женщине, но предпочитал не вмеши-

1. Джон Беньян (1628–1688) — английский писатель-пуританин, автор книги "Путь паломника".

ваться. Если бы ее даже отправили в больницу, ситуация не изменилась бы к лучшему. Выписавшись после лечения, она умерла бы голодной смертью.

Поворачивая за угол, дядя столкнулся с процессией, во главе которой в ярком убранстве, увешанный драгоценностями, шествовал слон, вселявший ужас своим величием.

— Я встал как зачарованный. Да, Уильям, я так-таки встретил слона с рубином во лбу.

Из Бомбея дядя Гейтс направился на восток, в Эллору, чтобы посмотреть на храм XVIII века в Кайласе, высеченный прямо в скале фантастическими усилиями людей. Над ним сообща трудились джайны, индуисты и буддисты. Дядя считал, что скульптура джайнов менее вызывающа, нежели их теология, которая учит, что любая материя, будь то одушевленное существо или неодушевленный предмет, бессмертна. Ортодоксальные джайны носят маски, дабы не дышать на других, ходят с метлой, расчищая путь под ногами, отказываются есть в темное время суток, чтобы случайно не проглотить мошку. Дядю забавляло, что среди джайнов ему попалось несколько ростовщиков.

На север, в Аджанту, дядя отправился ради фресок времен раннего буддизма. Он сошел с автобуса в пустынной местности за Аурангабадом, примерно в километре от ближайшей пещеры. Нужно было решать: тащить багаж с собой, вверх по пыльному склону, изнывая от жары, или оставить его у дороги. На пригорке он заметил двадцать или тридцать человек, сидевших на корточках и наблюдавших за ним с большим интересом, вполне, впрочем, оправданным: дядя оказался единственным в обозримом пространстве европейцем. Фрескам и скульптурам Аджанты было почти две тысячи лет, место это давно уже посещали туристы, и он надеялся найти там справочное бюро, а возможно, и гида.

— Я был наивен, как дитя, Уильям. Автобус доставил меня на другую планету.

Багаж дядин был невелик: один чемодан и драный хлопчатобумажный мешок для грязного белья. Но ему предстоял неприятный пеший поход от дороги к пещерам.

Дядя клялся, что солнце пекло — хоть ящерицу поджаривай. Он провел несколько минут, раздумывая, как поступить. Может, положиться на Вишну? Говорят, Вишну помогает человеку, которого терзают сомнения. "Так, возьми себя в руки", — приказал себе дядя, затем улыбнулся и дружелюбно помахал рукой публике, сидевшей на пригорке. Ответной реакции не последовало. Дядя вынул из кармана бумажник и махнул им. Этот призыв сподвиг одного из зрителей спуститься вниз. Дядя Гейтс указал ему пальцем на чемодан, на мешок, на скалу, затем раскрыл ладонь и предъявил банкноту. Он не знал, понял ли его тот человек, но делать было нечего — дядя вряд ли добился бы большего, стоя на месте, поэтому он раскрыл зонт и двинулся вперед.

— А если бы чемодан и мешок исчезли? — спросил я.

Он довольно резко ответил, что бумажник и зонт были при нем.

— На протяжении тысячелетий Аджанта была недоступна. Какие-то британские солдаты, охотясь за тигром, повстречали юного индийского дикаря, который провел их через ущелье к скале, где они увидели гигантскую статую Будды. В этом месте тоже соседствуют изображения и скульптуры божеств трех основных религий: буддизма, индуизма и джайнизма. В мое посещение там не было электричества.

У входа в первую пещеру ему вызвался помочь один мальчик, державший в руках отшлифованную жестяную пластину, которая отражала солнечный свет. Освещение было неяркое, но сносное, и дядя два или три часа рассматривал пещеры. Когда он вернулся на дорогу, его имущество находилось там же, где он его оставил. Он расплатился с хранителем багажа, не заглянув в чемодан, чтобы ненароком не оскорбить человека.

Из Аджанты дядя снова поехал на север, в Агру, к Тадж-Махалу. В детстве он видел изображение мавзолея в разделе ротогравюр журнала "Стар". Он спрятал эту картинку в один из школьных учебников и начал откладывать серебро и медяки из своих карманных денег.

Была глубокая ночь, когда поезд, шедший в Агру, остановился. Вывеска на английском языке гласила "Уттар-Прадеш" — не город, а штат, — и чтобы не терять времени сидя на станции, дядя решил пройтись. Как только он вышел из поезда, в нос ударило мочой.

— Я поездил по Мексике и другим странам Центральной Америки, я обогнул Африку, — заметил дядя, — но Индия не имеет себе равных, в особенности если вдруг окажешься поблизости от какой-нибудь стены.

Чем дальше отходил он от станции, тем становилось темнее.

— Темнее, чем в царстве Аида, поднятой руки не рассмотреть.

Вскоре дядя вообще перестал что-либо видеть и решил, что надо возвращаться. Его не на шутку обеспокоила мысль, что так недолго и заблудиться. Несколько минут спустя он поравнялся с двором, где горел неяркий костер. Поглядев на него, дядя двинулся дальше. Потом остановился, задавшись вопросом, не мираж ли это. Решив, что, прежде чем продолжить путь, следует выяснить, не сходит ли он с ума, дядя вернулся обратно. У костра, накрывшись с головой одеялом, сидел человек, напоминавший средневекового монаха, а перед ним лежала груда скелетов.

— Признаюсь тебе, у меня отлегло от сердца, — сказал дядя Гейтс. — Я боялся, что все это мне привиделось.

До станции он добрался за несколько минут до отправления поезда. Ни о скелетах, ни об их таинственном страже, гревшемся у костра, дядя больше не обмолвился. Это была неотъемлемая часть Индии — так же, как пломбир в горячей глазури являлся частью Америки.

Когда я спросил, так ли хорош Тадж-Махал, как его расписывают, дядя Гейтс напустился на меня с криком:

— Уильям, побойся бога! Это истинный шедевр.

В архитектуре Тадж-Махала он видел тонкое сочетание индуистского и мусульманского стилей, динамичное воплощение женского начала. Мавзолей выстроен из белого мрамора, украшен орнаментами из ляпис-лазури, гелиотропа, яшмы и других самоцветов, названия которых он позабыл. Там и сложный мусульманский лепной орнамент, и плавная арабская вязь, эстетически более привлекательная, нежели наше западное, удобное, но лишенное изящества письмо. Мавзолей построен в XVII веке Шах-Джаханом в честь любимой жены по имени Мумтаз Махал.

— Дай-ка подумать, — сказал дядя. — Да, эта женщина скончалась в 1631 году. Все верно. Они прожили в браке девятнадцать лет. Мумтаз Махал умерла, рожая их четырнадцатого ребенка. Четырнадцатого! — На его морщинистом лице сверкнула ехидная улыбочка. — Как ты полагаешь, эта дама всю свою жизнь провела в горизонтальном положении?

Вероятно, он отпустил одну из тех шуточек, которые позволял себе на лекциях.

Шах-Джахан намеревался возвести подобную усыпальницу и для себя, но из черного мрамора и на противоположном берегу реки Джам-

ны, и затем соединить оба мавзолея серебряным мостом, но вмешался Шива-разрушитель. Шах-Джахан умер.

— Поэтому, Уильям, он покоится рядом с Мумтаз в склепе под чудесным замысловатым полом Тадж-Махала. Думаю, сейчас склеп открыт для посетителей, хотя в мое время неверные туда, кажется, не допускались. Потолок и стены покрыты золотыми пластинами с вкраплением бесчисленного множества драгоценных камней. Над обоими саркофагами — балдахины из жемчуга. Можешь себе представить, что произошло, когда пришел конец мусульманскому господству. Вандалы вынесли оттуда все. Vanitas vanitatum et omnia vanitas[1].

Из всего, что дядя увидел за неделю, проведенную в Агре, наиболее отчетливо ему запомнилось шоу в ночном клубе. На последнем этаже гостиницы был театр, где каждый вечер устраивалось музыкально-танцевальное представление для туристов. Не вставая с кресла, лишь глянув в окно, он мог любоваться пронизанным лунным светом Таджем.

— В столь идеальных условиях это все равно, что слушать музыку или предаваться мечтам, — сказал дядя.

Ему вспомнилось, как Колридж, одурманенный, словно вкусившая макового нектара синяя птица, вообразил, что созерцает воздушный дворец Кубла Хана, где цветут деревья, источающие фимиам[2].

Дядя Гейтс поднял бокал.

— Берегись того, кто пьет нектар и срывает райские плоды!

Во время представления дядя с трудом сдерживал слезы. Он рассказал мне, как Шах-Джахан плавно, словно змея, следовал за Мумтаз Махал и метался по сцене как обезумевший всякий раз, когда она исчезала.

— Уильям, я был буквально потрясен, — сказал дядя.

Другие зрители, по его словам, испытывали подобные чувства: вокруг слышались всхлипы и сопение.

Декораций как таковых на сцене не было, лишь дымка из нескольких газовых занавесок. Мумтаз вышла в гаремном облачении, но дядя подозревал, что костюм не соответствовал XVII веку. На щиколотках — связки колокольчиков, на пальцах — крошечные медные цимбалы. Лишь только к ней приближался Шах-Джахан, она принималась звенеть цимбалами и, полная истомы, ускользала, скрываясь за прозрачной тканью, будто покидала наш мир под все более отчетливый ритм цимбал.

Дядя Гейтс вздохнул, поставил бокал на стойку бара и высморкался.

— Знаешь, — сказал он, засовывая носовой платок в карман, — у меня буквально разрывалось сердце. Разбила сердце мне разлукой та, чьи волосы темны как ночь.

Ума не приложу, кого он цитировал. Пятьдесят лет преподавать литературу и историю, проверять письменные работы студентов — ради чего? Он мог до второго пришествия рассказывать о римских императорах и египетских фараонах, романах Генри Джеймса и куче всего другого, что скопилось в его голове за многие десятилетия, проведенные за книгами. И что же? Студенты посмеивались над его лекциями, допотопными галстуками бабочкой, над его короткими кхе-кхе или затяжным кашлем, потом, рано или поздно окончив курс, начинали заниматься делом, а его отправляли в общую корзину студенческих баек.

1. Все суета сует и все — суета (*лат.*).
2. Имеется в виду неоконченная поэма Сэмюэла Тейлора Колриджа (1772–1834) "Кубла Хан, или Видение во сне".

Интересно, удостоился ли он золотых часов от попечительского совета или банкета в свою честь, когда выходил на пенсию? Колледж мог бы издать его воспоминания небольшим тиражом, в красивом кожаном переплете. Только вряд ли нашлись бы читатели.

Дядя нахмурился и глотнул еще пунша. Он успел во что-то вляпаться — на запястье, будто кровь, алело пятно.

Из Агры он поехал в Дели, где выбрал хороший отель — в то время такое мог позволить себе почти каждый европеец. На всех этажах отеля на стуле в конце коридора сидело по мальчику. Ночью их сменяли другие мальчики. Дяде Гейтсу захотелось посетить Хаджурао, и он купил билет на самолет, вылетавший из Дели утром, чтобы до заката вернуться обратно. Коридорного он предупредил, что будет отсутствовать весь день.

— Господь свидетель, я совершал ошибки, — сказал дядя, — но эта была ни с чем не сравнима.

Вернувшись из Хаджурао, он заметил, что его чемодан сдвигали с места: разница составляла всего несколько сантиметров, но глаз ее подметил. Он сразу понял, чего следует ожидать. Исчезли туристические чеки. На черном рынке товар ходовой, один неподписанный чек идет за пятьдесят центов к доллару.

— Стащил чеки мальчишка, — возбужденно поведал дядя. — Когда я сказал этому негодяю, что кто-то побывал в моем номере, он вскочил и заорал: "Мы находить плохой люди!" Носился по коридору как угорелый. В жизни не видал такого наглого притворства.

Я спросил, сообщил ли он о пропаже управляющему.

— Громче, Уильям. Говори громче.

— Ты сделал официальное заявление?

— Разумеется, только это ничего не дало. Спустя час прибыл местный следовáтель, толстый, как бегемот, с участливыми карими глазами и усами, свисавшими лохматой мочалкой. Этот тип без предупреждения вломился в мой номер и, развалясь всей своей тушей, принялся меня допрашивать. Я специально подчеркнул, что ранее дежурный спрашивал, не желаю ли я обменять деньги на черном рынке, поэтому поиск мошенников следовало бы начать с гостиничного персонала.

Я вставил, что давать советы полицейским опасно, но вряд ли дядя меня расслышал.

Он сказал, что детектив держал в руках тяжелую связку ключей, которыми, вероятно, мог открыть все что угодно: любой номер, ванную комнату, кладовку, бельевую или прачечную отеля.

— Он все позвякивал и поигрывал этими ключами. Уильям, он был хуже любого турка с четками, к тому же испортил воздух. Вдобавок в номере был только один стул, так что мне пришлось сидеть на кровати.

Некоторое время детектив задавал дяде Гейтсу вопросы. Наконец он хрюкнул, вздохнул и убрался из комнаты, оставив на тумбочке гигантскую связку ключей.

— Похоже, тебе попался самый нелепый сыщик в мире, — сказал я. — Вначале он, вероятно, заподозрил, что ты связан с черным рынком, потом забыл ключи, а в довершение ко всему навонял.

— Вот именно, — сказал дядя Гейтс, — хотя такое может случиться где угодно.

Я спросил, возместил ли ему кто-нибудь ущерб.

— "Американ экспресс", но у меня сложилось впечатление, что они отнеслись ко мне с недоверием. Уильям, боюсь, я потерял нить. На чем мы остановились?

— Хаджурао, — напомнил я. — Мы отправились в Хаджурао либо только что оттуда вернулись. Тут я не уверен.

— Да, вспомнил. Путешествие было недолгим — каких-нибудь четыреста километров по воздуху, потом из аэропорта Панны сорок пять минут на автобусе. Там есть пансион для желающих переночевать, но мне он не приглянулся. Место, в отличие от Конака, к пикнику не располагало. Раскаленная равнина, по которой разбросаны храмы и святилища. Я даже пожалел, что не захватил зонт. А известно ли тебе, Уильям, что в прошлом Хаджурао был многолюдным городом, сплошь застроенным кирпичными и деревянными домами? Верится с трудом.

Дядя ожидал увидеть там толпы туристов, но людей насчитал не более дюжины, причем почти все увлеченно фотографировали. Я спросил про воров и вандалов. Он сказал, что изуродованных статуй было довольно много, но насчет вандализма сомневался.

— Рупии, рупии — все дело в них. Но сколько бы эти мерзавцы ни прикарманивали, им невдомек, что на Мэдисон-авеню богиня Шакти принесла бы им гораздо больше.

Немного подумав, он вспомнил, что в музее Калькутты любовался фрагментами статуй, украденных, скорее всего, из Хаджурао. Но, доступные публике в галереях разных частей света, они показались ему живее, теплее и одушевленнее, чем всё, что он увидел, лазая по обезлюдевшим храмам на бесплодной равнине к югу от Дели.

Так же как и в Конаке, в Хаджурао не осталось ни одного сантиметра голого камня — сплошная резьба. Повсюду изображения Вишну и его различных воплощений. Цари и царицы, битвы слонов, Шива со своей супругой Парвати, монстры-гибриды, цветы, бог Солнца Сурья в колеснице, запряженной семеркой лошадей.

— И конечно женщины, — хихикнул дядя Гейтс, — женщины и еще раз женщины. Тысяча и одна ночь.

В особенности ему понравилась женская фигура, изгибающаяся в танце: от прикосновений миллионов рук ее пышные груди потемнели и отполировались. Он полагал, что ей около десяти веков. Каменное изображение напомнило ему Мумтаз Махал, танцующую для Шаха-Джахана.

— На какую-нибудь из западных Венер тоже приятно смотреть, но на фоне сладострастных индийских богинь наши знаменитые дамы блекнут.

Он любил все древнее и неизведанное. Разбитые колонны, живопись, книги, монеты, средневековую скульптуру, манускрипты, артефакты, пирамиды, мавзолеи — все, что было тронуто временем. Наверно, он постоянно что-то искал — может, синюю птицу? И ради этого выставил себя на посмешище, потребовав американский пломбир; спасался от града камней во время побоища футбольных болельщиков; под полуденным солнцем избороздил уйму богом забытых мест, не расставаясь с зонтом, словно ненормальный англичанин; подхватил заразу в калькуттской больнице; отбивался от прокаженных, вонючего детектива и наглого мальчика-рикши и где-то у Аурангабада бросил свой багаж посреди дороги. Мне казалось, его старый мешок набит ужасными историями и эксцентричными выходками.

Исследовав Дели и его окрестности, дядя сел на ржавый грузовой самолет, чтобы после тряского полета над горным хребтом призем-

литься в Катманду, где наткнулся на трех непальцев, спустившихся с Гималаев.

— В меховых сапогах и меховых шапках-ушанках, как монголы из войска Тамерлана, — рассказывал дядя, — эти деревенские жители любовались видами и яркими огнями Катманду. Поравнявшись с ними на улице, я сказал себе, что вряд ли когда-либо еще увижу нечто подобное, и обернулся. Представь себе, Уильям, эти голубчики тоже обернулись, чтобы еще раз взглянуть на меня.

В Бенарес он отправился для того, чтобы увидеть Ганг, который назвал самой грязной рекой на планете.

— Индусы заходят в эту воду и купаются, но я так и не понял, как они остаются живы. Один нырок угробит любого европейца.

Он наблюдал за погребальными обрядами: мужчины в белых, женщины в цветных одеяниях. Его тошнило от смрада горящего мяса. Он заметил, как тонкая кость, вероятно, от женской руки, выпала из погребального костра и покатилась вниз, к Гангу. Человек, следивший за костром, принес ее обратно и бросил в пламя, точно деревяшку.

— Не знаю почему, но я по сей день вижу, как эта несчастная кость катится вниз, к реке, — сказал дядя.

Я поинтересовался насчет сувениров. В Дели в засиженной мухами лавке, набитой всякими штамповками, он обнаружил кипу рисунков эпохи Великих Моголов. На них были раджи, павлины, кобры, обезьяны, львы, борцы, великаны-людоеды, купальщицы, музыканты, любовники, журавли, акробаты, глотатели кинжалов. Дядя купил две дюжины листов, по рупии за каждый. Мазки на некоторых из них наводили на мысль о том, что здесь мастер наставлял ученика. Вернувшись в Спрингфилд, дядя вставил рисунки в рамы и развесил в своей библиотеке.

— Еще поездки планируются? — спросил я.

Он ответил, что хочет съездить в Персеполь[1]. Давно мечтает. Судя по карте, путь утомительный. Из Тегерана на юг в Исфахан, затем еще южнее, в Шираз, потом каким-нибудь попутным средством на северо-восток, к развалинам города. В молодости, лет в двадцать пять, когда он запросто мог ходить пешком день напролет, его остановила дороговизна этого путешествия. До сих пор он не простил себе, что там не побывал.

— Проехать бы по Персеполю верхом, как Александр Македонский в день своего триумфа. Да, Уильям, такое сравнимо лишь с лучшими строками Марло[2], Великий Выскочка[3] извелся бы от зависти. Может, следующим летом соберусь. Надо поразмыслить.

Я узнал об этом от отца через несколько месяцев после торжества в клубе. Дядя Гейтс, очевидно, уснул в своей библиотеке и не проснулся. Мне кажется, знай он наперед, как все завершится, счел бы такой финал подходящим. Я вспомнил его слова: "Я так-таки встретил слона с рубином во лбу".

1. Древняя столица Персидского царства.
2. Кристофер Марло (1564–1593) — английский драматург.
3. Прозвище Шекспира, данное ему в начале творческой карьеры в 1592 г.

Влодзимеж Ковалевский

Авторский вечер

Рассказ

Перевод с польского М. Габачовой и О. Катречко

ТОЛСТАЯ ковровая дорожка в коридоре вагона первого класса и мягкая обивка приглушали стук колес. В купе врывался мятущийся пастельный свет угасающего дня, оранжевые блики прыгали по спинкам пустых кресел напротив, искрами вспыхивали в зеркале, висящем под сеткой для багажа, расцвечивали украшающие интерьер фотографии излучины Майна вблизи Китцингена и снежных шапок горного массива Цугшпитце.

Он прижался щекой к подголовнику, пропитанному железнодорожной гарью. За окном в нервном жестком ритме проносились сжатые поля с висящей над стерней пылью, плотные ширмы елок, утомленных долгим летом, иногда — то маленькие, то побольше — зеркала озер, столь темноводных, будто в них отражалось все самое черное, что ни есть в небе. Было жарко. Порывы ветра, ударяющие в лицо, оставляли кисловатый привкус паровозного дыма.

Не очень уже свежим платком он вытер пот со лба и висков, достал очки, попытался читать. Но глаза резало от усталости, буквы плясали. Поэтому он лениво отложил купленные на мюнхенском вокзале шелестящие страницы "Neue Rundschau" и "Literarische Welt"[1], которые, по правде говоря, уже успел тщательно изучить за многочасовую дорогу, сунул очки в футляр из змеиной кожи и вышел в коридор.

В вагоне было пусто. Еще до первой и второй польской границы он слышал тихий гул голосов, доносившихся из соседних купе, но потом остался

© by Wydawnictwo W. A. B., 2003
© М. Габачова, О. Катречко. Перевод, 2007
1. "Новое обозрение", "Литературный мир" (*нем.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

совершенно один в мчащемся пульмане, полном плюша и бархата, граненого стекла и полированной латуни, по-своему красивом той, высмеиваемой ныне, изысканностью имперских времен. Странная это была поездка. В провинцию, лежащую за двумя границами чужой страны, как будто в другом мире. Вдруг ему вспомнилась "Другая сторона" Альфреда Кубина[1], причудливый, обойденный вниманием роман прошлых лет, о котором не упоминает даже скрупулезный, как аптекарь, Клабунд в своей "Literaturgeschichte"[2]. Его герои путешествуют в царстве грез, жутком, заброшенном куда-то на задворки цивилизации анклаве — творении миллионера-безумца, где правят законы ночного кошмара. Сравнивать царство грез с Восточной Пруссией? Вздор. Однако он чувствовал себя так, словно час назад и вправду пересек черту, за которой в ночи вырастает та самая, вселяющая тревогу, кубинская стена, — и теперь он как раз направлялся в глубь некой таинственной "той стороны". Необычные ощущения — и подлинная дрожь страха на спине под холодящей кожу шелковой сорочкой. И голос рассудка — ведь он едет туда не в первый раз: не далее как три недели назад они с Катей и детьми вернулись из Раушена[3], проведя целый август на балтийском пляже. Только это было чуть севернее.

Он очнулся. Стремительно несущийся за окном пейзаж отнюдь не наводил ужаса, но все же — и он был в этом абсолютно уверен — приковывал внимание чем-то, что можно было бы назвать "неприметной на первый взгляд особостью".

Контуры сосен резко вырисовывались на фоне неба в легком и сухом воздухе, обеспечивающем буквальность видимого. Никакой там не Stimmung[4], никаких художнических фантасмагорий, никаких туманов, радуг и цветных дымок. Все здесь было очевидным, однозначным, понятным. Леса, расставленные как войска, на холмистой местности: шеренги, каре, ряд за рядом, ниже, выше, темно-зеленые, переходящие затем в далекую синеву. Луга и поля — просторные, четких форм; дороги прямые либо сворачивающие ровной дугой куда-то за горизонт, с парой отпечатавшихся в желтом песке колеин. Красные крыши и красные стены деревушек, льнущие к высокому авторитету церковных колоколен. Опрятные, обвитые диким виноградом полустанки, которыми пренебрегают экспрессы и скорые поезда; появляющиеся и тут же исчезающие дежурные по станции, застывшие с флажками в руке.

С другого конца вагона бесшумно приблизился молодой проводник с некрасивым, слишком широким лицом. На фоне равномерно, точно шарфы балерин в медленном танце, вздымающихся занавесок на окнах он выглядел как привидение.

— Когда будем в Алленштайне[5]?

— Без малого через час. Как раз проехали Эйлау, еще только одна станция, Остероде[6], — сухо сообщил он, окинув пассажира удивленным взглядом из-под козырька фуражки, будто бы неожиданно узнал в нем человека, которого недавно видел где-то еще. Неужто проводники железнодорожных составов почитывают литературные журналы?

1. Альфред Кубин (1877–1959) — австрийский художник и писатель, соединивший в своем творчестве черты символизма, экспрессионизма и сюрреалистического гротеска. Работал в области книжной графики (иллюстрировал книги Т. Манна., Э. По, О. Шмица).
2. "История литературы" (*нем.*) Клабунда (наст. имя Альфред Геншке; 1890–1928).
3. Название Светлогорска в Калининградской области до 1946 г.
4. Настроение, эмоциональное состояние (*нем.*).
5. Немецкое название города Ольштын (Польша).
6. Немецкие названия польских городов Илава и Оструда.

Очень захотелось выпить холодного вина, и через минуту, сам не зная как, он очутился в вагоне-ресторане. Несколько столиков были заняты, за ними сидели — морской офицер Reichsmarine[1], доедавший свой поздний обед, пара любовников средних лет, несомненно любовников, иначе они не смотрели бы так друг на друга поверх пустых бокалов, толстый папаша и двое подобных ему сыновей-близнецов, разве что конопатых, еле-еле шевеливших губами — рты были забиты пирогом, крошками от которого они успели уже замусорить чуть ли не полвагона.

Белый нирштайнер, вынутый изо льда, приятно защипал язык, расплываясь волнами вкусовых ощущений: от обычной терпкости, переходящей в тонкий аромат апельсиновой цедры, едва уловимый привкус мускатного ореха и наконец в естественную свежесть влажных, только что сорванных виноградных гроздей.

Он непроизвольно поднял бокал к свету, растворившемуся в нем зóлотом, как в магическом шаре. Столько раз он собирался написать о вине, живом воплощении солнца, чарующем напитке, в котором материализуются сияние и тепло, запахи лета, улыбки, легкое прикосновение ветра с прирейнских холмов. О вине — синтезе радостей мира. В "Будденброках" не представилось для этого случая, несмотря на колоритные сцены бюргерских обильных трапез, а во время кропотливой работы над "Волшебной горой" он просто-напросто об этом забыл. Позже в течение многих лет не мог решить, должен ли то быть рассказ, глава нового романа или же эссе. Удивительно, что до сих пор этого еще не сделал никто из его великих современников. Может, опасались, что тема чересчур тривиальна, что такой опус будет состоять исключительно из банальных и очевидных вещей? А ведь что на самом деле значит "быть писателем"? Это значит — искать все новые и новые определения для того, что всем известно.

Как-то корреспондент журнала "Nord und Süd"[2] спросил его, любит ли он путешествовать. Он машинально ответил "нет". Он, человек, который последние тридцать лет, больше половины своей жизни, делил между домом и непрестанными странствованиями по Германии, землям ближней и дальней Европы и даже за ее пределами! Ответ его прозвучал как шутка. В действительности же он не любил время, предшествующее поездке. Всегда испытывал сильное нежелание покидать кабинет в уютной вилле в Богенхаузене[3], приливы любви к Мюнхену, знакомым улицам и очертаниям домов, тусклым водам Изара. Возникали также проблемы со сном, он ворочался с боку на бок и под аккомпанемент спокойного дыхания Кати представлял себе ожидающие его тяготы и невзгоды — долгие часы маеты в поездах или же смертельную скуку душных кают, головную боль, липкость недомытого тела, пустоту гостиничных номеров. С отчаянием смотрел на заваленный рукописями письменный стол. Всегда именно перед путешествием писалось лучше всего, а тут приходилось все бросить, рассредоточить мысли, впустую тратить недели, а то и целые месяцы. Особенно мучительным был день отъезда. Утром он вставал сам не свой после бессонной ночи. Время бежало слишком быстро или слишком медленно, каждый раз не так, как бы ему хотелось. Погода была тоже всегда не та, доделать оставшиеся дела, казалось, не было ни сил, ни воз-

1. Германский военно-морской флот (1919–1935).
2. "Север и Юг" (*нем.*).
3. Район Мюнхена, расположенный на правом берегу реки Изар.

можности. Последние, самые невыносимые полчаса он проводил уже одетый к выходу, бездумно сидя в большом кресле у окна или слоняясь по комнатам. Наконец часы в гостиной басом отбивали назначенный час, им звонко вторили из кабинета маленькие каминные с боем, подарок бедняжки Карлы[1], и затем уже только раздавался с лестницы визгливый фальцет фройляйн Ленц, такой же, каким был до войны: "Герр Манн, таксомотор приехал!" — или же, как еще раньше: "Герр Манн, лошади ждут!" И он сбегал вниз, коротко и торопливо прощался с домочадцами, окидывал тоскливым взглядом дом и, возбужденный, чувствуя, как сильно бьется сердце, быстро садился в экипаж или машину. Волнение проходило на вокзале, в момент того мягкого, приносящего облегчение рывка, после которого здания, люди, фонари и деревья начинали все быстрее перемещаться назад, а мир — пульсировать в другом ритме. С этой минуты он жил реальностью путешествия. Путешествие втягивало, устанавливало свои законы и порядки, временно отменяло и отправляло в небытие привычные жизненные ориентиры; в замкнутом чреве поезда или затерянного в море парохода нереальным представлялось то, что недавно выглядело до боли очевидным.

Он обожал шум больших городов. Ему казалось, что он растворяется в них, становится другим человеком, хотя, без сомнения, оставался самим собой. После официальных приемов, речей, комплиментов изысканного общества он скрывался в переулках. И забывал о Вагнере, философах, сюжетных композициях и сложных душевных переживаниях своих героев. Погружался в озаренные пурпурным светом недра кабаре, слушал разнузданные звуки джаза и поющих мужскими голосами крашеных блондинок. Любил потягивать до утра джин в компании нахальных молокососов с наманикюренными ногтями и самой дурной репутацией. Недавно в Амстердаме, ночью, в квартале разврата, к нему пристала... гадалка. На манер тамошних проституток она сидела у открытого окна под яркой вывеской. "Ты — дирижер, поэт или священник, в любом случае ты повелеваешь чувствами!" — воскликнула она, завидев его. После этих слов он, не раздумывая, вошел в дом. Женщина была далеко не первой молодости — видно, уже не могла заниматься тем же ремеслом, что ее соседки. За несколько марок на засаленных картах она нагадала ему: "Тебя ждет радостное известие и деньги, большие деньги. Потом ты уедешь очень далеко и уже никогда не вернешься. Но не беспокойся — ты будешь жить долго и будешь счастлив". Ему почему-то не давали покоя эти дурацкие слова, которые гадалка повторяла, по-видимому, каждому клиенту. Он размышлял и прикидывал. Хорошая новость, деньги... Должно быть, Фишер, медлительный, как все издатели, наконец решится выпустить большим тиражом "Собрание сочинений". А может, сдвинулась с мертвой точки продажа в Америке? Уедешь очень далеко... Очевидно, это поездка в Палестину, которую он планировал на будущий год, в связи с "Иосифом и его братьями". Неужели меня настолько увлечет Восток, что я и думать перестану о Европе? Как знать... как знать... Ну уж вряд ли речь шла о поездке в Алленштайн.

Он ехал в этот город за двумя границами не столько ради экзотики Восточной Пруссии, сколько по той причине, что не умел отказывать настойчивым просьбам, — недостаток, с которым он безуспешно пытался бороться десятки лет. Министр фон Каниц, родом из тех краев, так

1. Сестра Томаса Манна, покончившая жизнь самоубийством в возрасте 27 лет.

досаждал ему телефонными звонками и письмами, что в конце концов пришлось сдаться.

"Эти земли совершенно отрезаны от основного древа немецкой культуры. Если великие люди, такие, как вы, ваш брат Генрих или же Толлер, или Бергенгруен, не проявят хотя бы малейшей заинтересованности, то на заброшенном поле прочно обоснуется сами знаете кто. Я чрезвычайно встревожен. Сами видите, что творится в Республике!" — хрипло убеждал голос в телефонной трубке.

Итак, он согласился повторить в Алленштайне публичную лекцию "Ницше и музыка. Любовь и ненависть", а потом поехать еще на несколько дней в Тюнген, имение фон Каница, неподалеку от Вормдита, чтобы, по выражению министра, "ничего не делать, размышлять, ну и самое большее — разговаривать".

Поезд оставил позади леса, растущие по обеим сторонам железнодорожных путей так густо, что в вагоне долгое время царил зеленый полумрак, и вынырнул на залитые солнцем откосы между двумя озерами, проскочил пригородную станцию и сбавил ход только на высоком путепроводе, с которого открывалась панорама города. Замок из бурого кирпича, прикинувшийся готическим костел с причудливой башней о двух остроконечных шатровых куполах, тесно сгрудившиеся крыши каменных домов на холме, ниже улицы, почти невидимые под кронами деревьев, — все медленно уплывало назад, как картинки в фотопластиконе[1].

На вокзале то, что он и ожидал. Чуть-чуть приоткрыв дверь, он увидел группу гимназистов, чиновников в парадных костюмах — запыхавшихся, прибежавших в последнюю минуту и отирающих пот, держащего букет молодого человека с высоким лбом и гладко зачесанными волосами, лоснящимися от бриолина.

Он не страдал ложной скромностью, любил подобные знаки внимания. Считал, что в цивилизованном мире должны существовать формы проявления уважения к выдающимся людям. Застегнув пиджак, он сошел на перрон, прямо в облако пара, вырывающегося откуда-то из-под вагона. Его сразу узнали.

Блеск монокля в глазу, обмен рукопожатиями — ладонь натренирована для официальных встреч.

— Имею честь представиться, Цюльх, бургомистр Алленштайна. Господин обербургомистр просит извинить, что не смог прибыть лично. Будет на лекции. А это доктор Троц, директор нашей гимназии.

Запах нафталина и приятного табака, поклон чересчур подобострастный, но рукопожатие уверенное, крепкое.

— Сердечно рад вас приветствовать, герр Манн. Я читал все, что вы написали. И полон восхищения. А это профессор Кокошка, он очень хотел познакомиться с вами лично.

Ну, конечно, без этого и здесь не могло обойтись. Мундир навозного цвета, ремень, портупея, сапоги для верховой езды, что тебе зеркало. Эти круглые фуражки всегда напоминали ему по форме плевательницы, которые в санатории в Давосе уборщики по утрам выносили на длин-

1. Фотопластикон — устройство для одновременного просмотра стереодиапозитивов двумя десятками зрителей; создан в начале 80-х гг. XIX в. германским изобретателем Августом Фурманом.

ной рукоятке из комнат чахоточных больных. Руки не подал — щегольски щелкнул каблуками об асфальт.

— Очень приятно. Что вы преподаете?

— Классические языки! — грянуло в ответ.

— Ах, вот как...

Аплодисменты гимназистов, цветы от побледневшего молодого человека, как оказалось, местного лирического поэта, экземпляр "Волшебной горы", бесцеремонно подсунутый для автографа какой-то мамашей с двумя детьми, что учитель в мундире счел бестактным и даже пробормотал что-то бранное. Замечания о климате Восточной Пруссии, о погоде и путевых впечатлениях, поиски носильщика.

— Будьте любезны, автомобиль уже ждет.

— Если можно, я бы предпочел на извозчике. Хочется глотнуть...

И вдруг осекся. Что-то вдалеке, у стены станционного здания, внезапно привлекло его внимание. Чей-то взгляд. Словно резкая, неожиданная вспышка, от которой судорогой сводит тело и невольно перехватывает дыхание.

Под вывеской ресторана, на фоне надписей, рекламирующих местную пивоварню "Вальдшлёсхен", а также городскую и районную сберкассы стояла высокая женщина в сером костюме. Вуаль, свисавшая с полей ее шляпы, затушевывала черты лица, но не могла скрыть глаз. Два лучистых огонька, пронизывающие туман. Они пригвождали к месту, парализовали, были здесь самой яркой точкой.

— Что-нибудь случилось, герр Манн? — обеспокоенно спросил кто-то.

— Нет... Я хотел сказать: поедемте на извозчике, я с удовольствием глотну свежего воздуха.

Они плавно катили по гранитной брусчатке. Бургомистр сел рядом и пытался вести беседу. Говорил, что визит такой знаменитости — большая честь для городских властей и жителей, что в Алленштайне никогда не проживал ни один известный писатель, если не считать господина Функа, местного летописца.

Он не слушал, не задумываясь отделывался короткими, на грани неучтивости ответами.

Она? Здесь? Откуда, каким образом? Почему? Сомнений, однако, никаких не было, он доверял своей зрительной памяти, которая еще ни разу его не подвела. В своих насчитывающих тысячи страниц рукописях он умел безошибочно находить конкретные предложения или фрагменты по характеру вычеркиваний, оттенку чернил. Да и эти глаза... Особенные, бесспорно. Незадачливый поэтишка написал бы: "глаза, как звезды". А он — что скорее, как маленькие льдинки, от которых веет холодом и врожденным превосходством, анализирующие, детально вникающие во все, что попадает в поле зрения. Когда-то, когда он смотрел в них изблизи, видел голубоватое сияние инея. Такое невозможно забыть.

Они ехали по улице, застроенной довольно непрезентабельными каменными домами, которых отделяли от тротуара цветники и остроконечные железные ограды. Движение в эту пору было небольшое, окна начинали алеть с западной стороны.

Отовсюду доносился запах ранних хризантем и свежеполитой земли, а также обрывки разговоров, клочки фраз и отдельные слова с иностранным, мягким, шелестящим налетом. Бургомистр даже начал рассказывать о сложных национальных проблемах.

Он обошел тему каким-то банальным суждением.

Почему люди не могут достичь единства в красоте, в умиротворенности? Что им мешает — нашептывание сатаны или ошибка Творца, почему, вплоть до боли, до трагедии, до кровопролития, они добиваются различий вместо того, чтобы искать сходство? — мелькнула мысль.

Самый лучший отель назывался "Deutsches Haus"[1], как в каждом втором городе этой страны. И, конечно, размещался на главной улице, прямо рядом с ратушей.

Перед тем как войти в застекленную дверь, он заметил на столбе афишу: "Прославленный немецкий писатель Томас Манн прочитает лекцию..."

Хозяин отеля на фоне шеренги вытянувшихся в струнку гостиничных боев в ливреях, точно командир почетного караула, поприветствовал его с профессиональной услужливостью. Почтенного возраста портье, то и дело бросающий пытливые взгляды из-за толстых стекол очков, торжественно подал ключ, означенный позолоченной римской цифрой I.

Гостиницы везде одинаковы. С похожим запашком, пусть и самые фешенебельные, продают порциями иллюзию покоя и удобств, хотя на самом деле в них трудно отдохнуть, выспаться всласть, обрести равновесие, необходимое для ощущения счастья.

Апартаменты были просторные; якобы пять лет назад здесь ночевал сам Гинденбург[2]. Загроможденный мебелью салон с тремя громадными окнами, в котором можно было бы устроить конгресс какой-нибудь небольшой политической партии. Дальше красивый кабинет, где на письменном столе красного дерева разместилась новенькая пишущая машинка и коробка карандашей фирмы "Мозер". Лежали также местные газеты "Allensteiner Volksblatt", "Allensteiner Zeitung"[3], на первых страницах жирным шрифтом сообщающие о его приезде. Рядом с кабинетом — спальня с возвышающимся посредине супружеским ложем, дальше две гардеробные и ванная комната с глубокой медной ванной и, тоже медными, сияющими кранами.

Именно туда он отправился первым делом. Открыл чемодан, достал халат, толстое полотенце, пахнущее домом, и английское мыло в потертой, потемневшей мыльнице кедрового дерева — реликвия времен молодости, подарок Себастьяна, привезенный давным-давно из Палестины. Гостиничными туалетными принадлежностями он никогда не пользовался.

Даже горячая, приправленная щепотью морской соли ванна не помогла одолеть волнение. Лежа в воде, он по-прежнему чувствовал на себе силу этого взгляда, его прямоту и твердость, словно бы принуждающие к повиновению. Думал о Венеции. И о той истории — десятилетней давности.

Венеция была магией, тайной, его истинным отечеством, а все, что он о ней написал, — было ложью, кроме страсти фон Ашенбаха. Он делал вид, что присоединяется к голосам снобов всей Европы, гуляющих с вдохновенными лицами по площади Святого Марка, восторгающихся устраиваемым только для них карнавалом и умиленно слушающих дешевенькие баркаролы гондольеров. На самом деле он считал Венецию единственным местом на земле, к которому привязал его Бог. Иногда подсознательно воспринимал этот город как огромное живое существо, знал его капри-

1. "Немецкий дом" (*нем.*).
2. Пауль Гинденбург (1847–1934) — президент (1925–1933) Веймарской республики.
3. "Алленштайнский народный листок", "Алленштайнская газета" (*нем.*).

зы и страхи, его поразительную красоту и жуткую мерзость. Он скучал по Венеции и наведывался туда внезапно, обычно втайне от родных; нигде и никому не упоминал об этих поездках. И часто вскоре сбегал, охваченный ужасом, обещая себе больше сюда не возвращаться. Возвращался. Вместе с Марио, хозяином лодки, а затем его кудрявым сыном, тоже по имени Марио, путешествовал по самым потаенным закуткам этого города. За собором Мадонны делл'Орто, миновав перешейки между домами, откуда несется кудахтанье кур и, если проплываешь мимо, головой задеваешь развешанное белье, сворачивал в тупиковые каналы со стоячей, заплесневелой водой и зловонием испражнений, забродивших в душном воздухе. Часами созерцал лишаи на стенах и осыпающуюся штукатурку, глухие окна, входные двери, накрепко запертые с незапамятных времен. Порой Венеция представлялась ему идеальным симбиозом добра и зла, накрепко соединенных силою притяжения противоположностей. Ему казалось, что ее особняки и дворцы, башни и нарядные фасады существуют наперекор природе, вопреки всем естественным законам, выдерживая натиск воды и солнца, поскольку воздвигнуты из философского камня.

Тогда, десять лет назад, он тайком уехал из революционного Мюнхена. Мир еще неистовствовал от радости после тяжкой войны, а на Лидо звучали исключительно языки держав-победительниц. Он был уверен, что является единственным немцем в этой взбудораженной толпе, единственным человеком, неподвластным примитивной энергии полуобнаженных тел, не поддающимся жажде развлечений.

Как-то раз днем он брел по пляжу в странном замешательстве, скованный, со все усиливающимся чувством отчужденности. Поднялся ветер, взметнув облако песка, зашелестели пляжные зонты и полосатые тенты. Один из них вначале раздулся как парус, потом сложился вдвое в воздушном вихре и повалился, разбив деревянным остовом столик с чайным сервизом и придавив кресла и шезлонги.

— Ну что же вы, сударь, так стоите?! Пожалуйста, сдвиньтесь с места и помогите! — неожиданно раздалось на резком северном немецком наречии.

Молодая женщина пыталась одной рукой поймать части своей одежды, которые уносило порывами ветра в сторону моря, а второй удержать на голове слетающую соломенную шляпку.

Тогда впервые он ощутил на себе этот взгляд.

— Томас Манн, — представился он позже, неуклюже собирая осколки чашек и отряхивая брюки. Это не произвело на нее никакого впечатления. Ее звали Вирна, фамилию он не расслышал, а само имя прозвучало в ее устах так, будто она его на ходу придумала. Вирна. Молодая жена спичечного фабриканта из поморского города Слупск; в Венеции она, по ее выражению, от скуки, "чтобы стряхнуть домашнюю копоть", с компанией из школы изящных искусств.

Они были предназначены друг для друга на это короткое время. Без лишних слов, многозначительных улыбок, омерзительного ритуала обольщения, сделавшего бы смешным мужчину, которому далеко за сорок. Словно в ту первую минуту один из них сразу же сказал другому: "Это я!" До сих пор он не ведал, что такое настоящее вожделение, выходящее за рамки простой физиологии. Ночами в отеле "Эксельсиор" они упивались друг другом. Ее тело становилось тем, чем он хотел, чтобы оно стало. Мякотью южных плодов, разнузданной мечтой, гладкостью

птичьих перьев, холодностью мрамора, расплавленным железом. И в этом не было никакой податливости, а было понимание, которое дается пламенем страсти. Он смотрел на нее с восхищением, когда она, обнаженная, вставала у окна, выходящего на поблескивающую в темноте лагуну. Притворяясь спящим, наблюдал из-под полуопущенных век ее умиротворенный профиль, обращенный к потолку. Может быть, она думала о муже, перебирающем счета в конторе своей фабрики? А может, о сюрпризах, которые ей еще преподнесет долгая жизнь? Глаза у нее были открыты, и он отчетливо видел струящийся из них серебристый свет. Он не говорил ей: "Ты красива", говорил: "Ты — сама красота".

Венеция перестала для них существовать. Целыми днями они гуляли по городу, словно по принуждению, торопливо, не оглядываясь по сторонам. И только однажды, растрогавшись видом луны над мостом Риальто, он рассказал ей о Вивальди, рыжебородом священнике, и его состоящем из молоденьких девушек оркестре, этом забытом гении-скрипаче, жившем несколько веков назад, с партитур которого кое-что списывал сам Бах и который еще когда-нибудь станет одним из величайших композиторов всех времен. По вечерам они пили вино и ели croquette di pollo[1] в ресторане рядом с дворцом Гримани. Разговаривали в общем-то мало, сумбурно, о домашнем укладе и закончившейся войне, семьях, будничных делах. Конечно, она знала, кто он, знала его книги. И хотела, чтобы он говорил устами своих персонажей, чтобы смотрел на нее и на мир глазами своих героев, одаривающих читателя блестящими умозаключениями. Она не могла смириться с кощунственной мыслью, что в действительности литература никак не связана с жизнью.

Потом было первое прощание в Венеции и долгое, неловкое, на вокзале в Триесте. Они уехали поездами, идущими на север, но в совершенно разных направлениях. Расстались без слез и клятв, как вместе путешествовавшие знакомые.

В уединенном кабинете в Богенхаузене вместо того, чтобы сочинять очередные абзацы романа или эссе, он бился над письмами. Он, великий писатель, не мог найти слов. Выводил пространные, напыщенные фразы, перечитывал их и убеждался, что они ничего не значат. Неужели он не способен писать правду о себе? Четыре письма, глубоко запрятанные, по нескольку дней дожидались решения и, так и не будучи посланы, оказывались в камине. И только пятое, напоминающее высокопарную статью о призвании художника, отправилось к адресату. Он получил длинный ответ, которого не прочитал.

Он уже понимал, что следует избавиться от иллюзий. Жизнь преподнесла ему банальный урок, и хватит: ни в чем подобном он больше не нуждался.

Лекция должна была состояться в Городском театре. Обербургомистр прислал авто, хотя новое, лишенное примет какого-либо стиля и уродливое здание театра — Treudank[2] Алленштайну за победу в плебисците — находилось в двух шагах от отеля. Они подъехали к широкому, высокому парадному крыльцу, на котором в ожидании стояло несколько десятков человек. Когда он выходил из автомобиля, раздались аплодисменты.

1. Куриные крокеты (*итал.*).
2. Дар в знак благодарности (*нем.*).

Все фойе заполняла толпа: женщины в вечерних туалетах, пожалуй, чересчур обильно обвешанные бижутерией, и пузатые мужчины в добротных костюмах, вполголоса беседующие, курящие папиросы и сигары и для пущей важности то и дело поглядывающие на тяжелые позолоченные часы.

Он шел через фойе в сопровождении обербургомистра и директора гимназии, сдержанно раскланиваясь. Из нескольких фотоаппаратов вырвались холодные огненные брызги магниевой вспышки. Вскоре прозвучал гонг, как перед обычным спектаклем, все засуетились, начали проверять номера на билетах, занимать места.

Его посадили в центре сцены за столом, накрытым красным бархатом. Зал окутал полумрак, прожекторы погасили, оставив только небольшую лампу, освещавшую стол и его лицо.

Он надел очки, придвинул ближе стакан с водой, достал блокнот и, открыв его, положил перед собой.

— Уважаемые дамы и господа, — начал он без вступления, — я приглашен сюда, чтобы познакомить...

Говоря, он постепенно осваивался с обстановкой, набирался уверенности. Произносил красиво построенные, все более длинные фразы, смелее поднимал глаза на собравшихся. Пафос и ораторское напряжение — вот что заставляло его мозг работать предельно четко: ассоциации возникали сами собой, неожиданно рождались умозаключения, меткие и звучные, как стальные клинки. Порой, корпя в тиши кабинета над фрагментом романа или рассказа, он представлял себе, как читает его торжественным тоном перед огромным зрительным залом, — и это устраняло все сомнения, помогало достичь цельности образа, усилить выразительность.

Лица перед ним изображали сосредоточенность и внимание к каждому слову. Ряды наморщенных лбов, полуоткрытых ртов, висков, подпертых ладонью. Он знал, что большинство пришло сюда не ради Ницше, Вагнера и Бизе и даже не ради лектора Томаса Манна, а затем, чтобы принять участие в знаменательном событии. Он водил взглядом поверх голов и вдруг едва не оборвал фразы, едва не замолк на полуслове. Сердце бешено заколотилось.

Она была в зале. Сидела далеко от сцены, под балконом, забитым молодежью. Тусклый огонек над выходом в гардероб отбрасывал отсвет на поля шляпы. Глаза сияли прекрасно знакомым ему серебристым блеском. Невозможно было их не заметить, невозможно было перестать о них думать. Они снова были ярчайшей точкой.

Он продолжал говорить, с трудом сдерживая дрожь в голосе. Говорил о Ницше, о его дружбе с Вагнером и вместе с тем ненависти к нему — и думал о Вирне. Она здесь действительно или это только ее призрак? А может, лишь таинственный знак? Или он просто принимает за нее кого-то другого? Возможно ли это, несет ли какой-нибудь смысл? Почему именно с ним, с Томасом Манном, приключилась эта кинематографическая история? А может, она что-нибудь потребует, может, выслеживает его, чтобы устроить скандал? И устыдился, что заподозрил ее как самый последний обыватель. Отвернулся и больше не смотрел в ту сторону.

Ему удалось кое-как закончить. Значительно сократив лекцию, чего никто не заметил. Вспыхнули люстры, грянул гром аплодисментов, пуб-

лика встала с мест, он тоже встал, склонив голову в знак благодарности за овации. На сцену вынесли корзину цветов. К выходу устремились не все, часть слушателей окружила его с книгами в руках; он открутил колпачок вечного пера, раздавал автографы.

Когда, наконец, усталый, он сошел со сцены, то сразу же попал в руки терпеливо ожидавшего обербургомистра, который обрушил на него поток слов, приглашая на банкет в залах ратуши.

Он поблагодарил, попросил дать час на передышку. Хотелось хотя бы недолго побыть одному. Увы, не удалось. Он заявил, что вернется в гостиницу пешком, но обербургомистр все равно сопровождал его до самой двери, болтая всю дорогу о чем-то, чего он совершенно не воспринимал.

Он украдкой осматривался по сторонам, но не заметил Вирны ни среди людей, покидающих театр, ни в толпе ожидающих трамвая на остановке. Содрогнулся от накатившего страха и неуверенности. Вправду ли он ее увидел? Или это только болезненные воспоминания и обманчивая ностальгия? Возникло острое желание немедленно отсюда уехать, поскорее оказаться в поезде, мчащемся вслепую в ночи, в упоительно раскачивающемся спальном вагоне.

Портье не было на месте. Он подождал минуту, опершись о стойку, потом раздраженно потянулся к доске с ключами. Его ключа, однако, не оказалось там, где ему следовало находиться. Он передернул плечами, пошел наверх. В Баварии подобное недопустимо!

С удивлением заметил, что дверь его номера приоткрыта. Непроизвольно отступил на шаг. Воры? Или кто-то роется в моих вещах? Непонятно почему всплыл образ преподавателя классической филологии Кокошки в коричневом мундире.

Он не знал, что делать. Огляделся. Он был один в пустом коридоре. С замиранием сердца легонько толкнул дверь и на цыпочках вошел внутрь. К счастью, он надел сегодня летние туфли от Вандерса, из очень мягкой кожи.

Он увидел ее из погруженного в темноту салона. Здесь? Откуда? Что ей взбрело на ум? Она стояла в дверях, ведущих из ванной в спальню, где зажгла ночник. Волосы у нее теперь были короче подстрижены, и фигура немного располневшая, линия тела очерчивала формы чувственной, зрелой женственности. Время не всегда злой карла, разрушающий все прекрасное и хорошее. Он почувствовал, что очень бы хотел сейчас услышать ее голос, заглянуть в глаза, прикоснуться к губам и коже на шее.

Он застыл и затаил дыхание, когда она подошла к кровати, провела ладонью по лежащему там тому "Смерти в Венеции", одному из трех, которые он привез, чтобы кому-нибудь подарить. Потом потрогала влажное полотенце в ванной, подняла с пола валявшиеся грязные носки, прижалась на миг к его халату, а затем глубоко втянула запах английского мыла в кедровой мыльнице.

Он поморщился от смущения. Бесшумно, пятясь, вышел в коридор. Она способна на такие жесты?! Вирна! До чего ж это глупо... Он застыл у входа в растерянности и замешательстве, волной накатывалось попеременно то давно забытое эротическое возбуждение, то чувство досады.

Испугавшись, что она увидит его, он зашел за пилястру, проклиная идиотизм ситуации. Это же смехотворно. Томас Манн, прячущийся за

углом от бывшей любовницы. Превосходный материал для бульварной прессы! Что бы на это сказал, к примеру, ехидная свинья Брехт?

Ждать долго не пришлось, через несколько минут она выбежала, явно взволнованная. Он задрожал, как подросток, глядя на ее пружинистые и гармоничные движения. Съежившаяся, с опущенной головой, она исчезла на лестнице.

Он вернулся в номер. В воздухе еще ощущалось ее присутствие, чувствовался запах, который он не сумел бы определить, запах Вирны — точно такой же, как в Венеции. Он прикоснулся к влажному полотенцу в ванной, погладил пушистую полу халата, понюхал мыло в кедровой мыльнице.

Потом сел на край кровати и уткнулся лицом в ладони.

Уже через минуту он очнулся, сменил костюм, отхлебнул немного мартеля из плоской дорожной фляги. Приближалось время банкета, пора было спускаться вниз.

— Ах, какая встреча! Я слушал когда-то вашу лекцию в Брауншвайге! — закричал вдруг повстречавшийся ему на лестничной площадке маленький пузатый человечек и, развернувшись, припустил за ним, назойливо о чем-то треща и подпрыгивая, как мячик.

Он что-то грубо буркнул в ответ, не подал руки. Незнакомец с растерянной дурацкой улыбкой ретировался в гостиничную парикмахерскую.

Отделавшись от навязчивого болтуна, он заметил Вирну возле стойки портье. Рядом стоял кожаный саквояж и шляпная коробка. Она разговаривала с портье, расплатившись, взяла счет, который тут же разорвала на мелкие кусочки и бросила в большую никелированную пепельницу. Появился извозчик, взял багаж. Вирна двинулась за ним.

Он хотел крикнуть, схватить ее за плечо. Но внутренний голос строго приказал: оставь, не гонись за тем, до чего ты не дорос! Когда она уже была на улице и в голубоватом свечении газовых фонарей он увидел, как она садится в пролетку, то не выдержал, сорвался и бросился к выходу.

Внезапно дорогу ему преградил гостиничный бой, запыхавшийся, вспотевший, в желтой ливрее; они едва не столкнулись.

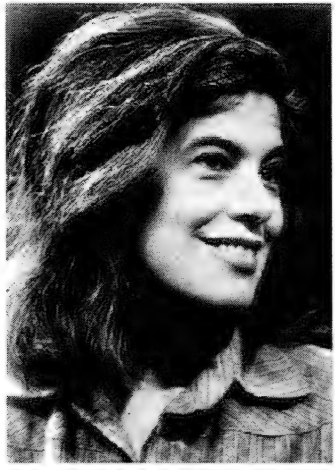
— Вы господин Томас Манн? Я вас повсюду ищу, и в театре, и в ратуше. Пришла срочная телеграмма!

Он остановился. С отчаянием смотрел вслед уезжающему экипажу. На повороте улицы только мелькнула белая шляпа над сложенным гармошкой верхом коляски.

Он ненавидел телеграммы. Они нарушали покой, всегда приносили что-нибудь недоброе. Он потянулся в карман за чаевыми и нервно вскрыл депешу. Надел очки, повернулся к свету, чтобы прочитать блеклые буковки, напечатанные на криво приклеенных полосках. Это было известие из дома, от Кати:

"Дорогой! Вот телеграмма, которая пришла сегодня в три часа: Шведская академия со штаб-квартирой в Стокгольме имеет честь сообщить..."

Сьюзен Сонтаг



К *вопросу о путешествиях*

Эссе

Перевод с английского А. Нестерова

СТОИТ взять любое описание путешествия в экзотическую страну, как возникает противопоставление неких "нас" – неким "им": вариантов тут не так уж много. И античные, и средневековые авторы путешествий – почти все они исходят из принципа: "мы хорошие, они плохие"; этот ход рассуждения типичен. Порой встречается и иной: "мы хорошие, они ужасные". Принадлежность к чужому народу означает заведомое отклонение от нормы, часто от нормы физической; что до живучести рассказов о народах, чей облик ужасен, о "людях с головою, / Растущей ниже плеч"[1] (о них упоминает Отелло в своей хвалебной речи), антропофагах, циклопах и тому подобное, – все это показывает, сколь доверчивы были мы в прошлом. Но и доверчивость имеет свои пределы. Христианская культура скорее склонна поверить в нечто монструозно-ужасное, чем в нечто совершенное или близкое к совершенству. Так за веком век на географических картах появлялись царства уродов. А вот народы, чья жизнь – образец совершенства, присутствовали лишь в описании путешествий в страну Утопия, которой, как известно, нет на свете.

Вплоть до XVIII века найдутся лишь считанные примеры иной, дерзновенной по самой своей сути географии, когда описывается как бы реальная страна, чье социальное устройство достойно быть нам

© Susan Sontag, 2001
© А. Нестеров. Перевод, 2007
Печатается в сокращении.
1. Шекспир. Отелло. Акт I, сцена 3. Перевод М. Лозинского. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

примером. Но тут надо иметь в виду, что в XVIII веке литература вымысла еще была тесно связана с литературой факта, и повествование от лица свидетеля событий могло служить — и служило — моделью для романа. То было время расцвета путешествий-мистификаций и романов в форме путевых заметок. Лучшая из таких книг — "Путешествия Гулливера": в ней соединились два доминирующих представления о том, какова может быть жизнь в чуждой читателю стране. Состоящая в основном из путешествий в страны, населенные уродами и монстрами, эта книга кончается тем, что усталый герой остается жить среди народа, поистине идеального. "Путешествия Гулливера" многое сделали для формирования традиции, отталкивающейся от принципа "мы плохие, они хорошие". Вскоре эта традиция расцветет пышным цветом.

В путевых очерках, написанных в эпоху, что предшествует историческому времени модерна, контраст между обществом, к которому принадлежит рассказчик, и обществами, считающимися аномальными, варварскими, отсталыми, даже не подвергается сомнению. Голос путешественника, этакого профессионального наблюдателя (хотя порой автор на этом не настаивает, довольствуясь ролью простого зеваки), звучит в защиту цивилизации; путешественник той эпохи и на мгновение не мог помыслить себя варваром. Современный жанр путешествия, с присущими ему особенностями, появляется тогда, когда предметом критики становится сама цивилизация, критерии размываются, и кто цивилизован, а кто нет, неясно.

Под пером просветителей-энциклопедистов (первых интеллектуалов в современном смысле этого слова) путешествие превращается в поучительную выдумку: описания неевропейских обществ, поданных то как более "естественные", то как более "рациональные", призваны высветить уродства общества, в котором живет автор. Рассказы путешественников о тех или иных физических аномалиях в дальних странах — вроде великанов под три метра ростом, которыми населена Патагония, — продолжали ходить и во второй половине XIX века, но чувство аномального все больше связано теперь с нравственными понятиями. Теперь нравственными уродами все чаще становимся "мы". Появляется целый массив текстов о путешествиях в экзотические страны, чьи жители обладают своеобразнейшими достоинствами, которые описываются того ради, чтобы послужить поучением для европейцев. Путешествие — это выход за пределы цивилизации и настоящего времени к чему-то иному и лучшему: к прошлому или будущему.

Для описаний такого рода, реальных или вымышленных, многое дала Америка. "Вначале весь мир был подобен Америке", — писал Джон Локк[1]. Кревекёра[2] и Шатобриана Новый Свет привлекал не только тем, что он еще не тронут цивилизацией — они видели в Америке нечто гораздо большее: здоровье, силу, нравственность, цельность, освежающую наивность и прямоту. Пусть все это больше относилось к миру воображаемого, чем к реальности, — но не эти ли описания предопределили

1. Джон Локк. Второй политический трактат. Гл. 5, раздел 49.
2. Гектор Сент Джон (Мишель Жан) де Кревекёр (1735–1813) — французский агроном и путешественник, в 1779 г. уехавший в северные английские колонии и надолго там осевший. В 1784 г. опубликовал "Письма американского фермера" — двенадцать очерков об американской культуре и сельской жизни. После объявления Америкой независимости вернулся во Францию.

позиции таких путешественников по Англии XIX века, как Фанни Троллоп и Диккенс, которые показали, что мы весьма далеки от цивилизации, а попросту говоря, вульгарны. В 1830-е годы Гарриет Мартино[1], которая пишет на волне движения за освобождение негров и за равноправие женщин, жалует нас и того больше. Большинство суждений об экзотических странах, озвученных в ту эпоху, по сути, являются реакцией на господствовавшие ранее стереотипы. Так, в XVIII веке турок ставили в пример Европе — в 1850-е бесстрашная Мартино посетила пару "сералей": об их насельницах она говорит, что это самые забитые, унылые и испорченные создания из всех, какие ей довелось видеть.

Суждения путешественников, склонных то идеализировать экзотические общества, то утверждать, что они погрязли в варварстве, сменяют друг друга, образуя своеобразный цикл, когда на смену надеждам приходит утрата иллюзий. При этом некоторые страны идеализируют охотнее и чаще других (таковы уж тайные законы формирования стереотипов). Репутация фантастического царства установилась за Китаем еще со времен Марко Поло; в XIX веке все еще было распространено убеждение, будто в Китае, этом царстве разума, нет места войнам, разврату, невежеству, предрассудкам и эпидемиям. Точно так же, несмотря на всех своих хулителей, продолжала оставаться объектом идеализации и Америка. Россия, напротив, испокон веков выступает страной, чьи обычаи достойны осуждения или сожаления. Со времен Ивана Грозного, который первым из правящих московитами царей привлек внимание европейцев, рассказы о подлом устройстве русского общества стали особым жанром западной литературы. Единственная приходящая на память альтернатива этим писаниям — рассказы иностранцев, побывавших в СССР в 1930—1950-е годы, то есть как раз во время Большого Террора: путешественники с Запада наперебой говорят о том, каких поразительных высот достигли в СССР свобода и справедливость. Неудивительно, что в итоге и эти контрописания тоже стали работать на "традицию осуждения".

Вряд ли можно представить, чтобы кто-то на Западе лишился иллюзий насчет России, прочтя рассказ маркиза де Кюстина о варварстве и деспотизме, с которыми ему довелось столкнуться во время приезда в Россию в 1839-м, — но сколько людей пережили жесточайшее разочарование, прочитав в середине 1970-х рассказ Саймона Лейза[2] о том, каким варварством была китайская "культурная революция". Эта склонность видеть в Китае только хорошее, а в России — только плохое, напоминает о себе и сегодня[3], при всем том, что во многих отношениях китайский коммунизм куда больше склонен к репрессиям и тоталитаризму (в самом буквальном смысле этого слова), чем коммунизм советский: в китайской версии давление, оказываемое на личность, намного больше. (А большинство самодовольных антикоммунистов среди самой верхушки истеблишмента, который определяет внешнюю политику Америки, ведут себя так, словно им и неведомо, насколько нынешняя политика в Китае про-

1. Гарриет Мартино (1802—1876) — английская писательница и журналистка, активно боровшаяся за отмену рабства в Америке и за права женщин.
2. Саймон Лейз — псевдоним бельгийского журналиста, переводчика и литературного критика Пьера Рюкманса (р. 1935), автора книг "Новое платье председателя Мао" (1971) и "Китайские тени" (1976), посвященных китайской "культурной революции".
3. Напомним, что эссе написано в 1984 г.

питана сталинизмом и как трагична.) Есть страны, которым от века суждено быть объектом фантастических спекуляций.

Просветители приписывали идеальные добродетели не только благородному дикарю — таковы гуроны у Вольтера и Руссо, мудрый старый таитянин у Дидро, — носителями этих добродетелей выступали реальные народы, живущие за пределами Европы: турки, персы, китайцы. Эти фантазии, подпитываемые не одним поколением писателей, не так-то легко рассеять. Для поэтов-романтиков существовала лишь одна цивилизация, которая могла считаться "идеальной", — при этом она давным-давно была мертва: античная Греция.

Когда-то человек, отправляющийся в странствие, уже одним этим делал шаг за пределы нормы. Романтик же всю свою личность выстраивал вокруг идеи странствия — он пребывает в вечном пути-поиске, обреченный на бездомность, его истинная родина — вне этого мира: страны, где он был бы своим — еще или уже — нет; родина понимается как идеал, противопоставленный реальности. Понятно, что такое путешествие, по определению, не имеет конца, а цель его меняется по мере движения. Характерной чертой современного сознания становится сама идея пребывания в пути: желание или неудовлетворенность гонят нас в дорогу. Но тогда каждый из нас потенциальный путешественник.

Это привело к появлению новой разновидности путевых заметок — рассказов разочарованного странника; они будут все больше и больше вытеснять книги, идеализирующие чужую страну. Европеец отправляется в Америку, предвкушая возможность начать новую, простую жизнь; образованный американец едет в Европу, чтобы в Старом Свете припасть к истокам нашей цивилизации, — обоих ждет разочарование. С начала XIX века в европейской литературе все отчетливей и отчетливей звучит мотив усталости от Европы и европейскости. Путешественников же становится больше и больше — теперь они направляются в экзотические страны, лежащие за пределами западного мира, и причиной тому — старые стереотипы: в этих странах общество устроено проще, вера — чище, недовольству (и рожденной из него цивилизации) там нет места. Но всякий раз оказывается, что рай утрачен. Мотив, вновь и вновь всплывающий теперь в путевых очерках: нынешняя эпоха — эпоха порчи, прошлое утрачено безвозвратно, вокруг — пустота; по сути, перед нами повествование о социальном упадке. Путешественники XIX века замечают, как современная экономика, замешанная на деньгах, неумолимо вторгается в идиллическую жизнь Южных морей, и тому подобное. Эти путешественники вовсе не мечтают жить жизнью местных аборигенов, но при этом они хотят, чтобы те оставались такими же — цельными, простыми, исполненными сексуальности, волнующими, манящими.

С точки зрения современного сознания, пускаться в путешествие, а потом его описывать стоит, если в "месте назначения" только что произошла революция. Алексис Токвиль[1], самый неромантичный и глубо-

1. Алексис Токвиль (1805–1859) — французский политолог, историк и государственный деятель. В начале 30-х гг. путешествовал по США, изучая пенитенциарную систему и методы уголовного наказания в стране, после чего издал четырехтомный труд "О демократии" (1835–1840). Широкую известность завоевал фундаментальным трудом "Старый порядок и революция" (1856) и изданными посмертно "Воспоминаниями".

кий из писателей-путешественников, странствуя по Америке, увидел: эта страна первой вошла в тот процесс трансформации и разрушения почти всех институтов прошлого, который неизбежно ждет и Европу, а потому необходимо внимательней присмотреться к тому, что такое революция и демократия. Описание путешествия в страну, где идут революционные преобразования, призванные якобы воплотить в жизнь идеалы, стало одной из главных тем, вокруг которых строятся современные травелоги. В XX веке это еще и путешествие в страны, где революция носит подчеркнуто радикальный характер, будучи Революцией с большой буквы. Чаще всего описания поездок в коммунистические страны прочитываются как поздний извод того жанра путешествий, когда человек из испорченной, все уже познавшей Европы, славит здоровую энергию "нового мира" – в данной версии это скорее энергия "нового человека", созидающего себя по собственным правилам.

Заметим: в этом случае "революционное" служит заменой "примитивного", но при всем том обладает множеством атрибутов, когда-то приписывавшихся примитивной простоте жизни. Фраза, произнесенная Линкольном Стеффенсом[1] после поездки в СССР в начале 1930-х: "Я видел будущее, и оно работает", – была обречена стать крылатой. Что же, в 30-е годы коммунизм еще ассоциировался с модернизацией. Но по мере того как советская модель все больше дискредитировала себя, а революция становилась уделом аграрных обществ, разорванных внутренними противоречиями и столкнувшихся с кризисом, делалось все очевиднее – в глубине души западные люди, побывав в СССР, думали: я видел прошлое, и оно... куда-то движется...

1. Джозеф Линкольн Стеффенс (1886–1936) – американский журналист; на самом деле его высказывание звучит так: "Я побывал в будущем – оно работает".

Лоренс Даррелл

Сицилийская карусель[1]

Фрагмент книги

Перевод с английского С. Силаковой

Сиракузы

"ПОМНИШЬ, ты как-то сказал, что в нашей одержимости Средиземноморьем есть что-то надуманное? Я говорю об островомании, изобретенной нами на Кипре, издавна свойственной всем твоим литературным шашням с Родосом и Корфу. Твоя фраза вдруг всплыла у меня в голове одним солнечным днем, когда я сидела в греческом театре в Сиракузах, читала и вязала, а дети выискивали сладкие травинки, чтобы пожевать".

Мартина позабыла, что́ именно навело меня на эту мысль, но я все помнил отчетливо. Меня внезапно осенило, что мы никогда особенно не задумывались над тем, каковы были все эти острова (Кипр, Сицилия и другие) раньше, до того, как покрылись фантастическими зарослями храмов и статуй — всеми этими проявлениями цельной и уверенной в себе культуры, которая из пустоты сотворила изобилие, а из беспорядочности дикой природы — красоту; культуры, создавшей религиоз-

© Lawrence Durrell, 1976, 1977
© С. Силакова. Перевод, 2007

1. В книге путевых очерков "Сицилийская карусель" Лоренс Даррелл описывает от первого лица туристическую поездку по Сицилии в рамках группового тура. На этот итальянский остров его лирический герой отправляется, движимый скорбью по своей недавно умершей приятельнице Мартине, с которой он подружился когда-то на Кипре. Позднее Мартина обосновалась с мужем и детьми на Сицилии, буквально влюбилась в этот остров и много раз приглашала в гости Лоренса, но тот так и не собрался. Теперь же, путешествуя по Сицилии, он постоянно ведет мысленный диалог с Мартиной. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ность, грамотность, искусство. Достаточно мельком увидеть следы более ранних культур, чтобы осознать всеохватную определенность эллинского напора — его блистательную свободу от колебаний, от сомнений в себе. Но этот напор одинаково питался тем, чем греки засевали землю, и тем, что они на ней воздвигали: города, храмы, портовые сооружения. В каком-то смысле наши представления о Средиземноморье кристаллизуются вокруг образов, зароненных греками в его почву, — в почву Великой Греции (какое удачное название!). На Сицилии видишь, что Средиземноморье развивалось в одном ритме с человеком, что развивались они вместе. Они взаимно открывались друг другу, и из этих отношений родилась греческая культура. На Сицилии это видится яснее, чем где бы то ни было: греки прибыли сюда в пору, когда культура их отечества находилась на пике расцвета, а сходство климата и ландшафтов позволило им не видоизменять ни обряды поклонения богам, ни политическое устройство, ни законы. Афины развивались здесь столь же благочестиво и строго, как и в самой Греции. Упоминая об Афинах, я позволяю себе определенную вольность, поскольку первые греческие колонисты прибыли из разных мест; но культурные проблемы, хотя бы в форме яростных разногласий и споров, были впервые подняты в Афинах и Афинами. В каком-то смысле термины "греческое" и "Афины" синонимичны для всех, кроме пуристов и историков.

Сопоставляя памятники разных эпох — в случае Сицилии, неолита и Древней Греции, — обнаруживаешь, что до прихода греков люди испытывали ужас перед хищной природой, ее эксцессами, ее непредсказуемостью. Развитие было невозможно — человек замер, припав к земле, а над ним нависала угроза полного вымирания. И вдруг что-то происходит. Рождается надежда. Но как это произошло? И в чем было ее предназначение? На эти вопросы нам никто не ответит, но, начиная с греков, люди стали видеть в Природе не враждебную стихию, а жену или даже музу, — ибо возделывание Природы позволило иметь досуг (и заниматься на досуге всевозможными искусствами). То, что мы подразумеваем, произнося слово "Средиземноморье", начинается именно с этого события, с этого первого эпохального момента, когда Афины коронуют оливу в качестве своей царицы и рождается греческое земледелие. <...>

После этой фразы ко мне бросятся скопом ученые, требуя не слишком упрощать картину. И действительно, поворотную точку в эволюции человеческого сознания я выбрал довольно произвольно — моя версия вероятна, но не вполне точна. Впрочем, какая-то поворотная точка определенно была, и избрание оливы в Аттике сгодится не хуже, чем любая другая веха. Конечно, различные божества и всевозможные верования — не только местные, но и привозные — бытовали одновременно; потому-то работа ученых незавидна, так как их доводы поневоле изобилуют противоречиями и умозрительными догадками. Но избрание оливы важно потому, что это дерево таинственным образом связано с судьбой всего греческого народа. Священная оливковая роща Академии выросла из черенков, срезанных с первой оливы в Акрополе; и всюду в Аттике все оливы, происходившие от того же дерева, звались "смертными деревьями" или "саженцами". Они принадлежали государству, и их священная неприкосновенность способствовала сохранению колоссального источника национального богатства. Уходом за этими оливами ведал непосредственно Ареопаг. Раз в месяц их инспектировали.

Тот, кто выдирал такое дерево с корнем, мог быть приговорен к изгнанию и конфискации всего земного достояния. Оливы находились под особым покровительством Зевса-Мория, храм которого находился неподалеку от храма Афины. Этот бог имел обыкновение метать молнии в головы таких преступников.

Но даже вопрос о происхождении оливкового дерева разрешен не окончательно. Откуда его завезли — может быть, из Египта? Доподлинно нам неизвестно. Однако о ценных свойствах, сделавших оливу Музой и Богиней афинянина, мы можем говорить с авторитетностью тех, кто провел в Греции — пусть даже и современной — не одну зиму. Выносливость оливы вошла в поговорку: кажется даже, что она может вообще обходиться без воды, хотя, если влага и удобрения есть, поглощает их охотно. При этом она поразительно легко переносит зной, не сбрасывая свой прекрасный наряд из серебристо-серой листвы. Корень оливы — этакая исполинская граната; его величине нельзя не подивиться, наблюдая, как засохшие деревья выдергивают, словно гигантские коренные зубы. Даже у самых невысоких олив корневая система размером с рояль. Из срезанных сучьев получаются отличные щепки: оливковое дерево горит так споро и жарко, что пекари любят растапливать им печи. Есть у него и другие достоинства: оно хорошо поддается обработке, а если его распилить и смазать растительным маслом, проступит красивая текстура. О плодах же говорить бессмысленно, если только вы не хотите воспеть их достоинства; с этой задачей блестяще справились греческие поэты. Олива — дерево живучее и изворотливое. Во время его краткого цветения есть опасный момент, когда внезапная перемена ветра или снегопад могут погубить цветки и, следовательно, плоды. Живя бок о бок с этим деревом, все сильнее к нему привязываешься; когда же северный ветер выворачивает его наизнанку — из серовато-зеленого делает серебряным, — можно в точности представить себе оттенок лукавых глаз Афины.

Все это, а заодно и буйно расцветшее на его основе отношение к жизни, было привезено на Сицилию на триремах и пустило корни во всецело греческих городах Сиракузах, Агридженто и Джеле. Правда, вообразив Зевса покровителем оливы, задумываешься о том, что место этого бога скорее в более древней религиозной культуре, которую лучше символизировали бы дуб и другие горные деревья. Что до оливы, она, как считалось, просто явилась людям; Афина вручила им этот дар, победив в состязании с Посейдоном за право покровительствовать Аттике. Старому морскому богу, возможно, принадлежал колодец с соленой водой на Акрополе — таинственное место, описанное у Павсания. Это нам мало что объясняет... правда, рассказывают, что сама Афина родилась из уха Зевса. Как однажды подметил Дидс[1], "у древних греков была одна мерзкая особенность — прямо побить их за это хочется, — они были способны одновременно верить в две взаимоисключающие вещи". Взялась эта черта из любопытства, уравновешенного радушием: всех иноземных божеств, откуда бы они ни происходили, встречали гостеприимно; потому и увязаешь в путанице, когда пытаешься выяснить что-то конкретное о богах доморощенных.

1. Персонаж книги Даррелла, английский турист, с которым автор сдружился в поездке.

В любом случае оливковая ветвь с маленькой совой на ней (сплюшкой, чьи очаровательные потомки все еще живут на Акрополе в выемках и расщелинах, на закате и рассвете издавая свои странные меланхолические крики) оттиснута на древнеафинских монетах. Да и на пуговицах гимназических мундиров, в которых щеголяют маленькие афиняне в наше время, изображен Афинин совенок, ныне символизирующий мудрость — не обязательно эзотерический полет мысли, а скорее простую житейскую смекалку. И раз уж мы говорим об оливе, я непременно должен отметить, что при выращивании олив ветки культурных сортов прививают на дикорастущие деревья. Кстати, плоды в садах созревают в ноябре-декабре. Итак, на происхождение оливы, возможно, прольет свет история прививания черенков как садоводческого метода; должно быть, его открыли в стране, где уже хорошо смыслили в сельском хозяйстве. Уж не в Индии ли? Тогда как попал этот метод к древним грекам? Я недостаточно владею предметом, чтобы ответить на все эти вопросы, хотя в путешествиях они, как и многие другие, постоянно крутятся у меня в голове. Точнее, я подолгу обсуждаю их с поблекшим призраком Мартины, которая вечно доискивалась ответов и не стеснялась опровергать мои гипотезы. Я чувствую, что в моих гипотезах об оливе Мартина нашла бы два-три слабых места. И все же, если меня попросят сформулировать, что такое "Средиземноморье", я не удержусь от соблазна ответить: "Это местность, где распространены оливковые деревья и где самые основы жизни сельского обитателя — например, кухня — зиждятся на плодах этого дерева: на оливковом масле готовят, им же освещают дома, а сами оливки едят с хлебом. Все эти функции олива выполняла с незапамятных времен, а в странах, примыкающих к этому морю, почти замкнутому сушей, — выполняет и ныне".

Но я отвлекся, так и не коснувшись главного вопроса, о котором напомнили мне ее слова. Что было тут раньше — как выглядел остров?

Задолго до того, как совоокая Афина начала царствовать в своих владениях, остров освоили люди, чья история окутана мраком, — ибо они не оставили после себя ничего, чем мы могли бы любоваться. Должно быть, множество племен и кланов высаживались на остров, прибывая с разных сторон света, но преобладающую роль в истории сыграли сикулы, чьи письмена, если не ошибаюсь, не расшифрованы до сих пор; да и надписей от них осталось немного. Сунувшись в их "тупик", исследователь доисторической эпохи дополняет горстку достоверных фактов, которыми располагает, смелыми умозрительными построениями; несколько гробниц, пара расчищенных в лесу полян, каменные дома, которые были бы вполне уместны где-то в джунглях, — все это не может сильно вдохновить наш разум или наше эстетическое чувство. Задерживаться на теме сикулов — по сути, напрасный труд. (Одной половиной своего мозга я во сне разговариваю с Мартиной, а другой пытаюсь набросать черновик карманной истории Сицилии, которую она когда-то потребовала написать для своих детей.) В таких случаях следует сосредоточиваться на ярких моментах, опуская прочие. Есть несколько хороших историй Сицилии, настолько подробных, что они действуют как снотворное; но я, преисполнившись скромности, предпочел бы написать нечто вроде сопроводительного текста к пейзажам.

Итак, интересно вообразить себе не сикулов, а состояние острова, доставшегося им по наследству, — досредиземноморской, если я осме-

люсь так выразиться, Сицилии. Например, в период плейстоцена местность эта была, верно, уныла и негостеприимна, ибо по вычурному размаху своих затей природа намного превосходила человека. Человеку оставалось лишь в суеверном страхе жаться к земле, пытаясь спрятаться от нависшей угрозы: у него не было ни орудий, ни сообразительности, чтобы воздействовать на природу, бороться с ней или хотя бы защищаться от диких зверей, которыми кишели эти живые цитадели из дубов и буков, — кабанов, леопардов, оленей с огромными рогами; что уж говорить о змеях, волках и насекомых — биче этих затерянных деревенек из туфа, где единственным орудием труда служили осколки обсидиана, которыми впору разве что резать мясо или рубить овощи перед употреблением в пищу. Поневоле напрашивается вывод, что человек того времени был существом в культурном отношении жалким — несчастным и на суше, и на море, так как ни тут ни там он не был хозяином. Мне представляется этакий Калибан, только лесной, в случае неудачной охоты обходящийся личинками и червями. В Африке и Австралии такие культуры сохранились по сей день. Возможно, образ жизни сикулов был не настолько примитивен, но доподлинных сведений о них нет, что позволяет нам дать волю воображению; по-видимому, ничто из сделанного сикулами не предрекало, что однажды здесь вырастут Сиракузы: белый сияющий город на зеленом с синим отростке меж двух идеальных гаваней — место, где Коринф, Родос и Афины почувствуют себя как дома. <...>

Тут требуется смелый полет фантазии; но столь же трудно вообразить, как должен был выглядеть ландшафт при отсутствии большинства цветов и плодовых деревьев, которые мы видим сегодня, — без флоры, в нашем представлении неотделимой от Средиземноморья. Очень многое из того, что окружает нас сегодня, попало на остров в недавнем прошлом — иногда только в XVI веке. Длинные всклокоченные живые изгороди из опунций — родом из Нового Света, как и агавы и помидоры. Арабы завезли лимонное и померанцевое дерево, шелковицу и сумах. В некоторых уголках острова до сих пор отлично себя чувствует египетский папирус. На этой щедрой земле ландшафты разнообразны — есть возвышенности и низины, солнечные и затененные места. Нелишне припомнить, что в Афинах даже олива и виноградная лоза произрастают не с начала времен; правда, об их первородине мы можем лишь гадать. Что касается Сицилии, то здесь, так сказать, "приживается" все — почти непременно найдется уголок, где особенности почвы и климат благоприятны для вида-пришельца. Дидс подметил, что здесь хорошо растут и табак, и авокадо.

Собственно, если вы желаете наслаждаться лучшими плодами всего многообразия планеты, стабильный субтропический климат идеален для выращивания любой культуры. В здешних теплых низинах можно увидеть, например, плантации банана, грейпфрутов и сахарного тростника. Даже рожковые деревья, прибывшие, должно быть, из Ливана. <...>

Но как же сложно вообразить себе эту "житницу Рима" без лимонных и померанцевых рощ, без виноградников, без кактусов и алоэ! А на прохладных туманных плато ягоды и хвойные леса напоминают тебе об Австрии или Англии. Даже саженцы сладких апельсинов завезены сюда из Китая португальцами в XVI веке.

Стоит ли удивляться, что сикулы, у которых не было всех этих великолепных фруктов, добывавшие себе пищу тяжким трудом и в ужасе перед стихией, не оставили нам никаких объектов для восхищения? Им не суждено было покорить ни землю, которая дает пшеницу и ячмень, ни море, доставляющее прямо к твоим дверям плоды чужих земель и культур. Сикулы были узниками своего острова, и для нас они как жители чужой планеты: им почти невозможно сопереживать, хоть как-то проникнуть в тайны их натуры.

И все же, хотя приход греков сыграл для сельского хозяйства и развития города огромную роль, он изменил, так сказать, лишь "верхний слой" исторической почвы. Глубинная причина состояла в том, что климатом Сицилия напоминала то ли Аттику, то ли Арголиду. Долины с известняковой почвой изобиловали источниками пресной воды; земля была не менее красива, чем Греция, и столь же богата. А после первых весенних ливней Сицилия, должно быть, покрывалась таким же роскошным ковром полевых цветов, как Аттика, ибо так происходит и сегодня. Греческий сад, описанный Гомером в "Одиссее", вполне мог цвести (да, возможно, и цвел) здесь, на Сицилии:

> Много дерев плодоносных, ветвистых, широковершинных,
> Яблонь, и груш, и гранат, золотыми плодами обильных,
> Также и сладких смоковниц и ма́слин, роскошно цветущих,
> Круглый там год и в холодную зиму, и в знойное лето,
> Видимы были на ветвях плоды.
> Там разведен был и сад виноградный богатый,
> Саду границей служили красивые гряды, с которых
> Овощ и вкусная зелень весь год собирались обильно[1].

Эти новые и красочные приметы быта говорят о досуге и изобилии. По времени с ними совпадает первая волна росписей на вазах и первые стихи поэтов, населивших речки нимфами, дубовые рощи дриадами, пещеры паниками и кентаврами, а леса сатирами и силенами. В культуре последующего периода у всякого растения и цветка была своя история, своя связь с мифопоэтической сокровенной натурой человека — натурой, которую он может осознать, лишь когда ему дается возможность мечтать. Да, Мартина, вот в чем штука! В возможности мечтать! Так Дафна обернулась лавром, так Персефона утолила голод зернышками граната[2], так была приручена поэзия как таковая.

Но не думайте, что в результате всех этих усилий вырастали лишь изысканные тепличные цветы — напротив, то были попросту цветы и плоды земли. Пожалуй, симптоматично, что вплоть до позднеэллинистической эпохи не было написано ни одного трактата о садоводстве. Затем появились храмовые рощи и сады... мне вспоминается, что Платон (едва не казненный на Сицилии очередным тираном) возрадовался, когда его Академия в долине реки Кефис превратилась в щедро поливаемую рощу с аккуратными аллеями и тенистыми уголками для прогулок; тут же, неподалеку, была и роща соперника Платона, Эпикура, на взра-

1. Перевод В. Жуковского. М.: Худ. лит., 1986, с. 68.
2. Отсылка к мифу о похищении Персефоны Аидом, который увел ее к себе в подземное царство и там заставил проглотить зерна граната — символ нерушимости брака.

щивание которой, по слухам, было потрачено семь тысяч драхм (для сравнения: драхма равнялась дневному заработку). Здесь Эпикур жил и наставлял учеников, сидя в своем кресле о трех колесах, а когда он скончался, то сад и маленький домик перешли по завещанию его собратьям-философам. Сад этот исчез, словно его и не бывало. Все исчезло. Последним сад Эпикура видел ворчливый старик Цицерон, когда лет через двести случайно туда забрел, прогуливаясь с друзьями по Афинам. Но роль тени, воды и времени в развитии философии могла бы стать темой целого трактата. За северо-восточной окраиной города в большом зеленом парке находился Лицей, где учил Сократ, где Аристотель и его последователи увлеченно спорили, прохаживаясь по аллеям, за что и были прозваны "перипатетиками"[1]. Они были знатоками сравнительных качеств тени и воды — совсем как современные афиняне и сицилийцы. Собственно, можно изучать современные мифы, сравнивая сосновую тень с платановой, а тень фигового дерева с тенью кипариса. Поэкспериментируйте сами и проверьте, которая из них навевает самый крепкий сон во время сиесты, а которая будоражит душу снами и видениями. <...>

Ехать было недалеко. Правда, мои топографические способности притупились, и я не мог понять, едем мы на восток или на запад. Но в этот день мы получили драгоценный подарок, ибо нас высадили на затененной тропке, где, к облегчению Роберто, ожидал другой гид. Это был пожилой мужчина в темных очках, похожий на шпиона или детектива в шпионском или детективном фильме. Его глаз было не разглядеть за очками. Свой хорошо пошитый, но видавший виды костюм он дополнил галстуком-бабочкой и твердой фетровой шляпой в гангстерском стиле. Манжеты рубашки были скреплены запонками. Кто он есть, поначалу было трудно определить, так как держался он слегка барственно; может быть, обнищавший аристократ, занявшийся этой работой ради чаевых? Но, думаю, Дидс попал в точку, уверяя, что наш гид — университетский профессор-античник, который, уйдя на пенсию, заскучал и рад как-то применить свои знания. Во всяком случае, это был человек чрезвычайно образованный и эрудированный, а по-английски и французски изъяснялся великолепно, несмотря на легкий акцент. Вдобавок он был помешан на своем предмете и умел заразить энтузиазмом. Итак, мы попали в хорошие руки: никто бы не смог лучше показать нам ценнейшие греческие и римские памятники — греческий театр и римский амфитеатр, столь удачно расположенные "спина к спине", хотя по времени создания они относятся к разным эпохам. Увидеть два таких памятника в двух шагах один от другого, чтобы их сопоставить, — настоящее счастье. Так нам и сказал старик гид. <...>

Но я, пожалуй, забежал вперед, ибо вначале нас попросили обратить внимание на громадный алтарь Зевса, возведенный Гиероном[2]. От алтаря не осталось ничего, кроме мощеной площадки и нескольких расколотых камней, указывающих на первоначальное предназначение этого сооружения, когда оно служило для колоссальных жертвоприношений богу. Сохранился и пандус, по которому животных гнали к ожи-

1. Перипатетик (*греч.*) — прогуливающийся.
2. Вероятно, Гиероном I, тираном Сиракуз в 478—466 гг. до н. э.

давшим жрецам на заклание. По этому поводу наш гид прочел небольшую лекцию о характере и функциях жертвоприношения у греков. Сразу стало ясно, насколько он непохож на Роберто. Античную Грецию он знал скрупулезно, а современную — объездил из конца в конец, так что ему было с чем сравнивать Сицилию. (У Диодора сказано, что обычно приносили в жертву по 450 быков — просто чудовищное количество!) Но наш гид поторопился подчеркнуть, что в таком обычае не было ничего мрачного, жестокого или угнетающего, ибо после того, как жрецы освящали жертвенное мясо, им лакомился весь город. В общем, то был выходной по случаю большого праздника, да еще и с дармовым угощением. "Отношение к религии, свойственное греческим авторам V века, целиком пронизано радостной уверенностью; это светлая дружба с богами, служение которым для человека — не что иное, как великолепное празднество", — сказал гид. Разумеется, это была цитата, и Дидс, однажды уже побывавший на его экскурсии, шепнул мне, что автор — Джейн Харрисон[1] (мир ее тени!). А гид тем временем разошелся и вдобавок одарил нас отрывком из Ксенофонта, который я потом переписал из его маленького блокнота в черной обложке. Отрывок оказался весьма уместным. Он гласил: "А что касается жертв и святилищ, празднеств и священных участков, то народ, поняв, что невозможно каждому бедному человеку самому приносить жертвы, устраивать празднества, возводить храмы и украшать и возвеличивать город, в котором живет, придумал, как достигнуть этого. Вот поэтому государство совершает на общественный счет жертвоприношения в большом числе, а народ и пирует и получает по жребию мясо жертвенных животных"[2]. Старый гид, не стесняясь, продекламировал эти слова — и даже отбивал ритм пальцами; он добавил по-английски, а затем по-французски: "Тогда религия была большой fiesta[3]. В нас, сицилийцах, доныне сохраняются заметные отголоски этого чувства — не то что в итальянцах". О боже, еще один националист-фанатик!

Но свой предмет он знал от корки до корки и под жарким послеполуденным солнцем, уже склонявшимся к закату, образно рассказывал об этих когда-то столь прекрасных памятниках, которые ныне лежат, ободранные, лишенные всех своих украшений, не защищенные от зноя. Требуется сильно напрячь фантазию, чтобы вообразить себе огромный алтарь в его былом виде. Все статуи исчезли, как и все колонны. Но даже если бы они уцелели, то, вероятно, картина была бы та же, что и в уцелевших сицилийских храмах — искусственный мрамор осыпался, все окрасилось в оттенок высохшего табака. "Наверно, глупо сожалеть об огульном уничтожении изысканных вещей, когда старая культура вытесняется новой; в конце концов, если бы ничего никогда не гибло, где бы мы все это хранили, черт возьми?" Так размышлял Дидс, пока мы сидели на горячих ступенях римского амфитеатра, жевали травинки и вдыхали ядреный смолистый запах нагретых солнцем сосен, который

1. Джейн Эллен Харрисон (1850–1928) — известный английский античник, автор книг о древнегреческой культуре и религии.
2. Даррелл ошибается. Автор сочинения, из которого взят отрывок, — неизвестный античный писатель, которого принято называть "Старым Олигархом" или Псевдо-Ксенофонтом. Цит. по: Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития // Аристотель. Афинская полития / Перевод и примечания С. И. Радцига. — М.: Соцэкгиз, 1937, с. 229.
3. Праздник (*итал.*).

моментально воскресил во мне воспоминания о склонах Акрополя и Ликабетта[1], где в юности теплыми безветренными летними ночами я так часто спал под открытым небом, которое все переливалось от звездопада. Должно быть, таково оно и здесь.

А гид тем временем не уставал твердить, до чего же нам повезло, что на Сицилии памятники греческой и римской культур все равно что выставлены в одной витрине — нигде больше в мире такого нет. "Уже одни абрисы архитектурных сооружений явно свидетельствуют, что это два принципиально разных подхода. В своем громадном амфитеатре римляне задумали все в угоду взору — ради зрелища, массового зрелища. А в нескольких ярдах отсюда вы видите греческий полукруг, задуманный в иную эпоху — для слуха. И в этом — разница между искусством как квазирелигиозным событием интеллектуальной жизни и искусством как представлением для народа. Эсхил и его боги против хлеба и зрелищ. Здесь вы можете изучать оба подхода так, словно они сосуществовали в один исторический момент, хотя в действительности их разделяли столетия". Весьма проницательный, заставляющий глубоко задуматься взгляд на эти, ныне полупризрачные, памятники ушедшего мира. Пульсирующий жар солнца, катившегося к горизонту, все еще обжигал, а древности навевали сомнамбулическое состояние. Из белого камня, совсем как в Афинах, росли каперсы. Была тут даже крошка-сова, вспорхнувшая на кипарис с меланхоличным тихим "ух-ух", свойственным сплюшкам. Впрочем, поражало другое: то, как быстро забываются знания о точной природе и предназначении вещей; археолог имеет дело с этаким палимпсестом, где вместо надписей наслоены одна на другую культуры, причем более поздняя сдвигает или деформирует предыдущую; археолог пытается дойти до raison d'être[2] того, что предстало его взору. Но это пустой труд — по крайней мере на Сицилии и тем более здесь, в Сиракузах. Руины молчат о своей тайне. Памятники истерлись, точно зубы ископаемой челюсти; все, что можно было снять и вывезти, сочли излишним, все красивое полагалось осквернить. Только голые раскаленные камни кое-где до сих пор хранят следы полустертых надписей; иногда встретится пьедестал пропавшей статуи или выемка, в которую когда-то вставляли основание обелиска. Все поглощено без остатка, как плоть — землей. Но, сидя в этом старом римском амфитеатре, без особого труда домысливаешь толпы людей, ныне тоже поглощенных временем, которые наблюдали за зрелищами, организованными для них государством, — кровавыми игрищами.

"Прежде чем мы покинем римлян — этот, один из крупнейших амфитеатров, сохранившихся до наших дней, — я вынужден признаться, что мы пока не в состоянии проникнуть во все его загадки. Например, вон тот резервуар для воды посреди арены — он недостаточно большой, чтобы всерьез служить для водоснабжения. Возможно, в него наливали священную воду? Мы этого не знаем".

И тут меня осенило: ведь на средиземноморском побережье Франции, помимо профессиональной корриды в испанском стиле, иногда устраивается "бег с быками", когда молодых животных испытывают, а по-

1. Холм в черте Афин.
2. Смысла существования (*франц.*).

том зовут молодых парней выйти на арену и попробовать свои силы. Рога бычков и телок заматывают тряпками, так что для человека они не опасны. Эти вечера, когда люди веселятся и совершают нелепые выходки, именуются "шарлотадами" — в память о Чаплине; собственно, часто случается, что двое-трое деревенских парней наряжаются "под Чарли" и выходят гонять быков с зонтиками. Проделки быков и Шарло веселят публику до колик. Иногда кому-нибудь перепадает резкий удар в зад от бойкой телочки. Так вот, для этих действ характерна piscine — бассейн с водой посреди арены. Молодые тореро-дилетанты запрыгивают в этот бассейн или перескакивают через него. Проделки быка, ошарашенного водяными брызгами, поминутно отвлекающегося на вскрики многочисленных детей, — просто умора. Итак, piscine — обычная примета шарлотад, и о ее наличии непременно извещают в афишах ("course libre avec piscine")[1]. Напрашивается предположение, что римляне тоже увлекались бегом с быками — если так, то слабое эхо их пребывания в Провансе (области, которая просто усеяна грандиозными римскими сооружениями) дошло до наших дней в виде этого загадочного элемента народной забавы. Но проверять мои высокоумные догадки на старике гиде, который уже явно притомился от своей добросовестной работы, было не ко времени, и я промолчал, пообещав себе, что, вернувшись в Прованс, изучу тему досконально.

И наконец, когда фотоаппараты перестали щелкать, мы, еле переставляя ноги, вернулись на сто ярдов назад в другой мир — столь своеобразный в его белизне и осязаемости, что римское сооружение, колоссальное и безличное, показалось неисправимо-пошлым по сравнению с этим белым, сохранившимся почти в неприкосновенности маленьким театром, символизирующим мир гармонии и живого интеллекта, где поэты одновременно были математиками, где было найдено творческое соединительное звено, которое мы лишь теперь пытаемся обрести вновь. Лейтмотивом греческого духа были бесконечная голубизна небосвода и белизна мрамора; а Древний Рим отчего-то ассоциируется с чем-то серо-коричневым или медово-желтым. Эта архитектура — само блистательное красноречие — должна была, согласно замыслам ее создателей, пережить даже конец вечности. Греки чувствовали, как время утекает у них между пальцами — следовало не зевать, ловить благоприятный момент, пока тот не ускользнул с быстротой ртути. И все же в этой спешке была своя строгость — пение, несмотря на всю его чистоту (или, возможно, благодаря ей?) зиждилось на математическом уравнении, которое соотносило его с небесными истоками, с гармонией всего сущего.

1. "Вольный бег [с быками] с бассейном" (*франц.*).

Ян Юзеф Щепанский

Майя

Из книги “Наше не наше”

Перевод с польского Полины Козеренко

НИ один учебник истории, ни один географический атлас не подарили мне такого ощущения мирового пространства, как толстая зелёная книга с тисненным золотыми буквами названием “The Maya Architecture”[1]. Мой отец получил ее в начале тридцатых в подарок то ли на именины, то ли на Рождество, но с самой первой минуты она стала моей безраздельной собственностью. Детское “рассматривание картинок” превратилось в упоительный процесс, было откровением, с которым не могли сравниться последующие, входящие в обязательную программу посвящения в тайны Древнего Египта, Греции и Рима. Все они были рутиной, элементом общего образования. Майя принадлежали только мне — никто среди одноклассников о них и не слышал. Но истинные размеры увлечения не объяснялись только мальчишеским снобизмом. Говоря о “мировом пространстве”, я имею в виду его ошеломляющие богатства — широта географической и исторической сцены, на которую выходили и с которой сходили самые необычные, непостижимо сложные культуры, ничего друг о друге не ведающие, словно одинокие планеты рассеянной в космической пустоте галактики. Тот факт, что цивилизация майя существовала на самом деле, о чем наглядно свидетельствовали руины Чичен-Ицы, Ушмаля или Паленке, не переставал меня завораживать. Они как будто скрывались за горизонтом предназначенной моему познанию действительности, поэтому встреча с ними была приключением из того разряда, что

© by Jan Józef Szczepański, 1983
© Полина Козеренко. Перевод, 2007
1. “Архитектура майя” (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

выпадал на долю тех, кто искал пути в Индию. По воле случая мне попалось нечто совершенно неожиданное. Такие случаи ценятся очень высоко.

Вскоре очарование тайной уступило место лихорадочному любопытству. Иератические фигуры с барельефов, благодаря изобилию перьев и слипшимся в гроздья зернам иероглифов похожие на какие-то тропические растения, были все же изображениями людей, которые когда-то жили, воевали, приносили жертвы, верили во что-то, ели, спали, любили друг друга, занимались различными ремеслами, знавали смех и слезы, страх и голод, удовлетворяли физиологические потребности, смотрели на звезды и слушали пение птиц. Искушение узнать, кем они были, каков был их мир, одолевало меня всякий раз, когда я раскрывал зеленую книгу. Конечно, я их идеализировал. Это было тем легче, что их история даже для специалистов осталась скрыта завесой тайны. Почему они покинули свои поселения на Юкатане задолго до конкисты? Откуда прибыли? Когда? Эти вопросы возникали у меня по мере накопления моих любительских знаний, которыми я старался охватить все более обширные регионы континента.

По сравнению с другими народами Центральной Америки, особенно ацтеками, майя казались мне самыми симпатичными. Их архитектура была менее угловатой, их искусство — меньше пронизано смертью, более чувствительно к красоте мира. В нем было больше цветов, что, возможно, свидетельствовало о нежности, склонности к лирическим переживаниям. Немногочисленные исторические свидетельства, с которыми мне удалось ознакомиться, подтверждали это впечатление. Символическое значение, например, имело для меня сказание об охромевшей лошади, которую испанцы оставили в одном из селений майя и которой народ приносил жертвы из самых красивых цветов. Круглая башня астрономической обсерватории в Чичен-Ице — единственное здание подобной формы на всем континенте, — столь не похожая на доколумбовские памятники, вызывала во мне восхищение и утверждала в убеждении об исключительности культуры майя. Однако желание увидеть Юкатан собственными глазами принадлежало к юношеским мечтаниям, в осуществление которых никогда всерьез не веришь.

Когда мои хозяева в Мексике предложили помочь мне съездить на Юкатан, я отнесся к этому с суеверной опаской. Что-нибудь обязательно встанет на пути. И действительно, накануне отъезда мои покровители из министерства проинформировали меня, что поездка на Юкатан нецелесообразна. В Мериде якобы беспорядки. Во время предвыборного митинга, происходившего на арене для боя быков, под толпой провалились трибуны, много убитых и раненых, в городе начались волнения. Если я готов ехать на свой страх и риск, то — пожалуйста, но власти не возьмут на себя за это ответственности и не смогут оказать мне помощь. Я же видел только одну опасность: что случай увидеть Юкатан никогда больше не представится. Мы с женой решили рискнуть.

В Мериде не было заметно никаких признаков волнений. Стоило выйти из самолета, как мы ощутили материальность воздуха. Неподвижный и влажный, он ложился на плечи горячим грузом. Тропики. Но в этой душной тяжести был покой. Тишина заполняла широкие коридоры аэропорта между стеклянными стенами, за которыми стояли мохнатые пальмы, погруженные в полуденную дремоту. Такси подъез-

жали не спеша. За поездку полагалось платить вперед, у столика за воротами. Казалось, что все здесь устроено с толком, так, чтобы свести к минимуму любые усилия и напряжение. Город под стать человеку. Вдоль улиц, лишенных названий и обозначенных номерами, низкие домики с плоскими крышами. Темно-фиолетовые каскады бугенвиллей на оградах садиков. Посреди тротуаров покосившиеся столбы линий электропередачи. На главном бульваре, где здания в стиле модерн соседствуют с современными магазинами, вокруг клумб, украшающих многочисленные круглые площади, стоят белые каменные скамейки в форме тех старомодных козеток для флиртующих пар, на которых один сидит передом, а другой задом. Среди машин и автобусов, размеренно двигающихся по проезжей части, можно встретить чуть покачивающиеся дрожки — смешные узкие коляски с высокой крышей, запряженные маленькими лошадками. После душной суеты столичного Мехико Мерида — оазис достоинства и благоразумия.

Но все же не Мерида должна была стать целью этой эскапады. Мои представления о Юкатане, о путях, которые могут привести к интересующим меня местам, были довольно туманны. Оказалось, что в неполные четыре дня моего там пребывания можно добраться только до Ушмаля и Чичен-Ицы. На экскурсию в Паленке требовалось отвести как минимум два дня, притом в спешке и приложив большие усилия. Поездка в Тулум была бы столь же долгой и еще более трудной. Таким образом, оставались Ушмаль и Чичен-Ица. В конце концов, два самых важных центра культуры майя.

*

Юкатанский пейзаж, который по моим представлениям должен был быть необычайно живописным, простирался до горизонта однообразной поверхностью, покрытой то рядами сизаля[1], то спутанными зарослями низкорослого кустарника. На столбах заборов, огораживающих плантации, сидели сипы[2]. Когда мы приближались к ним, они тяжело и неохотно взлетали. Микроавтобус турагентства, в котором кроме нас ехали еще четыре американца, одиноко катил по пустому и прямому, как стрела, шоссе. Еще в предместьях Мериды мы заметили овальные хижины без окон с крышами из пальмовых листьев. Чем дальше от города, тем больше было таких домишек в редких деревнях, попадавшихся нам на пути. Слепленные из красной потрескавшейся глины или построенные из бамбуковых колышков и огороженные плетнями из терновника, они стояли в окружении банановых деревьев и кокосовых пальм. Распахнутые настежь двери открывали взору мрачные интерьеры с гамаком, подвешенным к деревянному перекрытию, и парой стульев, что и составляло всю обстановку. С радостным недоверием приветствовал я знакомые очертания. Знакомые, поскольку я уже знал их по картинкам из хроник майя, уделявших много внимания быту простых людей — крестьян, выращивающих кукурузу, ремесленников и ткачих. Именно в таких домиках жили те, кого не изображали в церемониаль-

1. Сизаль, или сисаль (Agave sisalana) — вид агавы, а также волокно, добываемое из ее листьев. Назван по мексиканскому портовому городу Сисаль.
2. Белоголовый сип (Gyps fulvus) — птица из отряда соколообразных.

ных одеждах жрецов или в богато украшенных воинских доспехах. Я спросил у гида, на каком языке здесь говорят. "Майя", — ответил он не колеблясь. Я знал это, но вид тех хижин подтверждал еще одно странное явление в истории майя: непонятное культурное "оскудение", в результате которого обезлюдели города Юкатана, были отданы во власть джунглей великолепные каменные постройки. А вот хлипких домишек эта участь не коснулась, дабы они могли веками возрождаться вновь и вновь в неизменном виде. В своем шествии по этой стране, все еще плодородной и многолюдной, испанцы встречали пустые храмы и замки посреди давно не прореживаемой чащи. На сей счет существуют разные предположения. В числе прочего говорят о засухе, которая несколько лет кряду терзала бедные реками равнины Юкатана и повлекла за собой миграцию на юг, в густые леса Гондураса и Гватемалы. А может, разразилась какая-то эпидемия, особо безжалостная к густонаселенным поселениям? В масштабе нашего исторического сознания эти загадочные происшествия не причислишь к событиям, "утопающим во мраке веков". Майя покинули свои города на Юкатане только в XV веке. Однако конкиста прервала развитие местной традиции. Испанцы уничтожили рисованные хроники и истребили просвещенные слои населения. Остался народ в глиняных хижинах — народ, на согбенных плечах которого воздвигли новую культуру.

Ушмаль расположен в котловине среди пологих лесистых холмов, отчего создается впечатление, что равнину вот-вот захлестнут зеленые волны. Тропинка, ведущая от шоссе, поднимается вверх довольно круто, под ногами хрустит известковая осыпь. Внезапно открывается вид на пирамиду. Не такую, как все. Ощетинившаяся мелкими морщинками ступенек, благодаря своим закругленным краям и практически овальному основанию она не производит впечатления застывшей геометрической громады. Остатки города у ее подножья тоже не отмечены печатью величественной суровости, духом которой веет от ацтекских построек. Монументальность сглажена поистине барочным богатством резьбы, густые и сложные мотивы которой напоминают каменные кружева. Поэтическая экстравагантность, так хорошо знакомая по страницам зеленой книги, оказалась еще более загадочной и волнующей, чем на фотографиях. Может, я тешил себя надеждой, что, если мне когда-нибудь доведется увидеть этот город собственными глазами, воображение сможет проникнуть в тайну его навсегда угасшей жизни. Однако реальность неподатливее картинки. Отсутствие понятного, человеческого содержания больше бросается в глаза. Тревожит. Никто не знает, каково было назначение самого роскошного комплекса зданий, выстроившихся по сторонам прямоугольного двора, сейчас заросшего травой. Все сохранилось почти в первозданном виде. Продолговатые каменные строения с мрачными покоями под треугольными сводчатыми потолками, выходящими на террасы и опирающимися по всей длине фасада на ярусы лестниц. Верхняя часть фронтальных стен, расположенная выше жилого уровня и выдающаяся вперед, являет собой непрерывную череду тесаных камней, украшенных орнаментом. Среди ритмично повторяющихся каменных масок с оскаленными клыками и выступающими крючковатыми носами меандрами вьется покрытый перьями змей Кукулькан. Археологи-англосаксы назвали этот архитектурный комплекс nunnery, то есть женским монастырем, но с тем же успехом он мог быть

и жреческой школой, дворцом или резиденцией административных властей. Двор, куда входили через высокие ворота, вероятно, служил для каких-нибудь церемоний. Возможно, здесь танцевали под звуки барабанов, дудок и раковин, а может, обсуждали городские дела, слушали напыщенные речи, вели ученые диспуты о богах и звездах. Наверняка тут свершалось нечто важное и значительное. Однако никто уже никогда об этом не узнает. При желании можно лишь строить догадки, наполнять сохранившиеся формы образами собственной фантазии.

Так и поступают режиссеры sonida y luz[1]. Как оказалось, тут по вечерам устраивают действо, подобное тому, которое мы наблюдали в Теотихуакане. Но если здесь оно и не столь достоверно, то уж точно характеризуется бóльшим вкусом. Музыканты стараются воспроизвести предполагаемое звучание музыки майя: для этого они используют инструменты, типичные, по мнению исследователей, для местной традиции. Световые эффекты менее ярки, а текст опирается на подлинные легенды и гимны, выражающие мольбы о ниспослании дождя, и читается по ролям на языке майя — мягком, полном приятных для слуха гласных. Но самое сильное впечатление производит нечто такое, чего, конечно же, не планировал заранее ни один режиссер или турагент, а именно: когда цветная вспышка ударяет в резной фасад, из черных дверных проемов вырываются стаи летучих мышей. Их темные бахромчатые силуэты разрезают полосы света быстрыми беззвучными зигзагами, и руины Уксмала оживают, наполняясь хотя и загадочной, но подлинной жизнью.

*

Чичен-Ица, должно быть, была поистине большим городом. То, что от нее осталось, разбросано по немалой территории, а длящиеся не первый десяток лет археологические раскопки до сих пор далеки от завершения. Еще много руин скрывают заросли кустарника. И здесь глазам испанцев тоже предстала пустота давно покинутых мест. Самые известные строения — огромная пирамида с храмом воинов на вершине, а также стадион для игры в мяч — были тщательно отреставрированы. Однако принадлежат ли они на самом деле культурному наследию майя? Подобное сомнение закрадывается сразу, особенно когда в памяти еще свежи руины Ушмаля, в архитектуре и скульптуре которого не было элементов ужаса, столь характерных для искусства ацтеков и тольтеков. А в Чичен-Ице вновь царит смерть.

О религиозных обрядах майя известно немногое, и все же скупые сведения словно свидетельствуют о том, что кровавая жертва — даже если к ней прибегали при каких-то особых обстоятельствах — ни в коем случае не играла существенной роли в культуре. Между тем в храмах Чичен-Ицы сохранились все типичные атрибуты мест, предназначенных для ритуала массовых сакральных убийств. Жертвенные камни, сосуды для крови, мотив черепа, присутствующий в рельефах и скульптурах, — все это представляет собой недвусмысленное свидетельство. Историки достоверно установили, что Чичен-Ицой завладели тольтеки. То был, очевидно, эпизод великой миграции этого народа на юго-восток, начав-

1. Звук и свет (*исп.*).

шейся со вторжения ацтеков в мексиканскую долину в начале XIV века. Как бы ни сложились отношения между майя и тольтеками, печать культуры последних явственно ощутима. Издавна склонный к идеализации культуры майя, я воспринял это как порочное влияние — влияние жестокости.

Меня всегда интриговал здешний стадион для игры в мяч, известный по множеству описаний и фотографий. Эта игра наверняка имела какой-то сакральный характер, о чем свидетельствуют храмы, возведенные на вершинах каменных трибун. Правила игры так и остались невыясненными. Известно, что у спортсменов вокруг локтей, плеч и бедер были обручи из каучука, которыми они ударяли по мячу из такого же материала. На стенах стадиона по обеим сторонам поля на высоте примерно трех метров находились два каменных кольца, куда следовало попасть мячом. Похожую площадку, хотя гораздо хуже сохранившуюся, мы видели раньше в Туле — некогда столице тольтеков. Очевидно, вместе с ними игра в мяч попала на Юкатан. Рельефы на внутренних стенах трибун в Чичен-Ице изображают церемонию, являвшуюся, по всей видимости, ритуальным финалом соревнований. Это церемония декапитации. Служитель культа в роскошной одежде и высоком головном уборе из перьев отрубает мечом голову преклонившего пред ним колени спортсмена. Был ли это победитель или побежденный — неизвестно. В любом случае мы представляем себе молодого мужчину, полного энергии и сил, который еще мгновение назад бегал по траве стадиона, гордясь своей ловкостью. Может, в порыве воодушевления, он верил, что ему суждено совершить прыжок в вечное счастье и славу, а может, бросал вызов мрачной покорности гладиатора. Все ли соревнования заканчивались подобным образом? Я помню, что, рассматривая в детстве зеленую книгу, на фотографиях стадиона задерживался особенно охотно. Как же мне это было близко! Спорт! Эти непонятные на первый взгляд люди мало чем от меня отличались. Им нравилось гонять мяч. Я тогда не осознавал всего смысла рельефа, или, возможно, мне мешало отсутствие на репродукциях крупного плана. Здесь же, в ярком свете тропического солнца, можно рассмотреть его гораздо лучше. И вот уже прекрасный стадион перестает пленять ощущением вечно живой юношеской забавы. К тому же прямо рядом с ним возвышается что-то, напоминающее террасу или сцену, — каменный, покрытый барельефами постамент, украшенный по краям изображениями человеческих черепов. Возможно, здесь выставлялись на всеобщее обозрение черепа жертв.

Представление о "пагубном влиянии тольтеков" (ибо я и поныне не хочу верить, что эти жестокости выросли из духа культуры майя) по мере осмотра подтверждается все новыми примерами. По тропинке через густой низкорослый лес можно дойти до одного из cenote, естественных водоемов, образующихся в подземных известковых пещерах. Не все водоемы использовались для снабжения водой города. Вот этот, зияющий округлой воронкой в кустах, свешивающихся над его краями, имел особое назначение. От мутно-зеленой глади воды, поблескивающей где-то в глубине, в обрамлении серых выкрошившихся известковых плит, несет кислым запахом прелых листьев. Скальный выступ на берегу увенчан чем-то вроде беседки из украшенных резьбой каменных блоков. С этого места сбрасывали вниз нарядно одетых и увешанных

драгоценностями девушек. Водолазы и сейчас поднимают из мутной бездны многочисленные золотые серьги и браслеты, ожерелья из бирюзы и горного хрусталя, а также черепа и кости жертв, смерть которых, по всей видимости, была призвана задобрить бога дождя Чак-Моола. Туристы, утомленные пышущим от стен Чичен-Ицы жаром, с удовольствием отдыхают здесь, в тени зеленых деревьев. Яркие птички порхают с ветки на ветку, их голоса чисто звучат в неподвижном воздухе. Жертвоприношениям наверняка сопутствовали музыка и песнопения. Барабанная дробь и хоровые причитания должны были заглушать крик, который в последнее мгновение несчастным не удавалось сдержать.

Удивляет то, как гиды, показывая достопримечательности Мексики, стараются обойти тему человеческих жертвоприношений. Они не отрицают их существования, но говорят об этом сдержанно, иногда чуть пренебрежительно. Сложно определимое, возможно, даже искусственное чувство исторической самоидентификации как "нации метисов" побуждает их акцентировать более достойные похвал черты доколумбовских культур. Какое прекрасное наследие! Если бы только можно было не знать...

Огромная пирамида Храма воинов в Чичен-Ице, строение само по себе внушительное, — памятник не только жестокому ритуалу. Это также своеобразный астрономический инструмент. Широкая и крутая лестница, ведущая по обеим сторонам пирамиды к ее вершине, обрамлена каменными парапетами, которые на уровне земли заканчиваются головами змей. Два раза в год, в момент равноденствия, стоящее в зените солнце бросает на один из этих парапетов искривленную ступенями тень от углового камня пирамиды, которая, соединяясь с головой змеи, образует чёткий рисунок ее зигзагообразного тела. Люди, позволяющие себе рассекать обсидиановыми ножами груди жертв, чтобы вырвать из них сердце, были одновременно способны к тонким наблюдениям и точным расчетам.

Астрономия и математика достигли высокого уровня развития как в культуре майя, так и в культуре тольтеков. Неизвестно, к какой из этих традиций надлежит отнести необычную идею "астрономических часов" из Чичен-Ицы. Может быть, ее веками копировали, ибо пирамиду Храма воинов, как и другие старомексиканские здания подобного типа, каждые пятьдесят два года покрывали новым слоем стен. Здесь, в Чичен-Ице, можно воочию убедиться, как это выглядело на практике. Археологи пробили наружную оболочку пирамиды у основания северной лестницы и расчистили "подкожный" проход к самой вершине, сокрытой под этой оболочкой конструкции. Как в известной игрушке — "русской матрешке": то, что снаружи, — точная копия того, что внутри, только в увеличенном объеме.

Необычайное ощущение испытываешь от общения с тем, что должно было навеки остаться скрытым от глаз людских. В темном крутом туннеле, пробитом в каменной стене, — лестница, ведущая наверх столь же круто, как та, которую видно снаружи. Через такие же узкие террасы она подводит прямо к храму, где стоит красный каменный ягуар и статуэтка Чак-Моола в характерной полулежачей позе с подогнутыми коленями и повернутой в сторону головой. Сколько подобных пирамид таится еще в этих недрах? И каждая ли из них отмечала равноденствие

зигзагообразной тенью змеи? Если трудно в это поверить, то лишь оттого, что мы привыкли к модели культуры, которая неустанно изменяет и улучшает свою стратегию использования законов природы. Там, где зданиям велено расти как деревьям — кольцо за кольцом, как горным породам — слой за слоем, применение плодов человеческой мысли наверняка было иным.

Астрономическая обсерватория, эта круглая башня, которой славится Чичен-Ица, находится в другой части города, на другой стороне шоссе. Случайный на первый взгляд раздел, обозначенный асфальтовой лентой, является, однако, настоящей границей, за которой мы вновь находим мир майя в его чистом виде. Подобно каменным кружевам, обширному "монастырскому" комплексу с анфиладами темных покоев, небольшим, придавленным тяжелыми шапками резных аттиков храмам в Ушмале, все это, частично заросшее джунглями и почти полностью разрушенное, кажется старше, чем увиденные перед этим памятники, несущие печать тольтекского влияния. И наконец-то здесь, в этой, как нам кажется, более древней части Чичен-Ицы мы обнаруживаем свидетельства обыкновенной человеческой жизни. Не бренной славы, не метафизических мечтаний и страхов, а прозаических, земных физических потребностей. В известковом щебне среди руин откопали ряд облицованных камнем углублений, как бы круглых бассейнов разного размера с фрагментами выложенных каменными плитами каналов и остатками закоптелых очагов. Бани. Те, что побольше, — по-видимому, общественные, а те, что поменьше, — индивидуальные. Они, вероятно, были довольно скромными и не смахивали на роскошные клубы, как римские термы, а служили понятным, не вызывающим беспокойства или сомнений целям. Жизнь римлян была похожа на нашу. Многие из сложившихся тогда обычаев и образцов по сей день свойственны нашей культуре. Жизнь же майя кажется столь чуждой нашим традициям, что трудно воспринимать ее не как легенду. Процедура очищения тела в сауне или бане, в клубах пара от горячих камней, поливаемых родниковой водой, не принадлежит сфере легенд. Я не утверждаю, что в глубине души не верил в существование майя, но все же чувствовал потребность убедиться воочию в истинности свидетельств, заключенных в зеленой книге. Однако, увидев храмы, пирамиды и скульптуры, я понял, что этого недостаточно, чтобы преодолеть чужеродность их мира. Если бы я миновал бани в Чичен-Ице, этот мир остался бы для меня фикцией.

*

Современные майя, эти самые, из овальных, крытых пальмовыми листьями хижин, по всей видимости, не особенно отличаются от своих предков, которые так же, как и они, выращивали кукурузу и сизаль, ловили рыбу и продавали на рынках фрукты. Изменился идеал красоты, атрибутами которой до конкисты были косоглазие и сплюснутый череп. Но, может быть, эти искусственно вызванные деформации (младенцу вешали над носом каменный шарик, а голову сжимали дощечками) были обязательны лишь для высших слоев общества? Независимо от этого, попадающиеся на каждом шагу лица с покатым лбом, сильно выдающимся длинным носом и круглым подбородком — вне всяких сомнений лица с рельефов и рисованных хроник. В малорослых сельских

жителях полуострова Юкатан, с их маленькими ногами и узкими ладонями, есть что-то детское.

Мы ждали автобуса в Сисаль на грязном и темном вокзале одного из предместий Мериды. И вокзал, и большой базар по соседству были заполнены толпой сельских жителей. Толпой не агрессивной — вот главное впечатление. Даже при неизбежной в таком случае толкотне здесь не ощущалось никакой ожесточенности. Второе главное впечатление — это белизна. Удивительной чистоты белизна хлопковой одежды. Женщины в сборчатых юбках, окаймленных белой вышивкой, и в свободных рубашках уже с цветной вышивкой вокруг кокетки, коротких рукавов и по нижнему краю. Широкие каемки из ярких больших цветов. И, как на фресках Дйего Риверы, — резко контрастирующие с белизной темные лица, темные плечи, черные головки детей, притороченных к спинам матерей.

В отеле нам рекомендовали Сисаль как пляж. И правда, жаль было бы уехать из этих краев, не увидев моря. Мы взяли с собой купальники и полотенца — нас воодушевляла перспектива купания в море в последнюю неделю ноября. Нагруженные корзинами и мешками люди метались по пыльной площади от остановки к остановке. Как и у нас, автобусы приезжали с опозданием и уезжали не по расписанию. К тому времени, когда мы наконец заняли места в видавшем виды автобусе, стало ясно, что комфорт нам не грозит. Водитель и его помощник, молодые парни в джинсах, казалось, лично знали каждого пассажира. Автобус наполнился гулом добрососедских разговоров. Пассажиры сплетничали, показывали друг другу сделанные в городе покупки. Автобус останавливался по первому требованию. Терпеливо ждал детей, бегущих по дорожке через плантацию, подбирал выныривающих из кустов охотников. Помощник сменял кассеты. К тарахтению двигателя и позвякиванию стекол присоединялось бренчание гитар, ритмы самбо и плач блюза. Настроение возвращения с ярмарки, настроение жизни, еще не поглощенной лихорадкой безликой муравьиной суеты.

Сисаль оказался бедным рыбацким городком. Пыльная улица, утопающая в прибрежной дюне, несколько неопрятных каменных домиков, торчащих здесь и там среди глиняных лачуг, один-два убогих магазинчика, школа, пожарное депо. Ничто не указывало на хоть какой-то интерес к этому месту со стороны туристов. Здесь не было ни гостиницы, ни кафе, не было даже палатки с мороженым. Курицы и индюки спокойно разгуливали по дороге. Глубокая провинция, отмеченная печатью вечного ожидания перемен. Будто дома построили исключительно как временное убежище от жары либо чтобы переждать один сезон дождей. Но эта, сформированная самыми элементарными потребностями архитектура, лишенная истории и стиля, обладает невероятной живучестью сорняка. Единственное в городке здание, имеющее индивидуальное обличье, — внушительного вида дом из серого тесаного камня с гербовым картушем над входной дверью и высеченной под ним датой, соответствующей раннему периоду конкисты (наверняка обиталище местного начальника тех времен), — стоит пустой и рассыпается. Покорная безликость больше пригодна для жизни, действеннее оказывает сопротивление историческим переменам. Именно по этой причине глиняные лачуги пережили пирамиды и дворцы.

На пляже, тянущемся километрами до самого горизонта, никого не было. Среди вытащенных на берег рыбацких лодок лежал выброшенный волнами мертвый дельфин. Неуклюжие пеликаны, тяжело взмахивая крыльями, патрулировали поверхность моря. Время от времени они падали на воду и покачивались на ней, двигая в такт причудливыми клювами. Наверху парили изысканные фрегаты с резко изогнутыми крыльями и узкими раздвоенными хвостами. Именно о таком дне одиночества, моря и солнца мы и мечтали.

Поджидая автобус, который должен был отвезти нас обратно, мы ели жареную рыбу в единственной местной закусочной. Темноватое помещение со столами, покрытыми вытертой до матерчатой основы клеенкой, и с вездесущей рекламой пепси-колы над буфетом практически пустовало. Четыре пожилых индейца в обтрепанных соломенных сомбреро пили пиво за соседним столиком. Они были в том состоянии опьянения, когда обмен мыслями превращается в вялый хор навязчивых монологов. У самого молодого из них не было руки. Из рукава пропотевшей футболки торчал смуглый обрубок, заканчивающийся пленкой поблескивающих шрамов. Может, это было последствие встречи с акулой во время неудачной ловли? Наше присутствие привлекло их внимание. Раскачиваясь всем телом, они поднимали в нашу сторону стаканы, произносили церемонные тосты, бессвязные и непонятные, но звучащие несомненно доброжелательно. Майя. Вежливые и кроткие, они приветствовали нас в своей стране.

Вида Огненович

Путешествие по Норвегии с Исидорой Секулич

Эссе

Перевод с сербского и вступление Н. Вагановой

Вида Огненович, автор записок о Норвегии начала XXI века, стилизует свой суховатый репортаж в несколько старомодном духе и приглашает в спутницы и собеседницы сербскую писательницу Исидору Секулич, чья популярная в свое время, да и потом не раз переиздававшаяся книга путевых очерков "Письма из Норвегии" была впервые опубликована в 1913 году, незадолго до начала Первой мировой войны. Почему наша современница прибегает к столь необычному для рассказа о коротком путешествии литературному приему?

Прозаик, драматург и режиссер, лауреат престижной премии Иво Андрича, Вида Огненович, или просто Вида, как называют ее в белградских театральных кругах, успела сделать еще и дипломатическую карьеру — с 2002 по 2005 год она была послом своей страны в Норвегии. Сейчас она занимает выборный пост председателя жюри всемирно известного белградского международного фестиваля БИТЕФ.

Огненович принадлежит к поколению интеллигенции, родившемуся еще в стране, которую теперь принято называть экс-Югославией. Вместе с республикой Сербией, столицей которой является Белград, эти люди пережили не только стремительную смену названий своего государства, но и смену его политического строя, общественной формации и культурного микроклимата. Вида Огненович и ее товарищи по БИТЕФу во главе с художественным директором этого фестиваля Йованом Чириловым с честью выдержали трудные испытания тех лет, не только

© Vida Ognjenović, 2005
© Н. Вагапова. Перевод, вступление, 2007
Редакция благодарит Виду Огненович за любезно предоставленное право безвозмездной публикации ее заметок о Норвегии на страницах нашего журнала.

не поддавшись шовинистической истерии, но и противопоставив ей свое творчество.

Исидора Секулич, первая в Сербии женщина — профессиональный писатель, переводчик с нескольких европейских языков, знаток и почитательница русских классиков. Талантливый прозаик и эссеист, она в начале своей деятельности немало натерпелась от мужского шовинизма критиков, упрекавших ее в чрезмерном интеллектуализме и сухости стиля. Зато в последние годы жизни — а умерла она в 1958 году — Исидора Секулич стала для литературной молодежи, не желавшей трудиться во славу социалистического реализма, обожаемым осколком старой культуры. Ее называли не иначе как Госпожа. Младший современник, литературовед Младен Лесковац, описал эту худенькую старую даму с лицом гимназической учительницы начала XX века и тонкими прозрачными руками в ее творческой мастерской. Посередине большой светлой комнаты, в окружении полок с книгами и журналами стояло нечто напоминавшее огромный верстак — это был рабочий стол Госпожи Исидоры. Для неё литература означала и смысл жизни, и упорный непрерывный труд. "Письма из Норвегии" — самая популярная книга Секулич. В своих очерках Госпожа Исидора хотела создать некий идеальный образ маленькой европейской страны и ее обитателей, наградив их теми чертами, которые она так стремилась воспитать в своих соотечественниках.

В воображаемых письмах, которые посылает Вида Огненович Исидоре Секулич, слышится своеобразная перекличка двух эпох, отстоящих друг от друга почти на сто лет. И в позиции непреклонной Госпожи Исидоры, и в поведении современных норвежцев сербская писательница ценит старомодную благовоспитанность, терпимость и банальную любовь к ближнему. Вида Огненович оказалась в Норвегии вскоре после окончания братоубийственной войны на Балканах. Она лично убедилась в том, что многие беженцы с бывших югославских территорий, которые спасались от карательных акций националистов, от призыва в армию Милошевича и прочих "вождей" экс-югославских республик, а потом и от бомбардировок авиации НАТО, нашли приют и работу в Норвегии. Потому и сообщает она своей воображаемой корреспондентке, что полюбившиеся ей норвежцы "по прежнему милосердны и самоотверженны", что они "готовы помочь каждому, кто попал в беду, всех спасают, защищают, борются за справедливость и утешают потерпевших".

I
Начало апреля

Дорогая госпожа Секулич,

я пребываю в некотором затруднении. Как мне к Вам обращаться? Я живу с постоянной мыслью, что мы с Вами хорошо знакомы. Но все-таки я решила придерживаться официальной формы обращения. Не могу сказать, почему, скорее всего, просто из застенчивости.

Наконец-то, после третьего прочтения, мне удалось проникнуть в мир Вашего путешествия. Вероятно, помогло Ваше предисловие, которое мне послужило своеобразным глоссарием, я поняла многое из того, что раньше ускользало от моего внимания. Просто потрясающе, как Вам удалось подобрать ключ к шифру этой страны и ее культуры! Многое из подмеченного Вами сказано на все времена.

Нынешним летом, 21 мая, я отправляюсь в Норвегию, страну, в которой, как Вы пишете, "свирепствуют холода". Скажу сразу, что не буду стремиться заглянуть в каждый уголок, где Вы побывали.

Не вижу в этом особого смысла. Это было бы просто механическим повторением пройденного Вами, а я не признаю повтора как самоцели. Даже будь такое практически возможно, это был бы достаточно бессмысленный эксперимент.

Итак, я не собираюсь следовать за Вами по пятам в поисках огромных изменений, случившихся за столетие, разделяющее мою поездку и Ваше путешествие. Прежде всего, потому, что, по моему убеждению, меняется только внешняя сторона вещей. А это никогда не было предметом Вашего интереса и Ваших очерков.

Ваша книжка "Письма из Норвегии" переиздается в третий раз. Каждые полвека она воскресает, подобно сказочной Спящей красавице. Не исключено, что этот ритм переизданий впредь несколько ускорится. Не берусь объяснить, почему, но мне кажется, что наступает время именно такого рода книг.

О Норвегии начну писать подробно в следующий раз. А пока — спокойной ночи. Здесь уже заметно робкое приближение весны. Первые цветы отважно вырываются из объятий холода. Я передаю им привет от Вас, а Вам — от меня...

Ваша *В. О.*

II

Май, накануне празднования Дня Норвегии

(17 мая — национальный праздник, провозглашенный поэтом Вергеланном. Кажется, в одном из своих писем Вы об этом упоминали.)

Вот, теперь о Норвегии. Для начала сообщу, что за прошедшие годы эта страна, в которой Вы, в свое время, оказались редкостным гостем из наших краев, стала для многих Ваших и моих соотечественников второй родиной. В университете Осло преподается наш язык и литература, а в Белградском университете существует кафедра скандинавистики, и сотни книг переводятся с языков народов Северной Европы на наш язык.

Если Вам приходилось, образно говоря, протаптывать тропинку по глубокому снегу, чтобы добраться до этих мест, то теперь нас сюда ведет широкий, наезженный санный путь.

Вам приятно будет узнать, что наши соотечественники, собираясь в Норвегию, нередко прихватывают с собой и Вашу книгу. А это уже о многом говорит. Ведь Ваши современники и попутчики ничего похожего даже представить не могли.

Вряд ли я сумею описать все перемены, происшедшие в этой стране за период, отделяющий нас от Вашего времени. Еще раз повторю, многое изменилось, но если копнуть чуть глубже, мы поразимся, сколько Вы успели заметить. Я познакомилась со многими норвежцами, но при этом самые важные сведения о них получила все-таки из Вашей книги.

Впрочем, есть одно очень серьезное обстоятельство, которое безусловно можно отнести к кардинальным переменам: теперь норвежцы отнюдь не бедствуют. В самой утробе океана, на значительной глубине, они пробурили нефтяные скважины, а это в наше время является источником невиданного богатства. Теперь они могут вполне вольготно прохлаждаться, хотя, как Вы еще в те времена заметили, норвежцы вообще не слишком усердные работники. Сейчас Норвегия входит в тройку стран мира с самым высоким жизненным уровнем, а по дороговизне занимает неизменно первое место, опережая даже Японию.

Но если бы Вы чудесным образом вернулись в Норвегию в наше время, уверяю Вас, Вы не нашли бы внешних признаков этого благосостояния. Как Вам уже известно, здешние жители отнюдь не склонны к расточительности и при этом не слишком трудолюбивы. Живут они, как правило, так же экономно и бережливо, как раньше. Для отдыха норвежцу достаточно уединенного бревенчатого домика в горах и пары хороших лыж, да еще немного рыбы и побольше картофельного самогона — вот и все. Вообще-то Вы их так хорошо описали, что я не удержусь и кое-что припомню. Вот что Вы сказали: "И узнали норвежцы, что их свобода, подобно свободе орла, скорее одиночество, чем свобода. Норвежец — хороший пахарь и хороший рыбак, но он мог бы стать несравненно лучшим рыбаком и пахарем, если бы не был и тем, и другим или то одним, то другим, при этом всегда выбирая тот вариант, что легче дается. По природе медлительный, он не пытается преодолеть привычку, воспитанную долгой, темной зимой; много спит, встает поздно, а чтобы при таком образе жизни не впасть в нищету, он вынужден быть прижимистым — такая вот своего рода уловка". Звучит так, словно написано для какой-нибудь их современной газеты.

Но есть и отличие — они теперь пристрастились к дальним путешествиям, потому что это обходится недорого. Норвежцы устремляются в дальние страны чаще, да и на бóльшие расстояния, чем их предки викинги. Ведь теперь это стало гораздо проще и быстрее. Осенью они устремляются на юг, в солнечные края, вместе со стаями диких гусей, и с ними же по весне возвращаются, чтобы вскопать садик и посадить цветы, а на Рождество — снова в путь. Они поселяются на песчаных берегах Испании или Флориды. Официанты и прочий персонал многих крупных туристских комплексов спешно осваивают норвежский язык.

У норвежцев по-прежнему два наречия, ведь и Вы уже писали об их двуязычии. Только теперь, уж поверьте, это не диглоссия, а полиглоссия, здесь столько диалектов, что они скоро будут вынуждены общаться друг с другом на английском языке, который учат все поголовно, начиная с детского садика. И знают они его отлично.

Меня восхищает изумительная простота и естественность их жизненного уклада, и этот факт, пожалуй, можно признать самой большой ценностью и достижением их образа жизни. Это результат коллективной победы над китчем изобилия, над китчем пустых развлечений, над несдержанностью в эмоциях; у них нет желания приукрашивать действительность, они не приемлют никакого фальшивого блеска. Они сумели наилучшим образом привести человеческую сущность в соответствие с окружающей средой. Из этого соответствия и вытекают отличающая их аутентичность и толерантность.

Взять хотя бы норвежскую кухню, в которой каждый продукт сохраняет свой особенный вкус, данный ему природой, что и придает неповторимость их блюдам. Не злоупотребляя приправами, искажающими естественный вкус овощей, рыбы, мяса и фруктов, они просто наслаждаются их подлинным вкусом. Вот и Вы, как мне помнится, отмечали вкус домашнего масла и молока, которыми Вас угощали на какой-то ферме в горах.

Что касается столичного города Осло, то я убедилась, что Вы многое знали наперед, и потому уверена, что вряд ли что-либо из происходящего там сегодня поразит Вас новизной.

Добавлю только, что здесь есть великолепный квартет, или Хаген Квартет — таково его полное название. Я слушала этих музыкантов в Осло в "Старой ложе", зале с великолепной акустикой. В то время как они играют, я мысленно пробегаю текст Вашего описания солнечного заката там, на Севере.

Я знаю, что Вы побывали в центральной части Норвегии. Но Вы не упомянули о городке Винстра, центре области Гудбрансдаль. Это — родина Пера Гюнта. Согласно некоторым источникам, именно здесь, в одном из деревенских домов, Ибсен впервые услышал от местных жителей легенду об их необыкновенном земляке, жизнь которого была сплошной отчаянной авантюрой. В течение десяти августовских дней и ночей тут проходит ежегодный, имеющий давнюю традицию "Фестиваль Пера Гюнта". На берегу озера Гуле, под открытым небом, идет пятичасовой спектакль.

Представление разыгрывают триста человек при участии оркестра, исполняющего музыку Грига. Сотни жителей ближайших сел и городков по окончании полевых работ приезжают к озеру на репетиции, чтобы участвовать в чудесном воплощении старинной легенды, где фермеры играют фермеров, дети — детей, рыбаки — рыбаков, а прочие роли исполняют человек десять профессиональных актеров. Горные склоны, лес, озеро, сарай с сеном, а также закат солнца служат естественными декорациями. Публика сидит на бревнах, и поскольку представление длится до часа ночи, зрители натягивают свитера, кутаются в пальто и куртки или заворачиваются в одеяла, потому что сразу же после захода солнца ртуть в термометре опускается почти до нуля. А когда фестиваль завершается, уже трудно определить, что происходило — то ли вы смотрели прекрасно отрепетированный спектакль, то ли были участником магического действа на берегу озера, куда вас увлекли волшебные звуки музыки.

Уверена, Вам понравились бы эти вечера, в которых фантазия преображает действительность, с легкостью преодолевая ее сопротивление, потому что действительность, собственно, и не сопротивляется, но податливо позволяет себя вовлечь в цепь чудесных приключений.

Скоро я отправляюсь в путь поездом Осло — Берген, так же, как и Вы когда-то. Об этом я напишу подробно. Я уже составила список станций, которые упомянуты в Вашей книге. Одни я нашла на карте, другие нет.

Посмотрим!

Всего доброго.

В. О.

III
Конец мая

Сообщаю сразу, что я проследовала по Вашему пути от начала до конца. Я проехала по знаменитой железной дороге, которая пересекает весь Скандинавский полуостров в ширину. И сделала это только потому, что Вы столь поэтично описали свое путешествие поездом из Осло в Берген. Поезд Ваш двигался медленно, так что Вы могли спокойно разглядывать окрестности. Путешествие продолжалось несколько дней, и у Вас было время завязывать знакомства с другими пассажирами и вести долгие занимательные разговоры. Тогда состав двигали, согласно Вашим запискам, два паровоза, один его тащил, а другой подталкивал.

Несомненно, не на одной красивой станции Вы отдыхали, вкушая только что приготовленную еду и попивая горячий чай, в то время как паровозы заправлялись углем.

С чувством некоторой неловкости сообщаю Вам, что я проехала этот путь электропоездом, причем всего за шесть с половиной часов. Он летел как стрела, что считается величайшим прогрессом. На станциях не было ни малейшей задержки, поезд стоял ровно столько, чтобы одни пассажиры могли пулей вылететь из вагона, а другие столь же стремительно ворваться в него. Если скорость была целью и достижением XX века, то новый, XXI век, превыше всего ставит деловитость. Поезд, которым я ехала, и предназначен для деловых людей. Вагоны удобные, чистые, оборудованные для современного, умеющего ценить время пассажира. Перед каждым сиденьем столик, а посередине состава имеется буфет, где можно угощаться кофе или соками, как кому угодно.

Войдя в вагон, я нашла свое место, откинула столик и включила свой ноутбук, или компьютер (извините, он так называется), в который я заранее внесла найденные в Вашей книге названия упомянутых в ней попутных станций. Мне неловко даже упоминать в письмах к Вам эту машину. Я питаю глубочайшее уважение к тому, что Вы заполняли страницу за страницей своих размышлений, имен и впечатлений остро заточенным карандашом, держа на коленях тетрадь, потом переписывали текст чернилами на отдельные листы и передавали в редакцию. Впрочем, дело пошло легче, когда Вы купили портативную пишущую машинку "Ремингтон". Такая была у моей гимназической преподавательницы Теодоры Петрович.

Вы написали карандашом свой роман в письмах о Норвегии размером в двести пятьдесят страниц. А я намереваюсь напечатать несколько фраз о какой-либо живописной станции, хотя о каждой из них у Вас наверняка уже написан очерк, такой вдохновенный, словно речь идет о древней Атлантиде...

Итак, я углубилась в экран своего компьютера и долго там что-то просматривала. Вдруг мне показалось, что у меня за спиной кто-то стоит. Я вздрогнула и оглянулась. И действительно, там стоял проводник, который пришел проверять билеты и невозмутимо ждал, пока я его замечу. В ответ на мои извинения, что ему пришлось так долго ждать, он сказал, что не хотел прерывать мою работу.

Надо Вам сказать, что норвежцы и в наши дни так же предупредительны, терпеливы, внимательны к окружающим и вежливы, как и в те дни, когда Вы здесь побывали. Ни одно из перечисленных качеств в Норвегии не считается старомодным, как в иных странах, являющих образчик современного общества, где хорошим тоном считается агрессивный стиль и где высоко ценится отменно здоровый вид, обеспеченный порой неумеренным поглощением витаминов.

Продолжаю свои путевые заметки. И попутно сообщаю Вам, что журналистка из Подгорицы Радмила Перович дала мне копии некоторых Ваших писем в переводах на английский и на норвежский. Мне было очень интересно, как звучит на других языках Ваша фраза, то легкая и непринужденная, то вдруг исполненная глубокого смысла. Вы просто поразитесь, как хорошо Вас перевели, полностью сохранив авторский стиль.

С наилучшими пожеланиями

В. О.

IV

Начало июня

Поезд тронулся с точностью до минуты. Если бы за окном с невероятной быстротой не проносились сначала дома, а потом деревья, лужайки и столбы электропередач, мы бы и не почувствовали, что давно уже выехали из города.

И вот мы на станции Роа. Красивое станционное здание стоит посреди упоительной долины. Как щедра здесь природа, сколько всего можно увидеть сразу — и лес, и травы, и воду. Вся долина кажется одним большим парком. Я читаю в Вашей книге, как Вам здесь понравилось, и приникаю к окну, опасаясь что-нибудь пропустить из-за бешеной скорости. Боюсь моргнуть, ведь все проносится мимо буквально в мгновение ока.

К счастью, день солнечный; впрочем, как мне известно, это не означает, что так будет на протяжении всего пути.

Вот небо и нахмурилось. За стеклом пролетают капельки дождя. Мы влетаем на станцию Ул, расположенную в ухоженной долине на берегу реки, под лесистыми склонами. Абсолютно идиллический пейзаж.

Появляются несколько новых пассажиров, но никто не выходит. Несемся дальше. Вот на лужайке разлегся в глубокой дреме живой анахронизм — исландский конек с растрепанным лохматым хвостом и обросшими косматой шерстью копытцами. Кажется, что ему напялили на ноги что-то вроде толстых шерстяных носков. Судя по Вашему описанию, милое, преданное человеку животное. Сейчас, издали, эта лошадка кажется каким-то нелепым и смешным существом, чем-то вроде большой детской игрушки. Я впервые вижу ее живьем, но она мне запомнилась по фотографиям в Вашей книге. Сейчас на здешних фермах ее не часто увидишь. Не исключено, что стада таких лошадей все еще пасутся где-нибудь в северных областях.

Поезд останавливается, но я не могу прочитать, где мы, так стремительно мы промчались мимо станционного здания. Это, очевидно, ка-

кой-то железнодорожный узел, где пассажиры пересаживаются на другие направления, к северу. Многие выходят.

Ах да, теперь я вижу табличку с надписью "Хенефос". У Вас эта станция не упоминается. Возможно, ее построили в период между Вашей и моей эпохой. Наконец-то я могу показать что-то Вам не известное.

Мы едем по долине Халлинг, вернее, проносимся через эту долину. "Халлинг" — это и одна из фортепианных композиций Грига.

Ее когда-то играла на наших школьных вечерах моя школьная подруга Гордана Дивлян. Я ей перелистывала ноты, и ритм этой вещи мне помнится до сих пор. Для долины Халлинг и в самом деле характерен четкий ритм: возвышенность — дол, возвышенность — дол...

Сейчас эта долина вся покрыта зарослями какого-то странного кустарника. Уж Вы-то, конечно, в отличие от меня, выяснили бы, как называется это растение. Облака над долиной, окруженные зазубренными вершинами, словно развалились в каких-нибудь креслах работы современного дизайнера. Проносимся мимо крошечной живописной станции Несбиен. У Вас она не упомянута. Не стану и я углубляться в подробности, тем более что едва смогла ее разглядеть на такой скорости. Вдоль полотна железной дороги высажены высокие, стройные, мохнатые сосны.

Станцию Яйло Вы бы, конечно, не узнали. Теперь здесь гостиничный комплекс. Вам бы это не подошло. Вы, разумеется, и сейчас остановились бы в каком-нибудь деревенском гостевом домике в горах, каких здесь много. Вы их так хорошо описали. Я их тоже приметила, хотя ни в одном из них не жила. Они мне кажутся похожими на кукольные домики.

Вдоль дороги растут трогательные реденькие березки. Порывы ветра сгибают сразу весь ряд березок, потом они все одновременно выпрямляются, это происходит ритмично, и со стороны может показаться, будто тощий березняк выполняет какие-то гимнастические упражнения.

Станция Мюрдаль. Пейзаж почти лунный: почва разрисована водой, следы потоков оставили на ней свои арабески. Закругленные вершины гор, камни, мхи, лишайники. С трудом можно отыскать какое-нибудь чахлое деревце. С неба начинает сыпаться снег, сначала мелкие, а потом все более крупные снежинки.

Девочка, сидящая в купе напротив меня, спрашивает бабушку, нельзя ли выйти и слепить хоть один снежок. Разумеется, ей не разрешают.

По дну долины на довольно большой глубине вьется узенькая речка. Проверю потом по карте, как она называется. Затем появляется озеро. На крутых берегах гроздьями висят хижины. Всё осталось таким, как при Вас. Прибегну к Вашему описанию.

"Здесь встречаются совершенно голые скалы без растительности, но с большим количеством снега. Ближе к почве снежные завалы подтаивают, и возникает опасность лавин, — читаю я в вашей книжке, которая лежит рядом с моим не раз уже упоминавшимся компьютером. — Наш поезд почти задевает деревянные столбы, которые кажутся висящими в воздухе".

Точно так же и теперь. Заграждения на своих местах, мы их, правда, не задеваем, но когда мы проносимся по этому деревянному коридору, звук раздается жуткий. Вот, как раз сейчас мы летим сквозь один из таких коридоров. Я их помню еще по Вашей книге, вы объясняли, что они служат для защиты поездов от снежных обвалов. Зимой лыжники спус-

каются с них, как с трамплинов. Не исключено, что этот нынешний бревенчатый тоннель — один из тех, через которые и Вы проезжали.

Станция Финсе расположена на высоте 1300 метров. Здесь мы делаем несколько более продолжительную остановку. Целых минуты три-четыре. Вершины горного массива Финсенут (1850 метров) соприкасаются с облаками так тесно, что едва можно различить, где заканчивается гора, а где начинается небо. Данные о высоте вершин нахожу в Вашей книге, которая по-прежнему лежит рядом.

По пути вдоль железнодорожного полотна много брошенных домов.

Сейчас мы как раз въезжаем на станцию Восс. Здесь, недалеко от железнодорожной насыпи, виден овраг, по дну которого протекает речка, а вдали сверкает глетчер. По берегам реки тоненькие невесомые березки (как Вы уже заметили, береза — что-то вроде норвежского национального дерева). Прибрежный березняк перемежается хвойной порослью, и из-за этого чередования разных оттенков зеленого лес производит впечатление искусной мозаики.

Начинаю укладывать сумку: сначала пресловутый компьютер, потом прочие мелочи, а сверху Вашу книжку, упакованную в пластиковую обложку. Скоро Берген.

Я составила список всего, что я там хочу увидеть, и, конечно, напишу вам об этом.

Ваша *В. О.*

V

Начало июня. Фестивальные дни в Бергене

Если не считать того, что количество жителей Бергена с той поры, как Вы здесь побывали, увеличилось в три раза и соответственно домов стало гораздо больше, я не сказала бы, что этот старинный ганзейский город сильно изменился. Я посетила все описанные Вами места. Дольше всего задержалась на рыбном рынке, ожидая, когда же появятся Ваши колоритные рыбаки, ну, те самые, у которых на одном плече ребенок, а на другом — корзина упитанных, только что выловленных рыбин. Но их не было. Наверное, я пришла слишком поздно, и потомки Ваших рыбаков уже успели выложить свой товар на прилавки перекупщиков, а детишек отвести в детский сад. Рыбы всякой здесь просто невероятное количество. Преимущественно лосось и кальмары, но есть и треска, и камбала, и масса других крупных рыб, названия которых я не знаю. Есть омары, и в панцирях, и очищенные. Попадаются даже еще живые.

На рынке полным-полно туристов. На этот раз встречались главным образом немцы. Рыбу они не покупают, а скупают сувениры, которые здесь тоже продаются.

Заглянула я и в Немецкий квартал. Здесь все осталось как во времена Ганзы. Законсервировавшееся, аккуратное, но — и это стоит подчеркнуть — нет ничего залакированного, обложенного новой плиткой или ламинатом. Наоборот, крепкие, не поддающиеся времени деревянные полы, перила и столбы, поддерживающие лестницы, все те же, что ви-

дели Вы в этих местах. Разве что, может быть, они теперь лучше защищены от влаги какими-нибудь новейшими средствами, не оставляющими следов.

Надеюсь, Вы позволите Вас пригласить сегодня вечером на концерт в Филармонию, которой в Ваше время еще не было. Однако Вы наверняка слушали какие-нибудь маленькие оркестрики, ведь здесь, как и в других норвежских городах, в них никогда не было недостатка.

Сегодня оркестр исполняет те вещи, которые завтра эти же музыканты будут играть в Париже, на Весеннем фестивале современной классической музыки. Гвоздь программы — сочинение "Тенебр", концерт для виолончели с оркестром Арне Нурхайма, написанный в 1931 году. Дирижирует маэстро Эндрю Литон, приглашенный из Америки, а партию виолончели исполняет Оге Квалбейн. Я уверена, музыка Нурхайма Вам понравится.

Завтра, если будет у Вас настроение, мы можем вместе заглянуть в Галерею современного искусства, и вот это будет для Вас нечто новое. Здесь довольно много французских художников (некоторых из них Вы, разумеется, уже видели в других музеях) и очень приличная коллекция местных модернистов. Продолжается и Фестиваль музыки, танца и театра. Я Вас свожу на премьеру пьесы, которая Вас должна заинтересовать. Это пьеса молодого драматурга из Белграда Биляны Срблянович "Семейные истории". Идет она на малой сцене Национального театра. Небольшой, но красивый зал мест на шестьдесят. Ширина сцены в точности совпадает с шириной зрительного зала, поэтому зрителю кажется, что он ведет диалог с актерами, находящимися от него на расстоянии полуметра. Эта камерность и ощущение близости усиливают впечатление. Я уверена, что Вам бы понравилось, я знаю, как хорошо и доброжелательно Вы всегда писали об актерах и вообще о театральном искусстве.

Вот в основном все, что я могу Вам показать в Бергене из того, что Вы раньше не видели, если не считать домов, которые тогда еще не были построены, и людей, которые тогда еще не родились. Но по фотографиям прежних строений и Вашим описаниям предков давних обитателей Бергена могу судить, что и строения, и нынешние обитатели изменились не очень сильно.

Кажется, письмо мое несколько затянулось. В следующий раз напишу о поездке в Тромсё.

Пока же примите мои наилучшие пожелания. Уже поздно, но здесь светло как днем. Впрочем, это Вам, конечно, знакомо.

В. О.

VI
Тромсё с близкого расстояния

Я знаю, что в этот город Вы попали с моря, из Будё.

Я тоже собиралась плыть пароходом, но в этом году в Тромсё назначен международный конгресс ПЕН-клуба. Вы присутствовали на многих конгрессах и знаете, как все бывает. Вряд ли в наши дни это происходит как-нибудь иначе. Мне пришлось встретить в Осло нашу делегацию,

прибывшую из Белграда (Неда Николич-Бобич, Владимир Баяц и поэт из города Ниша Велимир Костов). Мы отправились в Тромсё самым быстрым путем — самолетом. Тем не менее я посетила все Ваши места. Я проехала по дороге вдоль подножия горы, проплыла вокруг острова Квалё, он теперь связан мостом с тем островом, на котором стоит сам город Тромсё. Это я сообщаю не из желания похвастаться достижениями прогресса, хотя мосты в Тромсё действительно красивы, но потому, что мне важно Вам сообщить, что все это время город, как Вы и предвидели, развивался очень быстро. Просто не верится, что еще сто лет тому назад Вы писали об этом порте, работающем на экспорт рыбы, рыбьего жира и кож, как о городе стремительно развивающемся, добавив и следующее:

"В Тромсё есть гимназия и педагогическое училище, небольшой, но вполне достойный камерный оркестр, а также две библиотеки с читальными залами".

А теперь? Вы не поверите, но теперь в Тромсё есть университет, известный своими кафедрами общественных наук, филармонический оркестр, здесь проводятся международный кинофестиваль и литературный фестиваль. Здесь появилось необычное художественное училище: там учатся люди всех возрастов, от семи до семидесяти семи лет, которые сами выбирают род занятий согласно своим склонностям.

Город разросся, а население его увеличилось в десять раз. Но могло ли Вам прийти в голову, что город станет двухэтажным! Его жители сошли под землю и построили там целый лабиринт улиц, с перекрестками, остановками и магазинами. Таким образом, долгая зима, с ее всё сковывающим льдом, уже не заставляет людей отсиживаться дома. Норвежцы перехитрили зиму. Тромсё — одно из тех немногих мест, которые Вы бы не узнали с первого взгляда, если бы Вам пришлось, например, приехать на конгресс ПЕН-клуба.

Кораблей в порту множество, теперь уже не только русских, а со всего света. Только рыба продается все так же, как и раньше, да и дождь льет почти без передышки, но люди на него не обращают внимания, они любезны, улыбчивы и по-прежнему громогласны и добросердечны. Сами они себя называют настоящими морскими волками, что подразумевает привычку держаться естественно и раскованно. Как раньше было, так оно и осталось.

Рада Вам сообщить, что конгресс ПЕН-клуба прошел очень хорошо. Кроме делегатов, приехали и специально приглашенные гости, среди них два больших писателя: латиноамериканец, поэт Эрнесто Карденаль из Никарагуа, и Амин Малуф, прозаик из Ливана, пишущий на французском языке и живущий в Париже. Их обоих переводили в нашей стране. Они вполне заслуженно оказались на конгрессе в центре внимания. Карденаль, между прочим, читал весьма остроумные политические эпиграммы, а Малуф говорил о странствиях, о проблеме изгнания из страны и из языка, об ощущении двуязычия, принадлежности одновременно к двум языкам и двум культурам. Это и было темой конгресса в нынешнем году: "Писатели в изгнании". Я вспомнила о Вас. Ведь и Вы, некоторым образом, всю жизнь провели в своеобразной внутренней эмиграции, хотя и в родной стране.

Добавлю еще вот что: спустя столько лет после Вашей поездки в Тромсё одна писательница из этого города наносит нам с Вами ответ-

ный визит. Ее зовут Кристи Блом. Завтра она едет в Белград на презентацию своего романа "Пятна" в переводе Биляны Йованович-Лаувстад. Книга вышла в издательстве "Просвета" дней за десять до начала конгресса, и делегаты из Белграда привезли с собой экземпляры, еще хранившие запах типографских прессов. Жаль, что Вы не видели, с какой радостью она встретила эти книги. Да и я была рада, ведь это произошло не без моего участия. Моя приятельница, переводчица Биляна Йованович, по мужу Лаувстад, живет в Осло, родном городе своего мужа Пера Улава. Биляна как-то раз упомянула о том, что перевела книгу Кристи Блом, и прислала мне свой перевод по электронной почте. Я села его читать сразу после полудня и закончила около часа ночи в тот же день. Затем, все еще находясь под впечатлением от книги, я уселась за компьютер и написала, что роман Кристи Блом прекрасен, что перевод выполнен безукоризненно, и просила разрешения захватить рукопись с собой в Белград, чтобы предложить его издателям. И вот установлена литературная связь Тромсё — Белград. Я знаю, Вас это тоже обрадует, потому что, собственно, Вы все это начали очень давно, а мы теперь лишь идем по Вами проложенной тропке. Я спрашиваю себя, понравился бы Вам роман Кристи Блом? Он отличается какой-то своеобразной, горькой, исповедальной интонацией.

Еще я хочу сообщить, что на наш язык переведены норвежские сказки. Над их переводом целый год работал Муниб Делалич, беженец из Мостара, который здесь живет и трудится. Он совершил настоящий подвиг. Превосходно перевел восемьдесят народных сказок, а это значительно больше, чем в известном мне английском издании. Не сомневаюсь, что Вам знакомы эти блестящие, остроумные рассказы о простодушных троллях, находчивых деревенских парнях и ленивых принцессах.

Расскажу и о том, что прошлой зимой рядом с домом, где я живу в Осло, среди бела дня прошествовали три лося. Огромные, каждый размером с доброго быка, но очень ловкие и подвижные. Один из них легко, как на крыльях, перемахнул через проволочную ограду. Олени и серны приходят часто, они очень пугливые и, как мне кажется, еще и зябкие, постоянно мелко подрагивают от холода всем телом. Я их часто фотографировала, хотя они боятся людей и близко к себе не подпускают. Их следы на снегу мне кажутся похожими на ноты, я подолгу их рассматриваю.

Не помню, сообщала ли я Вам, что любимые Вами норвежцы по-прежнему, как и раньше, милосердны и самоотверженны. В этом смысле они ничуть не переменились с тех пор, как Вы здесь побывали. Они готовы помочь каждому, кто попал в беду, они всех спасают, защищают, борются за справедливость и утешают потерпевших. По сию пору остается справедливым известное Ваше наблюдение: "Если человек не навестил соседа, оказавшегося в одиночестве, никому не постарался стать нужным и необходимым, никому не помог, то такой человек считается в Норвегии грешником". Норвежцы — мои современники — придерживаются этой заповеди и делают все, чтобы не быть причисленными к грешникам.

Сознаю, что мои письма слишком пространны, но не могу удержаться и не написать Вам о поэте Вергеланне и о птице, которая сидит у него на голове. Я предполагаю, что памятник национальному барду и в Ва-

ше время стоял всё там же, в парке, между зданиями Парламента и Национального театра. Статуя похожа на скульптуры подобного рода, украшающие многие европейские города. Поэт стоит, вытянув руку. Кажется, что он собирается произносить одну из своих знаменитых речей, которыми он прославился ничуть не меньше, чем стихами.

Так вот, с первыми лучами весеннего солнца, обычно в марте, на голову поэта Вергеланна усаживается птица, обычно чайка, а иногда и сорока, и сидит там несколько часов.

Как только она улетает, другая тут же бросается на освободившееся место и продолжает этот обряд восседания на бронзовой голове великого поэта. Создается впечатление, что птицы соперничают за возможность там посидеть. Та, которой это удается, сидит совершенно неподвижно, что мне представляется настоящим чудом. Она сидит на голове у поэта не дыша, как будто высиживает птенцов, и невозмутимо обозревает окрестности. Этих птиц не привлекают ни растущие неподалеку деревья, ни столбы электропередач, ни другие памятники. Исключительно только памятник поэту Вергеланну.

Редкостное зрелище. И народ собирается и глазеет на это дополнение к идее скульптора, предложенное самой природой.

Я сама слышала, как американские туристы, страшно галдя, бились об заклад, живая это птица или она — часть скульптуры.

Признаюсь, что когда я впервые увидела бронзового поэта с пепельно-серой чайкой на голове, я тоже была готова спорить с кем угодно, что это идея зодчего, и, главное, сочла ее превосходной. Но все-таки мне по душе больше другая версия, согласно которой сама природа дополняет фантазию художника.

Почему-то Вы не написали о том, что́ по традиции принято у норвежцев подавать на рождественский стол. Из напитков обязательно подается "аквавит" (aquavit), картофельный самогон, похожий на спирт. Из еды к столу подается гречневая каша, а к ней — маринованная селедка и овечьи ребрышки, подкопченные дымом от березовых ветвей. А затем, на сладкое, маленькие тоненькие пирожные, посыпанные сахаром, что-то вроде печенья. Если бы Вам довелось тут быть на Рождество, я уверена, Вы бы не упустили случая описать эти блюда. Для меня же само выражение "дым от костра из березовых веток" звучит как строка из старинной заморской баллады.

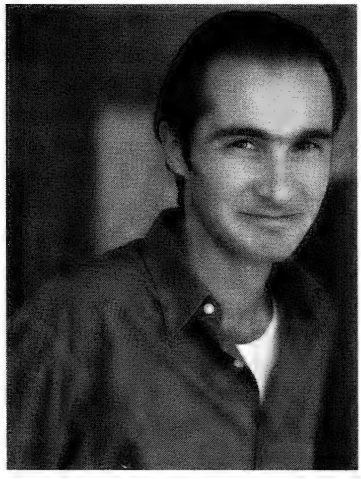
POST SCRIPTUM.

В свое время Вы констатировали: "В стране Норвегия очень мало путевых указателей". Так было когда-то. Сейчас Норвегия занимает первое место в мире по количеству дорожных указателей. В этой стране нельзя заблудиться, но потеряться в ней ничего не стоит.

С наилучшими пожеланиями,

Ваша читательница
Вида Огненович.

Арис Фиоретос



Строчки из России

Перевод со шведского Александра Бердичевского

От редакции

Шведский писатель и переводчик Арис Фиоретос — специалист по творчеству В. Набокова. В предлагаемом вниманию читателей эссе Фиоретос описывает в беллетризованной форме свои впечатления от поездки в Санкт-Петербург. Город и Россию вообще он воспринимает через набоковские тексты, ведя своего рода диалог с писателем — диалог двух стран, двух языков и двух эпох.

Текст, который приводится здесь в неизмененном виде, был найден в сентябре 2000 года смятым и засунутым вместе с непроявленной пленкой в "рвотный" пакетик в самом раннем самолете из Санкт-Петербурга. Несмотря на любезную помощь сотрудников авиакомпании, гостиницы и обоих музеев, которые упоминаются в тексте, так и не удалось выяснить, чья рука держала карандаш. Вероятно, писавший путешествовал под вымышленным именем. Когда пленку проявили, на ней оказались лишь повседневные уличные сцены, фасады домов и заспиртованные уроды. Тем не менее особенности почерка и пятна от различных крепких напитков наводят на некую мысль. Представляется, что речь идет о писателе с ранимой, чтобы не сказать раненой психикой, с трудом переносящем алкоголь и воздушные ямы. В нескольких местах он обрывал ход мыслей, словно считал, что за ним охотятся и у него нет времени (подозрение подтверждается тем, что Россию он покинул сломя голову). Такие места, а также те части текста, которые, несмотря на многократные попытки, не удалось разобрать, отмечены строчками отточий. Кроме этого, издатель разрешил себе еще одну вольность — указал адресата письма: оригинал, как и многое другое в мире, был его лишен.

© Aris Fioretos, 2001
© Александр Бердичевский. Перевод, 2007
© Свен Паустиан. Фото, 2003
Редакция благодарит Ариса Фиоретоса за любезно предоставленное право безвозмездной публикации эссе на страницах нашего журнала.

Неизвестный друг!

Итак, я покидаю Россию с невыполненным делом, в холодном поту и с сердцем, ушедшим в пятки. А сначала задача казалась такой простой: обострить восприятие, найти трещины в реальности, записать увиденное. Что может быть проще для писателя? Но с каждым днем мое пребывание в Санкт-Петербурге становилось все мучительнее. Необдуманные мысли, пошлости, злые шутки и равнодушие... Наконец у меня не осталось выбора: или я, или Санкт-Петербург.

А ведь начиналось все так замечательно! В самолете, который летел из Берлина через Хельсинки, опаздывая на несколько часов, я сел рядом с двумя хорошо одетыми мужчинами, чьи запястья украшало несколько килограммов "ролексов". Оказалось, что они люди деловые и только что заключили договор с финскими коллегами. Мы сразу познакомились. Из того, что они рассказывали, мне запомнилась следующая история: если посадить лягушку в бак с кипящей водой, то она мгновенно выпрыгнет оттуда, обожженная кипятком. Но если ее посадить в бак с холодной водой и повышать температуру, то она там и останется. Будет лежать, наслаждаться жизнью, посвистывать, плескаться — и постепенно сварится. Должно быть, насилие — самый надежный способ реальности убедить нас в своем существовании...

Хотели ли мои соседи при помощи этого анекдота поделиться со мной частичкой восточноевропейской мудрости? Или намекнуть на то, что́ меня ждало и о чем они догадывались? В одном не приходилось сомневаться: я попал в образованное общество. Когда я рассказал, чем занимаюсь, — должен признаться, немного неохотно, так как чувствовал легкую мигрень, — они наполнили стаканы и перешли к обсуждению литературного величия тех стран, в которых водку ценят превыше прочих напитков. Один утверждал, что Гоголь понимал "душу напитка" лучше, чем все его предшественники и последователи, другой — что Стивен Кинг по меньшей мере ему не уступает. Наконец они сошлись на том, что первое место занимает Достоевский, а за ним с небольшим отрывом следуют Пушкин и Алла Пугачева. Затем мы от души чокались за каждого из призеров, включая лягушку. Как ты, наверное, понимаешь, к вечеру, когда мы приземлились, голова моя была не в лучшем виде.

У выхода из аэропорта ждало с включенным мотором заранее заказанное такси — невероятно грязный микроавтобус "фольксваген", детали которого, казалось, постоянно менялись местами. Одетый в камуфляж шофер с силой вдавил газ в пол, как только я закрыл дверь. С визгом шин мы рванулись с места в облаке пыли и сосновых иголок. Прямо как в комиксах. Я изо всех сил старался не пропустить момент, когда нас начнут преследовать (замечу в скобках, что это было совсем нелегко, потому что водитель твердо вознамерился проверить все колдобины на дороге и проехать каждый поворот на двух колесах). Только прибыв в гостиницу, я понял, что нам ничто не угрожает и мы действительно в Санкт-Петербурге. Наслаждаться пейзажем было уже поздно: спустился вечер, и город лежал в сумерках, неразличимый, словно грех. Из гостиницы, богато блиставшей огнями в осеннем тумане, виден был лишь купол Исаакиевского собора через дорогу, освещенный грязно-желтыми лучами прожекторов. Дальнейший осмотр достопримечатель-

ностей следовало отложить на утро. Я наконец остался наедине с головной болью.

Немногое так возвышает человека — по крайней мере, в его собственных глазах, — как десять часов спокойного сна. Если же за чудодейственной ночью следует горячий душ, поливающий вас мягкими широкими струями, махровые полотенца в сантиметр толщиной и завтрак, включающий все: от черного кофе и томатного сока до вареных яиц и маринованной селедки, — то это уже высшее счастье. Когда я утром вышел на улицу, от головной боли не осталось и следа. Голова более не принадлежала какой-то чуждой силе, которая боялась дать приют моим мыслям. Я был готов отдаться своему делу сердцем, душой и спинным мозгом. Слабый, почти недоверчивый утренний свет с оттенком смога окончательно пробудил к жизни те немногие чувства, которые еще дремали. Должно быть, мое хорошее настроение чувствовалось на расстоянии, ибо массивный охранник с пластмассовой ракушкой в ухе повернул голову, напрягая неподвижную, похожую на ствол дерева шею, и кивнул в мою сторону. Хотя, возможно, это был всего лишь условный рефлекс: вероятно, он уже меня просканировал и признал безвредным. Изумляясь всему, чего не заметил накануне: охране, скверу, парковке, — я стоял, втягивая в себя влажный грязный воздух с Невы. Я задержался взглядом на деревьях, отделенных от меня Вознесенским проспектом. Ты знал, что столетие назад в одной из лип нашли ухо и палец? Владимир Набоков рассказывает об этом в своей автобиографии "Память, говори"[1]. Останки якобы принадлежали одному неряшливому террористу, собиравшему бомбу в комнате, которую он снимал у некоей вдовы прямо около сквера. "Те же самые деревья... были свидетелями того, как конные жандармы, укрощавшие Первую Революцию (1905—1906), сбивали удалыми выстрелами ребятишек, вскарабкавшихся на ветки в поисках спасения". Возможно, на извести стены уже появилась надпись, адресованная лично мне[2], но, уверяю тебя, при всей своей богатой фантазии я смог различить на деревьях на другой стороне улицы всего лишь пять жирных ворон и более ничего.

Под их грубое карканье я прошел кратчайшим путем между липами и направился к зданию из розоватого гранита, которое посещал в ушедшем сне. Я ведь никогда не был раньше в Петербурге и намеревался дополнить явившийся в ночном сне черновой чертеж полом, стенами и потолком дневной яви. Я квартировал в "Астории" и, изучая маленькую карту города, полагавшуюся постояльцам, обнаружил, что гостиница находится всего в нескольких сотнях метров от бывшего дома семьи Набоковых. Надев солнечные очки и тренч, что ты мне когда-то дал, надвинув шляпу на лоб и повесив фотоаппарат на шею, я почувствовал себя репортером старой школы, отправившимся в реальность на секретное задание. Мистер Репортер, к вашим услугам. Идя по Морской, мимо тех самых зданий, в которых раньше располагались немец-

1. Эта книга изначально вышла на английском языке в 1951 г. под названием "Conclusive Evidence" ("Убедительное доказательство"). Она послужила "основой и отчасти подлинником" книги "Другие берега" (1954), а также новой автобиографии "Speak, Memory", которую и имеет в виду автор. Цитируется по переводу "Память, говори" С. Ильина. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "...Вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского..." (Книга пророка Даниила. 5:5).

кое и итальянское посольства (№ 41 и № 43) и резиденция князя Огинского (№ 45), а теперь помещаются банки, страховые компании и транснациональные корпорации, я вживался в роль и, словно хитрый газетный писака, начал считать шаги. Могу сообщить тебе, что расстояние между днем сегодняшним и днем вчерашним или, по крайней мере, между годом 2000-м и годом 1900-м, составляет ровно 541 шаг.

Меня немного удивило, что № 47 по Морской выглядел так же, как на черно-белой фотографии в "Память, говори", "сделанн<ой> в 1955 году любезным туристом-американцем". Возможно, я не ожидал, что гранит окажется такого насыщенного розового цвета. Фасад, казалось, напудрила старательная, но близорукая юная барышня. Сохранились фрески и итальянский орнамент, а также эркер на втором этаже, похожий на корму португальского фрегата, украшения из кованого железа на крыше и обрамлявшие дом с двух сторон тонкие, почти стройные водосточные трубы (по которым стекли сто лет дождя — неожиданная мысль). Более того, третий этаж, появившийся в 1901 году, когда семья увеличилась и нуждалась в дополнительном пространстве для себя и слуг, несомненно отличался от нижних оттенком и сортом камня.

Должен признаться, меня начинала беспокоить роль наблюдателя, живого фотоаппарата, на спуск которого нажимает случай. Не Тальбот[1] ли как-то раз назвал фотоаппарат *карандашом истории*? Так я себя и чувствовал: готовым отмечать малейший сдвиг в действительности, следовать течению времени и зарисовывать его контуры. Возможно ли, что отрывок литературного текста — песня или быличка, фарс или басня — является не чем иным, как воплощением времени? Может быть, поэтому он может дать нам это ошеломительное чувство головокружения и пустоты, усталости, счастья и горечи? Как будто он — то, что только могло бы быть.

Знал ли ты, между прочим, что я пристрастился к Набокову, когда заметил, что он испытывал слабость к карандашу — "просвещенному потомку указательного пальца", как тот называется в "Приглашении на казнь"? Лично я тоже всегда любил стройную внешность и прозаическую внутренность карандаша, а иногда вполне достаточно одной такой неожиданной faiblesse[2], чтобы заинтересоваться творчеством другого писателя. Склонности интереснее принципов, не правда ли? (И уж точно гораздо надежнее: политики, которые утверждают, что следуют благородным идеалам, редко оправдывают наши ожидания, в то время как негодяям, чьи слабости известны, мы смело можем доверить последние гроши.) Я стал читать Набокова более систематично и обнаружил, что все его книги содержат сцены, где карандаши играют какую-нибудь роль, скрытую от взора, но очевидную — словно они заимствованы из мира, который лежит по эту сторону переплета. Возможно, затем, чтобы описывать удивительный сговор двух реальностей: искусства и жизни? Автобиография не исключение. Поэтому под ложечкой у меня трепыхались бабочки, когда я вошел в дом, где апрельским днем 1899 года

1. Уильям Генри Фокс Тальбот (Талбот) (1800–1877) — английский фотограф XIX в.; на самом деле называл фотографию "карандашом природы" и написал одноименную книгу ("The Pencil of Nature").
2. Слабость (*франц.*).

родился Владимир Владимирович, поднялся по лестнице и оказался в вестибюле здания, которое несколько лет назад стало музеем. Ведь там, "в нише под мраморной лестницей наш швейцар, когда я возвращался из училища, очинивал карандаши. Для этих целей использовалась тяжелая старомодная машина с ручкой, которую он быстро вращал одной рукой, держа другой вставленный в боковое отверстие карандаш".

К сожалению, я должен сообщить, что этот день не сопровождался методичной музыкой затачиваемых карандашей. Вместо того кашляла громко и печально дама лет шестидесяти, сидевшая за столиком прямо около лестницы. Вероятно, она подхватила осеннюю простуду и надеялась ее излечить отороченной мехом шляпой и шалью (первая черна, как сажа, вторая желта, как гной). Она прижимала к губам тупой карандаш, явно погрузившись в раздумья. Но этот инструмент уже не играл роль образованного наследника указательного пальца, равно как не служил и градусником. Женщина просто-напросто увязла в лежащем перед ней кроссворде. Через некоторое время она поправила шляпу, подняла взгляд от букв, не желавших вставать в тесные клеточки, и произнесла какие-то слова, которые у меня не было ни малейшего шанса понять. На столе лежали брошюры, открытки и маленькие пластмассовые иконки. Один не знакомый мне славист написал труд, размноженный на спиртовом копировальном аппарате[1], о месте Набокова в русской литературе, и именно на него женщина положила левую руку, когда поняла, что я не говорю по-русски. Она медленно поднялась со стула, перегнулась через стол, вытянула правую руку и повторила свои слова — на этот раз медленнее и заботливее, словно разговаривая с упрямым маленьким ребенком.

Хотя сказанное оставалось мне недоступным, было несложно понять, что музей закрыт на ремонт. Все было затянуто пленкой, в углу стояло несколько лопат и метел, а у ног вахтерши лежало два небольших мешка цемента. Я попытался объяснить этой простуженной женщине, охранявшей Ничто, что не собираюсь осматривать коллекцию — которая, как я позже узнал, включает пару огрызков карандашей (3B, с поношенными капюшончиками стирательных резинок), фотографии и книги из бывшей семейной библиотеки, рисунки, висевшие на стене, когда в 1918 году дом конфисковали, пенсне и несколько ящиков с любовно препарированными бабочками; большей частью дары сына Дмитрия. Не выслеживал я и какого-нибудь дряхлого genius loci. Правда была значительно скучнее: я просто-напросто интересовался величиной дома. Даже подробнейшее описание интерьера в книге не позволит читателю измерить шагами комнаты, не говоря уж о том, чтобы прочувствовать, как свет, падающий через немытое окно, вселяет жизнь в ленивые тени.

Я доходчиво объяснил жестами, что охотно заплачу за вход — если нужно, то в двойном размере, — только чтобы осмотреть пустые помещения. Женщина пожала плечами, словно прочитала мои мысли — или сочла, что я сам виноват, если так небрежно обращаюсь со своими доходами или же с хрупкой связью между фактом и вымыслом. Взамен отдан-

1. Спиртовой копировальный аппарат (аппарат Дитто) — устройство для копирования печатного или написанного от руки текста, изобретенное в начале XX в.; спирт входил в состав растворителя для красящего вещества.

ных рублевых купюр я получил импровизированный билет: в самом конце сборника кроссвордов женщина отыскала пустую страницу, вырвала и проставила на ней число, стоимость входа и подпись (так я узнал, что ее фамилия Клибанская). Навряд ли она знала (хотя, может, я недооцениваю ее компетенцию), что тот, кому посвящен музей, некогда создал в эмигрантском русском название для лежавшей перед ней головоломки: *крестословица* (в советской лексике это слово оказалось под запретом: тогда старались скрыть постыдную — читай религиозную — этимологию введением *кроссворда*, слова, звучание которого моему невежественному слуху напоминает скорее африкаанс). В любом случае фру Клибанская была сама загадочность, когда выученным жестом отвела в сторону самую большую пленку, открыла дверь за ней и тупым, драматически дрожащим пальцем указала в пустую гостиную.

Я словно шагнул в очищенную от нагромождений мебели память. В боковой комнате, заполненной хламом, стояли две пары козел, на них лежала дверь. Столяр, видимо, внезапно прервал свою работу, успев зачистить наждаком только полдвери. Остальная часть была все еще покрыта ядовито-зеленой краской с пятнами жидкости, которая напоминала кофе, но с тем же успехом могла оказаться сточной водой или помоями. К дверному косяку был прислонен мешок со сломанными рейками; из них торчали маленькие гвозди. С потолка беспомощным курсивом свисали провода, а в салоне красовалась грязная потускневшая хрустальная люстра (довольно небольшая). В стены были вделаны несколько бра в форме луковиц, но только некоторым из них достались лампочки, светившие немного беспорядочно и, казалось, не очень убедительно. В углу неколебимо стояло бюро, затянутое пленкой, вероятно, слишком тяжелое, чтоб его перетаскивать. Пленки защищали и элегантную обшивку стен из лакированного орехового дерева. Пол покрывали пыль, опилки и одинокие окурки. Тут и там лежали желтеющие листья, влетевшие, должно быть, сквозь разбитые окна, словно предупреждения о приближающейся зиме. И все же общее впечатление оказалось небезынтересным: я чувствовал себя так, будто находился в неразгаданной крестословице.

Это ведь Беньямин[1] утверждал, что память не инструмент для исследования прошлого, а, наоборот, его сцена? В таком случае, думал я, блуждая взглядом по пустым помещениям, любое воспоминание — вивисекция прошлого. Все это было похоже на труд писателя: располагать слова на бумаге. Разве я не находился в трехмерной версии книги? Я словно вдруг шагнул в ту комнату, где литература создает свою реальность (ведь текст — это не что иное, как мастерская пополам с мусорной кучей: пол, стены и потолок уже есть, но еще не проложены коммуникации и нет никакой отделки).

О Набокове часто говорят, что он "холодный" писатель. С заученным спокойствием и восхитительным самообладанием писал он свои тексты на карточках для картотеки, из которых потом возводил фасады и укрепления, флигеля, чердачные каморки и подвальные помещения. Кад-

1. Вальтер Беньямин (1892–1940) — немецкий литературовед и философ, теоретик культуры и социологии искусства.

ры вставляются и вырезаются, сменяя друг друга, сцены выстраиваются в ряд, словно картины на выставке. Воскресает образ писателя, передвигающего своих персонажей словно фигуры в остроумной задаче, порой с целью поставить шах наивному читателю, — Набоков не совсем лукавил, когда на назойливые вопросы интервьюеров отвечал, что предпочитает "сочинять задачи с элегантными решениями"[1], что пишет лишь для удовольствия и ради преодоления трудностей творчества. Таким образом, мы не ошибемся, если посчитаем его манипулятором от бога, который, несмотря на обостренное чувство деталей, волшебный стиль и легкую прозу, не может взволновать читателя. При мысли о нем нам, безусловно, сразу представляется мозг — некоронованный повелитель шахматных досок и крестословиц. И конечно, Набоков в одной из своих лекций указывал, что "ум, мозг, вершина трепетного позвоночника — единственный инструмент, с которым нужно браться за книгу"[2].

Я, однако, не могу поверить, что это все правда. Одно дело — поставить читателю шах, другое — мат. Разве из литературы пропадает биение жизни лишь оттого, что писатель стремится к той же точности, какой часовщик добивается от часового механизма? Мне вспомнился анекдот, который рассказывали соседи по самолету. Что такое литература, которая, мгновенно вскипятив воду, ставит читателю мат, как не типичный и уже устаревший авангардизм? Есть ли в потрясении собственная ценность — более глубокий слой восприятия, новые знания? Напротив, литература, которая нагревает воду медленно, действует поиному. Ее хитрости хватает на то, чтобы дать читателю время на раздумья о собственной смертности. Разумеется, цель подобного искусства не в том, чтобы лишать людей жизни, но если они осознáют свою конечность, то многое уже достигнуто. Поэтому такая литература часто воздерживается от излишней прямоты. Мне как читателю она внушает спокойствие, уверенность, вызывает радость или печаль (когда как) — чтобы потом исподтишка разрушить их. Я читаю — и мои представления все крепнут, в то время как она ведет свою тайную игру. И внезапно я оказываюсь перед неизбежностью: теперь уже не я читаю произведение, а оно меня. При этом я могу испытывать счастье или смятение, грезить или страдать, но одно остается неизменным: я получаю доказательство того, что живу.

Набоков своими дотошными исследованиями действительности и изобретательными играми с вымыслом обыкновенно внушал читателю именно это ощущение — что тот *живет*. Тело ведь состоит не только из позвоночника. В нем есть мышцы, нервы, жировые ткани, кожа, волосы и слизистые оболочки — все эти сложные дополнительные надстройки, удивительные и желанные, ставшие из-за своей хрупкости предметом как обожания, так и исследования. Только такое тело может ощутить странную дрожь вдоль позвоночника, пугающую и восхитительную, — надежнейший знак того, что строчки, которые мы читаем, волнуют нас.

Погруженный в такие раздумья, я шел к выходу, когда внезапно услышал хорошо знакомый звук: кто-то стучал по клавиатуре. Сквозь открытую

1. "Сильные мнения". Перевод Н. Хрущевой.
2. "О хороших читателях и хороших писателях". Перевод М. Мушинской.

дверь комнаты, выходящей на улицу, я увидел женщину, сидевшую перед огромным компьютером, достойным древней космической станции. Женщина говорила по-английски и охотно провела меня по дому, включая два верхних, недоступных посетителям этажа. Если я правильно ее понял, там находилась редакция какой-то газеты; по крайней мере, поднимаясь по лестнице, она прижала палец к губам и просила меня вести себя так тихо, как только возможно. Мы осторожно открыли дверь на второй этаж, который выглядел вполне прилично. Поговорив с редактором, мы получили разрешение осмотреть восточную угловую комнату, где был будуар матери и родился старший сын. За захламленным письменным столом, на котором стояли две корзины для бумаг, плетеная и металлическая, виднелся камин — превосходное изделие резного дерева, напоминавшее переделанные настенные часы. Третий же этаж был в плачевном состоянии. Там семьдесят лет советского владычества изменили изначальную планировку до неузнаваемости. Горы потрескавшихся кусков линолеума, шатающиеся металлические шкафчики для одежды, капающие краны, невероятно грязный пол и извилистые проходы между стен, тонких, как бумага: верхний этаж надолго был превращен в лабиринт кабинетов, в которых совершенно потерялась бывшая спальня Владимира. Моя проводница даже сомневалась, что комната вообще сохранилась. Возможно, она исчезла вместе с тем *аппаратчиком*, который использовал ее в качестве рабочего кабинета или проводил в ней допросы?

Мы отступили на оставшуюся неповрежденной светло-синюю лестничную площадку, оклеенную кусками такого неба, какое бывает только в петербургских широтах. Даже два окна с витражами уцелели, шедевры света и движения, в которых, говоря словами из "Подлинной жизни Себастьяна Найта", "духовное изящество русского домашнего уклада сочеталось с лучшими из сокровищ европейской культуры"[1]. Мне представилось, что это благородные кузины тех иллюстраций, которые встречаются в крестословицах, — знаешь, такие картиночки-загадки, читатель должен из них составить более или менее бессмысленное предложение, записать его и послать в редакцию. Любопытствуя, я спросил у своей сегодняшней Беатриче, какой ребус могли бы представлять эти окна. Она только покачала головой. Разговоров о том, что сложный узор виноградных лоз, шпалер, букетов и гирлянд должен содержать какое-то тайное сообщение, она никогда не слышала. В смущении мы постояли еще немного на верхней площадке, переминаясь с ноги на ногу и наблюдая, как утренний свет попадал в плоские кружочки стекла, созревал и темнел, достигая тяжелого желтого цвета карандаша.

Оставив музей и пройдя через вестибюль первого этажа мимо вахтерши, которая разложила принесенный с собой обед на развернутой крестословице и помахала мне на прощание рукой с зажатой в ней маленькой вилкой, я направился к Кунсткамере, на другую сторону Невы. Мне рассказывали, что знаменитый царский кабинет курьезов содержит любопытную коллекцию вывихов природы. Как ты понимаешь, я хотел посмотреть на нее собственными глазами. К сожалению, не могу сказать, что это очень вдохновляющее зрелище. На скупо освещенных стендах,

1. Перевод С. Ильина.

заботливо уставленных запечатанными стеклянными сосудами, на бархатных пьедесталах, в вечной невесомости спиртовых растворов колыхались мертворожденные существа. Большинство анатомических странностей были вполне вообразимыми. Я прошел мимо ряда голов без тел; мимо маленького мальчика с двойным комплектом конечностей и близоруко прижатым к стеклу носом; лица с удивленной улыбкой, застывшей на губах, — оно кончалось сразу над бровями; кривых ног, переходящих не в ступни, а в кисти. Позы были похожи на те, которые погибшие души принимают на запрестольных образах: позы молитвы или отчаяния, дерзости или смущения — видения лимба, лежащего за пределами человеческого летосчисления, знаки адского письма со множеством неясных прочтений.

Особенно бросилось мне в глаза одно буддоподобное существо. Полусидя и прикрывая пах тонкими пальцами, оно казалось спокойным, почти безмятежным. Сильное, словно у маленького боксера, тело, гибкое и хорошо сложенное — впрочем, голова была в два раза больше, чем надо, походила на распухшее яблоко и имела два полностью сформировавшихся лица. Или три? Два глаза сползлись в один и образовали посередине, между линией волос и кончиком подбородка, третий лик с большой, круглой щекой вместо носа и рта. Восковая кожа была желта, как само безвременье. Я медленно начинал понимать, что где-то тут теряется всякая способность к сочувствию. Ибо не прямо ли здесь, по пустой скорлупе черепа проходит граница? От ужаса неожиданно остро ощутив свое тело, я — перепуганный, полуослепший — покинул Кунсткамеру с тревогой в сердце.

Найдя приют в кафе, я выпил стакан чая, съел несколько пирожков и пролистал местную газетку. Сносно разбирать я мог только комиксы (что-то про любовь в век атомоходов). По прямой дороге, которая оказалась самой длинной, я вернулся в гостиницу. День уже давно перевалил за середину, и хотелось отдохнуть перед вечером. Задвинув толстые шторы и уменьшив громкость телевизора, я улегся на диван с "Сердцем тьмы" Джозефа Конрада, которое взял в качестве дорожного чтения. Переплетаясь с более ранними дневными впечатлениями, некоторые сцены представали передо мной весьма рельефно. Например, та, что в начале книги: Марлоу рассказывает, как он приходит к своему работодателю подписать какие-то бумаги. Войдя в главную контору, он обнаруживает там двух женщин, которые что-то вяжут, — видимо, праправнучек мифологических Парок, — и замечает, что в конце комнаты висит "большая карта, расцвеченная всеми цветами радуги"[1]. Конрад на удивление много времени проводит около этого плоского абстрактного мира — словно бы на карту поставлено нечто большее, чем безыскусный рассказ о покорении белым человеком неизвестного континента: "Немало места было уделено красной краске — на нее во всякое время приятно смотреть, ибо знаешь, что в отведенных ей местах люди делают настоящее дело, — много было голубых пятен, кое-где виднелись зеленые и оранжевые, а пурпурная полоса на восточном берегу указывала, что здесь славные пионеры прогресса распивают славное мартовское пиво.

1. Перевод А. Кравцовой.

Но не в эти края собирался я ехать — мне предназначено было желтое пространство. В самом центре".

После того как Марлоу подписывает контракт, его просят нанести визит доктору. Его уверяют, что это простая формальность, которой подвергаются все служащие. "Старик доктор пощупал мне пульс, думая, видимо, о чем-то другом.

— Так-так... прекрасно, — пробормотал он, а затем, вдруг оживившись, попросил разрешения измерить мой череп. Несколько удивленный, я дал свое согласие; тогда он извлек какой-то инструмент, напоминавший калиберный кронциркуль, и снял мерку спереди, сзади и со всех сторон, заботливо отмечая результаты измерений. <...>

— В интересах науки я всегда прошу разрешения измерить черепа тех, кто туда отправляется, — сказал он.

— И вы делаете то же, когда они возвращаются? — спросил я.

— О, мне больше не приходится с ними встречаться, — заметил он. — А кроме того, перемены происходят внутри".

Вот она, разница, от которой все зависит, тонкая, словно череп. Обычно говорят, что задача литературы — сделать внутренние изменения видимыми, перевести душу в знак. Но Конраду, как кажется, ближе другая, более мрачная возможность: "Рассказы моряков отличаются простотой, и смысл их как бы заключен в скорлупу ореха. Но Марлоу не был типичным представителем моряков (если исключить его любовь сочинять истории), и для него смысл эпизода заключался не внутри, как ядрышко ореха, но в тех условиях, какие вскрылись благодаря этому эпизоду: так благодаря призрачному лунному свету становятся иногда видимы туманные кольца". Не это ли художественный метод "холодной" литературы, вывернутое наизнанку искусство сочувствия? Не поэтому ли такое часто встречается в произведениях живописи, порой плоских, как клетки комиксов? Несмотря на то что действие разворачивается в одной плоскости, разные элементы принадлежат разным временам. Как и в памяти, возникает одновременность — но уже видимая. Проистекает ли очарование таких картин из того, что ими невозможно овладеть, невозможно сокрушить печать отдаленности и отчужденности? *Это* ли вызывает неловкое чувство, что тебя самого "разглядывают" и "читают"?

Часа через два я проснулся, раздвинул шторы и увеличил громкость телевизора. Вечер, гангста-рэп[1]. Затем последовал обычный ритуал: бритье, чистка зубов, гребнем по волосам, чистая рубашка, сигареты, бумажник, документы. Почистив ботинки одним из махровых полотенец, я спустился на лифте в холл.

Как только металлические двери разъехались, я понял, что мир, который я покинул несколько часов назад, изменился. Возможно, я еще не совсем пришел в себя после сна, но в холле постояльцы и персонал двигались словно в трансе. Никто ничего не говорил, некоторые тихо и невнятно шептались, прикрыв рты ладонями. Сначала я подумал, что дело во мне, но потом заметил пожилую даму, сидевшую в кресле стиля рококо и бешено обмахивавшуюся брошюрой; дама смотрела широко раскрытыми глазами мимо меня. Женщина за стойкой информацион-

1. Музыкальный жанр, подвид хип-хопа. Возник в США в 1980-х гг.

ного центра, ранее столь хладнокровная, нервно откручивала и закручивала колпачок своей авторучки и избегала моего взгляда. Туристы-шведы бегали безостановочно туда-сюда между диваном и окном, словно дети в первый свой день в школе. Озадаченный, я направился к выходу. Но не успел я пройти и нескольких метров, как путь мне преградил охранник. Стало совершенно ясно, что он не собирается выпускать меня из гостиницы. У него был тот самый одновременно решительный и отсутствующий взгляд, который появляется у людей его типа, когда они намереваются следовать полученным инструкциям буквально, и будь что будет. Но кто-то, видимо, отдал ему приказ через наушник. Он поспешно отвел взгляд и прижал ладонь к уху. Затем снова повернулся ко мне, поднял голову и молча кивнул в сторону запасного выхода. Жилы на лбу надулись, миллиметровый ежик светлых волос блестел от пота. Он подтянул узел галстука, еще раз кивнул и растопырил руки, по-прежнему загораживая проход. Именно в тот момент я и увидел их между его пальцев: два безжизненных тела на улице, лежавших перед небрежно припаркованным "рендж-ровером", водитель которого упал грудью на руль.

Не могу отрицать, что на сцене лежал налет театральности. Ближайшие полчаса я вместе с другими постояльцами прижимался носом к стеклу и следил за работой одетых в штатское милиционеров. Сначала они разогнали зевак, затем огородили место преступления и накрыли гостиничными простынями мертвых, мужчину и женщину. Обоим было 35-40 лет. Оба лежали на боку, почти нежно повернувшись друг к другу, словно любовники на кровати. Прибыли какие-то важные лица, отдали несколько отрывистых приказаний и уехали. Один милиционер при помощи шариковой ручки исследовал дырку от пули в гостиничном стекле, не прекращая говорить по мобильному телефону. Наконец появились два человека в белых халатах и перчатках, похожих на кондомы. Они достали из сумок какие-то инструменты и начали методично обследовать тела. Один пинцетом собрал с асфальта несколько гильз, которые другой убрал в толстый прозрачный пакет. Завершив в конце концов работу, они сняли перчатки, закрыли сумки и были таковы.

Сколько я там стоял, сколько времени следил за событиями, пока наконец не понял, что мне не по себе? Столько, сколько нужно, чтобы кровь убитого просочилась сквозь гостиничную простыню.

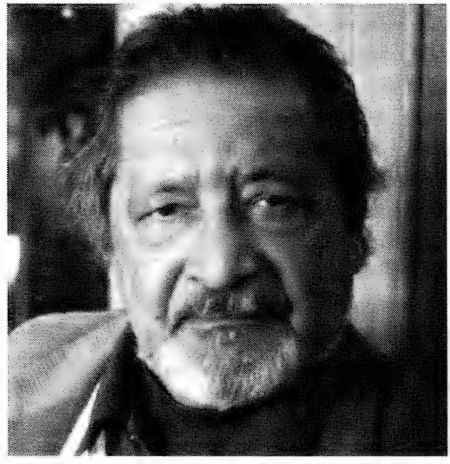
Когда я наконец отвернулся и пошел к заднему выходу, чувствуя одновременно облегчение и смущение, я услышал волынку. Перед газетным стендом в другом конце холла дюжина девчонок как раз начинала танцевать. Они были одеты в шотландские национальные костюмы и, видимо, не имели ни малейшего представления о том, что произошло на улице. Весело били в ладоши, хлопали руками по коленям, щелкали каблуками, пребывая в каком-то истерическом восхищении, — а в это время официант подавал туристической группе из Азии охлажденное шампанское на серебряном блюде. Оставалось только спасаться бегством.

Когда я осмелился вернуться в гостиницу, было уже далеко за полночь. Заграждения сняли и "рендж-ровер" увезли. На другой стороне улицы тихо шелестели липы. Бодрствовал только охранник, бдительный, как всегда. Стоя посреди улицы со шлангом в руке, он рассказал мне на руб-

леном английском, что убитый был боссом грузинской мафии, женщина – его любовница, а мужчина в машине – их шофер. Потом он пожелал мне спокойной ночи и продолжил отмывать улицу от крови.

Дорогой друг, стало ясно – Санкт-Петербург или я. На следующее утро я улетел из города первым же рейсом. Пока самолет не пробился сквозь ковер облаков и не вошел в чистоту верхних слоев атмосферы, я мог видеть бездну голубого, отдельные полоски белого, много серого и строчки желтых пятен, слабые, словно лучи прожектора в тумане. Но когда я закрыл глаза и подставил лицо теплому утреннему солнцу, больше всего было красного, очень много красного... Шлю тебе сердечный тридцатисемиградусный привет, from Russia with love.

В. С. Найпол



Нобелевская премия 2001 года

Наша универсальная цивилизация

Выступление в Нью-Йоркском манхэттенском институте

Перевод с английского В. Голышева

Я озаглавил это выступление "Наша универсальная цивилизация". Заглавие довольно пышное, что меня несколько смущает. Поэтому попробую объяснить, как оно возникло. У меня нет единой теории мироустройства. Для меня люди и положения всегда конкретны, всегда своеобразны. Вот зачем ты путешествуешь и пишешь: чтобы выяснять. Действовать иначе — значит знать ответы раньше, чем узнал проблему. Это тоже принятый метод работы, особенно если вы политический, религиозный или расовый миссионер. Но для меня это было бы затруднительно.

Поэтому, когда мне предложили здесь выступить, я подумал, что полезно будет выяснить, какого рода вопросы интересуют сотрудников вашего института. В это время в Англии находился старший сотрудник института Майрон Магнет. Мы поговорили по телефону. Через несколько дней он прислал мне написанный от руки список вопросов. Вопросы были очень серьезные, очень важные.

Верно ли, что мы — наши сообщества — сильны лишь настолько, насколько тверды наши убеждения? Для убеждений и этических принци-

© V. S. Naipaul, 1992
© В. Голышев. Перевод, 2007
Книга эссе В. С. Найпола выйдет в издательстве "Логос".

пов достаточно ли того, что их исповедуют со страстью? Является ли страсть достаточным оправданием этики? Произвольны ли убеждения и этические принципы, или же они отражают нечто существенное в культуре, где они распространены?

Нетрудно было увидеть за этим некоторую тревогу. Ясно прочитывалась обеспокоенность определенными фанатизмами "там у них". В то же время проглядывала некая философская робость в отношении того, как выразить эту тревогу, поскольку никому не хочется, чтобы твои слова и концепции рикошетом ударили по тебе. А вы знаете, как пользуются такими словами: я цивилизованный и стойкий; ты варвар и фанатик; он примитивен и ослеплен. Я, конечно, был на стороне вопрошающего и понимал подспудный смысл вопросов. Но в последующие несколько дней — возможно, ввиду моего отчасти стороннего положения — я осознал, что не разделяю пессимизма, таящегося под этими вопросами. Я подумал, что и сам их пессимизм, и философская их робость свидетельствуют о силе цивилизации, которая их задает. Так и обозначилась тема моего выступления: "Наша универсальная цивилизация".

Я не пытаюсь дать определение этой цивилизации. Буду говорить о ней в чисто личном плане. Во-первых, это цивилизация, которая дала мне идею профессионального писательства. В этой цивилизации я мог заниматься писательством как профессией. Чтобы быть писателем, нужна определенная восприимчивость. А восприимчивость порождается — или направляется — интеллектуальной атмосферой.

Иногда атмосфера бывает слишком утонченной, цивилизация слишком законченной, ритуализированной. Одиннадцать лет назад, путешествуя по Яве, я познакомился с молодым человеком, который больше всего на свете хотел быть поэтом, жить духовной жизнью. Эта потребность возникла у него благодаря современному образованию; но ему было трудно объяснить матери, к чему он стремится. Мать была женщиной культурной и утонченной, подчеркиваю это. Утонченной внешне, изысканной в одежде и в речи. Манеры ее сродни были искусству — яванские придворные манеры.

И я спросил молодого человека — помня, что мы на Яве, где древний эпос продолжает жить в популярном искусстве кукольного театра, — спросил: "Разве ваша мать не гордится втайне тем, что вы поэт?" Он ответил по-английски (упоминаю об этом, чтобы показать уровень его образованности в яванской глубинке): "У нее нет ни малейшего представления о том, что значит быть поэтом".

А друг и наставник поэта, преподаватель местного университета, выразился еще сильнее: "Единственный способ объяснить матери, чем он занимается, — это сказать, что он поэт в классической традиции. И она сочтет это абсурдом. Отвергнет как нечто невозможное". Отвергнет как невозможное потому, что для матери поэта эпосы ее страны — а для нее это что-то вроде священных текстов — уже существуют, уже написаны. Их надо только изучать или обращаться к ним за поучениями.

Для матери вся поэзия уже написана. Эта книга, фигурально выражаясь, закрыта. Поэзия — часть ее завершенной культуры. Когда ее сын, двадцативосьмилетний, уже не юноша, говорит, что надеется быть поэтом, это примерно то же, как если бы верующая мать в другой культуре спросила сына-писателя, что́ он намерен написать дальше, и услышала

в ответ: "Думаю добавить еще одну книгу к Библии". Или, если воспользоваться другим сравнением, молодой человек будет подобен герою рассказа Борхеса, взявшемуся переписать "Дон Кихота". Не пересказать роман, не скопировать оригинал, а путем чрезвычайного умственного усилия воссоздать повествование, дословно совпадающее с книгой Сервантеса.

Я понимал, насколько затруднительно положение молодого человека в центральной Яве. В конце концов его культурная среда не так уж отличалась от моей индийской культурной среды на Тринидаде. Мы были сельским землячеством иммигрантов из Индии. Желание стать писателем поселил во мне отец, от него я получил и начальные представления об этом деле. Он родился в 1906 году, внук человека, привезенного на Тринидад младенцем. Каким-то образом, несмотря на то, что обстановка маленькой сельскохозяйственной колонии этому отнюдь не способствовала, у отца возникло желание писать. Он сделался журналистом, хотя возможности журналистики в маленькой колонии были весьма ограничены.

Мы были народом ритуала и священных текстов. У нас были свои эпосы — те же самые, что на Яве; их постоянно пели нам или декламировали. Но нельзя сказать, что мы были литературным народом. Наша литература, наши тексты не подвигали нас к исследованию нашего мира; наоборот, они были культурными маркерами, свидетельствами полноты нашего мира — и чуждости всего, что лежало вовне. Не думаю, что у нас в роду кому-нибудь, кроме отца, приходило в голову заняться оригинальным сочинительством. Идея эта пришла отцу на Тринидаде, где был укоренен английский язык, — вопреки неблагоприятному колониальному окружению. Идея, принадлежащая высокой цивилизации и связанная с языком. И благодаря ему же отец получил некоторое представление о литературных формах. Если ты собираешься стать писателем, одной восприимчивости недостаточно. Необходимо найти литературные формы, которые воплотят и выразят твое восприятие; а литературные формы — будь то в поэзии, драме или прозе — искусственны и постоянно меняются.

Это я смог усвоить в очень раннем возрасте. В очень раннем возрасте, среди бедности и скудости периферийного Тринидада с его полумиллионным населением, в меня заронили желание писать книги, конкретно — романы, которые отец представил мне как самую высшую форму. Но книги создаются не только в сознании. Книга — физический объект. Чтобы написать ее, нужна определенного рода восприимчивость, нужен язык и некоторый языковой дар и нужно владение особой литературной формой. Чтобы твое имя появилось на корешке, нужен, помимо тебя, громадный внешний аппарат. Нужны издатели, редакторы, художники, печатники, переплетчики; книготорговцы, критики, газеты, журналы и телевидение, где критики могут сказать, что́ они думают о книге; и, конечно, нужны покупатели и читатели.

Я подчеркиваю эту земную сторону дела, потому что легко счесть ее данностью, чем-то само собой разумеющимся; легко ограничиться в рассуждениях чисто личной романтической стороной писательства. Сочинение — личный акт, но опубликованная книга, когда она начала жить, говорит о сотрудничестве определенной части общества. Общество в той или иной степени организовано коммерчески. У него тоже

есть культурные и умственные потребности. Оно не верит, что вся поэзия уже написана. Оно нуждается в новых стимулах, в новой литературе и обладает средствами оценки того, что ему предлагается.

Такого рода общества на Тринидаде нет. Поэтому, если я собирался стать писателем и жить со своих книг, необходимо было перебраться в такое общество, где писательская жизнь возможна. Для меня в то время это означало переехать в Англию. Я переезжал с периферии, с окраины, в то место, которое было для меня центром, и надеялся, что для меня найдется место в центре. Если подумать, у меня были большие запросы — я гораздо больше хотел получить от центра, чем от своего общества. У центра в конце концов свои интересы, свой взгляд на мир, свое представление о том, что ему нужно от романов. Мои темы были далекими; но маленькое место в Англии 1950-х годов для меня нашлось. Я смог стать писателем и профессионально развиваться. На это потребовалось время. Мне стукнуло сорок, и я уже пятнадцать лет печатался в Англии, прежде чем мою книгу опубликовали в Соединенных Штатах.

Но в 1950-х годах, в Англии, я сознавал, что для меня как писателя-профессионала другого места нет. И если уж пытаться охарактеризовать универсальную цивилизацию, то я сказал бы, что это цивилизация, которая подсказала мысль о литературной профессии и к занятию этой профессией побудила. Которая дала средства для того, чтобы осуществить свое желание, позволила перебраться с периферии в центр. Эта цивилизация связывает меня не только с публикой, но и с немолодым уже яванцем, воспитанным в такой же ритуализированной атмосфере, как я, — и так же, как я, подвергшимся веяниям внешнего мира, который побудил его писать.

Сегодня начинающему писателю в местах, подобных Яве или Тринидаду, легче: темы, в прошлом далекие, уже не таковы. Но я никогда не воспринимал свою профессию как нечто положенное мне по праву. В мире все еще много областей, где культурных и экономических условий, о которых я сейчас говорил, не существует и человек вроде меня не может стать писателем. Я не мог бы стать писателем в исламском мире; в Китае; в Японии — японцы предоставляют место литературной культуре только тех стран, с которыми они соревнуются. Я не мог бы стать таким писателем, каким стал, ни в Восточной Европе, ни в Советском Союзе. Сомневаюсь, что мои таланты пригодились бы даже Индии.

Теперь должно быть понятно, насколько важно было для меня знать в молодости, что я могу перебраться с окраины в центр, с Тринидада в Лондон. Стремление стать писателем предполагало такую возможность. Несмотря на свое происхождение и тринидадскую культурную среду, я все-таки считал само собой разумеющимся, что какой-то важной своей частью принадлежу к более широкой цивилизации. То же самое, думаю, можно сказать о моем отце, хотя он был ближе к ритуальному укладу нашего индийского и индуистского прошлого.

Но до самого недавнего времени я не формулировал идею универсальной цивилизации — случилось это одиннадцать лет назад, когда я много месяцев путешествовал по неарабским мусульманским странам, пытаясь понять, что их так распалило. Мусульманский пыл только-только начал проявляться в то время.

В 1979 году слово "фундаментализм" применительно к мусульманскому миру в газетах употреблялось нечасто; они еще не дописались до этой концепции. Больше говорилось о "возрождении ислама". И в самом деле, стороннему наблюдателю это представлялось загадкой. Ислам, который, по-видимому, так мало мог дать своим последователям в XIX веке и в первой половине XX, — что же он сумел предложить бесконечно более образованному, более стремительному миру в последние годы XX века?

Адаптация моей семьи и тринидадских индийцев к колониальному Тринидаду и через это к XX веку проходила болезненно. Нам, азиатскому народу, живущему инстинктивной ритуализированной жизнью, трудно было открыть для себя идею нашей истории и научиться жить с сознанием своей политической беспомощности. Очень трудной была и социальная адаптация. Например, в нашей культуре браки всегда заключались по договоренности родителей. Понадобилось время и много поломанных судеб, чтобы этот обычай отмер. Все это происходило параллельно с личным интеллектуальным ростом, о котором я говорил.

И, когда начались мои путешествия по мусульманскому миру, я думал, что буду путешествовать среди людей, похожих на мое землячество.

Значительная часть индийцев — мусульмане; у нас с ними одна имперская, колониальная история. Я думал, что религиозное различие несущественно. Я думал, что вера, как говорится, сама собой, а люди, живущие в данный период истории, должны испытывать одни и те же побуждения.

Но оказалось — нет. Мусульмане говорили, что их религия для них — основное. И в самом деле, она порождала колоссальное различие. Повторю: я путешествовал по неарабскому мусульманскому миру. Ислам родился как арабская религия; он распространялся как арабская империя. В Иране, Пакистане, Малайзии, Индонезии, по которым пролегал мой путь, я путешествовал среди людей, обратившихся в чужеземную веру. Я путешествовал среди людей, которым пришлось адаптироваться дважды: к европейским империям XIX и XX веков, а до того — к арабской вере. Можно даже сказать — путешествовал среди народов, дважды колонизированных, дважды оторванных от корней.

Потому что я скоро понял: ни одна колонизация не была такой всеобъемлющей, как колонизация, пришедшая с арабской верой. Колонизированные или побежденные народы могут потерять веру в себя. В мусульманских странах, о которых идет речь, это неверие в себя достигло религиозного накала. Один из догматов арабской веры состоит в том, что все предшествовавшее этой вере было дурным, было ересью, заблуждением. В уме и сердце правоверных нет места для их домусульманского прошлого. Поэтому подход к истории здесь совсем иной, чем в других местах: нет никакого желания углубиться как можно дальше в прошлое, как можно больше узнать о прошлом.

У Персии великое прошлое — в античные времена она была соперницей Греции и Рима. Но в Иране 1979 года вы бы в это не поверили — для иранцев величие и истина начались с приходом ислама. Пакистан был очень новой мусульманской страной. Но сама земля очень древняя. В Пакистане есть руины очень древних городов Мохенджо-Даро и Хараппы. Сказочные руины, открытие которых в начале XX века по-ново-

му осветило историю субконтинента. Не просто доисламские руины — возможно, доиндуистские. Было там унаследованное от британцев археологическое управление, следившее за памятными местами. Но было и противоположное течение, усилившееся с ростом фундаментализма. Показателем может служить письмо в газету, опубликованное во время моего пребывания там. Руины этих городов, писал автор, надо обвешать цитатами из Корана, говорящими о том, какая судьба постигает неверных.

Вера отменила прошлое. А когда прошлое отменяется таким образом, страдает не только идея истории. Могут пострадать идеалы хорошего поведения, само поведение людей. Когда я был в Пакистане, газеты печатали статьи по поводу годовщины завоевания арабами Синда. Это была первая часть индийского субконтинента, захваченная арабами. Она была завоевана в начале VIII века. Синд, огромная страна, включавшая южную половину Афганистана и южную половину Пакистана, была в то время индуистско-буддийским государством. Брамины, в сущности, не понимали внешний мир; буддисты считали невозможным отнять чужую жизнь. Можно сказать, это царство только и дожидалось, чтобы его завоевали. Но завоевали его не скоро; оно находилось далеко от арабского центра, между ними лежали громадные пустыни. Шесть или семь арабских экспедиций провалились.

Однажды сам третий халиф, третий преемник пророка, вызвал своего помощника и спросил: "О, Хаким, видел ли ты Индостан и все ли узнал о нем?" Хаким ответил: "Да, о глава правоверных". Халиф сказал: "Опиши нам его". В ответе Хакима прозвучала озлобленность и разочарование: "Вода там темная и грязная, — сказал Хаким. — Плоды горьки и ядовиты. Земля камениста и солона. Маленькую армию быстро уничтожат, большая — скоро умрет от голода". Этого должно было бы хватить халифу, но в надежде услышать что-то ободряющее, он спросил: "А каковы там люди? Правдивы ли они или не держат слова?" Ясно, что правдивых легче покорить, легче отобрать у них деньги. Но Хаким с отвращением ответил: "Люди коварны и лживы". И тут халиф испугался — народ Синда, как видно, был грозным противником, — и повелел больше не ходить войной на Синд.

Но слишком соблазнителен был Синд. Арабы снова и снова пытались его захватить. Организованность, напор и дух арабов, воспламененных новой верой, в мире, все еще племенном и разобщенном, обеспечивали легкость завоеваний. Напор арабов был подобен испанскому напору в Новом Свете восемь веков спустя. Кстати, и сами испанцы были завоеваны арабами и несколько веков пребывали под их властью. Испанию арабы захватили примерно тогда же, когда Синд.

Окончательно был побежден Синд войсками из Ирака, руководил ими из города Куфа правитель Ирака Хаддад. Идеология — побочный фактор, уверяю вас. Целью завоевания Синда — а о завоевании этом думали чуть ли не с тех пор, как установилась новая вера, — целью завоевания всегда было приобретение рабов и грабеж, а не распространение веры. И когда, наконец, Хаддад получил голову синдского царя, шестьдесят тысяч рабов и царскую пятую часть награбленного, как велел религиозный закон, он, опустившись на колени, склонился лбом до земли, вознес благодарственную молитву Богу и восхвалил его, говоря:

"Теперь я обрел все сокровища, открытые и скрытые, и другие богатства, и царство над миром".

В городе Куфа была знаменитая мечеть. Хаддад созвал туда людей и сказал им: "Добрая весть и удача народу Сирии и Аравии, я поздравляю их с завоеванием Синда и добычей громадных богатств, которыми одарил их великий и всемогущий Бог".

Я цитирую персидский текст XIII века "Шахнаме". Это главный источник сведений о завоевании Синда. На удивление современное по письму, хорошее, стремительное повествование с захватывающими деталями и диалогом. Оно рассказывает ужасную историю грабежей и убийств — арабской армии было позволено убивать несколько дней после взятия каждого города в Синде; потом добычу подсчитывали и распределяли между солдатами, отложив пятую часть для халифа. Но для персидского автора эта история, написанная пять веков спустя, — только лишь "приятная повесть о завоевании". Это арабское или мусульманское имперское сочинение. По прошествии пяти столетий — хотя вот-вот ворвутся монголы, — вера еще крепка; новой моральной оценки уничтожения царства Синд нет как нет.

Этому событию и посвящались газетные статьи, когда я был в Пакистане в 1979 году. Была статья военного о победоносном арабском командующем. Автор старался отдать должное в военном отношении обеим сторонам. И получил отповедь от председателя Национальной комиссии по историческим и культурным исследованиям.

Вот что писал председатель: "Очерчивая образ героя, следует пользоваться подобающей фразеологией. Статья пестрит такими выражениями, как 'вторгшиеся войска', 'защитники', 'индийская армия', сражавшаяся храбро, но промедлившая с преследованием 'отступавшего противника'. Еще больше вредят ей необъективные утверждения такого типа: 'Если бы раджа Дахар героически оборонял подступы к Инду и не дал Касиму переправиться, история нашего субконтинента была бы совсем иной'". Невозможно понять, — это говорит председатель Комиссии по историческим и культурным исследованиям, — приветствует ли автор поражение героя или скорбит о поражении его противника". Прошло 1200 лет, а священная война все еще продолжается. "Герой" — арабский захватчик, носитель веры. "Противник", чье поражение надо приветствовать, — а я читал это в Синде, — житель Синда. Обладать верой — значит обладать единственной истиной; а обладание этой истиной переворачивает многие вещи с ног на голову. Время до прихода веры надо оценивать по одним меркам; то, что было в Синде после ее прихода, — по другим. Вера изменила ценности, представления о правильном поведении.

Таким образом, я не только стал понимать, что имеют в виду пакистанцы, говоря, что ислам объемлет жизнь во всей ее полноте, затрагивает все ее стороны; я понял, что, хотя мы происходим с одного субконтинента, я проделал совсем другой путь. У меня стала складываться идея универсальной цивилизации — в которой, выросши на Тринидаде, я жил или был ее частью, сам того не сознавая.

Родившись в индуистской среде с ее инстинктивной, ритуализированной жизнью, взрастая в мало обещающих условиях колониального Тринидада, я, как уже говорилось, прошел много стадий познания и самопознания. Я лучше знал индийскую историю и индийское искусство,

чем мои деды. У них были ритуалы, эпосы, миф; их личность определилась в этом свете; за его пределами была тьма, для них непроницаемая. У меня не было ритуалов и мифов; я видел их издали. Но взамен мне даны были идея исследования и орудия учености. Для меня самоопределение было более сложным делом. Меня сформировали разные элементы. Но это не препятствовало развитию. В моем распоряжении были все плоды учености — в том смысле, что я имел к ним доступ. Я мог держать в голове пять или шесть разных культурных идей. Я что-то знал о своих пращурах и об их культуре; что-то знал об истории Индии и о ее политическом статусе. Знал, где я родился, и знал историю этого места; у меня было ощущение Нового Света. Я что-то знал о литературных формах, которые меня интересовали, и знал, что должен переехать в центр, если хочу заняться профессией, которую выбрал.

Теперь, путешествуя по неарабским мусульманским странам, я очутился среди колониальных народов, отрезанных верой от расширяющейся интеллектуальной жизни, от многообразия жизни ума и чувств, от расширяющегося исторического знания о мире, от всего того, во что я врастал на другой стороне земного шара. Я находился среди людей, чья личность более или менее умещалась в вере. Я находился среди людей, жаждавших чистоты.

В Малайзии я увидел страстное желание избавиться от своего прошлого, очиститься от племенных и анимистских пережитков, от всей подсознательной жизни, нагруженной прошлым, которое связывает человека с родной землей. Увидел желание расстаться со всем богатством народной культуры, которая в других местах служит рудой поэзии и побуждает людей ею заниматься. Они желали — самые серьезные малайские мусульмане — быть не чем иным, как только этой своей импортированной арабской верой. У меня создалось впечатление, что они хотели бы опустошить свое сознание, сделать его чистой страницей, чтобы быть только своей верой и больше ничем. Такие усилия, такая навязанная себе тирания. Никакая колонизация не может быть более глубокой и полной, чем колонизация верой.

Пока вера держалась, пока у нее не было соперниц, мир, возможно, сохранял цельность. Но когда снаружи вторглась мощная окружающая цивилизация, люди не знали, что делать. И сделали то, что только и могли сделать, — стать еще более ревностными в вере, еще больше обкорнать себя, еще решительнее отвернуться от того, что им представлялось недоступным.

Мусульманский фундаментализм в таких странах, как Индонезия и Малайзия, — по-видимому, новое явление. Европа же присутствует на Востоке долгое время, и почти все это время имело место беспокойство в связи с мусульманством. Это беспокойство, эта встреча двух противостоящих миров — открытого вовне мира Европы и закрытого мира ислама — отмечены были сто с лишним лет назад писателем Джозефом Конрадом. Конрад, происходивший из Польши, желал изображать в точности то, что видел в своих странствиях, и в пору расцвета империализма сумел подняться над империалистическим, поверхностным восприятием Востока и туземных народов.

Мир, по которому путешествовал Конрад, был новым для него. Он смотрел на него пристально и трезво. Я хочу привести цитату из второй книги Конрада, опубликованной в 1896 году, где он уловил мусульман-

скую истерию того времени — истерию, которая век спустя, после распада империй, у туземных народов, ставших более просвещенными и богатыми, превратилась в фундаментализм:

Полуголый, жующий бетель пессимист стоял на берегу тропической реки, на краю застывших необъятных лесов — человек рассерженный, бессильный, и из уст его готов был вырваться вопль гневного недовольства; если бы прозвучал этот вопль, то разнесся бы над девственными дебрями с такой же силой, подлинностью, страстностью, как любой философский вопль, когда-либо прозвучавший в кабинете и огласивший нечистую чащу крыш и дымоходов.

Философская истерия — вот какими словами я хотел бы это назвать, и мне кажется, они пригодны и сегодня. Они возвращают меня к списку вопросов, присланных мне прошлым летом в Англии старшим сотрудником вашего института Майроном Магнетом. Почему, спрашивал он, некоторые общества и группы, пользуясь плодами прогресса, в то же время подчеркнуто выражают презрение к условиям, порождающим этот прогресс? И конкретнее: почему ислам противопоставляет себя западным ценностям? Ответ, я полагаю, — философская истерия. Ее трудно определить и понять, и выразители мусульманской точки зрения ясности не вносят. Они изъясняются при помощи клише — возможно, потому, что не умеют выразить своих чувств и мыслей. У некоторых во главе угла политические цели; другие же — религиозные миссионеры, а не ученые.

Сколько-то лет назад, когда еще правил шах, в Соединенных Штатах вышел роман молодой иранской писательницы в котором выразилось — в мягкой, не политической форме — предчувствие грядущей философской истерии. Роман назывался "Иностранка"; автором была Нахид Рахлин. Может быть, это и к лучшему, что роман появился в годы правления шаха и вынужденно не затрагивал политики; может быть, тонкие чувства, нашедшие выражение в книге, вылившись в политический протест, стали бы тривиальными, заурядными.

Героиня книги — молодая иранка, биолог, занимающаяся научной работой в Бостоне. Она замужем за американцем и как будто благополучно адаптировалась к здешней жизни. Однако, приехав в отпуск в Иран, она теряет равновесие. У нее возникают сложности с местной бюрократией. Она не может получить выездную визу; она чувствует себя потерянной. Ее беспокоят воспоминания о своем угнетенном иранском детстве с подавленными сексуальными страхами; беспокоит то, что осталось от прежней семейной жизни; беспокоит разросшийся разбойный город, загроможденный "западными" домами. Показательны эти "западные" — вместо "больших", словно и в сам Тегеран ворвалось чужое из внешнего мира.

Расстроенная всем этим, молодая женщина размышляет о своей жизни в Соединенных Штатах. Это отнюдь не было время ясности, как могло показаться прежде. Теперь оно ей кажется временем пустоты. Она не может сказать, что жила американской жизнью. Сексуально и социально — несмотря на видимый успех — она не была хозяйкой своей жизни. И она уже не может понять, зачем занималась научной работой. Все это передано очень тонко и выразительно; мы понимаем, что моло-

дая женщина не была готова к смене цивилизаций, к переходу из запертого иранского мира — где вера определяет все, заполняет собою все, не оставляя свободного уголка в уме, в душе и воле, — в мир, где необходимо быть индивидуальностью, ответственной личностью, где люди развиваются в профессии, стремятся к достижениям и верят в совершенствование. Поняв или почувствовав это, мы начинаем понимать вместе с героиней, как мучительно пуста была ее подражательная, автоматическая жизнь в Бостоне.

Теперь от огорчения она заболевает. Она идет в больницу. Доктор понимает, в чем ее беда. Он сам пожил в Соединенных Штатах; вернувшись, рассказывает он, я месяц посещал мечети и святилища, чтобы прийти в себя. Он объясняет ей, что боли у нее из-за старой язвы. "У вас, — он говорит меланхолически, склоняя ее на свою сторону, — западная болезнь". И женщина-биолог приходит к решению. Она отказывается от интеллектуальной жизни, осмысленной работы, навязанной Бостоном; она отвернется от американской пустоты; она останется в Иране и наденет паранджу. Она поступит так же, как доктор, — будет ходить по мечетям и святилищам. Приняв это решение, она становится счастливой, как никогда.

Как сладко это отречение! Но есть в нем умственный изъян: предполагается, что там, вдалеке, в напряженном мире, люди будут трудиться, изготовляя лекарства и оборудование для больницы ее доктора.

Снова и снова во время моего исламского путешествия в 1979 году я сталкивался с таким неосознанным противоречием в позиции людей. В особенности запомнился редактор одной тегеранской газеты. Его газета была запевалой революции. В середине 1979 года она процветала, была в зените славы. Семь месяцев спустя, когда я вернулся в Тегеран, жизнь в ней еле теплилась: людное помещение почти опустело, осталось всего двое сотрудников. Американское посольство было захвачено; разыгрался финансовый кризис; многие иностранные фирмы закрылись; реклама усохла; редактор газеты не видел перспектив; каждый номер приносил убытки; редактор, ожидавший окончания кризиса, сам, можно сказать, превратился в такого же заложника, как дипломаты. Выяснилось, что у него два сына студенческого возраста. Один учился в Соединенных Штатах, другой подал заявление на визу, но тут случился кризис с заложниками. Для меня это было неожиданностью — что Соединенные Штаты так важны для сыновей одного из глашатаев исламской революции. Я выразил редактору свое удивление. Он ответил, имея в виду прежде всего того сына, который ждал визу: "Это его будущее".

Эмоциональное удовлетворение, с одной стороны; мысль о будущем — с другой. Редактор пребывал в такой же раздвоенности, как все остальные. В одном из ранних рассказов Конрада об Ост-Индии, рассказе 1890-х годов, герой, кровожадный местный раджа или вождь, мусульманин (хотя об этом явно не говорится), лишившись советника-колдуна, ночью плывет к английскому торговому судну в гавани и просит у моряков, представителей могущественной державы, явившихся с другого конца света, — просит у них амулет, волшебный талисман. Моряки в недоумении, но потом один из них дает радже британскую монету, шестипенсовик, отчеканенный в ознаменование юбилея королевы Виктории. Раджа доволен. Конрад рассказывает эту историю

не как анекдот; он вкладывает в нее философское значение, причем это касается обеих сторон, и теперь я понимаю, насколько правильно он все увидел.

За сто лет, прошедших со времен этого рассказа, богатство мира умножилось, могущество человека выросло, образование распространилось — и философский вопль стал громче, смута усилилась. Духовная раздвоенность редактора, отречение героини романа — не осознанная, но тем более серьезная дань универсальной цивилизации. От нее нельзя получить простых амулетов; она предлагает нечто более сложное: личные устремления, личные усилия, индивидуальность.

Универсальная цивилизация складывалась долго. Она не всегда была универсальной, не всегда была такой привлекательной, как сегодня. Экспансия Европы придавала ей в течение трех веков, по меньшей мере, расовый оттенок, который до сих пор причиняет боль. Взрослея на Тринидаде, я застал последние годы такого рода расизма. И это, возможно, позволило мне лучше оценить громадные перемены, произошедшие после войны, исключительные усилия этой цивилизации вместить в себя остальной мир и все течения мысли этого мира.

Теперь я возвращаюсь к первым вопросам, которые задал мне Майрон Магнет. Верно ли, что мы сильны лишь настолько, насколько тверды наши убеждения? Оправдываются ли этические взгляды, мировоззрение одной лишь страстной убежденностью в них? Вам понятна тревога, кроющаяся за этими вопросами. Вопросы, при всем их очевидном пессимизме, имеют подтекст — в них подразумеваются ответы. Но можно прочесть в них и другое — а именно: желание понять чуждую и порой враждебную систему застывших убеждений; можно увидеть в этих вопросах проявление универсальности нашей цивилизации на нынешнем ее этапе. Философская робость встречается с философской истерией, и в итоге последнее слово остается за робеющим.

Поскольку в этой цивилизации я переместился из периферии к центру, кое-что, возможно, я увидел более свежим глазом, чем те, для кого это было повседневностью. Так, еще ребенком — ребенком, близко к сердцу принимавшим страдания и жестокость, — я открыл для себя христианское правило: поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали[1]. В индуизме, духовной среде моего детства, не было такого человеческого утешения, и, хотя я никогда не был верующим, эта простая идея казалась мне — и до сих пор кажется — ослепительной, идеальным принципом человеческого поведения.

Другим открытием, более поздним, — хотя я догадывался об этом, наверное, с ранних лет, но осознал философски, только когда готовился к сегодняшнему выступлению, — была прекрасная идея стремления к счастью. В идее стремления к счастью и заключается главная привлекательность цивилизации для столь многих, кто вне ее или на ее периферии. Изумительно, до какой степени за два предыдущих века и первую половину XX, полную ужасных событий, стала плодоносящей эта идея. Это эластичная идея, она подходит всем людям. Она предполагает оп-

1. "...Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними..." (Мф. 7:12). (*Прим. перев.*)

ределенный тип общества, определенный тип пробудившегося духа. Не думаю, что ее могли понять родители моего отца. Многое содержится в ней: идея индивидуальности, ответственности, выбора, умственной жизни, идея призвания, возможности совершенствования, достижений. Это колоссальная человеческая идея. Ее нельзя свести к закостенелой системе. Она не может породить фанатизм. Но известно, что она существует, – и благодаря этому другие, более жесткие системы, в конце концов рассыпаются.

1992

Сьюзен Сонтаг
Ожидание Годо в Сараеве

Эссе

Перевод с английского В. Голышева

Ничего не поделаешь.

С. Беккет *В ожидании Годо.* Первая реплика

Я отправилась в Сараево в середине июля 1993 года ставить "В ожидании Годо" не столько потому, что всегда хотела поставить пьесу Беккета (а я всегда хотела), сколько потому, что это давало мне практический повод вернуться в Сараево и пробыть там месяц или больше. В апреле я провела там две недели; судьба разбитого города и то, что он символизировал, стали мне очень близки, а некоторые его жители сделались моими друзьями. Но я не могла опять быть просто свидетельницей — знакомиться с людьми, посещать их, дрожать от страха, чувствовать себя храброй, огорчаться, вести душераздирающие беседы, все больше возмущаться, худеть. Если уж возвращаться, то принять участие и что-то сделать.

Писатель больше не может считать, что его главнейшая задача — нести новости окружающему миру. Новости уже не новости. О лжи и массовых убийствах в ходе осады сообщали многие великолепные журналисты (в большинстве сторонники интервенции, как и я). Между тем решение западноевропейских держав и Соединенных Штатов не вводить войска остается неизменным, и это гарантирует победу сербскому фашизму. У меня не было иллюзий насчет того, что, ставя в Сараеве пьесу, я принесу такую же пользу, как врач или специалист по водоснабжению. Я умею только писать, снимать фильмы и ставить спектакли — и это было единственное умение, пригодное для Сараева, единственное, что можно было там сделать и что могло понадобиться.

В апреле я познакомилась с молодым театральным режиссером, уроженцем Сараева, Харисом Пашовичем. Закончив обучение, он уехал из города и работал по большей части в Сербии, приобретя солидную репутацию. В апреле 1992 года, когда сербы начали войну, Пашович уехал за границу, но осенью, ставя в Антверпене спектакль под названием "Сараево", решил, что больше не может вести безопасную жизнь эмигранта, и в конце года сумел пробраться мимо постов ООН, под сербским обстрелом в замерзающий осажденный город. Пашович пригласил меня посмотреть "Город" — коллаж с музыкой и декламацией, частично сложенный из текстов Константина Кавафиса, Збигнева Херберта и Сильвии Плат, с участием дюжины актеров; он поставил его за восемь дней. Теперь он работал над более масштабной постановкой — "Алкестой" Еврипида, после чего один из его учеников (Пашович преподает во все еще действую-

© S. Sontag, 2001
© В. Голышев. Перевод, 2007

щей Академии драмы) будет ставить софокловского "Аякса". Как-то раз Пашович спросил меня, не будет ли мне интересно вернуться через несколько месяцев и поставить какую-нибудь пьесу.

Более чем интересно, ответила я.

Я хотела добавить: "Только дайте немного подумать, какую именно", но он опередил меня: "Какую пьесу?" Не желая выглядеть нерешительной, я сразу дала ответ, который, может, и не пришел бы мне в голову после долгих размышлений: более очевидного выбора не было. Пьеса Беккета, написанная сорок с лишним лет назад, написана как будто для Сараева — и о Сараеве.

Когда я вернулась домой, меня часто спрашивали, работала ли я с профессиональными актерами. Многих, видимо, удивляло, что в осажденном городе вообще работает театр. На самом деле из пяти городских театров, действовавших до войны, время от времени принимают публику два: Камерный театр-55, где я видела в апреле малопривлекательную постановку "Волос" и "Город" Пашовича, и Молодежный театр, где я решила ставить "Годо". Оба театра маленькие. Большой — Национальный театр — закрылся в начале войны; там шли постановки опер, сараевского балета и драматических произведений. Перед красивым зданием цвета охры (лишь слегка пострадавшим от обстрелов) до сих пор висит апрельская 1992 года афиша "Риголетто", так и не выпущенного. Большинство певцов, музыкантов и танцовщиков покинули город вскоре после нападения сербов — им было легко найти работу за рубежом, — актеры же многие остались и хотят только одного — работать.

Часто задавали мне и другой вопрос: кто пойдет смотреть "В ожидании Годо"? Да те же, кто пошел бы смотреть "В ожидании Годо", если бы не было осады. При виде картин разгромленного города трудно представить себе, что прежде Сараево был оживленной и привлекательной провинциальной столицей, по уровню культурной жизни сравнимой с другими старыми, средних размеров, городами Европы, — это относится и к театральной публике. Как и в остальной Центральной Европе, театр в Сараеве был преимущественно репертуарным: исполнялись шедевры прошлого и наиболее знаменитые пьесы XX века. Как талантливые артисты остались в Сараеве, так осталась и культурная публика. Разница только в том, что и актеров, и зрителей по дороге в театр и из театра может убить или изувечить пуля снайпера или мина. Впрочем, это случается с людьми и в гостиных, и в спальнях во время сна, и по дороге из кухни, и когда они выходят из подъезда.

Вопрос, на самом деле, не в том, почему культурная жизнь в Сараеве продолжается после семнадцати месяцев осады, а почему ее, этой жизни, нет больше. Возле заколоченного досками кино рядом с Камерным театром — полусгоревшая афиша "Молчания ягнят" с диагональной полосой, на которой написано DANAC (сегодня) и датой: 6 августа 1992 года, когда прекратилась демонстрация фильмов. С начала войны все кинотеатры Сараева закрыты, даже те, что не сильно пострадали от обстрелов. Здание, где, как заранее известно, собирается народ, было бы соблазнительной мишенью для сербских орудий; да и электричества нет для проектора. Прекратились и концерты; только струнный квартет репетирует каждое утро и от случая к случаю играет в маленьком по-

мещении на сорок человек, служащем одновременно художественной галереей. (В том же здании на улице маршала Тито размещается Камерный театр.) Живопись и фотография демонстрируются постоянно лишь в одном месте — в галерее Обала; выставка иногда продолжается там один день и никогда — больше недели.

Никто из моих собеседников в Сараеве не отрицал, что культурная жизнь скудна — в городе как-никак и сейчас живут 300-400 тысяч человек. Большинство интеллектуалов и творческих людей, включая бóльшую часть преподавателей Сараевского университета, бежали в начале войны, до того, как замкнулось кольцо окружения. Кроме того, жители неохотно покидают квартиры без крайней нужды — когда надо набрать воды или получить продовольствие, распределяемое Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Безопасности нет нигде, но на улице людям все же страшнее. И кроме страха есть депрессия — большинство сараевцев очень подавлены, отсюда апатия, усталость, летаргия.

Кроме того, культурной столицей Югославии был Белград, и, по моим впечатлениям, визуальные искусства Сараева вторичны; балет, опера и музыкальная жизнь заурядны. Выделялись только кино и театр, поэтому неудивительно, что они продолжают существовать и в осаде. Кинокомпания SAGA снимает и документальные, и художественные фильмы, и работают два театра.

В действительности публика ожидает увидеть пьесу, подобную "В ожидании Годо". Постановка "Годо" означает для людей не только то, что эксцентричная американская писательница и отчасти режиссер вызвалась поработать в театре и тем самым выразить свою солидарность с городом (жест, раздутый местными газетами и радио как доказательство того, что мир "сопереживает", хотя я, к своему стыду и возмущению, сознаю, что представляю здесь лишь саму себя), но и то, что это — замечательная европейская пьеса и что сами они — часть европейской культуры. При всей их привязанности к американской популярной культуре, такой же прочной, как и в любой другой стране, их идеал, свидетельство принадлежности к Европе — высокая европейская культура. В мой апрельский приезд мне снова и снова говорили: мы — часть Европы. Мы — тот народ бывшей Югославии, который держится европейских ценностей: секуляризма, религиозной терпимости, культурно-этнического равноправия. Как же допускает Европа, чтобы с нами так поступали? Когда я отвечала, что в Европе всегда находится место варварству, а не только цивилизации, меня не хотели слышать. Теперь никто не оспорит этого утверждения.

Часто спрашивали: была ли у меня многонациональная труппа? И если да, не было ли трений и конфликтов между актерами или же, как выразился кто-то в Нью-Йорке, они "ладили"?

Ну конечно многонациональная — население Сараева настолько смешанное, смешанные браки настолько обычны, что трудно найти какую угодно группу, где не были бы представлены все три этнических слоя. Со временем я узнала, что у Велибора Топича (Эстрагон I) мать мусульманка, а отец хорват, хотя имя у него сербское; что Инес Фанчович (Поццо) должна быть хорваткой, поскольку Инес — хорватское имя, ро-

дилась и выросла она в приморском городе Сплите и приехала в Сараево тридцать лет назад. Оба родителя Милияны Зироевич (Эстрагон II) — сербы, а у Ирены Муламухич по крайней мере отец должен быть мусульманином. Я так и не узнала этнического происхождения всех актеров. Они его знали и воспринимали как нечто не имеющее значения, поскольку они коллеги — они играли вместе во многих спектаклях — и друзья.

Конечно, они ладили друг с другом.

Вопросы эти показывают, что спрашивающий поддался пропаганде агрессоров — будто война вызвана многовековой ненавистью, будто это война сепаратистов, тогда как Милошевич пытается спасти союз; будто, круша боснийцев, которых сербская пропаганда часто называет турками, сербы спасают Европу от мусульманского фундаментализма. Возможно, я не удивилась бы этим вопросам, если бы увидела много сараевских женщин в паранджах или в чадрах, — надо учесть, до какой степени стереотипные представления о мусульманах сформировали реакцию Запада на сербскую агрессию в Боснии.

Напомнить об этих стереотипах значит объяснить (этот вопрос мне тоже часто задают), почему другие иностранные художники и писатели, считающие себя политически ангажированными, не захотели что-то сделать в Сараеве. Опасность не может быть единственной причиной, хотя именно на нее ссылается большинство людей, отказывающихся от поездки. Посетить Барселону в 1937 году было не менее опасно, чем посетить Сараево в 1993-м. Подозреваю, что главная причина — ошибочные представления, навязанные заезженным словом "мусульмане". Когда я говорю, что до осады представитель среднего класса в Сараеве скорее поехал бы в Вену на оперу, чем пошел в мечеть на своей улице, даже хорошо информированные американцы и европейцы искренне удивляются. Упоминаю об этом не в том смысле, что жизнь нерелигиозного европейского горожанина ценнее жизни правоверного из Тегерана, или Багдада, или Дамаска — жизнь каждого человека является абсолютной ценностью, а для того, чтобы стало понятнее: именно потому, что Сараево представляет секулярный, антинационалистический идеал, его и стремятся уничтожить.

Доля религиозных людей в Сараеве такая же, как среди коренных лондонцев, парижан, берлинцев или венецианцев. В довоенном городе мирянину из мусульман жениться на сербке или хорватке было ничуть не страннее, чем нью-йоркцу — на жительнице Массачусетса или Калифорнии. Год перед нападением сербов, когда шестьдесят процентов браков в Сараеве заключалось между людьми, формально принадлежащими к разным конфессиям, — нагляднейший показатель секуляризма.

Поццо: ...Ведь несмотря ни на что сейчас еще светло.
(*Все трое смотрят на небо.*)
Хорошо.
(*Они перестают смотреть на небо.*)[1]

Препятствия, конечно, были. Не этнические. Настоящие.

1. Цитаты приводятся по изданию: Сэмюэль Беккет. В ожидании Годо / Перевод С. Исаева. — М.: ГИТИС, 1998. (*Прим. перев.*)

Начать с того, что мы репетировали в темноте. Голый просцениум освещали обычно три или четыре свечи да четыре привезенных мною карманных фонарика. Когда я просила еще свечей, мне говорили, что больше нет. Позже объяснили, что их приберегают для спектаклей. Я так и не выяснила, кто выдает свечи — утром, когда я приходила в театр, они уже стояли на полу. Идти надо было по переулкам и дворам к служебному входу в тылу современного, особняком стоящего здания — функционировал только этот вход. Фасад театра, фойе, гардероб и буфет были разрушены снарядами больше года назад, а обломки до сих пор не убрали.

Актеры в Сараеве, с сочувствием объяснил мне Пашович, работают всего четыре часа в день. "У нас осталось много плохих привычек с социалистических времен". Такое мне было в новинку. Начинали со скрипом — все были заняты другими выступлениями и репетициями или домашними делами, — но потом трудно было пожелать актеров более усердных, более увлеченных: Главной помехой, помимо освещения, была усталость недоедающих артистов: многие из них, до того как явиться к десяти на репетицию, по несколько часов простаивали в очереди за водой, а потом тащились с тяжелыми пластиковыми канистрами на четвертый или пятый этаж. Некоторые по два часа добирались пешком до театра, а после той же опасной дорогой возвращались домой.

Единственным членом труппы, сохранившим нормальную выносливость, была самая старшая из них, шестидесятивосьмилетняя Инес Фанчович. Все еще крупная женщина, она потеряла за время осады около тридцати килограммов — этим, быть может, и объяснялась ее необыкновенная энергия. Остальные были явно истощены и быстро уставали. У Беккета Лаки бóльшую часть длинной сцены должен стоять неподвижно, не опуская тяжелого чемодана. Арко, весящий теперь не больше сорока пяти килограммов, просил у меня извинения за то, что время от времени ставит свой пустой чемодан на пол. Всякий раз, когда я на несколько минут прерывала репетицию, чтобы изменить мизансцену или поменять акценты, все актеры, кроме Инес, немедленно ложились на пол.

Другой симптом усталости: они запоминали свои реплики медленнее всех актеров, с какими мне доводилось работать. За десять дней до премьеры им все еще надо было сверяться с текстом, и выучен он был только к генеральной репетиции. Это не так мешало бы, если бы не сумрак на сцене, затруднявший чтение. (Текст представлял собою пачку не скрепленных страниц, поскольку ни скоросшивателей, ни скрепок достать в Сараеве было практически невозможно. Пьеса была распечатана в кабинете Пашовича на портативной машинке, лента в которой не менялась с начала осады. Мне дали первый экземпляр, а актерам копии — большинство из них трудно было бы прочесть при любом освещении.)

Актеры не только читать не могли — они едва видели друг друга, если только не стояли лицом к лицу. При отсутствии нормального периферийного зрения, которым обладает каждый при естественном и электрическом свете, они не могли выполнить даже такого простого действия, как одновременно снять котелки. И, к моему отчаянию, я подолгу видела только их силуэты. В начале первого акта, когда лицо Владимира "растягивается в широкой улыбке, которая застывает, длится

еще мгновение и потом внезапно исчезает" (в моей версии это были лица трех Владимиров) я со своей табуретки в трех метрах от них, с фонариком, лежащим на моем экземпляре, не могла разглядеть ни одной из трех фальшивых улыбок. Постепенно ночное зрение у меня улучшилось.

Конечно не только усталостью объяснялось то, что актеры медленно запоминали текст и забывали рисунок движений. Виноваты были отвлечения и страх. Всякий раз, когда слышался взрыв, мы испытывали облегчение, что театр не затронуло, но актеры не могли не думать о том, *куда* попал снаряд. Только младший в труппе, Велибор, и старшая, Инес, жили одни. У других дома оставались жены и мужья, родители и дети, некоторые жили очень близко к линии фронта, возле Грбавицы, района, занятого сербами в прошлом году, или в Алипашином Поле, рядом с захваченным сербами аэропортом.

30 апреля в два часа дня Нада, часто опаздывавшая в первые две недели репетиций, принесла известие, что в одиннадцать утра Злайко Спараволо, знаменитый пожилой актер, выступавший в шекспировских ролях, и двое его соседей погибли от снаряда перед своим подъездом. Актеры покинули сцену и молча перешли в соседнюю комнату. Я пошла за ними, и первый заговоривший сказал мне, что они особенно огорчены еще и потому, что до сих пор ни одного артиста не убило. (Раньше я слышала о двух актерах, потерявших ногу из-за обстрелов, и лично знала Нермина Тулича, артиста, потерявшего обе ноги при обстреле еще в начале осады; теперь он работал администратором Молодежного театра.) Когда я спросила артистов, хотят ли они продолжать репетицию, все, кроме одного, Изо, ответили "да". Но, поработав час, некоторые почувствовали, что больше не могут. Это был единственный раз, когда репетиция прекратилась раньше обыкновенного.

Декорация, спроектированная мною — с минимальным количеством деталей, как, думалось мне, хотел бы сам Беккет, — имела два уровня. Поццо и Лаки входили, выходили и действовали на помосте глубиной в два с половиной метра и высотой в метр с четвертью, тянувшемся перед задником по всей ширине сцены. Передняя часть помоста была закрыта полупрозрачной полиуретановой пленкой, которую Комитет по делам беженцев доставил прошлой зимой для замены выбитых стекол в Сараеве. Три пары Владимиров и Эстрагонов оставались по большей части на полу сцены, хотя некоторые иногда поднимались на помост. Чтобы сформировались четкие характеристики трех пар, понадобилось несколько недель репетиций. Центральная пара (Изо и Велибор) представляла собою классическую пару приятелей. После нескольких неудачных проб Нада и Милияна образовали пару другого рода — мать сорока лет с небольшим и взрослая дочь. В их отношениях, наряду с любовью и взаимной зависимостью, постоянно присутствуют раздражение и обида. А старшая пара, Сейо и Ирена, играли склочных, чудаковатых мужа и жену — за образец я взяла бездомных, которых видела в южном Манхэттене. Когда Поццо и Лаки были на сцене, Владимиры и Эстрагоны временами становились рядом, образуя подобие греческого хора или зрителей, наблюдающих за "представлением", которое устраивают жестокий хозяин и раб.

Утроение Владимиров и Эстрагонов привело к тому, что более сложными стали движение на сцене и паузы. В результате спектакль длился дольше обычного. Вскоре я поняла, что первый акт растянется, по меньшей мере, на полтора часа. Второй акт должен быть короче, потому что здесь я ограничилась одним Владимиром и одним Эстрагоном – Изо и Велибором. Но даже при урезанном и ускоренном втором акте спектакль должен был длиться два с половиной часа. Кроме того, я не представляла себе, как зрители будут смотреть спектакль в зале Молодежного театра с его девятью небольшими люстрами, которые могут обрушиться, если в здание – или даже в одно из соседних – попадет снаряд. Вдобавок триста человек и не могли бы разглядеть того, что происходит на глубокой сцене, освещенной всего несколькими свечами. Сотню, однако, можно было бы рассадить близко к актерам в шести рядах сидений, сделанных из досок. Им будет жарко – дело происходило в разгар лета – и будет тесно. Я знала, что перед служебным входом выстроится очередь из желающих, которым не нашлось места (билеты будут бесплатные). Как я потребую, чтобы публика, которая лишена вестибюля, уборных и воды, сидела в тесноте не шевелясь целых два с половиной часа?

Я решила, что не могу поставить "В ожидании Годо" целиком. Значит, при том режиссерском решении, из-за которого первый акт стал чересчур длинным, необходимо было представить пьесу полностью, используя только текст первого акта. Это возможно потому, что "В ожидании Годо", пожалуй, единственное драматическое произведение, первый акт которого является законченной пьесой. Место и время действия в первом акте: "Проселочная дорога, дерево. Вечер". (Во втором акте: "На следующий день. В тот же час. На том же месте".) Хотя время обозначено как "вечер", оба акта происходят при свете дня и начинаются с того, что Владимир и Эстрагон встречаются снова (каждый вечер они расстаются), и Владимир (доминирующая фигура, резонер и собиратель информации, который успешнее борется с отчаянием) спрашивает, где Эстрагон провел ночь. Они беседуют об ожидании Годо (кто бы он ни был), стараются убить время. Появляются Поццо и Лаки, чтобы исполнить свои "номера" перед Владимиром и Эстрагоном, затем уходят. После этого наступает облегчение, напряжение спадает: опять ждут. Затем приходит посыльный, сообщает, что и на этот раз они ожидали напрасно.

Различие между первым актом и его повтором во втором, конечно, есть. Не просто прошел еще один день. Все стало хуже. Лаки уже не может говорить, Поццо слеп и жалок, Владимир впал в отчаяние. Возможно, мне казалось, что для сараевских зрителей довольно и отчаяния первого акта, и я хотела их избавить от повторного непоявления Годо. Вероятно, хотелось оставить им подсознательную надежду, что второй акт может быть другим. Именно потому, что "В ожидании Годо" была такой правильной иллюстрацией мироощущения сараевцев – осиротелых, голодных, угнетенных, ожидающих арбитра, внешней силы, которая спасет их или возьмет под свое покровительство, – уместной казалась и постановка только первого акта "В ожидании Годо".

...увы... увы...
(из монолога Лаки).

"В ожидании Годо" всегда казалась мне в высшей степени реалистической пьесой, хотя ее обычно ставят в минималистском или водевильном стиле. Та пьеса, которую сараевские актеры по своим склонностям, темпераменту, прошлому театральному опыту и нынешним (ужасным) обстоятельствам лучше всего могли сыграть, а я хотела поставить, полна была муки, острейшей печали, а под конец — насилия. Посыльный был не мальчик, а рослый мужчина, а это значило, что, когда он приносит плохую весть, Владимир и Эстрагон могут дать волю не только разочарованию, но и гневу: могут дать волю рукам, чего не сделали бы, будь на его месте ребенок. (К тому же, их не двое, а шестеро — а он один.) Когда он убегает, воцаряется долгое, ужасное молчание. Это был чеховский момент абсолютной печали, подобный финалу "Вишневого сада", где старик Фирс просыпается в брошенном доме.

Иногда я думала, что мы ожидаем не Годо и не Клинтона. Мы ожидали реквизита. Невозможно было достать чемодан и корзинку с провизией для Лаки, мундштук (вместо трубки) и кнут для Поццо. Что касается морковки, которую медленно, с наслаждением жует Эстрагон, то еще за два дня до премьеры мы вынуждены были репетировать с черствыми булочками, тремя из тех, которые я похищала каждое утро в гостинице "Холидей инн" (там их давали на завтрак), чтобы подкармливать актеров, ассистентов и малочисленных рабочих сцены. Веревку для Поццо мы добыли только через неделю после того, как перешли на сцену; Инес вполне обоснованно начала чудить, когда после трех недель репетиций ей все еще не выдали веревку надлежащей длины, нормального кнута, мундштука и пульверизатора. Котелки и башмаки для Эстрагонов материализовались только в последние дни перед премьерой. А костюмы, идею которых я предложила и эскизы которых одобрила в первую же неделю, появились лишь накануне премьеры.

Отчасти виной тому была общая сараевская скудость. Отчасти же, как стало понятно позже, — типичное балканское "завтра". ("Завтра у вас точно будет мундштук", — слышала я ежедневно в течение трех недель.) Но некоторые нехватки объяснялись соперничеством между театрами. В бездействующем Национальном театре наверняка был реквизит. Почему же он не был нам доступен? Незадолго до премьеры я обнаружила, что я не просто рабочий гость сараевского "театрального мира", но что в Сараеве есть несколько театральных кланов, и, сотрудничая с Харисом Пашовичем, я не могу рассчитывать на доброжелательство других. Была у этого и обратная сторона. Однажды, когда другой режиссер, с которым я подружилась в первый приезд, предложил мне ценную помощь, Пашович, обычно рассудительный и всегда готовый помочь, сказал: "Я не хочу, чтобы вы одалживались у этого человека".

В любом другом месте это, конечно, нормальное дело. Так почему бы и не в осажденном Сараеве? В довоенном Сараеве наверняка были те же антагонизмы, та же мелочность и зависть, что и в любом другом европейском городе. Думаю, мои ассистенты и Огненка Финци всячески старались скрыть от меня, что отнюдь не все в Сараеве заслуживают доверия. Когда до меня наконец дошло, что некоторые наши трудности вызваны чьей-то враждебностью или даже саботажем, один из моих по-

мощников сказал: "Теперь вы нас узнали и больше не захотите приехать".

Сараево не только город, являвший собой образец плюрализма. Многие жители считали его вообще идеальным местом — пусть не таким важным (не большим, не богатым), но самым лучшим для жизни, несмотря даже на то, что приходилось покидать его, если ты ставил перед собой высокие цели, — подобно тому, как честолюбивый житель Сан-Франциско рано или поздно перебирается в Лос-Анджелес или в Нью-Йорк. "Вы не представляете, как тут было раньше, — сказал мне Пашович. — Это был рай". Такого рода идеализация порождает потом острое разочарование, и теперь почти все мои знакомые в Сараеве беспрерывно оплакивают его моральный упадок: участившиеся уличные грабежи и кражи, бандитизм, хищничество черного рынка, разбой, чинимый некоторыми военными подразделениями, отсутствие гражданского сотрудничества. Казалось бы, можно было простить это себе и своему городу. Семнадцать месяцев он был тиром. Муниципального правительства практически нет, обломки не убираются, обучение малышей не организовано и так далее и так далее. В осажденном городе рано или поздно расцветает воровство.

Но большинство сараевцев безжалостны, когда критикуют современные условия и, как они выражаются со стыдливой расплывчатостью, многие "элементы" городского населения. "Если происходит здесь что-то хорошее, это — чудо", — сказал мне один друг. А другой сказал: "Это город плохих людей". Когда английский фотожурналист преподнес нам бесценный дар — девять свечей, три были тут же украдены. Однажды из рюкзака Мирзы Халиловича, пока он был на сцене, украли его завтрак — ломоть домашнего хлеба и грушу. Никто из актеров этого сделать не мог. Но мог сделать кто угодно еще — к примеру, кто-то из рабочих сцены или студентов Академии драмы, забредавших на репетиции. Эта кража очень нас огорчила.

Хотя многие стремятся уехать из города и уедут, когда удастся, многие, на удивление, не признают, что жизнь невыносима. "Мы можем жить так сколько угодно", — сказал мне местный журналист Хрвое Батинич, с которым мы подружились во время моего апрельского приезда. "Я могу жить так хоть сто лет", — сказал мне как-то вечером мой новый друг Зехра Крехо, драматург из Национального театра. (Обоим под сорок.) Иногда и у меня бывало такое же ощущение.

Хотя мое положение, конечно, было иным. "Я шестнадцать месяцев не принимала ванны, — сказала мне дама средних лет. — Представляете, каково это?" Я не представляю; знаю только, каково обходиться без ванны шесть недель. Работа, мужество и энтузиазм моих коллег вызывали у меня подъем, вселяли энергию, но я ни на минуту не забывала, как трудно приходится каждому из них, каким безнадежным представляется им будущее города. Опасность и трудности мне было сравнительно легко переносить не только потому, что я могла уехать, а они — нет, но и потому еще, что я была полностью сосредоточена на них и на пьесе Беккета.

Еще за неделю до премьеры мне казалось, что спектакль не удастся. Я боялась, что хореография и эмоциональное построение при двухуровневой сцене и девяти исполнителях пяти ролей слишком сложны, и

труппа не сможет освоить их за столь краткий срок. Или же что я сама не проявляла должной требовательности. И Пашович, и два моих помощника твердили, что я веду себя слишком по-дружески, слишком "по-матерински", что время от времени надо устраивать скандал, в частности, угрожать заменой актерам, до сих пор не выучившим роль. Но я держалась своей линии в надежде, что получится все же не слишком плохо, — и вдруг, в последнюю неделю произошел перелом, все встало на места, и на генеральной репетиции мне показалось, что спектакль вышел добротным, трогательным и без скучных провалов, что мы не посрамили пьесу Беккета.

Меня удивило, сколько внимания уделила международная пресса нашему "Годо". Для журналистов, приехавших освещать войну, культурная жизнь Сараева — дело, конечно, второстепенное. Доказывать искренность своих мотивов, если в них сомневаешься, значит только укреплять сомнения. Лучше всего молчать. Так я и собиралась вести себя сначала. Если рассказываешь о том, чем занимаешься, — не важно почему — это воспринимается как самореклама. Но именно этого ожидает от вас современная медийная культура. Мои политические суждения — я подробно говорила о позорной, по моему мнению, роли миротворцев в Югославии, возмущаясь "сербско-ООНовской войной", осадой Сараева, — неизменно вырезались из интервью. Ты хочешь говорить о *них*, — а у журналистов получается, что говоришь о себе.

Если бы дело было только в неловкости, которую вызывало у меня освещение моей работы в Сараеве, об этом не стоило бы упоминать. Но дело в том, что так вообще описываются и воспринимаются долговременные конфликты, подобные боснийскому.

Телевидение, пресса и радио — важные составные части этой войны. В апреле, услышав, как французский интеллектуал Андре Глюксман во время своего суточного визита в Сараево объясняет местным журналистам на пресс-конференции, что "война теперь — медийное событие" и что "войны выигрываются и проигрываются на телевидении", я подумала: расскажи это людям, потерявшим руки и ноги. Но неприличное заявление Глюксмана в одном отношении попадает в точку. Неправда, будто война полностью изменила свою природу и превратилась исключительно или преимущественно в медийное событие; но правда, что освещение ее в средствах массовой информации стало главным объектом внимания, и сам факт медийного интереса к войне иногда заслоняет собою все прочее.

Пример. Мой лучший друг среди журналистов в отеле "Холидей инн", замечательный Алан Литтл из Би-би-си, посетил одну из городских больниц, и ему показали пятилетнюю девочку с тяжелой черепно-мозговой травмой от разорвавшейся мины, которая убила ее мать. Девочка находилась в полубессознательном состоянии, и врач сказал, что она умрет, если ее не переправить самолетом в больницу, где ей могут провести сканирование и обеспечить современное лечение. Тронутый несчастьем ребенка, Алан стал говорить о ней в своих репортажах. Несколько дней ничего не происходило. Потом другие журналисты подхватили историю; день за днем она появлялась на первых полосах британских таблоидов, а на телевидении стала практически единственным

материалом о Боснии. Джон Мейджор, желая показать, что не остался безучастным к войне, послал за ней из Лондона самолет.

Потом начался откат. Алан сначала не знал, что история так разбухла, и только радовался, что давление журналистов помогло вывезти девочку, но затем был угнетен нападками на "медийный цирк", эксплуатирующий страдания ребенка. Это моральная непристойность, говорили критики, — кричать об одном ребенке, когда тысячи детей и взрослых, в том числе парализованных и с ампутированными конечностями, чахнут в недоукомплектованных, не обеспеченных лекарствами сараевских больницах и не могут быть вывезены из-за ООН (роль ООН — отдельная история). Очевидно же, что это благое дело — попытаться спасти одного ребенка вместо того, чтобы сидеть сложа руки. В результате и другие были вывезены. Но необходимый разговор о жалких больничных условиях Сараева выродился в спор о поведении прессы.

Это первый европейский геноцид XX века, отслеживаемый мировой прессой и ежевечерне освещаемый телевидением. В 1915 году никто не слал ежедневные репортажи об истреблении армян, не было иностранных киногрупп ни в Дахау, ни в Освенциме. До боснийского геноцида можно было думать — и именно таково было убеждение многих лучших репортеров, вроде Роя Гаттмана из "Ньюсдэй" и Джона Бернса из "Нью-Йорк таймс", — что если сообщить о происходящем, то мир что-то предпримет. Репортажи о геноциде в Боснии развеяли эту иллюзию.

Газетные и радиорепортажи и, главное, телевидение представили боснийскую войну с чрезвычайной подробностью, но при нежелании вмешиваться со стороны тех немногих, кто принимает политические и военные решения, война превращается в очередную далекую катастрофу, а страдающие и гибнущие люди — в "жертв" катастрофы. Страдания наглядны, поданы крупным планом, и многие несомненно сочувствуют жертвам. А вот что нельзя отобразить наглядно, так это отсутствие политической воли у людей, которые могли бы положить конец страданиям. Точнее — решение не вмешиваться в боснийские дела, за что ответственна, прежде всего, Европа. Причина же — традиционная просербская настроенность французского и британского внешнеполитических ведомств. И воплотилась она в ООНовскую оккупацию Сараева, осуществленную, главным образом, французскими силами.

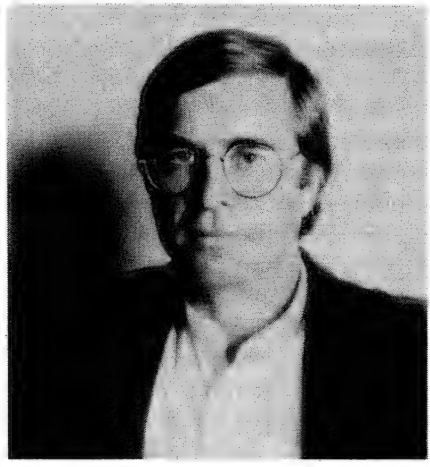
Меня не убеждает стандартный довод критиков телевидения, что показ ужасных событий на маленьком экране в той же мере отдаляет их от нас, в какой и делает реальными. В зевак нас превращает непрерывный показ войны при отсутствии попыток прекратить ее. Не телевидение, а политики превращают историю в подобие повторного показа фильма. Нам надоедает смотреть одно и то же представление. Оно кажется нереальным и потому, что оно ужасно, и потому, что ему не видно конца.

Даже в Сараеве люди иногда говорят, что происходящее им кажется нереальным. Они в состоянии шока, и шок не отступает, принимает форму риторического изумления ("Как могло произойти такое? Мне до сих пор не верится, что это происходит на самом деле".) Они потрясены жестокостью сербов, оцепенением и просто непривычностью жизни, которую вынуждены вести. "Мы живем в средневековье", — сказал мне кто-то. "Это научная фантастика", — сказал другой знакомый.

Меня спрашивают, не казалось ли мне Сараево нереальным, когда я была там. На самом деле, с тех пор, как я стала ездить в Сараево — нынешней зимой я надеюсь поставить "Вишневый сад" с Надой в роли Раневской и Велибором — Лопахиным, — оно кажется мне самым реальным местом на земле.

Премьеру "Годо" сыграли 17 августа, с двенадцатью свечами на сцене. В тот день, во вторник, дали два спектакля — в два часа дня и в четыре. В Сараеве бывают только утренники: после наступления темноты почти никто не выходит из дому. Во время первых представлений я замирала от тревоги. Третье уже могла смотреть как зритель. Уже можно было не волноваться — не провиснет ли веревка, соединяющая Атко и Инес, пока она ест свою курицу из папье-маше, не забудет ли Сейо, третий Владимир, переминаться с ноги на ногу, прежде чем побежит пи́сать. Теперь пьеса принадлежала актерам, и я знала, что она в хороших руках. 19 августа в конце первого спектакля, во время долгого трагического молчания Владимиров и Эстрагонов, после того, как посланец объявляет, что господин Годо сегодня не придет, но непременно придет завтра, глаза у меня защипало от слез. Велибор тоже плакал. Зрители не проронили ни звука. Звуки раздавались только за стенами театра: там рычал ООНовский бронетранспортер и потрескивали винтовки снайперов.

Пол Теру



Все четыре стороны

Эссе

Перевод с английского С. Силаковой

Предисловие к сборнику "Все четыре стороны"

Десять лет с лишним я скитался по Африке, Азии и Европе, но ни разу даже не подумал написать книгу путевых очерков. Этот жанр я всегда недолюбливал: за беспардонную самовлюбленность, за отсутствие юмора, а еще потому, что слишком многое, на мой вкус, оставалось за пределами повествования. Мне казалось, что писатели-путешественники (и писательницы-путешественницы) умалчивают о массе важных вещей, зато непременно стремятся рассказать обо всем, что вообще не заслуживает внимания. Я терпеть не мог осматривать достопримечательности, а эти писатели только о них и толковали: пирамиды, Тадж-Махал, Ватикан, картины в пункте А, мозаики в пункте Б... Наступила эпоха массового туризма, когда все ездили смотреть одно и то же, а авторы путевых очерков, соответственно, об одном и том же писали. (Учтите, я имею в виду период с начала 60-х по первую треть 70-х.)

Путевые очерки были скучнейшим чтением. Сочиняли их зануды для таких же зануд. Воображаю: какой-нибудь замухрышка в мягких шлепанцах переворачивает страницы, то и дело слюнявя палец, а потом, за-

© 1990, 1991 by Paul Theroux
© С. Силакова. Перевод, 2007
Книга эссе Пола Теру выйдет в издательстве "Логос".

ложив книгу своим читательским билетом, заявляет: "О, я-то путешествую, сидя у камина!" Что касается авторов, то в них меня раздражало нежелание упоминать о минутах, когда ими овладевало отчаяние, похоть или панический страх. В книгах не упоминается, как писатель наорал на таксиста, или как переспал с кем-то из местных, или как дрых до полудня, проспав все царство. А чем они питались? Что читали, коротая время в пути? И каковы в чужих землях сортиры? На своем веку я достаточно поездил, чтобы уяснить: путешествие как минимум на пятьдесят процентов состоит из ожидания и неприятностей. Автобусы ломаются, портье хамят, а торговцы на рынках так и норовят вас надуть. Правда о путешествиях неожиданна и неказиста. Писать о ней решаются немногие.

Время от времени натыкаешься на эту правду в отдельных книгах: в эпизоде "Ярлыков" Ивлина Во[1], когда автора путают с его братом Алеком, или у Найпола в "Территории тьмы"[2], когда писатель пытается спускать окружающим промахи, но тут же не выдерживает и вскипает, — книге, выстраданной, весьма информативной, безупречно выстроенной, написанной с фантазией, но все-таки чересчур субъективной. Или в диалогах и юмористических замечаниях Троллопа в очерках "Вест-Индия и Континентальные Владения Испании"[3].

О том, как надо и как не надо писать путевые очерки, хорошо сказано у Набокова в романе, который, казалось бы, совсем о другом. Один из персонажей говорит: "Беллетрист толкует, например, об Индии, где вот я никогда не бывал, и только от него и слышно, что о баядерках, охоте на тигров, факирах, бетеле, змеях — все это очень напряженно, очень прямо, сплошная, одним словом, тайна Востока, — но что же получается? Получается то, что никакой Индии я перед собой не вижу, а только чувствую воспаление надкостницы от всех этих восточных сладостей. Иной же беллетрист говорит всего два слова об Индии: я выставил на ночь мокрые сапоги, а утром на них уже вырос голубой лес (плесень, сударыня, — объяснил он Дорианне, которая поднимала одну бровь), — и сразу Индия для меня как живая, — остальное я уж сам воображу"[4].

Путевые очерки хороши, когда описываются немудрящие бытовые подробности.

Чрезвычайно важно и само путешествие — надо правильно проложить маршрут. Очень многие из прочитанных мной путевых очерков выросли из блужданий по какому-то большому городу или небольшой стране — "Мое открытие Португалии" и всякое такое. Но разве ж это путешествия? Просто разновидность оседлого существования, с которой я еще тогда был знаком по собственному опыту — я ведь успел пожить в Малави, в Уганде, в Сингапуре и в Англии. Поселяешься где-то надолго, и жизнь входит в колею: у меня была работа и местные водительские права, каждую субботу я ходил по магазинам, но и не думал писать обо всем этом "путевые очерки". Понятие "путешествие" предполагает движение и поиски истины: стараешься все перепробовать, отдаешься впечатлениям, а потом делишься приобретенным опытом. Вдобавок мне

1. Ивлин Во. Ярлыки. Путевые заметки (1930). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Видиа С. Найпол "Территория тьмы" — книга о путешествиях автора по Индии, родине его предков, в 1962–1964 гг.
3. Книга очерков о путешествии по островам Карибского моря и Центральной Америке, совершенном Э. Троллопом (1815–1882) в конце 50-х годов XIX в.
4. В. Набоков. Камера обскура. — Симпозиум, 1995.

казалось, что с появлением телевидения "певцы достопримечательностей" все равно остались не у дел.

Я полагал, что для приобретения верных впечатлений главное — верный путь: лучший маршрут и стопроцентно соответствующий ему способ передвижения. В среду обязательно надо окунуться с головой: долго-долго ехать по захолустью, а не перелетать на самолете из одного крупного города в другой; такие перелеты, по мне, вообще за путешествие нельзя считать. Путевые очерки, которые мне нравились, ломали стереотипы жанра. Я имею в виду не только Троллопа с Найполом, но и "Аэрокондиционированный кошмар" Генри Миллера (по Штатам от побережья до побережья на автомобиле) или "По экватору" Марка Твена (лекционный тур вокруг света). Мне захотелось написать книгу о череде длительных переездов по железной дороге, но куда лучше направиться?

Всем этим размышлениям я предавался осенью 1972 года, когда в течение семестра преподавал в Виргинском университете. Тогда я работал над романом "Черный дом" и дожидался выхода в свет "Святого Джека". В те времена я приступал к написанию новой книги, едва закончив предыдущую. Моя жена Энн жила с детьми в Лондоне. Она работала — и, надо сказать, очень неплохо зарабатывала, — но я продолжал чувствовать себя единственным кормильцем семьи и казниться, что приношу в дом слишком мало денег. Аванс за "Святого Джека" от британского издателя составил примерно пятьсот долларов. За "Черный дом", как я отлично сознавал, заплатят ненамного больше. "А дальше что?" — постоянно вопрошал я себя.

О финансовых вопросах говорить в приличном обществе не принято, но именно они побудили меня впервые в жизни взяться за путевые заметки. Просто деньги понадобились, вот и все. Когда в разговоре со своей американской редакторшей я обмолвился, что мог бы написать нечто в этом роде, она пришла в восторг. "Мы вам дадим аванс", — сказала она. На такой ранней стадии мне еще ни разу авансов не платили. Обычно я писал книгу, отдавал в издательство и только тогда получал деньги; я никогда не требовал — да мне и не предлагали — аванса за еще не написанную книгу или хотя бы заключения договора.

Так уж заведено: только после того, как тебе задают конкретные вопросы, начинаешь четко формулировать для себя собственные намерения и планы. Я предполагал, что будущие путевые очерки будут иметь какое-то отношение к железной дороге, но понятия не имел, куда мне захочется отправиться, — главное, чтобы ехать пришлось долго. В моей голове уже существовал смутный образ будущей книги: большой объем, множество персонажей, уйма диалогов и ни единой достопримечательности. Но расспросы редакторши заставили меня все как следует обдумать, и я решил — пусть это будет нечто с подзаголовком "По Азии на поезде". Я решил стартовать в Лондоне и обязательно прокатиться на "Восточном экспрессе"; заглянув в атлас, увидел, что могу продолжать путь и дальше: через Турцию попасть в Иран и там, после короткого автобусного переезда по Белуджистану, в городе Заседане снова сесть на поезд, попасть в Пакистан и на местных поездах объездить всю Азию.

Вначале я собирался добраться до Вьетнама, доехать по железной дороге до Ханоя, а оттуда замкнуть петлю через Китай, Монголию и Советский Союз. При ближайшем рассмотрении большая часть намеченного маршрута оказалась неудобной с практической точки зрения или

недоступной для простых смертных. В китайском посольстве просто бросили трубку, когда я сказал, что мне нужна виза для поездки по Китаю по железной дороге. Это было в 1972-м. Мне пришлось ждать четырнадцать лет, прежде чем я смог совершить путешествие, описанное в моей книге "На 'Железном петухе'". Затем я обнаружил, что в Белуджистане идет война, и нашел другую дорогу — через Афганистан. Решил включить в маршрут Японию и всю Транссибирскую магистраль. Мне было все равно, куда ехать, лишь бы это были государства Азии, которые соглашались предоставить мне визу и располагали хоть одной железнодорожной веткой. Я заранее предвкушал, как буду ехать под мерный стук колес, с каждой пересадкой попадая в новую страну.

Параллельно я дописывал роман "Черный дом" — вещь сумрачную и серьезную, действие которой происходило в английской деревне, — и мечтал, чтобы в моей следующей книге сияло солнце. Когда я вручал рукопись своему английскому издателю, маршрут поездки был уже выбран. Издатель пригласил меня на ланч. Я пришел. Еще до того, как мы успели приступить к еде, он заговорил о том, что "Черный дом" ему совсем не понравился. "Этот роман испортит вам репутацию, — так сформулировал он свою мысль. — А вот ваши путевые очерки я бы выпустил". (Я уже сообщил ему, что подписал договор на путевые очерки со своим американским издательством.) "Что ж, если вы издадите роман, я дам вам и путевые очерки", — сказал я. "Хорошо, издам я ваш роман, раз вы мне руки выкручиваете", — сказал он. Это была последняя капля. Я почувствовал, что больше не могу сотрудничать с этим человеком.

Упустив меня из своих лап — в конце концов, дорого ли я ему обходился? — он сделался посмешищем в профессиональных кругах. Но это случилось позже. Когда я думаю о своей первой книге путевых очерков — "Большом железнодорожном базаре", — мне вспоминаются скорее обстоятельства написания, чем ее содержание. Мне страшно не хотелось расставаться с женой и детьми — они остались в Лондоне, я никогда еще не путешествовал со столь конкретной целью, выплаченный мне в счет авторских отчислений аванс, при всей его мизерности, тяготил совесть, а друзья-писатели — тяжелые на подъем англичане — в большинстве своем насмехались над моей затеей. За всеми этими переживаниями мне было недосуг тревожиться о деталях самого путешествия, хотя сердце не в метафорическом, а во вполне физическом смысле постоянно ныло от предчувствия беды: ощущения, что мне не вернуться живым.

У меня смолоду было чувство — собственно, оно не оставляет меня до сих пор, — что причиной моей кончины станет, так сказать, свидание в Самарре[1]: я отправлюсь за тридевять земель, терпя страшные неудобства и непосильные расходы, чтобы именно там сложить голову. Если я предпочту сидеть дома, пировать и выпивать в свое удовольствие в окружении родных и близких, мне ничего не сделается — доживу до ста лет. Но, разумеется, я обязательно попрусь куда-то к черту на кулички, и очень скоро на каком-нибудь заграничном поле появится кусок земли, который по справедливости можно будет считать частицей моего родного города Медфорда, штат Массачусетс. А погибну я, как мне представлялось, по дурацкой оплошности, совсем как монах и мистик Томас

1. Отсылка к старинной восточной притче о человеке, который встретил на багдадском базаре Смерть и бежал от нее в далекую Самарру. Но оказалось, что Смерти было предначертано ожидать его именно в Самарре.

Мертон[1], который спустя двадцать пять лет оставил свой безопасный монастырь в Кентукки, посетил, помимо других стран, Сингапур (как раз в то время, пока там жил и я) и через неделю нечаянно лишил себя жизни, дотронувшись до оголенного провода вентилятора в Бангкоке. Такой долгий путь, столько тягот — и все для того, чтобы щелкнуть сломанным выключателем в каком-то паршивом отеле!

Я покинул Лондон 19 сентября 1973 года, под серым небом, простуженный. Жена помахала мне с перрона. И почти сразу же у меня появилось ощущение, что моя затея — полный идиотизм. Я сам не понимал, во что ввязался. На душе скребли кошки, и, чтобы приободриться и внушить себе, будто я действительно занят делом, я начал вести пространные записи. Каждый день, с самого отъезда до момента возвращения в Англию спустя четыре месяца, я вносил все, что видел и слышал, в блокнот за блокнотом. Записывал разговоры, описания людей, местностей и поездов, занятные детали и факты, даже мысли о книгах, которые тем временем читал. Некоторые из этих книг в бумажных обложках: "Изгнанники" Джойса, рассказы Чехова, "Молчание" Сюсаку Эндо[2] и другие — я до сих пор храню. Их форзацы и поля испещрены мелкими, как муравьиные следы, заметками, которые я, дополня, переносил в большие блокноты. Писал я всегда в прошедшем времени.

Эта поездка и запечатлена в "Большом железнодорожном базаре". Способ путешествовать и манера описания стали для меня испытанным методом работы, от которого я не отказался и в других путевых очерках. Некоторых людей я назвал вымышленными именами, оберегая от последствий огласки, но сохранил много подлинных. Форму книги я нащупал далеко не сразу — просто не знал, как строить композицию. В конце концов сделал стержнем мое путешествие по железной дороге с пересадками с поезда на поезд. Мне не доводилось читать ничего похожего на книгу, которую я писал. Это одновременно тревожило и обнадеживало. Работа над текстом заняла столько же времени, сколько длилась сама поездка, — четыре месяца.

Это было семнадцать лет назад. Книга до сих пор переиздается и пользуется популярностью. Иногда думают, что это единственная книга, которую я написал за всю свою жизнь (тогда я взрываюсь), или что это лучшее мое произведение (тоже неправда). По-моему, "Старый патагонский экспресс" написан более раскованно, в "Королевстве у моря" больше юмора и глубже знание темы, а в "Железном петухе" я оказался прозорливее. Например, в "Большом железнодорожном базаре" я ехал через югославский город Ниш. В книге я о нем упомянул, но что это за город такой, выяснить поленился. И вот недавно мне попался путеводитель по Югославии из серии "Блу гид", из которого я почерпнул, что в Нише родился император Константин. Дочитав до фразы: "Хотя Ниш нельзя назвать приятным городом, в нем имеется несколько интересных памятников", я смекнул, отчего не задержался в Нише.

Я рад, что судьба моего "Железнодорожного базара" (озаглавленного в честь улицы в индийском городе Канпур) и остальных моих книг о

1. Томас Мертон (1915–1968) — известный американский поэт и теолог; был монахом католического ордена траппистов.
2. Сюсаку Эндо (1923–1996) — японский прозаик.

путешествиях сложилась счастливо. Работая над первой книгой, я еще не сознавал, что каждое путешествие уникально. Моя книга — о моей поездке, не о вашей, не о чьей-то еще. Сопровождай меня всю дорогу спутник, который делал бы свои заметки, его книга получилась бы иной. Собственно, так вообще устроена жизнь. Меня, как и борхесовского Иренео Фунеса, нервирует тот факт, что "собака, увиденная в три четырнадцать (в профиль), почему-то зовется так же, как и собака, увиденная в три пятнадцать (в фас)".

И вот еще чего я тогда не знал: всякое путешествие прочно впаяно в свой исторический момент. Вскоре после того, как я проехал по всем этим странам, там начались перемены. (Похоже, такой эффект я произвожу всегда.) Шаха свергли, и путешествовать по Ирану стало довольно опасно. Афганистан сам на себя пошел войной, Индия и Пакистан слегка помирились и восстановили сквозное железнодорожное сообщение, зато Лаос закрыл перед иностранцами границы и выслал из страны королевскую семью. Вьетнам привел железнодорожную сеть в порядок, и теперь из Хо Ши Мина (Сайгона) до Ханоя открыто сквозное движение. Многие из поездов, которыми я ехал, упразднены. Самая заметная утрата — "Восточный экспресс". Ныне поезд с таким названием, курсирующий между Лондоном и Венецией, предназначен исключительно для праздных богачей, которые эгоистично воображают, будто путешествия — это комфорт и нега. Их иллюзии невероятно далеки от реальности. Конечно, мой старый "Восточный экспресс" был ужасен, но в его защиту следует сказать, что он возил всех: имущие и неимущие, старики и молодежь добирались в его громыхающих вагонах с Запада на Восток и обратно. Он был недорогой и гостеприимный и, подобно всем лучшим поездам на свете, представлял собой целый мир на колесах.

Пытаясь впервые описать свои впечатления от путешествия, я действовал вслепую, хотя тщательно это маскировал. Мне говорят, что в своих путевых очерках я часто срываюсь на самоуверенный тон. Но я не вещаю, закатив глаза, а просто борюсь с тоской — так пеший путник насвистывает, шагая. Я знаю, что узурпировал почтенный жанр — дневник "Большого тура", который в прежние времена был обязан совершить всякий английский аристократ, — и перекроил его под себя, под мой нетипичный маршрут и своеобразный характер. О специфике путевых очерков скажу наверняка лишь одно: пишутся они иначе, чем художественная проза. Проза требует полной сосредоточенности и напряженной работы воображения, подвига веры, чуть ли не волшебства. Но путевые очерки, как я обнаружил, пишутся при помощи другого полушария мозга и притом целенаправленно, подобно тому, как совершается путешествие. Для них необходимо здоровье, выносливость и уверенность в себе. Закончив роман, я никогда не знаю, сумею ли написать еще один. Но закончив первую книгу путевых очерков, понял, что смогу возвращаться к этому жанру снова и снова.

Надеюсь, когда-нибудь написанные мной книги о путешествиях займут целую полку. На ней — от стены до стены — выстроятся все страны мира. А пока этот томик избранных фрагментов, взятых из шести моих книг, сгодится в качестве сборника рассказов и баек бывалого странника.

Ист-Сандвич, штат Массачусетс, май 1991-го

Скачущий

По дороге, в толпе на Чоуринги[1], я заметил человека, который передвигался вскачь. Он приковывал к себе внимание: в городе калек выделяются только настоящие монстры. Он был одноногий — другую конечность отрезали выше колена, — но обходился без костыля. В руках он нес какой-то засаленный узел. Он проскакал мимо меня с разинутым ртом, напружинив мускулы. Я пошел за ним. Стремительно подскакивая на своей единственной мускулистой ноге, точно на ее пятке росла пружина, он повернул на Мидлтон-стрит. Его голова взлетала над толпой и вновь окуналась в людское море. Перейти на бег я не мог, очень уж много было вокруг народу: прыткие клерки в черных костюмах, свами с зонтиками, безрукие нищие, простирающие ко мне свои культи, побирушки с одурманенными младенцами, гуляющие семейства, мужчины, каждый из которых в одиночку перегораживал тротуар своими широкими развевающимися брюками и бурно жестикулирующими руками. Скачущий был уже далеко. Я было нагнал его — во-он она, его голова — и вновь потерял. Одноногий оставил меня далеко позади, и я так и не выяснил, как ему удается передвигаться. Но потом всякий раз, стоило мне подумать об Индии, как я видел перед собой этого человека. Прыг-прыг-прыг — ловко лавирует он среди миллионов людей, идя своим путем.

Деревня на вокзале

По табличкам на вокзале в Амритсаре ("Выход для третьего класса", "Зал ожидания второго класса для дам", "Туалет первого класса", "Только для уборщиков") я составил представление об официальной структуре индийского общества. А на практике познакомился я с ней воочию в семь утра на Северном вокзале в Старом Дели. Индийцы говорят: "Если вы хотите понять настоящую Индию, езжайте в деревню". Но это не обязательно, так как в Индии деревни перенесены на вокзалы. Среди бела дня это не так уж заметно: любого из людей, о которых я расскажу ниже, можно принять за нищего, безбилетного пассажира (кстати, есть транспарант "Безбилетный проезд — это социальная язва") или торговца без лицензии. Но ночью и рано утром вокзальная деревня становится видна во всех подробностях. Она настолько замкнута на себе, что тысячи приезжающих и отъезжающих пассажиров ее не тревожат — просто сторонятся, делают крюк. Вокзал принадлежит ее жителям, но это подмечает лишь человек, которому Индия в новинку. Он чует неладное, так как еще не перенял индийскую привычку игнорировать очевидное, ради своего душевного спокойствия обходить его за три версты. Новичок глазам своим не верит: это ж надо — мгновенно попасть в самую гущу того, что в другой стране было бы от него скрыто; даже поездка в село не обнажила бы перед ним эту сердцевину местной жизни. Глухая индийская деревенька почти ничего не раскрывает гостю, лишь дает понять, что он должен соблюдать дистанцию и довольство-

1. Главная улица Калькутты.

ваться впечатлениями от чаепития или обеда в душной гостиной. Жизнь деревни, происходящее внутри нее чужаку недоступны.

Но вокзальная деревня — вся одна сплошная внутренность, и шок от этой откровенности заставил меня поспешить прочь. Я почувствовал, что не имею никакого права смотреть, как люди моются под водопроводным краном — совершенно голые среди моря приехавших на работу служащих; как мужчины спят на чарбоях[1] или, проснувшись, закручивают свои тюрбаны; как женщины с кольцами в носу и растрескавшимися желтыми ступнями варят похлебку из овощей, которые у кого-то выпросили, кормят грудью младенцев, сворачивают одеяла; как дети писают себе на ноги; маленькие девочки в сползающих с плеч платьях не по росту носят из туалета третьего класса воду консервными банками; и как близ газетного лотка мужчина, лежа на спине, держит на вытянутых руках малыша, любуется им, щекочет ему пятки. Тяжкий труд, жалкие радости и еда, добываемая с боем. Это деревня — деревня без стен.

Месса в Сан-Висенте

В первых рядах молились, преклонив колени, одиннадцать старушек. Радуясь прохладе, я присел на одну из задних скамей и, озираясь по сторонам, стал высматривать знаменитую статую Святого Иосифа[2]. Одиннадцать голов, закутанных в черные шали, издавали монотонное бормотание; казалось, они колдуют — глухие голоса наводили на сравнение с густым, как полагается в Сальвадоре, супом, побулькивающим на огне. Старухи смахивали на привидения: черные одежды, сумрачная церковь и молитвы вполголоса; солнечные лучи, пробиваясь через щели в витражах, словно бы подпирали стены светящимися бревнами; пахло топленым воском, и язычки пламени над свечами непрерывно подрагивали в такт дрожащим старушечьим голосам. Легко было поверить, что здесь, в церкви Эль-Пилар, по-прежнему 1831 год и эти женщины — матери и жены испанских солдат, умоляющие Господа спасти их от избиения разъяренными индейцами.

В ризнице звякнул колокольчик. Я инстинктивно расправил плечи, принимая чопорную и благочестивую позу. Привычка въелась навсегда: входя в любую церковь, я непременно преклоняю колена и опускаю кончики пальцев в чашу со святой водой. К амвону семенящим шагом направился священник. По пятам за ним следовали двое служек. Священник воздел руки, и этот жест — впрочем, возможно, дело было не в жесте, а в его красивом лице, в тщательно расчесанных волосах, в несколько самодовольной клерикальной прилизанности его облика — был театрально эффектен, словно у конферансье в ночном клубе. Священник молился, но не по-латыни, а на испанском, и его молитвы звучали как-то манерно. Затем он простер руку к углу церкви, скрытому от моих глаз за колоннами, тряхнул кистью, кому-то дал знак, и зазвучала музыка.

Музыка была отнюдь не величественная. Играли на двух электрогитарах, кларнете, маракасах и полностью укомплектованной ударной ус-

1. Деревянные кровати с веревочной сеткой.
2. С этой статуей связана история захвата церкви восставшими индейцами.

тановке. Как только звуки полились, точно речь болтуна, я пересел поближе, чтобы взглянуть на музыкантов. Музыка представляла собой душераздирающий немелодичный попсовый вой, от которого я пытался спастись уже несколько недель. Те самые визг и грохот, которые впервые донеслись до меня с мексиканской стороны реки, когда я стоял на обрывистом берегу в Ларедо, и с тех самых пор звучали почти везде, где я оказывался. Как поточнее описать эту музыку? Гитара ныла, ударные то и дело сбивались с ритма — казалось, на пол швыряют сервиз за сервизом; девочка и мальчик трясли маракасами и пели якобы на два голоса — получался у них разве что кошачий концерт. У жадно чавкающей саранчи и то стройнее выходит.

Разумеется, пели они гимн. В местах, где Иисуса Христа изображают в виде мускулистого бандита, синеглазого латиноамериканца с зачесанными назад волосами, знойного молодого красавца, религиозность — нечто сродни влюбленности. В некоторых течениях католицизма, частенько встречающихся в испаноязычной Америке, молитва переродилась в объяснение в романтической любви, адресованное Иисусу. Он не грозный Бог, карающий грешников, не бесчувственный и мстительный аскет; о нет, он царственен, и в царственности своей он просто идеальный мачо. Гимн представлял собой лирическую песню о любви, но сугубо испано-американского разлива: она была исполнена мрачной страсти, и в каждом куплете повторялось слово "сердце". Здесь поклонялись Богу, но не существовало никакой принципиальной разницы между звучащим в этой старинной церкви и тем, что извергал музыкальный автомат в пяти минутах ходьбы отсюда, в "Эль Бар Американо". Церковь приблизили к народу; народ благочестивее не стал, а просто воспользовался оказией, чтобы поразвлечься и сделать службу более занятной. Месса или эти вечерние молитвы старушек — возможность мысленно сосредоточиться на высоком; но с такой музыкой и не хочешь, а отвлечешься.

В Латинской Америке эта специфическая оглушающая музыка, по-видимому, весьма ценилась — она ведь напрочь выбивала из головы все мысли. Громила с транзистором в поезде, деревенские мальчишки, собравшиеся вокруг гремящего ящика, и тот человек, которого я видел в Санта-Ане — он приходил завтракать, не расставаясь с кассетным магнитофоном, неотрывно глядя на его кряхтящий динамик... Все эти приплясывания на месте, прищелкивания пальцами и причмокивания губами служили, казалось, только одной цели — вводить людей в вожделенный ступор, так как алкоголь в этих странах дорог, а наркотики вне закона. Эта музыка была сама глухота и амнезия; она не воспевала ничего, кроме погибшей красоты и разбитых сердец; мелодии не запоминались — только звон битого стекла, беспрестанно смываемого в унитаз, "туп-туп-туп" барабанов и каша во рту вокалистов. Люди, с которыми я знакомился во время своего путешествия, постоянно твердили мне, что любят музыку. Не поп-музыку из Штатов, а вот эту. И я понимал почему.

Тем временем священник с самодовольным видом присел у алтаря. Что ж, ему было чем гордиться: музыка подействовала. Едва она зазвучала, в церковь стали стекаться люди: школьники в форме с портфелями, совсем маленькие дети — чумазые, босоногие, вшивые ребятишки со спутанными волосами, дотоле резвившиеся на площади, старики с ма-

чете, что-то бормочущие под нос, и двое крестьянских парней, прижимавших к груди соломенные шляпы, и тетенька с жестяным тазом для стирки, и компания подростков, и озадаченная собака. Собака уселась в центральном проходе и начала бить обрубком хвоста по кафельному полу. Похоже, музыка донеслась даже до рынка в соседнем квартале — появились три женщины в юбках-размахайках, с пустыми корзинами. Одни уселись, другие остались стоять в ожидании у дверей церкви. Они смотрели не на иконостас, а на ансамбль и улыбались. О да, для того и существует религия: возрадуйся, улыбнись, оцени свое счастье — Господь за тебя. Прищелкивай пальцами — Он искупил грехи мира. Литавры грохнули дважды.

Музыка смолкла. Священник встал. Начались молитвы.

А люди, которые собрались в церкви за время звучания песни, ринулись к выходу. Лишь одиннадцать старушек в первых рядах и бровью не повели — только они остались, чтобы произнести "Confiteor"[1]. Священник прохаживался взад-вперед вдоль иконостаса. Он произнес краткую проповедь; Господь любит вас, сказал он, а вы — вы должны научиться Его любить. В современном мире нелегко найти время для Бога; искушения одолевают и наглядные примеры греховности встречаются на каждом шагу. Нужно усердно работать и посвящать всякое свое дело Господу. Аминь.

По мановению руки вновь зазвучала музыка. На сей раз она была гораздо громче и привлекла еще больше народу с площади. Песня ничем не отличалась от первой: "уа-а-ай", "бум-м", "сердце", "сердце", "уа-а-айу-у-у", "дзынь!", "шуба-дуба", "бум-м", "трям", "дзынь". Когда песня завершилась, зеваки ни секунды не колебались. На последнем "дзынь" они смылись. Но ненадолго. Спустя десять минут (две молитвы, минута молчаливых размышлений, какие-то трюки с кадилом и еще одна нотация) ансамбль снова заиграл, и люди вернулись. Так продолжалось целый час, и действо все еще не закончилось, когда я неохотно ушел — не во время проповеди, не в минуты молитвы, а когда звучала песня. Я должен был успеть на поезд.

Небо было лилово-розовое, вулкан — черный, вульгарно-яркие потоки оранжевой пыли затопили долины, а озеро казалось огненным, точно вместо воды его наполняла расплавленная лава.

На *краю большого разлома*

ДЛИННАЯ-ДЛИННАЯ трещина рассекает нашу планету от Галилейского моря до побережья Мозамбика, а я живу на ее краю в Ньясаленде. Эта трещина — Великая рифтовая долина, или, как еще ее называют, Большой африканский разлом, — словно бы вгрызается в бóльшую часть Восточной Африки. В Ньясаленде Разлом теснит рыбацкие поселки, муравейники и заросли цветов, разверзая среди них почти бездонное озеро. Он также проявляет себя крутыми грядами холмов и ложбинами, что тянутся сверху вниз по громадному континенту. Считается, что Разлом возник в пору сильнейшей вулканической активности. Но в Африке вулканический период не закончился. Он чувству-

1. Покаянная молитва (*лат.*).

ется не только в Великой рифтовой долине, но и в ее обитателях: это люди, у которых в душе все кипит, настоящая лава, не народ, а воплощенный жар.

На краю Большого разлома находится школа, где я работаю учителем, а в одном из ее классов стоят в очереди дети с обритыми, как у заключенных, головами, в изношенной одежде — сквозь материю просвечивает тело. Они дожидаются своего череда взглянуть в крохотный окуляр дешевого микроскопа и увидеть клетки, из которых состоит цветочный лепесток.

Немного погодя они меня спросят:

— А огонь живой? А вода?

По утрам дети выныривают из болотного тумана: его слои медленно кружатся, точно целая куча хула-хупов. Прохладно, чуть ли не мороз. В шесть утра видимость нулевая: только сплошная, ослепительная белизна, и земля для идущих детей лишь клочок дорожной грязи под босыми ногами, малюсенькая платформа, висящая в пустоте. Но к полудню вокруг уже Африка как Африка: в небе ни облачка, а зной — точно горящий ковер, накрывающий все и вся, чтобы задушить и испепелить.

После обеда облаков предостаточно: большие-большие, словно в стратосфере разразилась война. Когда небо начинает медленно сереть, дети выходят из школы и возвращаются домой по проселкам.

Около школы есть высокий холм. Солнце подкрадывается к нему короткими перебежками, укрываясь за облаками, а потом выскакивает из засады и, налетев на склон, взрывается, вспыхивает розовыми и желтыми всполохами, обрызгивает все вокруг неистовыми языками пламени.

Ночью, если ночь лунная, школа и Большой разлом словно погружаются под воду: деревья фосфоресцируют, трава фосфоресцирует, все перешептывается под ветром, все серебрится. Если луны нет, то, выходя из освещенного дома, оказываешься в бесконечности, до отказа наполненной мраком.

Вчера я попал под сильный ливень и юркнул в первое попавшееся укрытие — какой-то сарайчик — его переждать. Дождь был слишком энергичен для моего зонтика, этого хлипкого паучка. Я стоял в сарае и ждал; со всех сторон грохотал гром, совсем рядом ударяли в землю молнии; дождь оплевывал стены сарая, сделанные из пальмовых листьев, и иногда проникал в щели между листьями.

Тут я заметил на тропе маленького африканца. Я не мог определить, мальчик это или девочка, — ребенок был одет в свисающую до пят длинную желтую рубашку, промокшую до нитки. Поскольку дитя ничего не несло в руках, я предположил, что это мальчик.

Он бежал, проваливаясь в лужи и выскакивая из них как ошпаренный, перепрыгивая с одной обочины лесной тропинки на другую, и при этом так трясся, что желтая рубашка вздувалась. Когда он приблизился, я различил на его лице гримасу сильнейшего испуга. Единственной защитой от грома и пощечин дождя для него были собственные пальцы — ими он плотно затыкал уши. Так он и бежал, выставив локти.

Он вбежал в мой сарай, но при виде меня задрожал и забился в угол. Так и стоял, трепеща, в мокрой рубашке. Мы уставились друг на друга. На его лице серебрились круглые капли дождя. Я оперся о зонтик и пробормотал приветствие на ломаном языке банту. Он прижался к пальмовой стене. Через несколько секунд он снова заткнул пальцами уши — де-

ловито, сначала одно, потом другое — и выскользнул из сарая наружу, где хлестал ливень и грохотал гром. И пляшущий огонек его желтой рубашки исчез из виду.

Я стою на поросшем травой краю Большого разлома. Чувствую ступнями: дальше — пустота, и в самом скором времени ожидаю сильного толчка, который спихнет всех нас вниз, чтобы мы беспомощно закувыркались в воздухе. Но что это за разлом и над чьей судьбой он властен? Может быть, это разлом, отделяющий нас от звезд? Или человека от земли? Человека от человека? Пожалуй, под поверхностью африканской земли до сих пор что-то кипит и зреет...

Нам нравится думать, что мы оседлали Разлом как коня, что эта трещина — всего лишь неровность земной коры. Нам не хочется быть пленниками Разлома, чувствовать себя так, будто мы здесь — сбоку припеку, будто мы — лишь фигурки, намалеванные на ландшафте обломком мела.

Писатель в тропиках

ЕСЛИ писатель вынужден еще и где-то работать, то ему самое место в тропиках — там обязательный рабочий день всего короче. Но писать в тропиках тяжело. Мешает не только зной, но и перенаселенность, открытые окна, уличный шум. В тропиках большие города — это нечто оглушительное. В каком-нибудь Лагосе, Аккре или Кампале два человека, идя вместе по улице, вскоре обнаруживают, что уже не разговаривают, а истошно орут друг другу на ухо, иначе не перекричать шум машин, вопли местных жителей и завывания радиоприемников. Насколько мне известно, из всех писателей лишь Видиа С. Найпол упомянул о том, как подтачивает нервы тропический шум (смотрите главу о Тринидаде в книге "Срединный проход"). Для сингапурца орать — значит выражать самые дружеские чувства; крик китайца подобен лаю собаки — он так режет уши, что ошалело дергаешься. Если же по злой прихоти судьбы вы живете близ китайского кладбища — а близ кладбищ живут одни иностранцы, ибо китайцы считают такие дома несчастливыми, — то вам будет слышно, как они в знак траура устраивают салюты и швыряют на надгробия наземные фейерверки типа "веселый жук".

Сядьте за письменный стол в своей комнате в Сингапуре и попытайтесь поработать. Каждый звук сбивает, всякий раз, как приближается мотоцикл, самолет или похоронная процессия, в голове путаются мысли. Если вы, подобно мне, живете неподалеку от главной улицы, три похоронные процессии на дню вам обеспечены (китайский погребальный обряд предполагает несколько грузовиков с перкусионными и духовыми оркестрами, исполняющими знакомые мелодии типа "Долог путь до Типперери"). Если же садовник-бенгалец вздумал стричь газон — считай, весь день коту под хвост. На велосипедах или автомобилях подъезжают торговцы, и всякий притормаживает у ваших ворот; вы выучиваете наизусть их выкрики: тофу развозит человек на мотоцикле с коляской, слушающий транзистор, у торговца рыбными фрикадельками — велосипед, у мороженщика колокол, точно у городского глашатая, бьющего тревогу (между прочим, его появление означает, что как-то незаметно время приблизилось к трем часам), булочник, разъезжающий на "остине", не столько жмет на клаксон, сколько наваливается на него

всем телом; дряхлая китаянка в полотняной робе орет "Йа-а-ццзи!" так, что дверь вашего дома вздрагивает, а торгующий газетами тамил — большой охотник до пунша — бормочет: "Бейба, бейба...". Пока в Сингапуре оставался британский гарнизон, была еще и машина с "фиш-энд-чипс"; сигналить она не сигналила — водитель обходился собственной глоткой. Сингапурец никуда не таскается, просто сидит у себя дома, в приятной прохладе, и ждет: все обязательно подъедут к дому сами. Зазывные крики и звуки гонгов — сначала вдали, потом все ближе и ближе — его только успокаивают. Полпятого пополудни — и, как обычно, подъезжает на велосипеде, трезвоня в звонок, торговец кокосами. На раме у него сидит обезьяна — макака ростом с четырехлетнего ребенка. Торговец кокосами немножко того, покупатели стараются подольше его не отпускать и насмехаются над ним. Позубоскалить собирается целая толпа; рассердившись, торговец пытается гоняться за детьми, а потом вскакивает на велосипед и уезжает. Когда стемнеет, перед вашим домом притормозит пикап бакалейщика; в ассортименте корзина свежей рыбы, свиная туша и полный комплект консервов фирмы "Ма-Лин" ("Требуха в утином жире", "Лапки куриные", "Личжи в сиропе"), и целый час до вас будет доноситься то лай, то бульканье — это покупатели торгуются с продавцом. Сегодня вы не написали ни строчки.

Тепло и свет; ради них вы и забрались так далеко от дома, но жара здесь сильнее, чем вам мечталось, а света меньше; сингапурское небо преимущественно затянуто облаками, и солнце сияет в среднем всего шесть часов в день. Беспрестанный стук и скрип бесят, делая зной еще мучительнее. Вы коситесь слипающимися глазами на ручку, которая выскальзывает из ваших потных пальцев, и гадаете, стоило ли сюда тащиться.

Коренные и пришлые

АНГЛИЙСКАЯ любовь к порядку — скорее условный рефлекс, чем порождение каких-то систематических усилий законников, — создает впечатление, что ее апологеты наделены фантастической непоколебимостью и уравновешенностью. Ее разнесли за пределы Великобритании по всему миру, и она стала душевной опорой для тех, кто в состоянии ее перенять. По дороге английский менталитет не слишком переменился, что во многом объясняет обособленность англичанина. Живущих за границей англичан принято обвинять, что они замыкаются в своем кругу, им и ограничиваясь. Однако причина в том, что они до мозга костей самоотождествляются с какой-то конкретной географической точкой, в этом смысле все англичане — жители маленьких деревень. Обратите внимание на особые выражения, которые они употребляют, находясь вдали от родины среди "местных" или "туземцев".

— Сколько лет уже здесь живем, но они ни разу нас к себе не приглашали, — говорит англичанин. Помолчав, добавляет: — А ведь мы их звали на чай, и они пришли.

— Они очень скрытные и чертовски подозрительные, — говорит его жена.

— На первый взгляд кажется, что они очень приветливы, но мы им совсем не интересны. Им даже не любопытно.

— Они держатся своих.

— Странная публика. Не могу сказать, что я их понимаю.

Вы можете подумать, что речь идет о малайцах или кикуйю. Но это говорят лондонцы, восемь лет назад переехавшие в Дорсет, а люди, которых они описывают, — обыкновенные жители их деревни. У меня среди "коренных" тоже были знакомые, и я соблюдал нейтралитет — ведь для меня эта деревня была лишь промежуточным пунктом в биографии: я там прожил пять месяцев, а потом уехал. Что касается местных, то о чужаках, обосновавшихся в их районе Дорсета, они судили нелицеприятно.

— Стоит им приехать, как все дорожает, — сказал один старик. Точно так же мог отозваться коренной обитатель Кении о колонистах из Европы. Высказывались и другие претензии: приезжим лень вникать в особый уклад деревенской жизни, они держатся своих, задирают нос и вообще толку от них немного — почти все пенсионеры.

Туземцы и поселенцы: все та же колониальная схема воспроизводится в Англии. Как-то на красивом холме близ живописного поселка вздумали пробурить нефтяную скважину. Приезжие развернули общественную кампанию протеста; местные отмалчивались. Однажды вечером в пабе я завел разговор с кучкой старожилов и напрямую спросил, на чьей они стороне в конфликте.

— Ну и прохвост этот N, — сказал один, назвав имя известного человека, который жил там уже несколько лет и руководил кампанией. — Хотел бы я с ним потолковать.

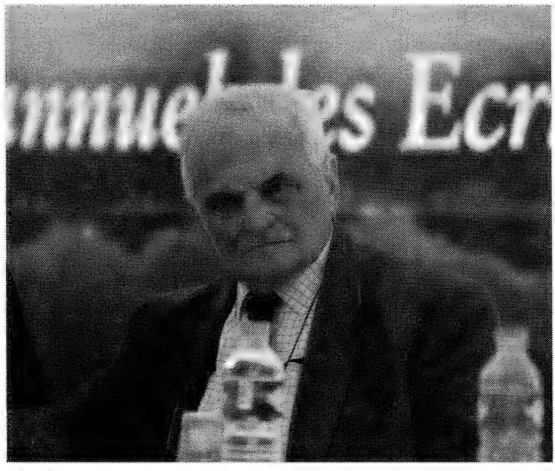
— И что бы вы ему сказали?

— Я бы ему сказал: "Собирайте вещи и уматывайте, откуда приехали".

Отсюда ясно, почему в Англии столько лингвистических различий, откуда берется непостижимость диалектов, на которых начинают изъясняться туземцы, едва в паб входит колонист. Его никто не узнаёт в лицо; хозяин за стойкой шутит с ним; у камина беседуют о сломанном заборе или аварии на дороге. Лишь когда колонист уходит, ему начинают перемывать косточки: где он живет? чем занимается? Туземцы в курсе всего этого. Позднее, когда он угостит их рюмочкой, они предупредят его насчет погоды ("За эту теплынь мы еще расплатимся!"). Так — в попытках завести светскую беседу — деревня проявляет свое расположение. Но в Англии родная деревня — нечто нематериальное, фактически состояние души. "Вы, верно, недавно к нам в деревню приехали?" — спросил одного моего приятеля владелец газетной лавочки. Это было в Ноттинг-Хилле[1].

1. В описываемое время в этом районе Лондона обитали люди небогатые и богема.

Мишель Деон



Из книги
“Я пространствовал немало...”

Эссе разных лет

Перевод с французского Е. Леоновой

По Греции с Шатобрианом

Десятого августа 1806 года торговое судно стало на рейде неподалеку от Метони – самого южного порта на полуострове Пелопоннес. Выйдя из Триеста в начале месяца, корабль, несмотря на шторм, целую ночь бушевавший в Адриатическом море, а затем сменившийся двухдневным мертвым штилем, довольно быстро достиг берегов Греции. Судно прошло вдоль островов Корфу[1], Лефкас, Кефалиния, Закинф, миновало берега Элиды и Наваринскую бухту, любоваться которыми пассажиры могли лишь издали: капитан, торопясь доставить груз в Смирну, наотрез отказался устраивать стоянку. В Триесте французскому консулу в последний момент удалось добиться, чтобы на борт взяли двух его соотечественников с небольшим багажом, державших путь на Восток. Пассажирами были господин де Шатобриан и его слуга Жюльен; и тот и другой оставят воспоминания об этой поездке: Шатобриан напишет “Путешествие из Парижа в Иерусалим”, а Жюльен будет вести дневник этакого Паспарту[2], наивный и искренний, служащий дополнением к книге хозяина.

Напитанный древнегреческой культурой, Шатобриан, сойдя на берег в Метони, который он называет прежним именем Модон, не может

© Éditions de La Table Ronde, collection Vermillon, 1995
© Е. Леонова. Перевод, 2007
Редакция благодарит Мишеля Деона и французское издательство “La Table Ronde” за любезно предоставленное право безвозмездной публикации эссе на страницах журнала.

1. Ныне остров Керкира. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Персонаж романа Жюля Верна “Вокруг света за восемьдесят дней”, слуга.

скрыть разочарования. Конечно, цитадель по-прежнему величественна и турки, в чьем владении она находится, весьма любезны, но где же тут Греция? В оправдание своего первого впечатления писатель ссылается на Демосфена, Полибия, Плиния, Птолемея, Страбона, Павсания и аббата Бартелеми[1]. Одна мысль владеет им: поскорее покинуть Метони.

Сегодня пассажиров здесь на берег не высаживают. От Пилоса-Наварина в городок ведет пыльная безводная дорога; городок не бедный, но и не богатый, в общем-то безликий, о нем тотчас забываешь, увидев цитадель, которую укрепляли и украшали поочередно венецианцы, турки и французские солдаты генерала Мезона. Всякий раз, бывая в Метони, я думал о Шатобриане, о его приезде сюда в ту пору, когда жара стоит невыносимая, а небо низкое и тяжелое. Все, что не раздавлено светом, купается в серой влажной тени. Внутри крепости наводящие тоску руины, развороченные турецкие бани, одиноко стоящая колонна с коринфской капителью — всё заросло диковинными полевыми цветами, всюду порхают оранжевые бабочки, роятся мириады пчел. Место, где рыцари Ордена святого Иоанна, венецианцы под предводительством Морозини[2] и турки хоронили своих павших, представляет собой прекрасный сад с алыми и лиловыми цветами, напоенный ароматом тимьяна. Но Шатобриан не Баррес[3]. Он приехал в Грецию не за тем, чтобы искать следы Средневековья. Он жаждет античности.

На следующее утро Шатобриан уже покидал Метони в обществе проводника-грека, вооруженного янычара и своего нового слуги Жозефа — миланца, торгующего оловом в Смирне, который заменил Жюльена, оставшегося вместе с багажом на судне. С Жюльеном Шатобриан условился встретиться на мысе Сунион или в Малой Азии.

Шатобриан каждый день отправлялся в дорогу в два часа пополуночи, таким образом часть пути приходилась на ночное время. Ближе к полудню караван, пройдя от восьми до десяти лье, останавливался на отдых. Такой распорядок дня как нельзя лучше подходил для путешествующих летом по стране, где путники могли найти лишь слабую тень от олив да обезлюдевшие фермы: местное население пряталось при появлении вооруженных всадников. Караван следовал отнюдь не кратчайшим маршрутом — надо было оставить в стороне Каламату и ущелье Тайгета, где по распоряжению паши проводилась полицейская операция, очень похожая на псовую охоту. Шатобриан сперва поднялся до Мегалополиса и Триполиса, а затем спустился к Спарте и Мистре: преодолев безводные горы, путешественники оказались в плодородной долине, орошаемой Эвротасом.

Шатобриану предстояло увидеть Спарту. Но Спарта — город, существующий больше в воображении, и писатель порой сомневается, не приснилась ли она ему. За Спарту он принял Мистру, стал приставать с вопросами к прохожим и пастухам, слыша в ответ либо что-нибудь туманное, маскирующее полное неведение, либо противоречивые утверждения, на которые так горазды археологи. Испытывая разочарование и желая поскорее отыскать прославленный город, он не заметил сияющей и вместе с тем меланхоличной красоты Мистры, которую он именовал Мизитра — по названию одного из сортов греческого сыра.

1. Жан-Жак Бартелеми (1716–1795) — французский писатель и ученый-востоковед, занимавшийся изучением античности.
2. Франческо Морозини (1618–1694) — дож Венеции (с 1688 г.), командовал войсками венецианцев во время войны с турками.
3. Морис Баррес (1862–1923) — французский писатель и политический деятель.

Спарта пленила Барреса, вдохновила Казандзакиса[1]. Шатобриану хотелось отведать похлебки древних спартанцев, осмотреть оборонительные сооружения, увидеть подвыпивших илотов и, быть может, юного грека, не издающего ни единого стона в тот момент, когда лиса раздирает ему живот[2]. Ничего этого не было. На месте древнего города располагалось несколько крестьянских дворов — зрелище печальное для ума, но обнадеживающее для нравственного чувства. Город, сосредоточивший все силы на том, чтобы воспитывать воинов, бесследно исчез с лица земли.

Интересно, что сказал бы Шатобриан сто пятьдесят лет спустя? Спарта, поднявшаяся из пепла, — это город с прямыми углами наподобие городов Дальнего Запада. В небольшом музее хранится несколько камней. Туда приходят не за тем, чтобы полюбоваться прекрасными произведениями искусства, а чтобы почувствовать воздух, которым дышал народ, чья жестокость и эгоизм погубили Грецию. Никакая сила воображения не способна вернуть к жизни то, что исчезло навсегда. Исполненный грусти и разочарования, проведя ночь под открытым небом, Шатобриан покинул берега Эвротаса и, влекомый уже иными иллюзиями, порожденными его классическим образованием, направился через Триполис в древнее царство Аргос.

Чего ждал он от Греции? Слишком многого. Более двадцати веков минуло с тех пор, как закончилась эпоха ее славы. Время и завоеватели разрушили памятники. Сохранились названия достопримечательных мест, таких, к примеру, как Лерна, где Геракл сразил гидру. Но, чтобы заставить камни говорить, чтобы оживить эти пышные естественные декорации, над которыми по-прежнему витает проклятие богов Олимпа, надо было вспоминать то, что когда-то изучал по книгам, ведь археологи еще не расчистили храмы, не восстановили колонны с антаблементами, не произвели раскопки могил и не собрали разбросанные скульптуры. Бессмертная Греция спала, укрытая зарослями колючих кустарников.

Для того чтобы осмотреть развалины Аргоса и Микен, Шатобриану пришлось заняться скалолазанием, изорвать одежду и поранить руки диким дроком, чьи жесткие колючки оберегают память о прошлом. В такие минуты он мог воображать себя искателем приключений или не очень опытным археологом. Шатобриан именно так и делал. Его рассказ изобилует скучными подробностями, автор наивно выставляет напоказ свои поверхностные знания. Создается впечатление, что он вознамерился оставить писательство и поиграть в ученого. По прошествии времени мы больше ценим в нем художника с широким взглядом на мир, писателя, сравнивающего свое чувственное восприятие окружающего с полученными знаниями о той или иной эпохе. Ни за чем иным в Грецию и не ездят. В этом смысле Шатобриан — первый современный путешественник по Греции.

Аргос его разочаровал. Неужто это и впрямь столица легендарного царства? А что бы он сказал сегодня? Аргос — это крупный аграрный поселок в окружении апельсиновых плантаций. Золотые плоды заняли место сокровищ, привезенных ахейцами из разграбленной Трои. "Бесплодная долина", по которой ехал Шатобриан, превратилась в самый большой фруктовый сад Греции. А вот Микены остаются, как и прежде, уединен-

1. Никос Казандзакис (1883–1957) — греческий писатель.
2. История спартанского мальчика, укравшего лисенка, описана Плутархом в "Жизни Ликурга".

ным местом, господствующим над огромными пространствами, покрытыми блеклыми, выцветшими оливами и пшеничными полями, усеянными кровавыми каплями маков. Порой, в часы ненастья или удушающей жары, когда кажется, будто всякое дыхание жизни прекратилось, возникает впечатление, что давняя драма вот-вот разыграется вновь[1].

Но Шатобриан ничего этого не чувствует. В своем повествовании он ни словом не упоминает Атридов. Он разыскивает могилы, полагает, что нашел могилу Клитемнестры ("Странная судьба заставила меня покинуть Париж и отправиться на поиски останков Клитемнестры!"), а между тем недоброй памяти лорд Элджин, Пуквиль и консул Фовель[2] с помощью простейших средств уже как могли изучили и описали Микены. Придется дожидаться одержимого Шлимана, чтобы узнать, что же таится в утробе пережившей трагедию крепости. Шатобриан вновь допускает ошибку, предположив, что источник Персея находился возле Львиных ворот. Надо сразу сказать: осматривая Микены, Шатобриан слишком торопился. Циклопические стены у него не заговорили. Ахейская эпопея все еще принадлежала той, мифической, Греции. Понадобились полуторавековые тщательные раскопки, чтобы прийти к выводу: ахейцы уже говорили на греческом языке, хотя их письменность еще была силлабической.

Продолжив путешествие верхом, Шатобриан добрался до Коринфа. Крепость надежно охранялась. Турки следили за тем, чтобы чужеземцы к ней не приближались. Оставалось лишь любоваться дивной красотой местности, где располагалась одна из самых ярких достопримечательностей Греции. Залитый лазурью город стоит на берегу внутреннего моря, напротив гор Герания, а вдалеке вырисовывается величественный Парнас. "Что касается памятников Коринфа, то их больше не существует!" — пишет Шатобриан. Их нужно было искать в другом месте, в стороне от современного портового города, выросшего у самой воды. Как зазвучала бы Шатобрианова лира, если б он увидел приведенные в порядок агору, храм Аполлона, этот шедевр дорического искусства? Но все это лежало в руинах, будучи разрушено римлянами, — похоже, здесь они больше, чем где бы то ни было, использовали свое влияние и навязывали свой латинский порядок. Тут было о чем поразмышлять. Но Шатобриан не воспользовался случаем. Сказать по правде, он горел желанием добраться до Афин, где, после разочарования, испытанного в Метони и Спарте, надеялся увидеть наконец ту Грецию, о которой так много знал из книг.

Его путь лежал через Коринфский перешеек; двигаться вдоль залива Сароникос было запрещено по причинам военного порядка, равно как и наблюдать строительство канала, однако в его "Путешествии" мы читаем провидческие строки: "В наши дни такую работу можно было бы легко завершить с помощью пороха". Спустя восемьдесят лет инженеры именно так и сделали, что принесло Коринфу процветание. Миновав перешеек, Шатобриан ступил на землю Аттики — сюда стремилась душа нашего странника, совершающего, по его собственным словам, "путешествие поэта". Наконец-то он был вознагражден за перенесенные тяготы: "С приближением к Афинам местность становилась все более цивилизованной, даже природа производила уже не столь грустное впечатление".

1. Около 1200 г. до н.э. Микены погибли от пожара.
2. Томас Брюс, лорд Элджин (1769–1842), будучи послом Великобритании в Оттоманской империи в 1799–1803 гг., вывез в Лондон большое количество греческих скульптур, в том числе фризы Парфенона; Франсуа Пуквиль (1770–1838) — французский ученый и дипломат, автор книг о Греции; Луи Фовель (1753–1838) служил французским консулом в Афинах в то время, когда послом там был лорд Элджин.

По мнению некоторых исследователей, Шатобриан не стал заходить в Мегару. Наняв у греков каик[1], он направился прямиком в Пирей мимо Саламина. Известно, что в своих путевых записях он не всегда был точен, но что касается местных красот, его рассказу вполне можно доверять. Примечательно, что после Коринфа тон повествования изменился: Шатобриан заметно повеселел, можно даже сказать, стал более внимателен ко всему, что его окружало. Он с удовольствием разглядывает прекрасные округлости албанских прачек, полощущих белье в мегарском источнике, заботится об умирающей девушке, засиживается за свадебным столом.

Будем надеяться, он пил греческое вино, хотя об этом не пишет. Свадебный пир надолго задержал нашего путешественника. Перед Афинами ему предстояло сделать еще одну остановку, для чего он заехал в Элефсис, где провел тихую ночь на берегу великолепной бухты Скараманга, размышляя о Фемистокле и единобожии, в то время как Жозеф, его новый слуга, зажаривал на вертеле ягненка.

Наконец 23 августа в три часа утра Шатобриан выехал на Священную дорогу. "Смею заверить, что и самый преданный почитатель богини Деметры никогда не ощущал большего восторга, чем я. <...> Приближаясь к Афинам, я испытывал такое удовольствие, что даже на время лишился способности рассуждать". Сколько других путешественников вслед за Шатобрианом пережили те же чувства! Священная дорога существует и поныне. Теперь это широкий проспект; за холмом Дафни, где по обеим сторонам стоят белые дома, проспект спускается к Афинам, город купается в восхитительном свете, на фоне которого выделяется Акрополь с возвышающимся силуэтом Парфенона. В этот момент забываешь все, что учил в школе. Взору предстает зрелище, которое остается в памяти навсегда. Тебе чудится, будто ты слышишь, как гудят пчелы на горе Химетос, ты любуешься греческим светом — смесью прозрачности, розовой и золотистой пыли и бледной синевы. На лошади ты или в машине — ты не можешь не остановиться. Здесь зародилась западная цивилизация, и здесь, без сомнения, она снискала себе наибольшую славу.

Для французского консула, изысканного господина Фовеля, человека весьма эрудированного и вместе с тем скромного, радушного хозяина, Шатобриан вез письма от Шуазеля и Талейрана. Ни у кого из посещавших греческую столицу не было столь блистательных рекомендаций, но кто из тех, кто собирается ехать туда, не запасается чьим-либо именем или номером телефона, которые пускает в ход — так, на всякий случай, — и это почти всегда оказывается ключом к постижению афинской жизни, началом длинной цепочки оказываемых тебе любезностей. Шатобриан поселился у господина Фовеля, вместе с ним осматривал афинские развалины, встречался с интересными иностранцами, жившими тогда в Афинах. Однако первым делом ему пришлось приспосабливаться к местным обычаям и нравам. Прибыв в Афины в полдень, сгорающий от нетерпения Шатобриан вынужден был соблюсти сиесту, во время которой всякая жизнь в городе замирает. Афиняне выходят на улицу с наступлением вечерней свежести, да и то лишь тогда, когда, несколько раз втянув носом воздух, убедятся, что им можно дышать.

Маршрут, по которому следовал Шатобриан, — несколько путаный и требующий расторопности. Писатель почти не обдумывает заранее своих посещений, но в конце концов ему удается увидеть если не все, то

1. Узкое, длинное, легкое судно, гребное или парусное.

многое; он делает записи о красотах архитектуры, передает разговоры с прохожими на улицах, описывает свет, из-за которого мрамор выглядит золотистым. Сегодня он осматривал бы Афины более обстоятельно — такая возможность появилась с тех пор, как Акрополь перестал быть крепостью, неусыпно охраняемой угрюмыми турецкими солдатами. Он восхищен, все внимательно слушает, как прилежный ученик, однако в записках об этом периоде много высказываний общего порядка. Близится к концу первый большой этап его путешествия. Ему бы хотелось пробыть в Афинах дней на десять дольше, теперь он сожалел, что заранее договорился о том, что неподалеку от мыса Сунион его будет ждать корабль, который повезет его в Смирну.

Оставалось еще посмотреть храм Посейдона, который, словно авангард Аттики, охраняет Эгейское море. Сегодня мы отправились бы туда не так, как Шатобриан, со стороны материка, а вдоль берега, по дороге, прорубленной в красном камне, и тропическая малярия не подстерегала бы нас, как она подстерегала некогда уроженцев Запада. Шатобриан провел ночь, привалившись спиной к храмовой колонне: "На смену самому красивому закату пришла самая прекрасная ночь". Теперь уже никому не позволено спать среди руин. Они стали культурным достоянием, предназначенным для осмотра туристами. И конечно, в Сунионе после Байрона опасаются романтически настроенных путешественников, имеющих дурное пристрастие вырезать на пентелийском[1] мраморе свои имена.

1968

Ирландия и мечты

ШАРДОНН[2] не понимал, как можно стать писателем, если ты никогда не жил в маленьком городке. Я же иногда думаю, что достаточно окна, выходящего на зеленый мокрый луг, опушки букового леса неподалеку, озера с тихой водой цвета опавших листьев. Когда мною овладевает лень, я грежу о том уголке земли, где хожу пешком или плаваю на лодке по нескольку часов подряд, не чувствуя усталости. Здесь не бушуют страсти, что побуждают писать романы, но я никогда и не верил в то, что роль стороннего наблюдателя может быть плодотворной. Зато я верю и, вероятно, еще долго буду верить в окружающую меня природу и ее особые приметы.

Из всего того, что мне мило, вот последняя декорация, посреди которой я пишу: запад Ирландии, открытый ветрам с Атлантики и ласкаемый теплыми водами Гольфстрима. В Голуэе люди с очень белой кожей всю зиму купаются в океане. Стоя на покрытом морскими водорослями песчаном пляже бухты, где резвятся тюлени, чайки и молчаливые лебеди, они растирают себе спину пестрыми полотенцами, очень похожие на цапель или аистов. Природа бывает суровой, очень суровой, но не жестокой. Однажды в час тяги вальдшнепов, сидя на корточках в укромном месте на краю болота, я наблюдал картину сотворения мира: на землю тихо спускались сумерки, вырезая китайские тени по краям лесов и холмов. Из сероватой голубизны, сквозь которую кое-где пробивался желтый свет, рождались, по воле таинственного творца, сумеречные птицы. Я совсем

1. Мрамор из гор Пентеликон (теперь Мендели) на северо-востоке Аттики.
2. Жак Шардонн (1884–1968) — французский романист и эссеист.

забыл, что на охоте нужно стрелять, меня удержало смутное опасение: мир так хрупок, мы должны изо всех сил стараться защитить его.

В десяти минутах отсюда, на берегу затененной ивами реки стоит высокая гранитная башня, увитая плющом. Почти слепая, без окошек, башня господствует над местностью — кое-где холмистой, кое-где разделенной на прямоугольники полей. Это Тур Баллили, Башня Йейтса, где он написал последние свои книги, последние стихи, прежде чем в 1939 году — в совсем неподходящий момент — отправиться умирать во Францию, в Рокбрюн. Его тело пережидало войну на маленьком кладбище под оливами, а потом было возвращено с миром в Ирландию, где упокоилось навечно в графстве Майо, у подножия кельтского креста. Наведываясь туда время от времени, я вспоминаю стихи, выученные еще на уроках английского:

> I will arise and go now, and go to Innisfree,
> And a small cabin build there, of clay and wattles made:
> Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee,
> And live alone in the bee-loud glade[1].

На свете нет ничего более романтического, чем Тур Баллили. Чистая и благородная душа раскрылась здесь в спокойствии и одиночестве. Много лет я не думал о Йейтсе. И случайно нашел здесь живую память о нем, исполненную той печали, что всегда сопутствовала ему, даже когда он боролся за свободу Ирландии. В этом году во Франции выходит вторая книга автобиографии Йейтса в прекрасном переводе Пьера Лейриса[2].

А теперь о другом ирландце. Здесь нет ни одного паба, где бы вам не чудился зычный голос Брендана Биэна[3], который в книге "Мой остров" рассказал о своей поездке по стране. Пабы Голуэя не заслуживают того, чтобы о них долго распространяться. Биэн был дублинцем. В деревне он чувствовал себя неуютно. Его книга — это гимн пылкому братству завсегдатаев питейных заведений, в ней воспевается и полет воображения, возникающий под действием темного пива. Все пабы похожи один на другой, и в каждом наверняка встретишь одного или нескольких Фальстафов ростом с Биэна. Уму непостижимо, как такой пьяница, можно сказать алкогольный камикадзе, находясь в обществе себе подобных, сумел сохранить ту крупицу ясномыслия, которая позволяла ему видеть своих приятелей и себя самого такими, какими они и были. Достаточно переступить порог пивнушки Пэдди Берка в Кларинбридже, Джо в Оранморе и Морана в Вейре, чтобы оказаться свидетелем тех уморительных сценок, что составляют его "Еще стаканчик на посошок" — это название всегда заставляет меня вспомнить, как ответил Блонден[4] на один из вопросов в анкете Пруста: "Ваш девиз?" — "Налейте еще!"

Биэн умер, убил себя пивом, виски, ромом, бренди, промелькнул, как метеорит, на ирландском литературном небосклоне. Его пьесы играют на гэльском и английском. Он чудесным образом воплощал в себе мятущийся и шумливый ирландский дух, грубую реакцию на мечтательное оцепенение, к коему располагают картины наподобие той, что впи-

1. Я встану и отправлюсь в путь на остров Иннисфри,
   Из красной глины и лозы поставлю дом и стол,
   Бобами грядки засажу по счету трижды три
   И стану жить один и слушать пчел.
   У. Йейтс *Озерный остров Иннисфри*. Перевод Анны Блейз.
2. Пьер Лейрис (1907–2001) — переводчик английской и американской литературы.
3. Брендан Биэн (1923–1964) — ирландский прозаик и драматург.
4. Антуан Блонден (1922–1991) — французский писатель.

сана в мою оконную раму. Биэн — это анти-Йейтс, и все же от одного к другому можно идти напрямик, не рискуя сбиться с пути. В соответствии с максимой "всё во всем" — "в Ирландии есть всё". Когда я шел по лугу, красивая кобыла, которая паслась в просторном загоне, полого спускающемся к озеру, позволила почесать ей голову. Она ласкова, словно кошка, разве что не урчит, но стоит подстричь ей гриву, вволю накормить овсом и отправиться на псовую охоту, как она превратится в льва, стремительного и сильного.

Когда я пишу эти строки, день клонится к вечеру. Сегодня я останусь дома, буду ждать прилета огромной стаи ворон — несколько тысяч птиц, выстроившись полумесяцем над озером, еще больше затемнят и без того уже серое небо. В следующее мгновение они сядут на островок, и их нестройные крики, похожие на зов, от которого холодеет все внутри, огласят ночь. Кто они, эти похоронщики, стервятники, облепившие голые деревья? Быть может, души миллионов ирландцев, умерших от голода чуть более века тому назад, что строили для английских землевладельцев километровые ограды из серого камня, разделившие землю на прямоугольники? В качестве платы за день работы эти ходячие скелеты получали тарелку супа. Когда они умирали, трупы грузили на телеги и спешно сбрасывали в общие могилы, а тем временем королева Виктория под приветственные возгласы статистов, выстроившихся по обеим сторонам дороги, разъезжала по призрачной Ирландии. Весьма довольная тем, что ей показывали, она даровала пять фунтов стерлингов какому-то фонду помощи, а чтобы не плодить завистников, такую же сумму пожертвовала собачьему приюту в Баттерси. Об этом еще не столь давнем прошлом мало кто вспоминает. Спокойствие, с коим мы относимся к смерти, порой граничит с безразличием. Мученики отдали свои жизни за то, чтобы на этой земле не было иных хозяев, кроме тех, что на ней родились.

На рассвете тысячи воронов и ворон поднимутся в небо, словно клубы дыма, и рассеятся вокруг озера, потревожив древесных уток, крякв, щёголей, живущих тихо и счастливо в сонных водах, заросших камышом. Ночь неохотно отступает, оставляя то здесь то там полосы теней. Все сверкает — из-за дождя, росы или инея. Вальдшнепы возвращаются в лес, и видно, как у пасущихся на лугу лошадей из ноздрей идет пар. Провожая детей в школу, я думаю о том, как мало знаю животный мир, что сейчас самое время понаблюдать за жизнью фазанов, бекасов, куропаток, — и вдруг на лесной тропинке возникают две косули, несколько мгновений они внимательно смотрят на нас, а затем летящим прыжком исчезают меж деревьев. Нам с трудом верится в их реальность. Еще пару раз они появлялись и, увидев нас, исчезали, а потом стали все чаще попадаться в лесу и даже на лугах, среди пасущихся лошадей и пони.

В три часа я отправляюсь в Горт за детьми. Стайка воробышков выпархивает из школы. Я узнаю своих двоих по темным головкам и еще загорелым после поездки в Грецию мордашкам. Среди рыжеволосых с зелеными глазами и голубоглазых блондинов они кажутся людьми другой расы.

На обратной дороге, в машине, мы заводим увлекательную беседу о Боге. Монахини ордена сестер милосердия, которые руководят школой, говорят о нем много и категорично. Этот догматизм детям нравится, хотя некоторые постулаты им непонятны. Сынишка интересуется, есть ли у Бога кости, как у нас, а дочка — обо всем ли надо рассказывать священнику на исповеди перед первым причастием или же кое-какие маленькие грехи можно оставить при себе. Единственное, в чем мы уверены, — это

в присутствии Бога, в том, что он с нами везде, видит всё и знает прошлое, настоящее и будущее. В этом есть что-то волшебное, как в цирке.

Само собой разумеется, если у Бога такие способности, он может, коли захочет, выпустить кроликов из шляпы-котелка папаши Каллагена, кюре в X., когда тот, в сюртуке и кожаных сапогах, отправляется на своей рыжей кобыле охотиться на лисицу.

Бог очень внимателен к событиям повседневной жизни. В последнее Рождество он явно выказал недовольство жителями нашего графства Голуэй и запретил священникам служить полуночную мессу. За год до этого слишком много пьяниц осквернили божественную службу, а после не нашлось никого, кто бы вымыл пол. В этом году Господь еще не сообщил епископу о своем решении. Он хочет знать, пошел ли прошлогодний запрет впрок и превышает ли количество teetotalers (то есть тех, кто полностью воздерживается от спиртного, не позволяя себе даже стакана сидра!) количество пьющих.

Боюсь, Господь будет разочарован. У двери паба в Горте, где несколько завсегдатаев, чтобы не замерзнуть, переминаются с ноги на ногу в ожидании, когда откроется заведение — что, на их взгляд, всегда происходит с опозданием, — хозяин вывесил плакат, оставляющий мало надежды на исправление заядлых выпивох: "Teetotaler превратил желание выпить в мучение, вместо того чтобы получать от него удовольствие".

Если вы спросите меня, почему я уехал в Ирландию, я отвечу, что толком не знаю и что в любом случае надо где-то жить. В сущности, меня подтолкнуло к этому уже давно зревшее желание, смутная потребность в дожде, ветре, зеленых лугах, меня манили напоенная влагой земля, широкие просторы, близость океана и глухой непрерывный шум волн, бьющихся о скалы Моэр. Здесь кончается Европа, дальше — приключение. Бывают минуты, когда так хочется коснуться рукой ее пределов и предаться давним мечтам.

1970

Полюбить Португалию

В Португалию я отправился после того, как прочел у Шардонна несколько строк о богатой растительности и какой-то грустной красоте Синтры. Была зима. Едва мы миновали пограничный пункт в Вилар-Формозу, как дорога пошла круто вверх до Гуарды — города из серого гранита, с красивой приземистой аркадой, окаймляющей площадь, где крестьяне, все как один в шерстяных куртках с лисьими воротниками и под большими зонтами, степенно торговали домашней птицей, овощами, глиняной посудой и плетеными корзинами. В уютном ресторанчике, оформленном в деревенском стиле, из окон которого виднелась площадь Луиша ди Камоэнса, мы впервые отведали треску по-бразильски. Хмурое небо, величественный средневековый город, расположенный на высоком плато, как-то приглушали голоса и звуки — нам казалось, что, покинув шумную Испанию, мы попали в мир закрытый, замкнутый в себе самом, мир людей целомудренных и гордых.

После Гуарды дорога пролегала через Серра-да-Эштрела, где тощие лисицы-огневки с горящими глазами — те, наверное, что почему-то не сгодились на воротники для крестьянских курток, — бегали прямо по шоссе или в снегу на обочине. Стада, оставив высокие пастбища, спус-

кались в долины с зеленой сочной травой, кое-где поросшие молодым лесом. С тех пор как мы покинули Эстремадуру и Кастилию, мы вновь увидели деревья, увидели что-то близкое человеку, соразмерное с ним. Дорога бежала вниз под сенью пихт высотой с секвойю, в долинах нас встречала желтая пена мимоз, сиреневые иудины деревья в цвету, нежная белизна миндаля. Величественные горы заслоняют Португалию от остального Иберийского полуострова, и она постепенно раскрывает перед путешественниками свое неповторимое обаяние.

Не знаю, сколько раз я вкушал эту благодать, подолгу останавливаясь в Синтре, городке, о котором Шардонн сумел в нескольких строках сказать главное. Я был счастлив, что Португалия никогда не обманывала моих ожиданий. Но мне приходилось ее для себя открывать, и этой пустынной и вместе с тем неистовой прибрежной красоте требовалась весна, чтобы показать другое свое лицо. Мимоза и миндаль отцветают, сто́ит только появиться первым цветкам палисандрового дерева, камелии и рододендрона. Прибрежную Португалию я изъездил из конца в конец, от мыса Сан-Висенти до Виана-ду-Каштелу — красавицы с безупречным вкусом, как называли город римляне. Со временем я понял, что эту страну нельзя рассматривать в фас, надо, сместившись немного в сторону, взглянуть на нее в профиль, и тогда станет ясно, что ее судьба неразрывно связана с океаном: это восемьсот километров отвесных скал, источенных ветром и ненастьем, и великолепных песчаных пляжей, легкий белый песок которых на ощупь напоминает пыль; мощные волны Атлантики накатывают, образуя мириады брызг, на берег Фигейры-да-Фош, Аррабиды и в особенности Назаре — цыганской деревушки, настоящего чуда, застывшего в зимнем безлюдье.

Мы побывали у моряков — океан с незапамятных времен дает им средства к существованию: они собирают водоросли в лагуне Авейру, ловят рыбу в заливах Сезимбра, Пениши, Албуфейра, уходят в плавание из Лиссабона и с мыса Сан-Висенти, где невольно вспоминаешь о Генрихе Мореплавателе, гениальном инфанте, человеке деятельном и просвещенном. Все здесь говорит о море: в период господства стиля мануэлино[1] даже архитектура заимствовала у него ракушки, якоря, снасти, корабли и ракообразных; мужчины ходят вразвалку — жизнь в море выработала у них такую походку, а женщины, носящие на голове корзины и глиняные кувшины, обладают врожденным чувством равновесия, что тоже свойственно морскому люду.

Быть может, угроза цунами заставила пастухов в соломенных накидках сняться с насиженных мест и уйти в горы Бейра-Алта, а людей в широкополых шляпах, с обожженными солнцем лицами — поселиться на равнинах Алентежу[2], где колышутся волны пшеницы; это братья тех, кто живет на берегу океана, босоногого племени в странных клетчатых костюмах: у них те же лица с впалыми щеками, те же черные, как уголь, глаза, смотрящие из-под нависших бровей, эти глаза будто специально устроены так, чтобы видеть далеко-далеко, до самого горизонта, за который однажды отправились каравеллы, чтобы покорить мир.

Что мне понравилось в Португалии? Путешественник — это всегда чужак, посторонний. В средиземноморских странах его появление в

1. Архитектурный стиль, названный в честь короля Мануэла I Счастливого (1469–1521), сочетает растительные мотивы с элементами морской символики.
2. Историческая провинция в Португалии.

том или ином месте, как правило, нарушает привычный ход жизни. Путешественника воспринимают либо как денежный мешок, либо как диковинку, либо просто как повод отвлечься от работы. Удовольствия ему ни то, ни другое, ни третье не доставляет. В Португалии же никто не обращал на нас внимания. Крестьянка в широких штанах и высокой шляпе даже голову не подняла, когда мы шли вдоль ее рисового поля. Рыбаки в Назаре не бросились тут же демонстрировать нам свое умение управлять судном, женщина за ткацким станком не прервала работу, когда мы остановились возле ее дома. Если мы обращались к кому-то с вопросом, нам вежливо отвечали. Если мы предлагали с нами выпить, соглашались. В том-то и заключалось высшее проявление вежливости — показать нам, что мы свои, просто мы свободны, в то время как другие работают.

В Кабрише, маленькой деревушке близ Синтры, на краю леса, сдавался великолепный дом — Казал-даж-Мурташ. Мы поселились там в начале весны, кругом цвел агапантус, рядом с домом росла глициния. Дождь и солнце оживляли, словно движущуюся декорацию, этот красивейший в мире лес, теплую зеленую шубу, что укрывает один из самых высоких холмов Синтры, а венчает его Пена — причудливый замок в стиле рококо, построенный принцем-консортом. Невидимые садовники ухаживали за фантастическим парком с прудами. Владельцы quintas, этих недоступных для широкой публики сельских усадеб, пускали нас в свои роскошные парки, и мы гуляли там среди цветов и деревьев, завезенных первыми мореплавателями со всех концов света. Однако редкие цветы и породы деревьев принадлежат не только богатым. Их выращивают и жители с самым скромным достатком, от Алгарви до Минью. Деревушки прихорашивались после зимы, и, когда стало припекать по-летнему жаркое солнце, Португалия порыжела и побелела одновременно.

Из Синтры мы часто ездили в город Обидуш, где подолгу гостили в pousada[1] у Салтанеллы. Бывшая артистка мюзик-холла обустроила его с большим вкусом и тщанием; про нее говорили, что ей удалось рассмешить — а может, всего лишь заставить улыбнуться — господина Салазара[2], отнюдь не склонного к веселью. Шардонн, направляясь в Palacio de Seteais — быть может, самый красивый отель в мире, — с загадочным видом попросил нас как-нибудь свозить его в Обидуш. Ему хотелось еще раз увидеть молоденькую горничную, чье благородное лицо и темные глаза, когда он однажды гостил в замке, произвели на него неизгладимое впечатление. Увы, этой горничной уже там не было, а ее родные, которых мы принялись расспрашивать, отнеслись к нам с большим недоверием. Уехала. Может, ее даже похитили. Красоту не запрешь на замок. Воры всегда тут как тут. Белый город, напоминающий пирожное со взбитыми сливками, не смог удержать в своих карамельных стенах мимолетную, призрачную любовь Шардонна.

Как в Вероне могилу Ромео и Джульетты, в Бежа мы не преминули посетить монастырь Консейсан, где Мариана Алкофораду пылала страстью к господину де Шамийи. Сохранилось зарешеченное окошко кельи, где жила португальская монахиня. Наше дело — вообразить остальное,

1. Pousadas — старинные замки-усадьбы, которые с 1942 г. стали превращать в роскошные отели.
2. Антониу ди Оливейра Салазар (1889–1970) — глава правительства Португалии в 1932–1968 гг., установил фашистский режим, став фактическим диктатором страны.

забыв попутно, что эта душераздирающая история любви на самом деле поэма в прозе, сочиненная Гийерагом[1], который был всего лишь заурядным рифмоплетом. Бывают моменты, когда вымысел завораживает нас и мы отметаем малейшие сомнения в достоверности тех или иных событий — так случилось и с повестью Банделло[2], вдохновившей Шекспира. В сердце Алентежу, залитой мощными потоками белого света, все способствует игре воображения. Бежа, как и Эвора, расплавился бы на солнце, если б частные дома и общественные здания не были оправлены по углам и проемам в серый гранит.

Лиссабон, в нескольких километрах от Синтры, — веселый, гостеприимный город, раскинувшийся над "соломенным морем", — величавым эстуарием Тежу. В старинном ремесленном квартале Алфама мы ели жареные сардины и пили прохладное молодое игристое вино по случаю праздника святого Антония. В старых улочках Шьяду слушали фаду[3]. Чтобы полюбить страну, нужно ее "съесть", "выпить" и послушать ее песни. "Съесть" Португалию — дело нехитрое, ибо португальская гастрономия проста: сочная жареная рыба, выловленная в Атлантическом океане, превосходное растительное масло, совсем как в Греции, изысканные фрукты, сливочные сыры, пирожные, рецепты которых известны с XVIII века, когда Португалия слыла самой большой лакомкой в Европе. "Выпить" Португалию нам помогли знатоки. Неподалеку от нашего дома карабкались по склону виноградники: здесь делают вино "Колареш" с ярко выраженным виноградным вкусом. Надо было всего лишь наведаться к производителю, захватив с собой пустую бутыль. Я знаю еще совсем немного вин, по своей прозрачности так приблизившихся к рубину. Что же касается фадо, то к нему нужно было привыкнуть: эта странная печальная музыка, исполняемая подчас хриплым голосом, так бередит душу, что поневоле начинаешь ей противиться. Сперва она кажется монотонной, однако мало-помалу открываешь, что она очень разнообразна. Какое-нибудь лиссабонское фадо, исполняемое чистым резким голосом, как, скажем, у Аделины Рамош или Амалии Родригеш, отличается, словно день от ночи, от коимбрского, как его поют студенты университета, одетые в традиционные плащи с капюшонами, — того университета, где господин Салазар был профессором политэкономии. Это туда к нему дважды обращались погрязшие в распрях политики, оставшиеся у власти около сорока лет.

В Португалии еще много интересного: я вспоминаю португальский бой быков, ни с чем не сравнимое искусство; нам посчастливилось видеть последние выступления Жуана Нунсиу перед тем, как он вышел на пенсию; я восхищаюсь необычайным мужеством сантаренских форкадос[4], думаю о дружбе. Я вволю насладился незабываемыми зрелищами, какие представляют собой местные праздники в Голегане и бега в Вила-Франка-ди-Шира. Что касается дружбы, то, по моим наблюдениям, португальцы относятся к ней столь возвышенно, что после них все другие ее проявления кажутся мне просто-напросто опошлением этого чувства.

1968

1. Габриэль Жозеф де Лавернь, граф де Гийераг (1628–1685) — французский журналист, дипломат, писатель; речь идет о "Письмах португальской монахини" (1669), якобы переведенных Гийерагом, а на самом деле сочиненных им самим.
2. Маттео Банделло (1485–1561) — итальянский писатель-гуманист. Шекспир почерпнул у него сюжет "Ромео и Джульетты".
3. Шьяду — верхний город в Лиссабоне; фаду — старинный песенный жанр, род городского романса.
4. Португальские укротители быков.

Страницы испанского дневника

Мадрид, 17 июля 1950 г.

Ни на минуту нельзя забыть, что я в Испании: по радио во дворе гостиницы с раннего утра до позднего вечера звучат фанданго и пасодобли. Шторы опущены, занавески наполовину задернуты, а лучи восхитительного белого света, заливающего Мадрид и его окрестности, все же проникают в мою комнату. Небо до того чистое, что смотришь на него и становится не по себе. Вчера, возвращаясь из Толедо, я искал на дороге выжженной Кастилии хоть какую-нибудь тень. Тщетно, разве что у подножий чахлых олив, робко выстроившихся друг за другом посреди желтого песка. Никаких испарений, не было даже зыбкого марева, какое создает на дорогах беспощадное солнце. Подъезжая к Мадриду, я почувствовал, что не только в горле, но и во всем теле у меня пересохло. Едва я въехал в город, как жажда сделалась нестерпимой, и, увидев на Гран Виа продавщицу воды, гнусавым голосом выкрикивавшую: "Hay agua, hay agua!"[1], я остановился, чтобы заполучить вожделенной влаги. Разумеется, половина ее пролилась мне на шею – неописуемое наслаждение. У жителей этой страны врожденная способность превращать тепло в холод (в отличие от эскимосов, которые создают тепло с помощью кусков льда, строя из них свои иглу), поддерживать прохладу во внутренних двориках; у испанок первейшее качество – всегда выглядеть так, будто они только что из ванной: нежная кожа лоснится, губы блестят, взгляд мягкий, бархатный. И какие женщины! Они двигаются в этом пекле с нарочитой вялостью, каждым своим дивным жестом будто говоря: а зачем делать, когда можно не делать? Жительницы Мадрида больше не носят гребней, инкрустированных стеклянными бусинами, да и мантилья, по всей видимости, уже превратилась в деталь народного костюма, зато остался веер. Достойно восхищения то, как ловко они обращаются с ним в церквах, театрах, на улицах и аренах: складывают и разворачивают, гоняют жаркий воздух, который отнюдь не становится от этого прохладней, время от времени прикрывают нижнюю часть лица или обнаженную шею. Веер – это трепещущие ресницы Испании.

Мадрид, 18 июля 1950 г.

Испания, на пять лет раньше нас покончившая со страшной войной, производит впечатление обновленной страны. В ходе сражения за Мадрид были разрушены целые кварталы, но вновь отстроенные из белого камня пригороды выглядят чистыми и величественными – в противоположность тому драматичному хаосу, что царит в наших пригородах. В Испании чувствуется устремленность людей в будущее, и я не удивлюсь, если через несколько лет эта страна поразит всю Европу. Разумеется, в Испании есть нищие, может, их даже больше, чем в других европейских странах, но испанские нищие, судя по всему, пользуются покровительством государства: оно позволяет им лениться, предоставляя самое необходимое. А они большего и не просят – была бы

1. Вода, вода! *(исп.)*

возможность торговать лотерейными билетами, контрабандными сигаретами, водой, зажигалками. Эти нищие очень опрятны. Ничего общего с клошарами, стоящими с протянутой рукой на парижских набережных. То, что они выкрикивают на улицах — машинально, даже если поблизости никого нет, — похоже на заклинания. Монотонный рефрен торговцев лотерейными билетами, по большей части слепых, — "Para los siete miliones... Para los treinta dos mil duros..."[1] — напоминает бормотание тибетцев, вращающих молитвенные барабаны. Эта надежда на сказочное завтра сродни христианской вере в лучший мир за гробом.

Толедо, 24 июля 1950 г.

Возвращение в Толедо: едва добравшись до города в час, когда горожане выходят на прогулку, я рухнул без сил на террасе кафе, что на площади Содоковер. По сравнению с Мадридом Толедо — типичный провинциальный город. Большинство туристов, разгуливавших по нему днем, к этому времени уже разъехались, и мы представляем собой... вернее, я хотел сказать, среди нас можно встретить: военных в униформе из грубого сукна и тяжелых сапогах; семейные пары, позади которых гувернантки в белых передниках ведут за руку детей; стариков, сбившихся в кружок в городском саду; преисполненных важности угрюмых чиновников в черных костюмах. Поставив дорожную сумку себе под ноги, я сижу, потягиваю паломиту — анисовку дель Моно, разбавленную газированной водой, и наблюдаю это шествие, напоминающее нескончаемое движение водоподъемного колеса: одни и те же пары вновь и вновь возникают передо мной через равные промежутки времени. Вот две молоденькие девушки, одна в белом, другая в ярко-красном, одна смуглая, с явной примесью цыганской крови, другая бледненькая и даже, кажется, немного прыщавая, но издали обе выглядят очаровательно: они выразительно жестикулируют — то подносят руки к горлу, то вскидывают пальцы, то хлопают в ладоши — и от души хохочут. Я пожалел, что не шпион и не умею читать по губам. За соседним столиком две англичанки — пьют пиво и едят мороженое. Должно быть, они приехали на междугородном автобусе, с рюкзаками, усталые, разбитые, волосы на лбу и на затылке слиплись, руки и грудь обгорели. Хочется отправить их под душ, тем более что с виду они женщины образованные, в них нет ни тени вульгарности. На столе они разложили книги и карты. Одна из книг на французском: "Эль Греко, или Тайна Толедо" Барреса, в старом плановском издании, в желтой обложке. Мы разговорились. Одна англичанка оказалась преподавательницей французского языка в колледже, название я не разобрал. Они путешествуют по Испании на автобусах, с рюкзаками, очень довольны, но столкнулись с кое-какими трудностями, особенно в начале, когда пересекли границу в шортах, чем едва не вызвали всеобщее возмущение в грязном унылом городишке Ирун, где Стендаль когда-то ел яичницу с салом. Мы заговорили о Барресе и о той Испании, которая виделась ему в мечтах, — романтической, самовлюбленной, склонной к драматизму. Но это один взгляд, а если говорить о сегодняшнем Толедо, то придется признать, что он "обуржуазился". Англичанки, как и я, искали подходящую гостиницу, и мы двинулись по уз-

1. "Выиграйте семь миллионов... Выиграйте тридцать две тысячи дуро..." *(исп.)*

ким улочкам с нависающими над ними обсаженными геранью балконами. Двери вели в патио, там было зелено, тихо и прохладно, кое-где на плетеных стульях сидели широкобедрые женщины и вышивали. В конце концов мы нашли гостиницу, в ней пахло кошками и жареным мясом. Англичанки поселились внизу, а я — на пятом этаже, подо мной распростерлись террасы, крыши, покрытые круглой черепицей, и часть крепостной стены. Ночью поспать не удалось: жара, клопы, а из приятного — визит преподавательницы французского. Я не гасил свет до самой зари, поднявшейся в многоцветном небе над белесым городом. Жаль, что я не привез с собой "Время проходит" Бразийяка[1], а то бы на месте перечитал красивейшую главу о ночи в Толедо.

Утром я пошел осмотреть собор, неожиданно возникающий в лабиринте улочек. Невозможно охватить его взглядом целиком — до такой степени он несоразмерен с окружающими домами, а отойти подальше некуда. Я бродил по нефу, огромному, холодному, мрачному и пыльному, меня поражали тишина и бесстрастность, столь далекие от мадридской экспансивности. Подобно тому как, поднеся к уху морскую раковину, можно расслышать шум моря, я, закрыв глаза, старался услышать звуки собора: скрип парадной двери, открывающейся навстречу Фердинанду и Изабелле, триумфальное звучание органа Карла Пятого, молитвенный шепот, похожий на жужжание пчел. В тот самый момент, когда я, несколько взволнованный, выходил из собора, появились мои англичанки — с рюкзаками за спиной, с непокрытыми головами и обнаженными руками. Разгневанный церковный сторож, бешено жестикулируя, бросился им наперерез. Англичанки испугались. Я объяснил им, что в Испании, как и в мусульманских странах, появление в святом месте обнаженной женской плоти, пусть даже малой ее части, считается грехом и позором. Старшая, Олби, выразительно посмотрела на меня. "Так значит, ночью мы провели целый час в грехе и позоре", — сказала она по-французски с приятным акцентом. Ее подруга ничего не поняла, а Олби не стала переводить ей свое загадочное высказывание.

Все вместе мы отправились смотреть Эль Греко, вначале "Вознесение Марии" в церкви Сан-Висенте, произведение поразительной силы, сочетающее в себе мягкость и напряженность. Выразительность цветовой гаммы ошеломляет, сперва даже шокирует, но когда привыкнешь, ее значение становится очевидным. У Эль Греко не было томного и к тому времени уже упаднического изящества Тициана, однако Испания, и прежде всего Толедо, существенно повлияли на его искусство, и оттого во всем, что он писал, чувствуется блистательная, аристократическая дерзость. В особенности это касается "Погребения графа Оргаса": это полотно настолько живое, что служители церкви Святого Фомы, из опасения, что оно истощит свои силы, беспрерывно притягивая взгляды посетителей и заставляя их вслушиваться в надгробную речь, часть дня держат картину занавешенной. Это удивительное полотно не давало мне покоя и позже, когда я гулял по Толедо и дошел до самого дворца Алькасар, все еще лежащего в руинах, словно скульптурная композиция, созданная безумным мастером в память о гражданской войне. В сводчатом коридоре, по которому меня провели, было сыро и холодно, и мне все чудилось — как и в соборе, — будто я слышу предсмертные хрипы раненых, молитвы живых, плач детей. Мне виделась гру-

1. Робер Бразийяк (1903–1945) — французский романист и литературный критик, был осужден и приговорен к расстрелу за сотрудничество с нацистами.

стная улыбка полковника Москардо[1], окруженного исхудалыми бородатыми бойцами, мучимыми лихорадкой. В противоположность тому, что утверждали Массис и Бразийяк в своей небольшой книжке "Кадеты Алькасара"[2], курсантов военной школы было всего трое в тот день, когда республиканская милиция штурмовала крепость. Остальные разъехались на каникулы. Крепость защищали главным образом жандармы, охранники, немногочисленный персонал казармы. Осада в XX веке! По всем правилам, с использованием приставных лестниц, греческого огня и мин, подземных ходов, огнеметов, холодного оружия, 105-миллиметровых пушек и всего прочего. Осажденные не поддались на шантаж, предпринятый начальником толедской милиции, который в городе взял в заложники сына Москардо. Разговор по телефону между ним и полковником Москардо (телефонная связь между крепостью и городом никогда не прерывалась) в точности приведен на бронзовой плите: отцу сказали, что, если он не сдаст Алькасар, его сын будет расстрелян, Москардо отказался, и сын произнес последние слова: "...un beso muy fuerte papa"[3].

Я очень надеюсь, что Алькасар не будут восстанавливать[4].

Магия островов

В начале 20-х годов Жионо[5] служил в одном марсельском банке. Это давало ему возможность путешествовать. Он мог бы, по примеру Мелвилла, романиста, которым восхищался, бороздить моря и океаны, но вместо этого побывал только в замке Иф да, кажется, на Йерских островах. Какой еще мир мог он для себя открыть вдобавок к тому, что уже сформировали в его сознании странствия Одиссея и греческие трагедии? Писательский гений Жионо преобразовывал любой, даже самый малозначительный опыт, впечатления от простой поездки порой вдохновляли его на создание героической поэмы. "Мною владеет иллюзия островов!" – написал он. В 1944 году обычная морская прогулка побудила Жионо написать "Фрагменты рая", один из прекраснейших его текстов. Это роман о плавании по неведомым морям в то время, когда в мире разразилась война, к острову, сотрясаемому столь мощными, поистине демоническими конвульсиями, что путешественникам кажется, будто они встретились чуть ли не с самим Нептуном. Можно ли назвать это раем? Придумывая свой остров, Жионо вдохновлялся мифом, будоражащим людское воображение со времен "Одиссеи", – о далеких землях, где обитают таинственные существа и жаждущие любви нимфы, карлики и великаны, циклопы и волшебники наподобие шекспировского Просперо.

Писатели и поэты на протяжении веков лелеяли мысль об островах как о прибежищах мечты, они видели в них разрозненные подтверждения того, что мир сотворен из хаоса и, быть может, приближается к своему концу. Аполлинер в стихотворении из цикла "Песнь несчастного в любви", вспоминая покинувшую его возлюбленную, использует чувственный, сла-

1. Хосе Москардо Итуарте (1878–1956) – испанский полковник; 18 июля 1936 г. возглавил франкистский мятеж в Толедо. Республиканская милиция вынудила его занять оборону в Алькасаре – расположенной на возвышенности полукрепости-полудворце. Оборона длилась 70 дней, 27 сентября Толедо был взят франкистами.
2. Книга Анри Массиса и Робера Бразийяка вышла в 1936 г.
3. "...Крепко тебя целую, папа" *(исп.)*.
4. Нет! Восстановили. Adios... *(Прим. автора.)*
5. Жан Жионо (1895–1970) – французский писатель, член Гонкуровской академии с 1954 г.

достный образ острова: "Я забыть не хочу тебя, нет! <...> Остров дальний и синий рассвет!"[1]; к этому образу литература обращалась и до него — чтобы создать мир любовных мечтаний в "Поле и Виргинии"[2], мир приключений в "Острове сокровищ". Лишь в XX веке остров как воплощение мечты начал терять налет романтизма и слегка приблизился к реальности. Тем, кто склонен поддаваться обману, надо прочесть ранние романы Конрада — "Каприз Олмейера" и "Изгнанник с островов". Великолепная природа, лес будто в сказке, красивые загадочные малайцы. Понятно желание молодых европейцев окунуться в новую для них жизнь, столь далекую от однообразия и сутолоки прежней, но судьба беспощадна к ним и ступень за ступенью — алкоголь, азартные игры, приступы апатии (изгнанник Виллемс и днем не снимает пижамы), жестокость — приводит их к полному краху. В этом мрачном, безмолвном, удушливом мире тысяча глаз наблюдают за физическим и моральным падением белого человека. Не столь мастерски, но с тонким психологизмом Сомерсет Моэм рассказал об испытаниях, выпавших на долю британцев, которые оказались в полной зависимости от своих малайских и таитянских жен и сожительниц и в конце концов превратились в отбросы жестокого общества, где никто пальцем не пошевелил, чтобы помочь им вновь обрести себя.

Чем же так манят нас острова — разве не тем, что в силу своей удаленности и изолированности оберегают нас от наших же собственных демонов и сближают с людьми, схожими по духу? Остров в огромном мире — образцовый микрокосм, и так соблазнительно видеть себя в этом микрокосме королем; однако, чтобы стать королем, нужно получить соответствующее воспитание, быть дисциплинированным, готовым к самопожертвованию — словом, обладать теми качествами, которых лишен человек страждущий, покинувший свою промышленно развитую страну ради того, чтобы вернуться в естественное состояние. Велико желание видеть в этих "райских уголках" достоинства, которых на самом деле у них нет, а если и есть, то разве что в горячечном бреду мореплавателей, измученных долгими скитаниями по бушующим морям. Остров для них — символ спокойствия, водной глади, оазисной свежести, легкого ветерка, чуть колышащего пальмовые ветви, безмятежного стояния на якоре после "ревущих сороковых"[3]. Экипаж "Баунти" больше в это не верил. До чего же странно, что моряки, возглавляемые помощником капитана, взбунтовались против капитана Блая, который был отнюдь не жестоким тираном, как гласит о нем молва, а офицером, непреклонным в вопросах чести, и замечательным мореплавателем. История "Баунти" рассказана уже сотни раз, она легла в основу множества фильмов. Так и видишь красивую полинезийку, обнимающую лейтенанта Флетчера. Да, недолгое пребывание в раю закончилось повешением в Лондоне. Порядок всегда торжествует. Мятежники хотя бы пережили мгновения счастья — прекрасное воспоминание, которое они унесли с собой в могилу[4].

Прелесть островов в том, что они служат естественной защитой от потрясений, случающихся на континентах. Удары, конечно, ощущаются,

1. "Белорунных ручьев Ханаана..." Перевод М. Кудинова.
2. "Поль и Виргиния" (1788) — роман французского писателя Жака Анри Бернардена де Сен-Пьера [1737–1814].
3. Традиционное название океанических пространств в сороковых широтах Южного полушария, где дуют сильные устойчивые западные ветры и бушуют частые штормы.
4. Мятеж на английском судне "Баунти" произошел в 1789 г. Часть мятежников, обосновавшаяся на Таити, через полтора года была найдена и предстала перед судом. Лейтенант Флетчер, глава мятежников, предпочел укрыться на более отдаленном острове Питкерн и погиб там в схватке с аборигенами.

но воспринимаются с долей скептицизма, они уже смягчены, самортизированы пространством и временем, а еще и безразличием, которое объясняется тем, что в мире с ограниченными ресурсами приходится прежде всего думать о собственном выживании. Как-то в Греции во время забастовки почтовых служащих мы остались без газет, радио же я никогда не слушал, а тут утром наш управляющий, хлопнув меня по спине, сообщил: "Ну вот, евреи выиграли войну". Я слыхом не слыхивал ни о какой войне, а когда узнал, она уже закончилась. Правда, длилась она всего шесть дней. На нашем острове никто не интересовался конфликтом, который почти не затрагивал нашу повседневную жизнь. Остальной мир пусть хоть на воздух взлетит. Пока шум их не беспокоит, жители острова Спеце будут равнодушно смотреть, как люди выпускают друг другу кишки.

Когда в Португалии все пошло кувырком из-за так называемой "революции гвоздик"[1], жители принадлежащих ей островов в Атлантическом океане — Мадейры и Азорских, — с недоверием относившиеся к политическим силам, всколыхнувшим метрополию, подумывали о том, чтобы провозгласить автономию. В Анголе уже более тридцати лет полыхает гражданская война, а неподалеку от ее берегов Острова Зеленого Мыса добились независимости, не пролив ни капли крови. Поль Моран[2] говорил, что острова станут "последним прибежищем аристократов". Он имел в виду, разумеется, "элиту" общества, но я не думаю, что он прав, хотя и очень хочется сбежать из мира, где не помнят о своих корнях. А писатели, художники, музыканты — долго ли они будут счастливы на островах? Полагаю, что нет. К классической картине опаловой воды и песчаного пляжа, окаймленного кокосовыми пальмами, добавьте ветер, а порой и циклоны, жару в сочетании с большой влажностью, обрекающей все кругом на гниение, проливные дожди. Жорж Санд испытала это в полной мере, когда поселилась с Шопеном в обители Вальдемоза на Мальорке, в кельях с пятнами плесени на стенах. Было от чего прийти в отчаяние. В Полинезии и на Карибских островах, когда идет теплый тропический дождь, чувствуешь себя как в аквариуме — кажется, вот-вот захлебнешься и утонешь. Коренные островитяне на протяжении нескольких поколений физиологически и психологически приспособились к жаре и холоду, к тем условиям, в которых им неизбежно приходится жить. В холодном климате борьба за хлеб насущный заряжает их жизненной энергией, в теплом они предаются dolce vita[3], что отгораживает их от страждущего мира. Поначалу сторонний человек приходит в восторг, видя спаянность островитян, вместе переживающих радости и беды, но в один прекрасный день он осознает, что, несмотря на все его усилия, ему никогда не стать для них своим. На Скиросе какая-то девушка однажды спросила меня: "А правда, что в Париже есть люди, которые друг друга не знают?" Ей представлялось верхом несчастья, если люди, живя бок о бок, не общаются. Разумеется, оборотная сторона медали заключается в том, что жизнь на островах открыта всем ветрам. По островному "телефону" информация передается со скоростью света, прибавьте к этому еще и игру воображения. Поэтому вы рискуете однажды, сами того не ведая, стать героем событий, которые разворачиваются исключительно в голове соседа.

Острова, кроме всего прочего, еще и сирены. Муатесье, завершая свое одиночное кругосветное плавание, вместо того чтобы вернуться в родной

1. Переворот левого толка, начавшийся 25 апреля 1974 г. в Лиссабоне.
2. Поль Моран (1888–1976) — французский дипломат, прозаик, эссеист.
3. Сладкая жизнь *(итал.)*.

порт, внезапно переменил галс и направился в Тихий океан к островам Туамоту[1]. Ален Жербо[2], быть может первый и самый известный из наших одиночных мореплавателей, тоже обосновался в Полинезии, став ее страстным защитником. Это выбор сознательный, судьбы этих людей не имели ничего общего с судьбой Робинзона Крузо, выброшенного на необитаемый остров в результате кораблекрушения. Даниель Дефо познакомился в одной ливерпульской таверне с моряком по имени Александр Селкирк, тот рассказал, как прожил несколько лет на острове в полном одиночестве, как потом его подобрало шедшее мимо судно. Описание острова великолепно, деятельность Робинзона поучительна. В ней не было ничего романтического: имея в своем распоряжении кое-какие орудия труда, ружье и пули, он воссоздал на краю света цивилизацию, которая о нем забыла. До появления Пятницы он разговаривал лишь с Богом, читая Библию. Его наполовину выдуманное приключение захватывало воображение не одного поколения детей и послужило толчком для создания множества других литературных произведений этого жанра. Быть может, вдохновившись романом Дефо, Р. Л. Стивенсон отправился на острова Самоа, откуда прислал полные горечи и разочарований статьи о положении туземцев, в котором они оказались по вине белых торговцев, а также свой последний замечательный роман "Берег Фалеза". Забудется ли когда-нибудь, что, движимый тем же чувством протеста против засилья цивилизации, Гоген поселился сначала на островах Общества, а потом на Маркизских островах? Своим участием в жизни туземцев он вызывал пренебрежение, презрение и даже ненависть со стороны местных властей. Такова плата за произведения, являющиеся самым прекрасным свидетельством того, что было пережито и прочувствовано на островах.

Размышляя об островах, невольно задаешься вопросом, а может, многие из них суть что-то вроде опасных плотоядных орхидей? Опьяненному чужестранцу кажется, что на острове он сможет осуществить свои мечты, чего по причине неопытности или излишней робости не смог сделать нигде больше. На самом же деле острова обладают способностью безжалостно избавляться от тех, кто явился с пустыми руками и ждет, что маленькое царство, со всех сторон окруженное водой, дарует им любовь, талант, мудрость или просто научит понимать жизнь, наивно полагая, что такие вот суверенные осколки материка хранят в себе ее тайну.

1993

1. Бернар Муатесье (1925–1994) – французский яхтсмен, автор книг о путешествиях. Описанный эпизод произошел в 1968 г.
2. Ален Жербо (1893–1941) – французский авиатор и чемпион по теннису. В 1923 г. в одиночку совершил кругосветное плавание. Автор нескольких книг о туземцах Полинезии.

Сергей Цейтлин

Между благоговением и привычкой

Эссе

Перевод с английского Льва Оборина

ИНОСТРАНЦА, приезжающего жить в Венецию, больше всего — почти как сюрреалистическое полотно — удивляет не повсеместная вода и отсутствие автомобилей, не напыщенные обветшалые колокольни и дворцы, даже не громадное собрание произведений искусства — а то, что обитатели Венеции не осознают: они живут в городе, чьей метафизической красоте завидует весь мир и затмить эту красоту пытались в течение нескольких столетий. Очень немногие венецианцы могут искренне сопереживать благоговеющему приезжему, который видит в Венеции идеальный, гармоничный союз природы и цивилизации. И не потому, что венецианцы не способны сопереживать, у них — свое восприятие города, основанное на рафинированном чувстве культуры, на гордости, на любви к своему исключительному наследию. Конечно, и они восхищаются, когда алое летнее солнце задерживается над статуей архангела Гавриила, над самой верхушкой колокольни собора Сан-Марко (если смотреть со стороны Святой Елены); и они просыпаются под утренние крики чаек; они даже останавливаются на мостах, чтобы посмотреть, как их мысли растворяются в калейдоскопической ряби каналов. Но в этом нет ничего особенного, это их мир. Им не с чем его сравнивать. Для них это обычная жизнь. Сколько же найдется не таких, а других венецианцев — один на сотню? Пять-

© Лев Оборин. Перевод, 2007
Редакция благодарит Сергея Цейтлина за любезно предоставленное право безвозмездной публикации его эссе на страницах журнала.

сот? Для всех остальных Венеция — повседневность: работа с девяти до пяти, пойти в банк, в магазин, пропустить с друзьями по стаканчику. Хорошо это или плохо, но привычка — прокатный стан, который сглаживает порывы восхищения.

Получается, что заезжий иностранец или даже итальянец должен всегда помнить, что 99 % местных жителей обитают не в самом прекрасном, изумительном городе на свете, но всего лишь а casa[1]. Именно такой резкий контраст ощущений, а не собственно стиль жизни, и является отстраняющим фактором; ибо венецианцы, как и все итальянцы — ксенофилы. Порой можно сказать и сильнее: богатая космополитическая традиция у них в крови. Естественно, чтобы принять вас в свой мир, они должны убедиться, что вы не просто кочующий турист или высокомерный эстет. Но вот вы приняты, контакт установлен, и тут-то вы обнаруживаете, что между вами и венецианцами — непреодолимая эмоциональная пропасть. Вы так хотите рассказать о потрясении, которое испытали, объяснить, что сбылась мечта всей вашей жизни, поделиться вдохновением, которое бушует у вас в груди! "Да, неплохо. Немножко неудобно", — отвечают они. Неудобно? Разве искусство должно быть утилитарным? И здесь-то вы должны напомнить себе, что это только для вас Венеция — произведение искусства, а для них — просто место жительства. Да, довольно оригинально — город на воде. Но вообще-то он так создавался, так живет и так развивается — нечего им любоваться и восхищаться.

Иначе говоря, вновь приехавший оказывается перед выбором. Если он хочет и дальше, изумляясь, осматривать город и воспринимать его как художественный феномен, то ему придется оставаться на периферии венецианского мира и не искать другой компании, кроме своих соотечественников. Если же он хочет включиться в жизнь города, в его повседневность, он должен перестать видеть в нем шедевр Возрождения и приспособиться к его быту. Второй путь может даже привести к разочарованию: путешественник заметит, к примеру, что зачастую некоторые характерные черты Венеции остаются "венецианскими" не сами по себе, а для того, чтобы привлекать туристов. Мало-помалу от этого создается общее впечатление неестественности. Но от разочарования есть множество лекарств.

Совместить несовместимое почти невозможно. Но можно носить в себе приглушенное, потаенное восхищение красотой Венеции, гуляя по ней и приспосабливаясь к ее повседневности. Для этого нужно увидеть в микрокосме макрокосм, найти целостность города в отдельных, частных его компонентах. Это значит, что необходимо искать квинтэссенцию города в каждом его лакомом кусочке, открывающем его сущность. А это требует большой умственной гибкости. Чем прочнее ваша связь с городом (работа, друзья, дом и так далее), тем ограниченнее становится ваше представление о нем, тем менее спонтанно восприятие. Вы ощутите это скорее, чем можно ожидать: Венеция — крошечный город, всю ее (не считая Мурано, Бурано и Торчелло) можно пройти пешком за день. Но это неизбежный компромисс для любого, кто хочет не только восхищаться внешним обликом Венеции, но и увидеть ее изнутри, ощутить биение ее сердца. Это тот поиск, который приведет человека любознательного к насыщенным, гармоничным отношениям с городом, чья уникальность и сегодня, как и всегда, вызывает благоговение.

1. Дóма (*итал.*). (*Прим. перев.*)

Марина Бородицкая

Горсть мелочи, или Записки из автобуса

В тетрадках беглые заметки
Из путешествий налегке,
Как иностранные монетки,
Что завалялись в кошельке...

Начала я эти безалаберные заметки довольно давно, в середине девяностых, когда выяснилось, что Париж существует на самом деле и туда можно съездить на автобусе, "пролистав" по дороге пол-Европы. Никаких особенных задач я себе при этом не ставила, просто ездила, смотрела и по привычке сама себе переводила увиденное и услышанное. Иногда из-за плеча переводчика высовывался детский писатель и начинал громко удивляться и азартно что-нибудь объяснять. Поэт тем временем тоже не помирал от бескормицы... но об этом — в конце. Автобусы с небогатыми российскими туристами колесили по Европе, записки мои пополнялись — и в конце концов сложились в книжку из трех частей с дюжиной разномастных и разновеликих глав и подглавок: "Скандинавгуст", "Италия зимняя", "Бенилюкс, бывшее Понизовье" и т. п. Часть третья и последняя, "Великая Британия", датируется (при помощи старого загранпаспорта) 2002-м годом.

Чтобы разрезать и огранить алмаз, нужен другой алмаз. Не обязательно такого же качества, но непременно алмаз. Так мне объяснили однажды в Амстердаме (о чем свидетельствует запись в блокноте и приписка: "Вот вам и вся теория и практика художественного перевода!"). Чтобы тайно влюбиться в тот же хулиганский, слегка обкуренный Амстердам, в ослепительную Венецию или пасмурный Брюгге, не так уж и нужен глаз-алмаз. Мне, например, вполне хватило привычки странствовать по свету — по примеру героя О. Генри — с широко открытыми глазами. И разинутым ртом.

Великая Британия

— Дура, закрой рот! — сказала я себе, собираясь в поездку по туманному Альбиону. — И убери блокнот. Со всей остальной Европой можешь крутить курортные романы, а с Англией у тебя, слава богу, отношения серьезные, прочный переводческий брак. Так что — или пиши чего-нибудь глубокомысленное про связь культур, или не пиши совсем. Глазей в окно и наслаждайся жизнью.

Честное слово, не знаю, как это вышло, но на полпути из аэропорта Хитроу в Йорк оказалось, что на коленях у меня плашмя лежит убранный было на багажную полку портфель, поверх него привычно устроилась тетрадочка в клетку с уже искаляканной первой страницей, а сидящая рядом родная сестра, утратив последнюю надежду на человеческое общение, покоится в объятиях Морфея.

Ну что ж, добру не пропадать... Прости меня, английская культура!

Город Йорк аж до XVIII века был вторым по значению после Лондо-

© Марина Бородицкая, 2007

на. Как-никак стратегический центр всей северной Англии! И вечно его все захватывали. Сперва, конечно, римляне (тут, кстати, недалеко находился — и отсюда "управлялся" — знаменитый Адрианов вал, так здорово описанный у Киплинга[1], многокилометровая крепостная стена, возведенная для защиты северных рубежей империи от зловредных шотландцев и разных прочих пиктов). Потом саксы, потом, в IX веке, датчане-викинги, тут у них столица была, называлась — Йорвик. Есть даже музей такой, Центр викингов, посетителей в специальных вагончиках везут под землю, как бы в глубь веков...

В XI веке, как известно, пришли норманны. Разрушили тут всё до основанья, а затем — своих крепостей настроили. И вросли, и смешались с местными, и остались навсегда: в крови, в языке (60 % лексики!) и так далее.

В Йорке родились Даниель Дефо и любимец Пушкина Лоренс Стерн. А еще — Гай Фокс, организатор "Порохового заговора", это его чучело носят по улицам каждое пятое ноября, а потом сжигают на радость ребятишкам.

Есть особая, вечерняя экскурсия по Йорку, ее проводят местные студенты. Называется "призраки Йорка". Как стемнеет — наряжаются сами и экскурсантов наряжают привидениями, разбойниками всякими и бродят компанией по улочкам и кабакам, народ пугают и себя немножко. В общем, подрабатывают.

Йоркский "Минстер" — самый большой готический собор к северу от Альп. Витражи здесь уникальные. В начале войны их сняли и попрятали в надежных погребах и подвалах у окрестных фермеров. Потом собрали вновь, но на это ушло 22 года. Есть там одно окошко — на деньги медицинской гильдии сработано, — где людей изображают животные. Аристократия — гуси, священники — петухи, король — лев, конечно, а сами доктора — обезьянки. Да, еще лисы — юристы!

В 1826, кажется, году в деревянной середке, сердцевине собора устроил пожар какой-то маньяк. Хотел церковь реформировать. Сгорел старый орган, пришлось ставить новый, теперь его зовут "старый орган", а рядом стоит совсем уж современный, весь из белых, длинных, непонятных параллелепипедов.

Старый центр Йорка можно весь обойти по крепостной стене. Километров пять, что ли. Только у нас, как всегда, нет времени. Но как же здорово идти по стене и в английские садики — задние дворики — сверху заглядывать, словно в чужие окна...

Кстати, о крепостных стенах. Англы и саксы крепости свои строили из дерева. Лишь бы скорей! (Это когда они тут впервые утвердились, среди враждебных племен.) Ну и не осталось от них ничего. Норманны строили прямо на развалинах, на чужих фундаментах, им и от англосаксов, и от кельтов (шотландцев, валлийцев) отбиваться надо было. Эти строили — лишь бы покрепче. Если начинали с "нулевого цикла", то сперва чертили круг и рыли ров, из вынутой земли посередке насыпáли холм, на нем и возводили донжон, как правило, каменный, кубической формы, с угловыми башнями, метров так 15 × 15 × 30. Толщина стен 3–4 метра, вход на уровне второго этажа, внизу — склад или тюрьма, или то и другое. Их даже бомбы немецкие не брали в XX веке! Ну, о комфорте, конечно, не очень заботились, для спален места почти не было, всё больше пороховые склады.

Веке этак в XII–XIII потянулись домой с востока поумневшие крестоносцы и начали по всей Европе крепости строить концентрические. Или цилиндрические? В общем, круглые. Штурмом взять такую крепость практически невозможно, только осадой. А это долго и страшно невыгодно, так как осаждающую ар-

1. Имеется в виду детская книга Р. Киплинга "Пак с волшебных холмов" (рус. перев. 1996).

мию тоже надо кормить. Был, правда, способ: тянули под стенами осажденной твердыни особый такой тоннель — подкоп, в сущности, на деревянных (!) крепях — и поджигали. Тоже долго, дорого, но эффективно. Стены рушились.

В Шотландии после победы Роберта Брюса над Эдуардом II начался такой всплеск национального сознания — тысячи крепостей понастроили! Каждый лэрдик непременно хотел свою. Но вообще-то шотландская крепость — это для защиты от набегов, а не от серьезной осады. Башенки квадратные, в круглых все-таки жить неудобно, вдоль стен ничего не поставишь... Набегали же в основном соседи: пограбить, что плохо лежит, недограбленное — попортить.

Когда англичане завоевали большую часть Уэльса, там пару сотен лет правили наместники, так называемые "лорды границы". Эти тоже неприступных крепостей понастроили, например, Кардифф (*кар* – или *кэр*? — это, кажется, по-кельтски "крепость" и есть).

Это все речь шла о крепостях. А вот замки в Англии начали строиться веке в XV–XVI, а уж после пошли и дворцы...

Наконец-то мы в Шотландии! Здесь живут примерно 5 млн человек. И 10 млн овец и баранов.

В Эдинбурге есть памятник Шерлоку Холмсу. Бронзовый, в знаменитом кепи. Оказывается, Конан Дойл, хоть по крови ирландец, был отсюда родом, здесь рос и учился.

Еще есть памятник песику Бобби: символу верности, с года осиротевшему и до самой смерти (14 лет!) жившему на могиле хозяина на кладбище Грейфрайерз. С могилки Бобби отлучался только поесть. Его многие подкармливали, хотели "усыновить", но он — ни в какую. Рядом с памятником, естественно, паб: "Грейфрайерз-Бобби бар".

Почти все дома в городе из песчаника и потемнели, впитав вековую копоть от производства благородного напитка. Виски, разумеется.

К Мари де Гиз, матери Марии Стюарт, сватался когда-то сам Генрих VIII[1]. Но она ему, говорят, ответила: "Большое спасибо, сэр, но у меня слишком тонкая шея". И вышла за Якова V Стюарта.

"Растительный" символ Шотландии — чертополох. Есть даже рыцарский орден Чертополоха: туда только тех принимают, кто поработал для славы и процветания Шотландии. Недавно усопшая английская королева-мать тоже была членом Ордена. Ужасно хочется стать рыцарем Чертополоха! Может, и меня примут за переводы из Бёрнса?

А дело было так. В XIII, что ли, веке напали на местных норвежские викинги, завязалась война. Как-то ночью решили норвежцы подкрасться к нашим и перебить спящих. Чтобы шума не поднимать, шли босиком. А чертополох-то колется! Один вскрикнул, другой чертыхнулся — ну и разбудили шотландский лагерь. Наши повскакали и отстояли свою независимость, и стал колючий сорняк национальным героем.

Когда английский палач отрубил голову Марии Стюарт, он хотел было поднять ее за знаменитые рыжие волосы, чтобы, как водится, показать почтеннейшей публике. Но в руках у него остался рыжий парик, голова же оказалась совершенно седой. Может, это и легенда, но из тех, что стоило придумать. Какая женщина! На казнь — и в парике.

В Шотландию по приглашению Якова VI (для англичан он — король Яков I) приехал как-то раз Шекспир. Погостил и, чтоб сделать хозяину приятное, написал пьесу "из местной жизни". Называется "Макбет". А чтоб сделать хозяину еще приятнее, ввел

1. Английский король Генрих VIII имел обыкновение казнить своих жен путем отрубания головы (из шести жен казнил двух: Анну Болейн и Кэтрин Хоуард).

туда трех дополнительных персонажей: злобных ведьм. Потому что у Якова этого любимое занятие было — охота на ведьм с последующим сжиганием. Вот что значит детство без матери, без любви...

Ведьм в Шотландии определяли так: связывали руки-ноги и бросали в озеро. Утонет — значит, все в порядке, упокой Господи ее невинную душу. Выплывет — тоже порядок. Раз ей дьявол помог — значит, ведьма, выловить ее и сжечь.

"Королевская миля" — старейшая и любимейшая улица Эдинбурга. Если посмотреть сверху, она в точности — хребет гигантской рыбы, а в обе стороны отходят "ребрышки"-переулки. Это и не переулки даже, а узехонькие проходы, по-здешнему "close", иногда с лесенками, иногда без, круто уходящие вверх или вниз, особенно вблизи Замка.

Эдинбургский замок вырастает прямо из гигантской вулканической скалы посреди города. Там есть всё: и часовни, и офисы, и пушки, и катакомбы, и XII век, и XX (так умело под старину подогнанный — не отличишь!). И оглушительные "боевые" волынки, бич экскурсоводов, в руках у лихо притоптывающих музыкантов в клетчатых юбках-килтах и белых гольфах с толстенными отворотами...

Еще в замке хранятся драгоценности шотландской короны и под тем же стеклом — здоровенная каменная глыбища, брусок такой центнера в полтора весом — "камень Судьбы". Он, по преданию, служил подушкой святому Иакову (тому, что узрел лестницу, ведущую в небо), а позже на нем сидели — при коронации — шотландские монархи. Потом его англичане забрали в Лондон, потом шотландские патриотически настроенные студенты выкрали обратно, потом вернули, потом... в общем, вот он, лежит себе рядышком с золотым скипетром и ждет, что будет дальше.

Вышли мы на Королевскую милю, на ее пешеходную часть, а там — батюшки-светы! Перформанс на перформансе. Тут разыгрываются сценки на ходулях, там симпатичный китаец с табличкой на шее "Леонардо ди Каприо" медленно опускает в стеклянную миску с водой куклу Барби на веревочке. Из магнитофона льется пение Селин Дион, рядом валяется пенопластовый кубик на палочке с надписью "айсберг"... В общем, гибель "Титаника". И, кроме шуток, действительно ужасно смешно. Особенно в конце, когда парнишка поднимает табличку с двумя китайскими иероглифами, а между ними — знак фунта, старинное латинское "эль" с петелькой и черточкой. В миску летят монеты, не слишком много, но все-таки.

Шотландцы яростно гордятся своей культурой, но тратиться на нее — увольте! Музей писателей в Эдинбурге, тоже на Королевской миле, — трогательно бесплатный, да еще и зазывают туда молодые актеры, разыгрывая во дворике сцены из биографии сэра Вальтера Скотта. А внутри, среди прочих интересностей, хранится его детская лошадка-качалка, грубоватая, плоская, больше качалка, чем лошадь, а приступочки для ног — разной высоты: маленький сэр Вальтер переболел полиомиелитом. И трости его там, и курительная трубка, длиннющая, и всякие вещи Бёрнса и Стивенсона...

А ребята-актеры устраивают вакханалию на Королевской миле потому, что в Эдинбурге идет сейчас театральный фестиваль. И каждая труппа зазывает на свой спектакль. Афишки раздают, а названия — заслушаешься! Тут тебе и "Поцелуй женщины-паука"[1], и "Банановые шкурки", и какая-то дьявольщина (заказ билетов по телефону 666–666), и, конечно, "Властелин колец" (в исполнении студии "Золоченый баллон" в Каугейте, то есть "у коровьих ворот").

1. Аллюзия на роман Мануэля Пуига "Поцелуй женщины-паука". "ИЛ", 2003, № 6.

А еще на Королевской миле (она вообще-то ведет от Эдинбургского замка к дворцу Марии Стюарт) сохранился дом купца богатого, которому все соседи завидовали и постоянно громко высказывались в том смысле, что, мол, несправедливо это, не по-божески, одному — этакий домина, а другим ничего. Хозяину, видно, надоело отругиваться, и он прямо на фасаде, между окнами, велел вырезать разные надписи: "Сегодня повезло мне, завтра тебе", "Говори что хочешь, я все равно не слушаю" и просто "Сам дурак!" В общем, на всякий вкус, выбирай, что нравится.

Эдинбургские уличные волынщики дуют в свои сумчатые дудки так оглушительно, что хочется немедленно от них откупиться: бросить монетку, чтоб замолчали. Ах, не делайте этого! Материальное поощрение их только пуще раззадорит. Вот, оказывается, откуда пошло выражение "завести волынку"...

На бульварах и скверах, да и просто на улицах полно удобных и симпатичных деревянных скамеек с табличками: "В память о моей замечательной жене Мэри Такой-то, которая любила отдыхать в этом парке" или "Моему любимому мужу Джону Макдугласу — в подарок на 10-ю годовщину нашей свадьбы" и т. п. Вообще в Англии такие скамейки не редкость. И что за прекрасная идея! Лучше всякого памятника, и даже помирать не обязательно, чтоб в твою честь установили такую лавочку для усталых путников и городских эпикурейцев. Хорошо бы это внедрить в Москве... надо только заранее подобрать себе местечко.

Водитель сбрасывает скорость, и автобус наш степенно въезжает в национальный парк "Озерный край". Шестнадцать озер больших и много маленьких. Сто восемьдесят гор, включая самую высокую точку Великобритании. В общем, заповедный кусок страны, километров примерно сорок на сорок.

И почему-то в этом "квадратике" сохранилась необычайно богатая флора и фауна. Огромное разнообразие видов, есть такие птицы и цветы, каких нигде в мире больше не встретишь.

Озёра — глубочайшие, вулканического происхождения, от 200 до 700 метров. А в горах, в бывших кратерах, дремлют озера дождевые. Дождей выпадает много, и чаши кратеров переливаются через край водопадами.

А прославили эту местность когда-то во множестве водившиеся тут поэты, художники и т. п. Первым открыл здешние красоты, кажется, Томас Грей, поэт XVIII века, автор знаменитой "Элегии на сельском кладбище". За ним потянулась целая компания будущих классиков, а тогда — еще молодых, лет на 30 раньше Пушкина родившихся поэтов романтически-созерцательного склада. Уильям Вордсворт (его стихотворение "Нарциссы" для англичан — примерно то же, что для нас "Люблю грозу в начале мая"), Сэмюэл Колридж, Роберт Саути — эта троица так себя и величала: *лэйкисты*, то есть озёрники, или поэты Озерной школы.

Городишко Грасмир меж четырех озер — самый центр края, здесь музей Вордсворта, а нарциссов этих столько, что их даже используют в парфюмерной промышленности. Население — всего 1000 человек, если б не музей поэта — деревня деревней, а так — ни один турист мимо не проскочит.

> Если к вам в деревню забрел поэт,
> Предложите ему остаться:
> Ваших правнуков через сотню лет
> Будет он кормить, может
> статься...

Поэтов на всех не хватило, и в местечке под названием Кезвик устроили музей карандаша. Тут, оказывается, году этак в 1500-м впервые открыли графит.

Городок Амблсайд близ озера Уиндермир, самого большого из шестнадцати. Дома здесь сложены из плоских сероватых камней, именно *сложены*, такими стопочками, и никакого скрепляющего раствора даже не видно (хотя он есть, наверное?). И такие же изгороди.

Не хочется ехать дальше. Хочется засесть в пабе, верней, перед пабом, потягивать пиво за грубым деревянным столом и долго пускать дым в нежно-пасмурное, легкое, почти прибалтийское небо.

В тихую безветренную погоду в озерах, особенно которые поменьше, берега и островки отражаются с такой идеальной четкостью, что непонятно, где кончается суша и начинается вода. И ничего лучшего на ум не приходит, чем избитое "зеркальная гладь".

Вообще, когда путешествуешь по Англии, ужасно много красивых банальностей лезет в голову, например: "изумрудная трава", "жемчужная дымка", "бархатный газон", а то и "купы деревьев"...

Но у нас впереди Ливерпуль. Говорят, в Ливерпуле, кроме музея "Битлз", смотреть нечего. А галерея "Тейт"? В Лондоне, оказывается, вторая, а первая-то здесь, потому что Тейт этот самый — ливерпульский сахарный магнат.

Н-да-а, видно, все самое интересное позабирали-таки в Лондон. В местной галерее один авангард остался. Инсталляции всякие из пивных бутылок. Нечестно!

Зато рядом порт. Доки знаменитые! "Титаник" опять же отсюда отплывал, есть даже особый музей "Титаника". И вообще тут музеи — самые невообразимые, куда там Кезвикскому карандашу. "Музей истории развития лабораторий" — вот это да!

Город Честер, на самой границе Англии и Уэльса, славится знаменитыми фасадами — черно-белый фахверк — эпохи Тюдоров, потрясающим собором чуть ли не XI века, ну и, конечно, "римским наследством": крепостными стенами, по которым можно обойти весь исторический центр. Причем местные уверяют, будто стен таких нигде больше в Англии нету. Мы не спорим, хотя недавно приехали из Йорка. Не хочется огорчать экскурсовода, милейшего старикана, говорящего — хоть и медленно, с трудом, — по-русски и представившегося нам по имени-отчеству: Джон Гугович.

А ведь это где-то здесь, в графстве Чешир, если верить сказочнику Алану Гарнеру[1], спят в заколдованной пещере, в ожидании решающей битвы добра со злом, рыцари короля Артура и их белоснежные кони. Я, когда переводила "Камень из ожерелья Брисингов" и "Луну в канун Гомрата", совсем не так себе представляла здешние места. Таинственней, что ли... Седовласый Джон Гугович на прямой вопрос о рыцарях отвечает уклончиво. Явно замешан!

Местная шутка про погоду: если с Честерских стен видны горы Уэльса, значит, скоро будет дождь. А если не видны, значит, дождь уже идет.

Под проливным дождем мы уезжаем из Честера. Хорошая примета.

В Уэльсе сохранились еще деревни, где не говорят и не понимают по-английски. Валлийский язык живет и здравствует, правда, пользуются им всего 35% населения. Зато на нем поют, и как! Очень необычно звучащий язык, хоть и индоевропейский.

В 1281 году Эдуард I, уже завоевав Уэльс, созвал местных старейшин, которые все еще хорохорились и делали вид, будто могут с ним торговаться, — дабы объявить, кто теперь будет ими править. И поставили они ему три условия: чтобы новый правитель по-английски не говорил ни слова, родился чтоб в Уэльсе и ни в каких политических интригах не был замешан. А он им — пожалуйста! И

1. Аллюзия на двухтомник британского писателя, автора фэнтэзи Алана Гарнера (р. 1934) "В канун Гомрада" (рус. перев. 1996, 2-е издание — 2003).

предъявил своего новорожденного сына. С тех пор все наследники английского престола до коронации носят титул принца Уэльского.

Про Кардифф ничего писать не буду, очень он меня огорчил. В замок нас не пустили: у них, видите ли, сейчас начнется *мероприятие*. А на улицах мусора по колено, даже клумбы цветочные, такие красивые, необычной формы, и те все в банках и бумажках. В общем, что-то слышится родное... И это потомки древних кельтов! Поберегу лучше место в тетрадке для Стратфорда-он-Эйвон.

"Шекспир владел восьмою частью глобуса..." Можно назвать это строчкой из ненаписанных стихов, а можно гордо — одностишием. Нет, правда, когда театр "Глобус" акционировали, Шекспиру досталась одна восьмая часть. Не так уж плохо: восьмая часть при жизни, а после смерти — весь мир.

Опасность чумы в шекспировские времена была так велика, что детей до трех лет из дому не выпускали, поили материнским молоком, а потом — минуя воду (из речки! вдруг зараза?) — сразу пивом (элем) или легким яблочным вином. И все-таки до Уильяма трое детей в семье умерли в младенчестве.

Шекспир учился в "grammar school" — грамматической школе, вроде гимназии. Значит, изучал латынь, греческий, математику, историю. С 11 лет *разговаривать* в школе полагалось на латыни, изучалась уже и философия. После 14 лет можно было отправляться прямо в университет, только он не захотел. То есть остался при таком же примерно образовании, как большинство наших поэтов Серебряного века. С той лишь разницей, что они его в школе проходили, а он их — нет.

Дом, купленный Шекспиром в 1610 году — чтоб удалиться "на покой", — не сохранился, его снес следующий владелец, которому надоело, что все приходят и спрашивают: "Это здесь жил знаменитый Уилл Шекспир? А можно посмотреть?" Он даже дерево срубил, шелковицу, самим поэтом посаженную, под которой тот любил отдыхать, — потому что и про дерево спрашивали. Да уж, зависть города берет, что там говорить о домах...

А вот дом Анны Хэтуэй, где она жила до замужества, еще с родителями, уцелел. Почерневшая соломенная крыша — одиннадцать поколений одной семьи под ней выросло, и примерно раз в год приходилось настилать новый слой, аж 20 тонн соломы слежалось на этой крыше!

В соломе водились мышки, а то и крыски, не говоря уж о насекомых. Потолков не было, зато балдахин над кроватью в спальне наверху был насущной необходимостью. А то ведь некоторые любят спать на спине, да еще с открытым ртом...

В доме сохранился обеденный стол с переворачивающейся столешницей. Для гостей поворачивали полированной стороной кверху, для себя — обходились простой, грубо обструганной.

Кстати, цел и дом, где родился сам Шекспир, но внутри там — все другое: просто предметы той эпохи. Папа у будущего классика был перчаточник — в сущности, кожевник — и работал на дому. Так что воняло там, говорят, будь здоров. Но в те времена мало кто обращал внимание на такие мелочи.

Замок Уорик на огромной скале все над той же рекой Эйвон — самый знаменитый средневековый замок в Англии. Там есть все, чему в замке быть положено, и даже больше. Входишь — указатели: "Башня призраков", "Королевские апартаменты", "Викторианский бал", "Донжон", "Камера пыток", "Туалет".

"Викторианский бал" — это фигуры восковые, в декорациях и костюмах той эпохи, якобы в гости съехались к герцогу Уорикскому и леди Фрэнсис: тут и принц Уэльский, и совсем юный Уинстон Черчилль, ху-

денький, с мамой приехал (44-летняя мама вовсю кокетничает с молодым каким-то сэром, своим будущим мужем), и Вандербильдиха (та самая!) с камеристкой и младенцем, и из России тоже какие-то гости царских кровей, — в общем, как объясняет встречной группе веселая девушка-экскурсовод из Израиля, "все бездельники Европы прикатили на этот бал" (дело было в 1898-м).

А за стенами, на крутых склонах, до самого Эйвона, терраса за террасой — сады с павлинами, живыми и искусно "выстриженными" из тисовых или самшитовых кустов, оранжереи, розарии... И жуткое количество туристов, и заезжих, и английских (воскресенье!), с истошно ревущими, никак не желающими проникаться духом просвещения младенцами.

20 % всех деревьев в Лондоне — платаны. Лондонский платан — разновидность европейского, и все же чуть-чуть другой, островной... За окошком автобуса зеленеет Гринпарк. Здесь по традиции не сажают цветов, потому что была когда-то больница для прокаженных, а по средневековому суеверию там, где живут прокаженные, цветы не растут.

Площадь Пикадилли по-английски не "сквер" (квадрат), а circus — "цирк" или "круг". Она и правда круглая. Тут стоит первая в Лондоне алюминиевая скульптура — вот диковинка-то была в конце XIX века! — фонтан "Эрот".

Название улицы "Хэймаркет" означает "Сенной рынок", на углу — фонтан с лошадьми.

А вот площадь Трафальгар — как раз "сквер", и все равно не квадратная! Тут стоит знаменитая колонна Нельсона, вроде питерского Александрийского столпа, только наверху — адмирал Нельсон, разбивший наполеоновский флот у мыса Трафальгар и там же погибший. Его звали Горацио.

Львы у подножья колонны перелиты из трофейных французских пушек.

На этой самой площади сидит верхом и маленький Карл I (скульптура XVII века) — самая старая в Лондоне конная статуя. Здесь же — Национальная галерея живописи, всё что угодно в подлиннике: от "Венеры и Марса" Боттичелли до "Подсолнухов" Ван Гога.

Вестминстерский мост. На одном берегу Темзы — Парламент с Биг-Беном, на другом — самое большое в мире, стосорокаметровое "чертово колесо".

Через улицу от Парламента, тоже на набережной, его новое здание, по кличке крематорий. Вообще-то здание Парламента — старое, знаменитое — следует называть "Вестминстерский дворец". И в нем только центр — настоящий, остальное — поддельная готика, викторианская. Часовая башня примыкает к палате общин. Но не часы, не сама башня, а только один из пяти колоколов *над* часами носит имя Большой Бен.

Зато Вестминстерское аббатство, тут же рядышком, — самая настоящая готика, XII- XIV век!

Сейчас Темзу можно пересечь по 35 мостам. А когда-то — и довольно долго, века до XVII — мост был всего один и назывался просто: Лондонский. В XI веке норвежский король Олаф его развалил, каковое событие отражено в знаменитой песенке "London bridge is falling down, falling down..." ("Лондонский мост падает, падает..."). Ох уж эти английские песенки-потешки, вроде чепуха, детская считалочка, а на деле — история.

Лэмбетский мост по бокам выкрашен красным, Вестминстерский — зеленым. Палата лордов в Парламенте выдержана в красном цвете: кресла, стены, даже мешок с шерстью два на два метра, символ национального богатства, на котором с XVI века сидит лорд-канцлер, — ну и мост ближайший покрасили под цвет. А в палате общин — всё зелененькое...

Непременно надо постоять на мосту Ватерлоо, отсюда самый лучший вид

на город: с одной стороны Сити, с другой — Вестминстер.

А с вокзала Ватерлоо уходят поезда через тоннель под Ла-Маншем: 3 часа всего от Лондона до Парижа! Билет в оба конца стоит примерно 80 фунтов, если повезет, можно купить за 60.

Вообще, современный Лондон образован слиянием двух городов: The City of London (буквально: город Лондон) — и The City of Westminster (город Вестминстер). Вест-минстер — значит "монастырь на западе". Первому две тысячи лет, второму — всего тысяча, его основал Вильгельм Завоеватель.

Сейчас в Сити никто не живет. Зато полмиллиона людей приезжают сюда на работу. Со знаменитой Флит-стрит поразъехались почти все редакции газет и журналов, но агентство Рейтер осталось, вон их дом, над входом трубит в свою трубу архангел Гавриил.

Собор Святого Павла стоит на самой высокой точке Сити — то есть старейшей части Лондона площадью в одну квадратную милю. Это уже седьмой собор на этом месте. Первый, естественно, был римский...

Предпоследний сгорел во время знаменитого пожара 1666 года (который начался ночью в пекарне, полыхал два или три дня, сгорело — всё!); вот в нем-то и работал настоятелем Джон Донн.

Есть тут и памятник пожару, современный: колонна с золотым шаром и обзорной площадкой наверху.

В Сити еще видны развалины храма Митры — на вершок от земли, но все же! Камушки эти помнят основанное здесь в 43-м, кажется, году нашей эры римское поселение Лондиниум.

Новая городская ратуша — какое-то падающее стеклянное яйцо. А внутри все столы стоят так, что служащие сидят лицом к окнам. А за окнами — Темза, Тауэр виден, какая уж тут служба, только стихи сочинять или романы исторические...

Петр I, когда задумал строить Петропавловскую крепость, взял Тауэр за образец. Не архитектуру, а просто ему понравилось, что всё сразу, вместе, под рукой: и тебе жилье, и крепость, и тюрьма с камерой пыток, очень удобно.

В Темзе больше ста пород рыбы водится, то есть вода довольно чистая, но выглядит мутной — это от ила. Потому никто и не купается: дно илистое, сразу провалишься по колено. Кстати, море так близко, что в черте города вода еще соленая. Ну, солоноватая. Даже дельфины иногда заплывают.

У Карамзина в "Письмах русского путешественника" сказано: "На берегу Темзы строят дворец, но не для царей, а для государственных учреждений" (1790). Так это про Сомерсет-хаус, теперь тут комплекс музеев.

У мраморного памятника королеве Виктории перед Букингемским дворцом расставлены, как водится, разные аллегорические бронзовые фигуры. Вот женщина опирается на льва, в руке у нее серп, на другом углу мужик, тоже на льва опирается, в руке — не верите? — молот! И это в 1913 году.

В Букингемском дворце около 600 жилых покоев, из них посмотреть — когда королева в отпуске, в шотландском Балморале, — можно 30. Еще можно заглянуть в королевские конюшни, тоже очень даже обитаемые.

В каждом городе есть свой "Латинский квартал", в Лондоне это Челси. Тут живали и работали Оскар Уайльд, Джером Джером, вообще многие писатели и художники. Томас Мор, сочинитель "Утопии" (правда, у него тут было загородное имение, в XVI веке Лондон сюда еще не дотянулся), Джордж Элиот, историк Томас Карлайл...

Виндзор, куда мы едем подышать монархическим воздухом, расположен недалеко от Хитроу. Местная шутка: американский турист с досадой восклицает: "Ну что ж это такой красивый замок – и у самого аэропорта построили!"

В Виндзорском замке, в его "гостевых" покоях, которые в отсутствие высоких гостей открыты для туристов (в жилую часть не пускают), в огромной стеклянной витрине выставлен кукольный домик королевы Марии, подаренный ей ко дню рождения – в 1923-м, кажется, году – "английской нацией". Кукол в нем нет, хотя любой ребенок на свете был бы счастлив расставить там своих солдатиков или разложить пупсов. Домик этот – точная копия дворца, внешние стены которого подняты вместе с крышей и интерьеры всех комнат – даже ванной для слуг – открыты с четырех сторон.

И все там *настоящее*, хотя и маленькое, масштаб, нам сказали, 1:16 (в солидном американском путеводителе Фроммера почему-то 1:12 – кому верить, спрашивается?). Мебель сделана на лучшей в стране мебельной фабрике, "роллс-ройсы" в гараже – на заводе фирмы "Роллс-ройс", детские колясочки в саду – на соответствующей фабрике, и все действует: лифты, водопровод, даже мышеловки! Крошечные книжечки на полках в библиотеке – настоящие, многие тексты подарены авторами – Р. Киплингом, например, – а Конан Дойл даже маленький рассказик о Шерлоке Холмсе написал специально для такой книжицы, совершенно новый... Надоест любоваться – можно "надеть" сверху крышу и стены. Полторы тысячи человек вложили в это дело свой труд, а ушло на все – три года.

Оторваться невозможно, хотя и понимаешь, что надо совесть иметь: люди подолгу стоят в очереди на улице, многие с детьми, чтобы поглядеть на эти диковинки.

А в зале, посвященном рыцарям ордена Подвязки – их всего 25 человек осталось, настоящих, а почетные есть по всему миру, например Гагарин был рыцарем этого ордена, – так вот, в зале этом, в уголке стеклянной витрины, красиво вделанная в медальон, хранится свинцовая пуля, убившая в Трафальгарской битве адмирала Нельсона.

– Зачем вам на нее смотреть? – вздохнул пожилой служитель, когда я попросила показать пульку: никак не могла ее найти, так там всего много. – Ведь он-то ее не видел!

А другой добавил, сперва поинтересовавшись, откуда мы (вдруг из Франции?):

– Адмирал был на вантах, на захваченном французском судне, и тут вражеский снайпер выстрелил в него и попал в шею, вот сюда...

Вообще-то на себе показывать – плохая примета, но я сказала только:

– Зато мы победили.

И он мне:

– Еще как!

На новом, высоченном колесе обозрения – по прозвищу "Лондонский глаз" – мы тоже прокатились. Капсулы-кабинки стеклянные, наглухо закрываются, каждая человек на 25, посередке скамья такая овальная, хочешь – сиди, хочешь – стой у прозрачной стенки, фотографируй Биг-Бен и кораблики на Темзе с высоты птичьего полета. Перед посадкой предупреждают: если кому станет вдруг нехорошо – нажимайте кнопку специальную, вас эвакуируют. Интересно, как? Вот бы на вертолете!

Поднимаешься медленно-медленно, полный оборот – полчаса. Вообще здорово, только не хватает чего-то. Не страшно ни капельки, дух не захватывает, не то что у нас в Парке культуры, на старом чертовом колесе.

В Вестминстерском аббатстве можно посмотреть на специальное "кресло для коронаций": на нем испокон веков короновались английские монархи. А рядом, в музее, хранится второе, или запасное, кресло – простое, потемневшее, деревянное и сплошь исцарапанное какими-то каракулями вроде "здесь сидел Джонни Браун".

Это мальчишки из Вестминстерской школы постарались, еще в XVIII веке! Вот уж что не изменилось на свете, так это мальчишки — и вторая древнейшая функция перочинного ножичка (первая отмерла давно).

В том крыле Аббатства, где знаменитая часовня Девы Марии — местные уже много веков зовут ее просто Часовня (The Chapel), — стоит посередке большой зеркальный стол. То есть столешница у него — зеркало. И можно, не запрокидывая мучительно голову, не спеша разглядывать узоры потрясающего, будто из светло-бежевых песочных кружев сплетенного потолка. Рядом седовласый, полный достоинства служитель в красной накидке ненавязчиво рекомендует народу "пожалеть свои шеи" и воспользоваться этим исключительным удобством, которое пожертвовал городу (так на табличке написано) какой-то весьма почтенный сэр.

В Аббатстве масса старинных мраморных надгробий — и в нишах-усыпальницах, и просто вдоль проходов. Почти на всех — изваяние усопшего, в парадной одежде или доспехах, как минимум в натуральную величину, лежащего либо на спине (только нос торчит кверху да сложенные лодочкой ладони и носки туфель), либо на боку, подперев голову рукой, в задумчивой позе. Ощущение — фантастическое: как будто бродишь невидимкой среди раскинувшего здесь лагерь и расположившегося на отдых мраморного войска.

На все мемориальные плиты в Аббатстве можно наступать ногами, даже на ту, где написано: "Лорд Джордж Гордон Ноэль Байрон". Только по одной плите не ходят: под ней захоронены останки неизвестного солдата, погибшего в Первую мировую, а вокруг — траурная кайма из алых бумажных маков с черными сердцевинками. Рядом на колонне висит медаль: посмертная награда английскому солдату, безымянному киплинговскому Томми — от Америки. На плите, кроме всего прочего, есть такая надпись: "Его похоронили среди королей, ибо он совершил благое дело во имя Бога и своего дома."

Дом англичанина — его крепость. Нам тоже пора домой... Скоро автобус подъедет к аэропорту, и картонная обложка исписанной тетради захлопнется за нами, как поднятый мост.

Вместо послесловия
Стихи из разных путешествий

Вообще говоря, всякое стихотворение — сувенир из какой-нибудь поездки: внутрь себя, например, или назад во времени. Из путешествий же самых обыкновенных, в пространстве, освеженная и нагулявшаяся душа почти всегда возвращается с уловом. Иногда стихи прибывают на родину тем же рейсом, что и автор, иногда задерживаются, как отставший багаж, а некоторые вообще едут малой скоростью по нескольку месяцев и даже лет... Зато и радуешься им — как блудным детям.

Из Англии вслед за мной добралось вот это:

Англичане мои! младенческая мечта —
быть как вы: я и спину старалась держать прямее.
Но не складывалась иронически линия рта,
и подрагивала губа, твердеть не умея.

Героический Вальтер Скотт! Убийственный Свифт!
Безупречный джентльмен с Бейкер-стрит! В самом деле,

коль родился садовником, волен ты делать вид,
что цветы тебе надоели. Все надоели.

Сэр, не правда ли? Правда, сэр... Это скрип дверей,
это входит дедушка Диккенс. Я в детстве даже
обижаться не стала, что гнусный Феджин — еврей,
как у Гоголя отрицательные персонажи.

Нет, любовь моя — словно крепость: в ее стенах
мирно дремлют ягненок с тигром и черт с младенцем,
и скелет в чулане — точней, обгорелый прах,
потому что сэр Уинстон Черчилль *знал* про Освенцим.

Это приехало из Парижа:

А пока небесные глаголы
Слуха не коснутся наконец,
Ты сидишь в витрине полуголый —
В точности египетский писец.

В гулком Лувре эхо полнит своды,
И привычно взяв тебя в кольцо,
Тычут пальцами экскурсоводы
И зевают школьники в лицо.

Ты, конечно, тоже чудо света,
Но туристу будоражит кровь
Больше безголовая Победа
Да еще безрукая Любовь.

А тебе как псу велели: жди, мол!
Сорок пять веков не отмирай!
...И уставлен взгляд поверх и мимо,
И папируса откатан край.

Это написано в Германии, прямо в автобусе, по дороге из замка Марбург:

За ткацкий стан, за виноградный пресс,
За прялку, мялку и иные штуки
По мелочи, какими камнерез
И плотник, позабывшись, ранят руки,

За молоток сапожника, за круг
Гончарный, за кадушку и опару,
За кисть, за ножницы для кройки брюк,
За скрипку, Господи! и за гитару,

За мех кузнечный, дышащий как грудь,
За почерневший тигель лаборантский, —
Простишь ли, Боже, нам когда-нибудь
Щипцы, и дыбу, и сапог испанский?

Это — долго добиралось малой скоростью из Норвегии:

У старинных норвежских кроватей
имелись створки:
их задвинешь или захлопнешь —
и ты в каморке,
в деревянном ларе, да попросту в сундуке,
репетируешь смерть на тощем своем тюфяке.

Можно пялиться в темноту
и молиться Одину или Христу, —
даже ноги не вытянешь, если постель коротка,
в деревянном ганзейском городе — ни огонька.

А еще в каждой спальне была веревка с крюком:
сигануть из окна в рубашке и босиком,
если вдруг пожар. Ох, какие пожары бывали!

Чуешь, вяленой рыбой пованивает в подвале?
Слышишь, бал крысиный? Вот так они зимовали.

Что возьмешь, капитан, чтоб на час, на минуту
сгонять
в тот вечерний, игрушечный Берген —
подслушать, понять:
отчего не брала их эта вселенская тьма?
Что за песни им не давали спятить с ума?

Вот два "итальянских", из Рима и Венеции:

Римское родео

Ты, коленями сжимающий
Сразу двести лошадей,
Бычьим ревом подминающий
Гомон древних площадей, —

Ты несешься Вечным городом,
На тебя управы нет,
Только в воздухе распоротом
Остывает жаркий след,

Да девчонки легкокрылые
Отлетают по одной:
Удержаться не под силу им
За тугой твоей спиной,

Где налит веселой злобою
Каждый смуглый позвонок...
— Знаешь, Ромул, я попробую.
Подвези меня, сынок!

Жéне

Нет, есть еще в Венеции гондолы,
Что держат лодочники старой школы:
Они берут копейки, лир семьсот,
Не за катанье, лишь за перевод –

За перевоз, простите! – Божье дело.
Монеткой звякнув, спрыгиваем смело:
Две узких черных лавки вдоль бортов
И третья на носу. Гребец готов,

Он правит стоя, а напротив сидя,
Смуглянка с кейсом, в деловом прикиде,
Не глядя на канал и общий фон,
Чирикает в мобильный телефон.

Все местные на пляже: нынче жарко,
Туристы копошатся у Сан-Марко,
Мы – в брюхе запятой, в конце начал...
Еще, еще! – но близится причал.

Это – приехало прямиком из Бельгии:

И вновь заливается гид-попугай:
– Пилясты, пилястры!
На клумбе – хоть свечки от них зажигай –
пионы и астры,
и группа скульптур, и простой постамент,
где братья ван Эйки
на действо сие под названием Гент
глядят со скамейки.

Тут всё происходит вокруг алтаря
ван Эйковой кисти:
там агнец белеет и рдеет заря,
а травы и листья –
свежей настоящих; такое письмо,
ни взять, ни добавить, –
и все это можно сложить как трюмо
и снова расставить.

Вот сцена вторая: на сцене река,
за нею фасады –
то гильдии встали по-вдоль бережка
проветрить наряды.
Как дамы губернские, выплыли в свет
в чепцах и фестонах
и вот щеголяют четыреста лет
в щипцовых фронтонах.

... А в сцене четвертой на колосниках
развешаны тучи,
и нити дождя в непочатых мотках
туги и летучи,
и стынет река, и тускнеют холмы,
и воздух исчерпан,
и всё здесь исчезнет, едва только мы
уедем в Антверпен.

Это — целый год тащилось из моего ненаглядного Амстердама:

Медли, медли, медленно води
Объективом, выбирай без спешки,
Замирай подобно сладкоежке
Над лотком с пирожными. Гляди:

Лестница спускается в канал,
Дом облокотился на соседа,
Херувим джинсовый правит бал
На ступеньках университета,

Под платаном, сбросившим кору,
Благодушно курит страж порядка,
Машет, словно роза на ветру,
Над коляской шелковая пятка.

Что возьмешь ты — дерево? ребенка?
Вкруг стола четверку черных чадр?
Может, это твой последний кадр:
Щелкнешь — и пойдет мотаться пленка.

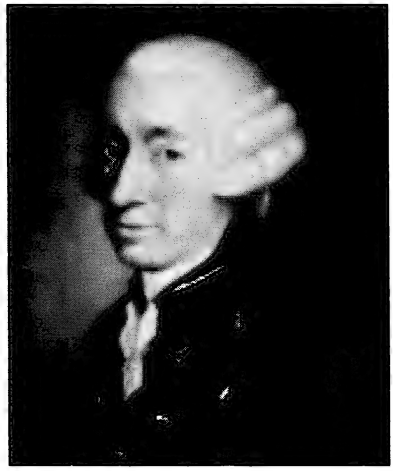
И наконец:

Уменье укладывать чемодан
Приходит с теченьем лет:
Рубашки в стопку, очки в карман,
На дно — обратный билет.

С годами всё строже багажный контроль,
Всё меньше дозволенный вес:
Лишь самое нужное выбрать изволь,
Учись обходиться без.

Ведь очередь движется все равно
К той стойке — за пядью пядь, —
Куда проносить не разрешено
Даже ручную кладь.

Тобайас Джордж Смоллетт



Путешествие по Франции и Италии

Фрагмент книги

Перевод с английского и вступление А. Ливерганта

Несентиментальное путешествие

В мировой литературе редко случается, чтобы пародия жила дольше, пользовалась большей известностью, чем оригинал. Чаще бывает наоборот: в пародии вышучивается то, что приобрело известность, — в противном случае она просто останется непонятой. Если пародист взялся пародировать малоизвестные романы или стихи — он заведомо обречен на неудачу.

Есть, однако, по крайней мере одно исключение из этого правила. И исключение классическое. "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии" Лоренса Стерна прочно вошло в золотой фонд мировой классики. Английскую, да и мировую литературу невозможно представить без этого небольшого, незаконченного шедевра, где "чувствительный" путешественник Йорик — alter ego автора — изображает из себя неисправимого оптимиста: "Ручаюсь... что, окажись я в пустыне, я непременно отыскал бы и там что-нибудь способное пробудить во мне приязненные чувства..."

А вот объект пародии Стерна, "Путешествие по Франции и Италии" другого английского классика Тобайаса Джорджа Смоллетта, даже в Англии довольно

© А. Ливергант. Перевод, вступление, 2007

прочно забыт, у нас же, кажется, неизвестен и вовсе. А между тем произведение это в высшей степени примечательное — и не только потому, что Стерн, запомнивший, как видно, что Смоллетт в своем журнале "Критическое обозрение" в свое время весьма снисходительно отозвался о "Тристраме Шенди", противопоставляет мрачному юмору, язвительности, "неприязненным" чувствам Смоллетта-путешественника прекраснодушие и любовь к человечеству.

Мрачный юмор, язвительность, неприязненные чувства, несомненно, присутствуют в "Путешествии по Франции и Италии", однако автор едва ли сводим к выведенному в стерновском "Сентиментальном путешествии" "заплесневелому грибу" ("Smelfungus"), этой карикатуре на Смоллетта, который "совершил путешествие из Булони в Париж, страдая сплином и разлитием желчи, отчего каждый предмет, попадавшийся ему на пути, обесцвечивался и искажался..."

Не сводим хотя бы потому, что смоллеттовское "Путешествие" отлично вписывается в более широкую, растянувшуюся в английской литературе на многие века тему — англичанин за границей. Смоллетт тут, скажем сразу, не слишком оригинален, он разделяет со своими соотечественниками — в частности, с Сэмюэлом Джонсоном, оставившим после недолгого пребывания в Париже любопытные дневниковые записи, — распространенные британские предрассудки относительно "континента" и "континентальных жителей", и в первую очередь извечных врагов — самовлюбленных и легкомысленных французов. В соответствии с этими предрассудками, в немалой степени, между прочим, способствовавшими успеху книги у лондонских критиков, "Путешествие по Франции и Италии" может быть прочитано (и прочиталось Стерном, высмеявшим, по существу, не только Смоллетта, но и жанр английского путевого очерка, где англичанин взирает на европейцев в лучшем случае с недоумением) и как целый свод практических рекомендаций — что следует знать и чего опасаться, путешествуя по "диким" странам и общаясь по преимуществу с "негодяями и проходимцами". "...Есть здесь и хорошее общество, — искренне удивляется Смоллетт, оказавшись в Пизе, — и даже несколько человек со вкусом и образованием". Картина, в особенности когда это картина нравов, предстает в "Путешествии" и впрямь довольно безрадостная, хотя, конечно же, не бесцветная. Если верить Смоллетту, "цивилизованный" английский путешественник, протестант, эдакий белый человек, странствующий — на свой страх и риск — по погрязшим в бедности, пороке и "католической ереси" Франции и Италии, на каждом шагу сталкивается с мошенничеством, отвратительными дорогами, отсутствием лошадей и элементарных удобств, дурными нравами местных жителей и дурной едой, грязными и непомерно дорогими трактирами и нелюбезными, норовящими обмануть "богатого и наивного" англичанина трактирщиками. Некоторые наблюдения не скрывающего своей франкофобии писателя — о том, например, что нужник в нимском трактире "содержится в скотском состоянии специально для английских путешественников", или история о том, как ограбленный английский путешественник скончался на почтовой станции между Кале и Булонью не от ножевых ран, а от горячего французского бульона, или уж и вовсе абсурдное умозаключение автора "Путешествия", полагающего, что почитание итальянцами Девы Марии, "должно быть, заимствовано у французов, которые кичатся своим обхождением с прекрасным полом", — отдают откровенной паранойей. В "Путешествии" словосочетания "я проучил негодяя", или "хозяин обобрал нас, как липку", или "харчевня больше напоминала воровской притон" встречаются гораздо чаще, чем "наутро мы отправились в путь" или "за окном кареты нам открылись...".

И все же Смоллетт злится и брюзжит вовсе не только "в угоду жанру" и своим недовольным континентальным "сервисом" соотечественникам, вовсе не по-

тому, что, согласно классификации Стерна, он принадлежит к путешественникам желчным и пытливым...

За пятьдесят лет нелегкой, полной треволнений и разочарований жизни писатель перепробовал немало профессий, отдал дань многим видам литературного труда, что, впрочем — вспомним хотя бы его старшего современника Д. Дефо или младшего — О. Голдсмита, — было в XVIII веке делом обычным.

Автор "Родрика Рэндома", "Перигрина Пикля" и "Хамфри Клинкера" нанялся, когда ему не было и двадцати, на корабль судовым врачом, долгое время был практикующим лондонским хирургом, много путешествовал, побывал — и не раз — в самых экзотических странах, дважды объездил всю Европу, в молодости, в составе бесславной Вест-Индской экспедиции адмирала Вернона, плавал на Ямайку, участвовал в неудачной осаде Картахены, которую впоследствии описал в своем первом во многом автобиографическом романе "Приключения Родрика Рэндома" (1748).

Смоллетт-литератор — главным образом ради денег, которых всегда не хватало, — не только сочиняет сам, но и много переводит — с французского (Лесаж, Вольтер, Фенелон) и с испанского. Над переводом "Дон Кихота", который, по мнению многих, не принадлежит к числу самых удачных переложений испанского классика на английский язык, Смоллетт трудился без малого 10 лет, с 1748-го по 1755 год. Переводя и редактируя французских и испанских знаменитостей, Смоллетт далеко не всегда точно передает смысл оригинала, зато творчески его перерабатывает, заимствует в собственных книгах приемы и даже сюжет переводимых произведений: "Родрик Рэндом" — это английская версия "Жиль Блаза" Лесажа, "Жизнь и приключения сэра Ланселота Гривза" — "Дон Кихота".

Смоллетт-историк "посягнул" на принесшую ему 2000 фунтов (сумма по тем временам огромная) и написанную за год с небольшим пятитомную "Полную историю Англии" (1757—1758), которой, о чем свидетельствуют многие его письма, очень гордился. Вообще, в названиях произведений Смоллетта дает себя знать стремление завоевать читателя широкомасштабностью замысла, грандиозностью проекта. Если Смоллетт пишет историю Англии, то обязательно "полную", "от Цезаря до наших дней" (это не цитата из Пушкина, а подзаголовок исторического труда Смоллетта), если описывает современное состояние народов, то непременно "всех". "Современное состояние всех народов" (1768) — еще один всеобъемлющий труд писателя, дотошно, хотя и прихотливо, составленный компендиум всевозможных знаний, включающий статистику, географию, историю, политику и социологию.

Сочинял Смоллетт и стихи — и не только согласно его темпераменту сатирические, но и патетические: названия изданной посмертно "Оды независимости", а также поэмы "Слезы Шотландии", говорят сами за себя.

Как и многие литераторы того времени, не лишен был Смоллетт и издательских амбиций; за свою не слишком долгую жизнь он в разные годы выпускал три журнала, не принесших ему, впрочем, ни морального, ни материального, ни политического успеха.

Пишет Смоллетт и пьесы, и путевые очерки, и медицинские брошюры, и оперные либретто, и эссе, причем на темы самые экзотические ("О пользе холодной воды", например) и рецензии — большей частью, в соответствии со своим желчным нравом, отрицательные. Сочиняет памфлеты, в том числе и на своего "заклятого друга" Генри Филдинга, которого он вывел в "Перигрине Пикле" в отталкивающем мистере Спонди, а в "Истинном описании Хаббаккука Хилдинга" даже обвинил в плагиате и с которым его — ирония судьбы! — перепутали в первом, переведенном, как водилось, с французского, русском издании "Род-

рика Рэндома": "Похождения Родрика Рандома, сочиненные г-ном Филдиенгом" (1788).

Громкий успех, нередко сопутствовавший многим, прежде всего литературным и историческим начинаниям Смоллетта, сопровождался почти хроническим безденежьем, сменялся разочарованиями, неудачами, непониманием и небрежением — в основном это касалось издательской и политической деятельности писателя. Для политики Смоллетт был слишком непоследователен, нерасчетлив, честен и горяч. Смоллетта-романиста, тем более историка, хвалили и читали, со Смоллеттом же критиком и политическим памфлетистом в лучшем случае не желали считаться, а в худшем подвергали нападкам и гонениям.

В начале 60-х годов Смоллетт переживает самый, пожалуй, тяжелый жизненный кризис: в феврале 1763 года издававшийся им журнал "Британец", с которым у писателя были связаны честолюбивые планы, из-за крайне непопулярной политики консервативного кабинета лорда Бьюта терпит фиаско. Спустя два месяца, в апреле того же года, умирает его единственная пятнадцатилетняя дочь, резко ухудшается и здоровье самого Смоллетта, страдавшего, как, кстати, и Стерн, астмой, и в июне 1763 года, имея все основания "страдать сплином и разлитием желчи", писатель уезжает из Англии без малого на два года, путешествует по Франции и Италии, с ноября 1763 по апрель 1765 года лечится от чахотки в Ницце, причем — забавная подробность — совсем неподалеку, в Тулузе, примерно в это же самое время живет и тоже лечится от чахотки его "обидчик" Стерн: пути пародиста и пародируемого, "оптимиста" и "пессимиста", путешественника чувствительного и желчного сходятся в самом буквальном смысле слова.

Спустя год после возвращения на родину, в мае 1766 года, Смоллетт выпускает "Путешествие по Франции и Италии" — наблюдения путешественника, в которых за верно подмеченными Стерном дотошностью и желчностью, за почти непрекращающейся хандрой, жалобами на здоровье и французов явственно проступают недвусмысленные свидетельства "сердца горестных замет" — они дают себя знать даже в самых отвлеченных рассуждениях, будь то нравы булонских монахов, заработки контрабандистов или гастрономические таланты амьенцев.

Что же представляет собой Смоллетт — "путевой очеркист"? В этой роли он, как и многие англичане за границей, и в самом деле антипод Стерна. Из "Сентиментального путешествия", несмотря на мелькающие названия французских городов и изобилие французских фраз, о Франции читатель узнает, пожалуй, лишь что "во Франции <...> это устроено лучше". И неудивительно: путешествие Стерна ведь *сентиментальное*, оно не по дорогам и морям, а в чувствах, в уме, в воображении, из этой книжки можно узнать куда больше про самого Стерна, чем про Францию, до которой автору нет, в сущности, никакого дела.

Путешествие же Смоллетта прежде всего познавательное. Прочитав на титуле первого издания пространную, в духе того времени, аннотацию: "Путешествия по Франции и Италии, содержащие наблюдения о нравах, обычаях, религии, правительстве, торговле, искусствах и древностях, а также описание Ниццы и ее климата...", читатель в своих ожиданиях обманут не будет. Выполняя обещание, данное "дорогому сэру" (адресат большинства писем, вероятнее всего, лицо вымышленное), а также стремясь в потоке слов, о чем говорится уже в первом письме, утопить накопившиеся невзгоды и обиды, Смоллетт — и впрямь с дотошностью, достойной порой лучшего применения, — кропотливо фиксирует увиденное, услышанное, наблюденное. Этот растянувшийся на сорок одно письмо и на триста с лишним убористых страниц путевой очерк иногда и в самом деле больше напоминает "отчет о поездке". Писатель не поленился снабдить свои

записи подробной картой, хронологией, обстоятельными рассуждениями о местных ценах, ландшафтах, обычаях, церковных праздниках, исторических памятниках, растительности, животном мире. "В прошлый раз, сэр, — начинает, например, Смоллетт свое двадцать третье письмо, — я остановился на описании тутового шелкопряда, а также сообщил Вам о том, как используют в этих краях столь любопытное насекомое. Сейчас же я расскажу, как здесь делается вино и масло..."

Иначе говоря, в "Путешествии по Франции и Италии", спору нет, найдется что пародировать. А между тем в Англии встречено было "Путешествие" более чем благосклонно, ведь книга Смоллетта свидетельствовала: "во Франции это устроено хуже". "Эта книга, — писал "Лондонский журнал", — сослужит нашей стране огромную службу, ибо ее автор посмеялся над глупостью наших обезьян, мужчин и женщин, упивающихся захлестнувшими нас французскими манерами и модами". "Можно без преувеличения сказать, — вторило ему "Критическое обозрение", — что подобное сочинение принесет Великобритании больше пользы, чем полсотни актов парламента, запрещающих французские безделушки и прочие иностранные товары, а также экспорт дураков, щеголей и шутов".

Вместе с тем и Стерн, вволю посмеявшийся над холерическим темпераментом Смоллетта, а заодно и над заносчивостью и нескончаемыми жалобами путешествующих по Европе англичан, и рецензенты, расхвалившие "Путешествие" за верность британским ценностям и за нападки на Францию, не обратили внимания, что мизантропию, язвительность, страсть к гротеску Смоллетт-*бытописатель* позаимствовал у Смоллетта-*писателя*. Путешествуй Смоллетт, этот "исследователь темных душ", как назвал его Вальтер Скотт, не по Франции и Италии, а по Англии и Шотландии — и картина, им описанная, была бы, скорее всего, столь же безотрадной, портреты, им набросанные, столь же уродливыми, каждый предмет (говоря словами Стерна) точно так же бы искажался. Уже в первом письме Смоллетт в самых мрачных красках описывает въезд в Лондон по Кентстрит, "постыдной дороге в столь изобильный город", или же Дуврский тракт, где на постоялых дворах "постели чудовищные, еда отвратительная, вино — отрава, обращение — хуже некуда", а трактирщики, "наглые вымогатели", ничуть не уступают французским в грубости и мошенничестве. "Путешествие" изобилует любопытнейшими картинами нравов и зарисовками типажей, которые заставляют вспомнить лучшие страницы "Перигрина Пикля" или "Хамфри Клинкера", а также тонко подмеченными наблюдениями автора о том, как причудливо сочетаются французская скупость — и любовь вкусно поесть и приодеться; скромное убранство домов — и неуемная страсть к развлечениям; куртуазность — и мошенничество, высокомерие, непомерные амбиции — и политес. Путешествующие по Франции и сегодня наверняка согласятся со Смоллеттом, заметившим, что "французы, от маркиза, щеголяющего в шелках, до прислуживающего в цирюльне <...> мальчугана, все до одного — petit maîtres", фаты, знающие себе цену...

"Путешествие по Франции и Италии", таким образом, следует воспринимать не как "туристический справочник", а как образчик просветительского путевого очерка середины XVIII столетия, тем более любопытный, что его автор — Тобайас Смоллетт, чьи рассуждения о местных нравах отличаются не только дидактичностью и предвзятостью, на которые обратил внимание и высмеял Стерн, но и остроумием, живостью и оригинальностью, свойственными талантливому сатирическому перу.

В этом номере мы помещаем первые семь писем-глав из книги Смоллетта.

Ut Homo qui erranti comiter monstrat viam,
Quasi lumen de suo lumine accendat, facit:
Nihilominus ipsi luceat, cum illi accenderit.
ENNIUS[1]

Письмо первое

Булонь, 23 июня 1763

Дорогой сэр,

при прощании Вы взяли с меня слово, что, путешествуя, я буду делиться с Вами своими наблюдениями. Выполняю обещание с удовольствием, ведь, удовлетворяя Ваше любопытство, я скоротаю долгие часы безделья, каковые из-за хандры и тревоги были бы совершенно непереносимы.

Мое положение было Вам известно и вызывало у Вас сочувствие. Оклеветанный злобой, преследуемый раздорами, брошенный псевдопокровителями и охваченный горем, исправить которое не по силам даже судьбе[2], я бежал из страны с тем бóльшим рвением, что ныне взяли в ней верх предубеждение, склока и немыслимое безрассудство. Бежал из страны, где несколько жалких подстрекателей, опустившись до вероломной клеветы и чудовищных злоупотреблений, сумели разжечь пожар, который угрожал всеми ужасами гражданского неповиновения.

Я посадил свое небольшое семейство в наемный экипаж и в сопровождении верного слуги, который прожил у меня более десяти лет и покидать меня отказался, поехал по Дуврской дороге, имея целью своего назначения юг Франции, где, как я надеялся, мягкий климат окажет благотворное воздействие на мои слабые легкие.

Помнится, Вы советовали мне вновь прибегнуть к помощи целебных вод в Бате, которые прошлой зимой очень мне помогли, однако у меня было слишком много причин покинуть Англию. Моя жена умоляла меня, чтобы я увез ее из страны, где каждая мелочь вновь и вновь напоминала ей о ее горе; я рассчитывал, что со временем новые впечатления отвлекут ее от печальных размышлений и что перемена климата и путешествие длиной в тысячу миль благоприятно скажутся на моем здоровье. Но коль скоро лето полностью вступило в свои права и для путешествия в теплых странах было уже слишком жарко, я предложил своим спутникам остаться в Булони до начала осени и купаться в море, дабы как следует окрепнуть и подготовиться к изнурительному и долгому странствию. Путешествующий с семьей из пяти человек[3] должен быть заранее готов к непредвиденным трудностям, с коими предстоит

1. Тот, кто отправляет путника в дорогу, / Словно бы зажигает другой факел от своего; / Оттого, что он зажег факел своего друга, / Свет от его собственного факела меньше не становится (*лат.*). Эпиграфом к "Путешествиям" Смоллетт взял строки латинского поэта Квинта Энния (239–169 до н. э.), которого цитирует Цицерон в трактате "Об обязанностях" (I, XVI). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. В феврале 1763 г. (см. также вступление) лорд Бьют отказался поддерживать издаваемого Смоллеттом с мая 1762 г. "Британца" на том основании, что журнал, выступавший в защиту непопулярной политики правительства, лишь разжигает всеобщее недовольство. В апреле того же года Смоллетт потерял единственную дочь.

3. Вместе со Смоллеттом в путешествие по Франции и Италии отправились его жена Анна Смоллетт, его давняя знакомая мисс Анна Кэрри (в 1769 г. она вышла во Флоренции замуж за английского консула в Ливорно Джорджа Раннера, у которого жили Смоллетты), а также племянница писателя мисс Франсес Лассельз и его слуга Александр Толлуш.

ему столкнуться в пути. Некоторых мне, по счастью, избежать удалось; тем не менее, хотя я хорошо себе представлял, чем чревата дорога в Дувр, и принял соответствующие меры, я был крайне раздосадован дурными условиями и наглым обращением в тамошних гостиницах, которые были тем более отвратительны, что из-за недомогания жены нам пришлось задержаться в них дольше, чем мы предполагали.

Нет нужды говорить Вам, что это худшая дорога в Англии в отношении удобств, предоставляемых путешественникам, в результате чего у проезжающих по ней иностранцев складывается весьма неблагоприятное мнение о стране в целом. Комнаты здесь, как правило, холодные и лишенные удобств, постели чудовищные, еда отвратительная, вино — отрава, обращение — хуже не бывает, трактирщики — наглые вымогатели, выставляющие непомерные счета; на всем пути от Лондона до Дувра вы не найдете ни единой капли сносного эля. Каждый хозяин гостиницы, каждый половой будет во всеуслышание разглагольствовать о мошенничестве трактирщика из Кентербери, который взял с французского посла сорок фунтов за ужин, хотя тот не стоил и сорока шиллингов. Они страсть как любят рассуждать о честности и совести, однако, когда видишь их собственные счета, сразу понимаешь, что это одна шайка. Англичан, по чести сказать, следовало бы винить не в том, что их трактирщики обирают приезжих, а скорее в том, что у такого хозяина гостиницу до сих пор не закрыли. Королевству, мне кажется, давно пора покончить с творящимся на этой дороге беззаконием; в особенности же касается это въезда в Лондон по Кентстрит — постыдной дороге в столь изобильный город. Сей нищенский, пришедший в негодность тракт производит на иноземца впечатление столь безотрадное, что развеять его не в состоянии все богатство и великолепие Лондона и Вестминстера. Мой приятель, который вез парижанина из Дувра в собственной карете, специально въехал в Саутуорк лишь с наступлением темноты, дабы его французский друг не обратил внимания на убожество этой части города. В результате парижанин остался весьма доволен большим числом лавок, ярко освещенных и полных разнообразного товара. Он был потрясен богатством Ломбард-стрит и Чипсайда. Вместе с тем из-за плохих мостовых он счел, что улицы вдвое длиннее, чем они есть на самом деле. Из кареты они вышли на Аппер-Брук-стрит возле Гроснор-сквер, и когда приятель мой сообщил французу, что они находятся в самом центре Лондона, тот с видом величайшего удивления заявил, что Лондон почти так же велик, как и Париж. <...>

Дувр принято считать воровским притоном, и, боюсь, основания для этого есть, и немалые. Говорят, что здешний народ живет пиратством в военное время и контрабандой и вымогательством у иностранцев — в мирное. Я, однако ж, должен восстановить справедливость: между иноземцами и англичанами жители Дувра не делают никакой разницы. Во всей Европе не найдется ни одного города, где бы с путешественником обходились хуже, чем в Дувре; нигде больше не встретитесь Вы со столь вопиющими примерами мошенничества, обсчета и грубости. Впечатление такое, что здесь существует заговор против всех, кто либо направляется в Европу, либо из нее возвращается. <...>

Приехав в этот раз в Дувр, я первым делом послал за хозяином пакетбота и договорился с ним, чтобы он сей же час доставил нас в Булонь, благодаря чему мне удалось избежать расходов на путешествие по суше из Кале в Булонь протяженностью двадцать четыре мили. Нанять судно из Дувра до Булони стоит ровно столько же, сколько из Дувра до Кале, а именно

пять гиней; капитан, однако, запросил восемь, а поскольку здешние расценки были мне неизвестны, я согласился дать ему шесть. Мы погрузились на корабль между шестью и семью вечера и тут только обнаружили, что находимся в чудовищной конуре на борту парусника, который называется "Фокстонец". Каюта была столь мала, что в нее не пролезла бы и собака, кровати же напоминали щели в катакомбах, куда, ногами вперед, помещались тела мертвецов; забраться в них можно было только с изножья, и были они столь грязны, что использовать их можно было лишь в случае особой необходимости. Всю ночь мы просидели в крайне неудобной позе, нас подбрасывало на волнах, мы мерзли, у нас сводило ноги от тесноты, мы изнемогали от отсутствия сна. В три утра к нам спустился капитан и объявил, что мы находимся у входа в Булонскую гавань, однако ветер дует с берега и в гавань войти он не может, а потому советует добираться до берега в шлюпке. Я поднялся на палубу посмотреть, виден ли берег, и капитан указал мне пальцем туда, где, по его словам, находилась Булонь, заявив, что стоим мы примерно в миле от входа в гавань. Утро выдалось холодное и сырое, и я понимал, чем оно для меня, подверженного простудам, чревато; тем не менее всем нам не терпелось поскорей ступить на французскую землю, и я решил последовать его совету. Шлюпка была уже спущена, и после того, как я расплатился с капитаном и поблагодарил команду, мы сошли в нее. Не успели мы, однако, отплыть от корабля, как заметили, что с берега в нашу сторону направляется лодка, и капитан дал нам понять, что послана она за нами. Когда же я выразил недоумение в связи с тем, что теперь нам придется пересаживаться из одной лодки в другую в открытом море, к тому же неспокойном, капитан возразил, что, согласно традиции, булонские лодочники оказывают пассажирам честь и сами доставляют их на берег и что нарушать эту традицию он не вправе. Пускаться в спор не было времени, да и место для пререканий было самое неподходящее. Французская лодка, наполненная до половины водой, подгребла к нашей, и мы были переданы французам, что называется, из рук в руки. Затем нам пришлось некоторое время стоять на веслах и ждать, пока капитанскую шлюпку не поднимут обратно на борт и не спустят снова с пачкой писем, после чего мы пустились в путь по бурному морю и, проплыв навстречу ветру и отливу целую лигу[1], достигли наконец берега, откуда, дрожа от холода, вынуждены были, в сопровождении шести или семи босых мужчин и женщин, несших наши вещи, тащиться еще почти милю до ближайшей харчевни. <...>

Будучи человеком слабого здоровья, я нисколько не сомневался, что утреннее приключение будет стоить мне сильной простуды; к тому же, когда мы добрались до харчевни, оказалось, что все спальные места заняты, и нам пришлось — в ожидании, покуда постояльцы встанут — просидеть в нетопленой кухне больше двух часов. Таковым на поверку оказалось французское гостеприимство, и моей жене поневоле вспомнились постоялые дворы Рочестера, Ситтингборна и Кентербери; при всех своих недостатках у них имеется несомненное преимущество перед гнусными auberges[2] этой страны, где нет ничего, кроме грязи и мошенничества. Казалось, французы все еще воюют против англичан[3] — так они их беспощадно обирают. <...>

Таковы некоторые забавные эпизоды, которые не заслуживали бы упоминания, не будь они вступлением к наблюдениям более примеча-

1. 1 морская лига примерно соответствует 5,5 километрам.
2. Гостиницы, постоялые дворы (*франц.*).
3. Семилетняя война (1756–1763) завершилась менее чем за пять месяцев до отъезда Смоллетта из Лондона.

тельным. Между тем мне хорошо известно, что Вас не оставит равнодушным все, что касается

Вашего покорного слуги.

Письмо второе

Булонь, 15 июля 1763

Дорогой сэр,

таможенные чиновники в Булони, пожалуй, более вежливы, чем их английские собратья, хотя и столь же бдительны. Серебряной посуды у меня с собой не было, зато имелись полторы дюжины ложек и дюжина чайных ложечек. Первые были обнаружены в одной из наших дорожных сумок, когда их обыскивали на таможне, что обошлось мне в шестнадцать ливров въездной пошлины; вторые, по счастью, лежали в кармане моего слуги, и платить за них не пришлось. За всякое ввозимое во Францию серебро обязывают платить примерно эту сумму, а потому тем, у кого есть серебряная посуда, я бы посоветовал с собой ее не брать или же положиться на сноровку капитанов — некоторым удается таможенного досмотра избежать. <...> Когда мои дорожные сундуки прибыли, я был подвергнут сему тяжкому испытанию, однако куда больше раздосадован я был не этим. Мои книги были задержаны на таможне, и теперь их за мой счет отправят в Амьен, в chambre syndicale[1], дабы выяснить, не содержится ли в них нечто способное нанести ущерб государственности или религии этой страны. Такого притеснения меньше всего ждешь от Франции, которая кичится своей обходительностью и гостеприимством; а между тем я не знаю страны, где к иноземцам относились бы хуже, пренебрегали бы самыми насущными их потребностями. Если путешественнику случится умереть во Франции и даже если наследник этого путешественника находится здесь же, король завладевает всем имуществом покойного, и произвол этот зовется droit d'aubaine[2] и основывается на предположении, что вся собственность иностранцев, живущих во Франции, была приобретена в этом королевстве и, стало быть, передавать ее другому государству будет несправедливо. Если английский протестант едет во Францию поправить здоровье в сопровождении своей жены или сына или обоих и умирает, а имущество его оценивается в тысячу гиней, то король забирает себе все до последнего пенса, семья покойного остается без средств к существованию, а его телу, в довершение всего, отказывают в христианском погребении. <...>

Дабы получить обратно свои книги, я прибегнул к совету моего домовладельца, мсье Б.[3], красивого молодого человека лет двадцати пяти, который живет с двумя незамужними, весьма набожными сестрами. Сам же он довольно легкомыслен, добродушен и услужлив, однако, как и все французы, невероятно тщеславен. Из-за того что он занимает какое-то, довольно, впрочем, скромное, место в городской мэрии, ему дано право носить шпа-

1. Зд.: государственная палата (*франц.*).
2. Право казны на выморочное наследство иностранца (*франц.*).
3. Речь идет о мелком государственном служащем Шарле Антуане Франсуа Бувье, который упоминается в книге путевых очерков Филиппа Тикнесса "Полезные советы путешествующим по Франции" (1768).

гу, и правом этим он охотно пользуется. Вдобавок он получает деньги со здешних десятин, в результате чего всегда располагает солидной суммой, что, однако ж, не мешает ему еще и торговать вином. Когда я в первый раз появился у него в доме, он тут же продемонстрировал мне всю выгоду своего положения: достал мешки с деньгами, а также золото, которое оставил ему отец. Во всех подробностях описал он мне загородное свое поместье, намекнул, что не обделены средствами и мадемуазели, его сестры, похвастался связями при дворе и заявил, что сдал мне помещение вовсе не ради денег, а единственно из удовольствия водить со мной дружбу. <...> Мой хозяин гордится своей учтивостью и успехом у представительниц прекрасного пола; он содержит fille de joie[1] и не делает из этого секрета. На днях, безбожно перевирая английские слова, он поведал мисс К. (Анне Карри. — *А. Л.*), что за один только прошлый год зачал он шестерых внебрачных детей, и признался, что всех шестерых отправил в приют; теперь, однако, когда отец его умер, о своих будущих отпрысках он будет заботиться сам. Все эти истории, впрочем, не более чем бахвальство. Вчера в доме был переполох в связи с рождением очередного младенца; сестры рыдали, брата посетил приходской curé[2], роженица прислала ему свое отродье в корзине, и он немедля передал его в парижский Enfants trouvés[3].

Но я отвлекся. Мсье Б. посоветовал мне послать requête, или ходатайство, канцлеру Франции, в котором я прошу выдать мне ордер на изучение моих книг на месте, подписанное президентом Булони, или procureur du roy[4], или же представителем интендантской службы. Он также порекомендовал мне своего знакомого адвоката, чтобы тот написал memoire[5], и представил мне его, заметив, впрочем, когда мы остались наедине, что, если бы тот не был горьким пьяницей, ему среди представителей его профессии не было бы равных. Адвокат и впрямь не был врагом бутылки; эту пагубную склонность выдавали сонный взгляд, красное лицо и красный прыщавый нос. Ходил он немного оттопырив локти, белье носил на редкость грязное, да и штаны оставляли желать лучшего — однако говорил он с видом значительным, был обходителен и очень важен. Я поинтересовался, не отвлекается ли он на занятия изящной словесностью; адвокат улыбнулся и, перейдя на шепот, пообещал, что как-нибудь покажет мне свои chansonettes de sa façon[6]. Пока же он сочинил от моего имени requête, отличающееся напыщенностью, многословием и подобострастием. Такую бумагу мог написать уроженец Франции, однако подданному Великобритании подобный стиль пристал едва ли. Я поблагодарил его за труд, который он на себя взял, ибо иного вознаграждения не предполагалось; когда же мой хозяин предложил мне послать memoire своему парижскому знакомому, дабы тот передал его канцлеру, я ответил, что передумал и обращусь к английскому послу. <...>

Должен принести свои извинения за то, что забиваю Вам голову столь малозначащими подробностями, и смею надеяться, что задержка на таможне моих книг едва ли будет иметь последствия для кого бы то ни было, кроме

Вашего преданного и покорного слуги.

1. Подружка, проститутка (*франц.*).
2. Священник, кюре (*франц.*).
3. Букв.: обретенные дети (*франц.*). Полное название этого парижского приюта, куда каждый год поступало от шести до семи тысяч внебрачных детей, — Hôpital des enfants trouvés ("Лечебница для найденных детей").
4. Королевским прокурором (*франц. устареви.*).
5. Памятная записка, жалоба (*франц.*).
6. Букв.: кое-какие стишки (*франц.*).

Письмо третье

Булонь, 15 августа 1763

Сэр,

очень обязан Вам за то, что Вы справляетесь о моем здоровье, тем более что последнее время оно никуда не годится. Вследствие простуды, развившейся спустя несколько дней после приезда во Францию, у меня начался сильный кашель, сопровождаемый температурой и болями в груди, отчего я всю ночь не сомкнул глаз. Вдобавок я харкал мокротой и настроение у меня было хуже некуда. В этой ситуации я совершил шаг, который может показаться Вам безумием. Понимая, что в легких у меня нет нарыва, да и боли, как казалось, возникали нерегулярно, и сознавая, что все мои жалобы вызваны слабостью, я нанял карету, велел отвезти себя на берег примерно в лиге от города и без колебаний бросился в море. Применив к себе сие отчаянное средство, я вновь простудился, однако боль в груди и температура исчезли на следующий же день; вследствие каждодневного морского купания кашель мой ослаб, тело окрепло, настроение поднялось. <...> Отчего холодная вода превратилась в такое пугало, сказать не берусь; если не ошибаюсь, еще Гиппократ рекомендует лечить подагру погружением в холодную воду; Цельс же[1] ясно говорит: "in omni tussi utilis est natatio" — "при всяком кашле купание приносит пользу". <...>

Тот, кто сравнил Булонь с Уоппингом, ввел Вас в заблуждение; человек этот, безусловно, несправедлив к Булони, большому, приятному на вид городу, с широкими, отлично вымощенными улицами и крепкими, просторными каменными домами. Население Булони достигает, кажется, шестнадцати тысяч. Раньше считалось, что это и есть Portus Itius и Gessoriacum у древних[2], однако теперь полагают, что Portus Itius, откуда Цезарь отплыл в Британию, — это городок, называемый Уитсанд, на полпути от Булони к Кале. <...>

Булонь делится на Верхний и Нижний город. Верхний представляет собой нечто вроде крепости около мили в окружности, которая находится на склоне горы, окружена высокой стеной и рвом и обсажена рядами деревьев, прогуливаться под которыми одно удовольствие. Сверху открывается отличный вид на леса и поля, а также на Нижний город; в ясную же погоду английский берег от Дувра до Фолкстона виден настолько хорошо, что кажется, будто он всего в четырех-пяти милях от берега французского. В былые времена вокруг Верхнего города тянулись внешние укрепления, от которых остались теперь одни развалины. Есть здесь площадь, ратуша, собор и две или три монастырские школы; в одной их них я повстречал нескольких английских девочек, отправленных сюда учиться. Невысокая плата побуждает родителей посылать своих детей учиться за границу, где их едва ли научат чему-то путному, за вычетом разве что французского языка; ко всему прочему они впитывают здешние предрассудки относительно протестантской религии и в Англию возвращаются ярыми

1. Авл Корнелий Цельс (I в. до н. э.) — древнеримский ученый-энциклопедист, "римский Гиппократ", автор труда "О медицине", на который и ссылается Смоллетт.
2. У античных авторов, в частности у Юлия Цезаря, — обозначения Нижнего (Portus Itius) и Верхнего городов в Булони.

поборницами религии Рима. Обращение в католичество всегда порождает презрение, а порой и отвращение к стране своей собственной. В самом деле, нельзя же ожидать, что люди небольшого ума, да еще склонные к суеверию, станут любить или уважать тех, кого их учат считать нечестивыми еретиками. Пособие в этих школах составляет обычно десять фунтов в год, однако одна французская дама, которая проходила обучение в одной из таких школ, сообщила мне, что условия там нищенские. <...>

Нижний город спускается по склону холма от ворот Верхнего города до самой гавани; по красоте улиц, удобству домов, числу и состоятельности жителей он превосходит Верхний. Живут здесь, впрочем, одни купцы или буржуа, дворяне же селятся в Верхнем городе и никогда не смешиваются с другими сословиями. <...>

В Нижнем городе насчитывается несколько религиозных домов, а именно: семинария, монастырь кордельеров и еще один монастырь капуцинов. Последний пришел в полную негодность, однако несколько лет назад был восстановлен в основном на средства английских путешественников, чьи деньги собирал отец Грэм[1], уроженец северной Британии, бывший офицером в армии Якова II и ставший, как говорят, монахом этого нищенствующего ордена, добровольно покаявшись в том, что убил на дуэли друга. Как бы там ни было, это был благовоспитанный, разумный человек, который вел жизнь, достойную подражания, и память о нем всеми здесь почитаема. Настоятель монастыря, он распорядился повесить в церкви британский герб в знак благодарности за благодеяния, полученные от нашего народа. Я часто гуляю по монастырскому саду, стены которого во время прилива омываются морем. В глубине сада находится отделенная от него высокой стеной небольшая роща, куда удаляются капуцины, когда у них возникает охота к уединенной созерцательности. Говорят, что года два назад место это использовалось совершенно иначе. Среди капуцинов был тогда некий père Charles[2], похотливый монах, о котором рассказывают удивительные вещи. Будто бы видели, как молодые женщины из города поднимаются в сумерки по веревочной лестнице на монастырскую стену; поговаривали также, что внебрачных детей в Булони было в тот год больше обычного. Иными словами, père Charles сотоварищи устроили такой переполох, что пришлось заменить все братство, и теперь в этом гнездышке нашли себе приют другие перелетные птицы. Если бы какой-нибудь наш капер выкрал во время войны капуцина и выставил в Лондоне на всеобщее обозрение, он бы не прогадал, ибо я не знаю существа более смешного и нелепого, чем старый монах-капуцин в сутане своего ордена. Один мой знакомый (швейцарский офицер) рассказывал мне, что крестьянин, его соотечественник, всякий раз принимался рыдать, стоило некоему капуцину взгромоздиться на кафедру, дабы обратиться к пастве с предлинной проповедью. Святой отец принялся увещевать его. Однако в начале проповеди крестьянин, как и раньше, пустился в слезы, пока, наконец, капуцин не пожелал узнать, что было такого в его речах или одежде, что производило на крестьянина столь сильное впечатление. "Ах, святой отец, — вскричал кре-

1. Отец Грэм упоминается в "Перигрине Пикле": "Старый отец Грэм, шотландский джентльмен... живший в этих местах долгие годы... отличался чистосердечием, человеколюбием и простотой в обращении".
2. Отец Шарль (*франц.*). Отец Шарль похож на брата Бальтазара, нечистого на руку священника в "Родрике Рэндоме", который "...больше любил поесть и выпить, чем молиться, и питал бóльшую склонность к хорошенькой девушке, чем к Деве Марии или к Святой Дженевьеве".

стьянин, — стоит мне увидеть вас, как я вспоминаю почтенного козла, которого я потерял на Пасху. Мы ведь вместе росли. Он был похож на вас, Ваше преподобие, как две капли воды, — родные братья, не иначе! Бедный Бодуэн! Он сорвался с горы, упокой Господи его душу! Я охотно заплачу за две мессы, чтобы отмолить его от чистилища". <...>

Письмо *четвертое*

Булонь, 1 сентября 1763

<...> Если судить по внешности, булонцы происходят от фламандцев: у большинства нынешних жителей Булони гладкая кожа, светлые волосы и румяные лица, тогда как у французов, как правило, волосы черные, а лица смуглые. Булонцы... отличаются независимым нравом, они жестоки и мстительны. Здесь — и в городе и в деревне — совершается множество самых варварских убийств, крестьяне из зависти или злобы часто поджигают соседские дома. Таких поджогов в прошлом году насчитывалось несколько. Вмешательство в правосудие, свойственное автократиям, всегда оказывает дурное действие на нравственность простых людей. Крестьяне, страдающие от тирании своих хозяев, ведут себя отчаянно и безрассудно. Народ живет в ужасных условиях и скверно питается; они не имеют ни малейшего представления о том, что такое чистота. В Верхнем городе проживает состоятельный бюргер, которого несколько лет назад за совершенное им кровавое убийство приговорили к дыбе, однако в дело вмешался местный губернатор, и преступник был отпущен на свободу; теперь он преспокойно, у всех на глазах, занимается коммерцией и ни в чем не нуждается. Взбешенный abbé[1], которому епископ, ввиду его порочной жизни, отказал в сане, однажды в воскресенье, воспользовавшись случаем, вонзил прелату, когда тот выходил из собора, нож в спину. Добряк епископ настоял, чтобы негодяя отпустили, однако было сочтено, что за столь тяжкое преступление следует аббата наказать, и наказать примерно. Он был задержан и, хоть рана епископа оказалась не смертельной, приговорен к четвертованию. Когда пришло время привести этот страшный приговор в исполнение, аббат стал кричать, что несправедливо обрекать его на столь чудовищные муки за то лишь, что он, желая отомстить за нанесенную ему обиду, ранил недостойного священника, в то время как такой-то (он назвал имя бюргера, о котором только что шла речь) живет в достатке и совершенной безопасности после того, как безжалостно расправился с бедняком и беспомощной беременной женщиной, не причинившими ему ровным счетом никакого вреда.

Всех жителей Булони можно разделить на три категории: дворянство, бюргеры и canaille[2]. Я не называю духовенство, а также всех тех, кто имеет дело с законом, потому что впредь буду время от времени делиться с Вами своими соображениями о религии и духовенстве этой страны; что же до законников, то их можно отнести к одной из вышеназванных категорий. Здешние дворяне тщеславны, спесивы, бедны и нерадивы. Мало кто из них имеет более шести тысяч ливров годового дохода, что составляет пример-

1. Аббат (*франц.*).
2. Сброд, чернь (*франц.*).

но двести пятьдесят фунтов стерлингов; у многих же нет и половины этой суммы. <...> У дворянства не хватает здравого смысла на то, чтобы жить в загородных поместьях, где, обрабатывая землю, они могли бы мало тратить и в то же время разумно использовать свои угодья. Вместо этого, равнодушно взирая на то, как их поместья приходят в негодность, зарастают сорняками их сады и поля, они живут в мрачных дырах Верхнего города, без света, воздуха и удобств. Там они сидят взаперти и морят себя голодом ради того лишь, чтобы иметь возможность покупать красивые наряды и раз в день появляться разодетыми в церкви или на крепостном валу. У них нет образования, нет вкуса к чтению, отсутствует всякая охота заниматься домашним хозяйством; они, в сущности, вообще ничем не заняты, кроме собственных причесок и туалетов. Они терпеть не могут ходить пешком и никогда бы не вышли из дому, если б не желание "себя показать". Исключение составляют набожные дворяне, которые большую часть времени проводят со священником — либо в церкви, либо у него дома. Все прочие развлечения ограничиваются игрой в карты, причем на деньги весьма небольшие. Бережливость, даже скаредность этих людей ни с чем не сравнима: они не едят ничего, кроме супа и bouilli[1], рыбы и салата. Они и помыслить не могут, чтобы пригласить друзей на обед, как-нибудь их развлечь, экономят на всем, даже на кофе и чае, хотя и то и другое в Булони весьма дешево. Полагая, что все пьют кофе или чай дома, сразу после обеда, который подается не позже часу, они во второй половине дня предложат вам разве что бокал шербета или оранжада. Иными словами, я не знаю более ничтожных смертных, чем булонские дворяне; их жизнь лишена смысла, они бесполезны для общества, у них напрочь отсутствуют достоинства, разум и чувства; надменность их вызывает презрение, тщеславие смехотворно. Они кичатся своим званием и ни за что не станут иметь дело с купцами, коих называют плебеями. Стараются они подальше держаться и от иностранцев, делая вид, что церемонятся, — однако, насколько мне известно, церемонность эта в значительной мере притворна: они тщатся скрыть свою бедность, хотя есть у них недостатки куда более серьезные. Учитывая жизнелюбие французов, трудно взять в толк, как могут они вести жизнь столь скучную — вдали от общества, лишенную развлечений. Единственными развлечениями в городе являются кукольные и шутовские представления; впрочем, религиозные обряды французов — это в своем роде тоже нескончаемый спектакль. Их мессы и церковные праздники, процессии и паломничества, исповеди, лики святых, свечи, сутаны, ладан, посвящения и освящения, моралите, аллегории и бесконечные спектакли, происходящие почти каждый день, представляют собой развлечение круглогодичное. Если идолопоклонство подразумевает страх, то к ритуальному лицедейству римской религии слово это применимо менее всего. Такого рода фиглярство не только не вызывает у людей священный ужас, но веселит их, поддерживает хорошее настроение. Католик с таким же нетерпением ждет праздника St. Suaire, или St. Croix, или St. Veronique[2], как английский школьник — представления "Панч и черт"; церковный фарс вызывает ничуть не меньше смеха, чем балаганный. Даже когда на Святой неделе изображается во всех подробностях, долженствующих вызвать самые высокие чувства, снятие с креста, вы не увидите в толпе ни одного печально-

1. Вареной говядины (*франц.*).
2. Туринской плащаницы... Святого креста... святой Вероники (*франц.*).

го лица; все болтают, хихикают, смеются, и ставлю десять против одного, что обязательно найдется несколько человек, что поднимут на смех женщину, исполняющую роль Девы Марии. <...> Сколь бы пышные церемонии этой религии не повышали дух толпы, не помогали ей забыть о своей тяжкой доле, они, одновременно с этим, вызывают интерес к показным и пустым развлечениям, потворствуют безделью, коим, с моей точки зрения, и объясняется в значительной мере крайняя бедность низших слоев общества. Никак не меньше половины времени, которое можно было бы употребить с толком, тратится на нескончаемый религиозный балаган.

Но коль скоро письмо это и без того уже заняло много страниц, я отложу до следующего случая то, что собирался сказать о людях этого города. Пока же примите, дорогой сэр,

мои заверения в том,

что я всегда предан Вам, и проч.

Письмо пятое

Булонь, 12 сентября 1763

Дорогой сэр,

пребывание мое в этих местах затянулось. Вплоть до последних нескольких дней я продолжал купаться в море, отчего чувствовал себя гораздо лучше, хотя лето выдалось холодное, сырое и неуютное. Все здесь рассчитывали на хороший урожай, я сам, разъезжая по здешним местам, с удовольствием разглядывал поля ржи, овса и ячменя, однако посевы погибли под дождем, и, кроме пожухлой соломы и сгнивших колосьев — загубленного труда землепашца, ничего не видать. Земля теперь в состоянии прокормить разве что несколько отар тощих овец, что щиплют жнивье и траву под присмотром пастуха с палкой и собак; каждую ночь пастух ложится посреди своего стада в крытом соломой домике на колесах, чтобы защитить овец от волков, которые иногда, особенно зимой, становятся очень свирепы.

Два дня назад мы с миссис Б.[1] и капитаном Л. отправились в деревню Сомер, находящуюся на парижской дороге, лигах в трех от Булони. Неподалеку раскинулось аббатство бенедиктинцев, окруженное большими красивыми садами. Хотя мясо бенедиктинцам есть запрещается, они могут питаться дикой уткой, которую держат за рыбу. Когда же им хочется отведать крепкого bouillon, куропатку или цыпленка, им ничего не остается, как сказать, что они неважно себя чувствуют; в этом случае больной утоляет аппетит в полном одиночестве, в собственной келье. Церковь очень красива, однако внутри грязно. Главным курьезом этих мест является английский мальчуган лет восьми-девяти: отец отправил его сюда из Дувра учить французский. Не прошло и двух месяцев, как юный британец стал главарем местных мальчишек, в совершенстве изучил чужой язык и напрочь забыл свой родной. Но вернемся к булонцам. <...>

Такого понятия, как чистоплотность, в этой стране не существует. В каждой комнате стоит непременный armoire, то бишь гардероб, и очень

1. Имеется в виду госпожа Баллантайн, жена шотландского купца, жившая в это время в Булони.

нескладный комод. Нехватка хороших рук и деловой сметки чувствуется во всем. В доме нет ни одной двери или окна, которые бы плотно закрывались. Петли, замки и щеколды сделаны из железа, но работа очень грубая, неумелая. Плохи даже дымоходы: они столь широки, что пропускают и дождь и солнце и вдобавок нестерпимо дымят. Еще больше, чем чистоплотности, этому народу не хватает утонченности — следствия чистоты ума. Им совершенно неведомо, например, то, что зовется у нас благопристойностью, — могу привести несколько примеров, каковые приведут в ужас даже жителей Эдинбурга[1]. Нет ничего более нелепого, чем объяснять поведение, которое вызовет оторопь у всякого приличного человека, разницей в обычаях. Судите сами, может ли ссылка на обычай оправдать чудовищную неблагопристойность французской дамы, что в присутствии гостя сбрасывает свой не слишком чистый халат, да еще рассуждает с ним о своих lavement, medicine и bidet[2]?! Итальянская signora, нисколько не стыдясь, сообщит вам, что в такой-то день она начинает лечиться от сифилиса. В пьесе реформатора итальянской комедии ребенок испражняется прямо на сцене: "Oe, no ti senti? Bisogna desfassarlo; fa cenno che sentesi mal odore"[3]. Когда одна моя знакомая француженка отправлялась в укромное место, ее поклонник, ни на шаг не отходя от двери нужника, развлекал ее всевозможными bons mots[4]. Хотелось бы знать, может ли знатная дама говорить и действовать подобным образом, не рискуя вызвать отвращение у всякого мужчины, который сохранил остатки воображения и здравого смысла, даже если своим поведением она не нарушает национальных обычаев? Вообще, тем или иным обычаем можно оправдать поведение самое гнусное и противоестественное. Парижанин отдает предпочтение умерщвленной плоти; житель Леджиболи не станет есть рыбу, пока она полностью не протухнет; "цивилизованные" жители Камчатки пьют мочу своих гостей, которые их споили, а вот жители Новой Земли предпочитают спиртному ворвань; гренландцы едят из одной миски со своими собаками; кафры на Мысе Доброй Надежды мочатся на тех, кому они хотят оказать высшие почести, овечьи же внутренности почитаются у них лакомством самым изысканным. Хорошо воспитанный француз макает пальцы, коричневые от нюхательного табака, в тарелку с рагу. Не до конца прожевав мясо, он извлекает из кармана табакерку и запускает табак в нос, сопровождая это движение жестикуляциями самыми красноречивыми, после чего извлекает носовой платок, это знамя нечистот, и, нюхая табак и сморкаясь, обдает своими благоуханиями всех тех, кому посчастливилось сесть подле него. Следует признать, впрочем, что француз не станет пить из кружки, откуда, в соответствии с английским обычаем, только что хлебали пиво два десятка слюнявых ртов. Здесь у каждого свой собственный бокал, из которого сидящий за столом время от времени отпивает вино или воду, также подающуюся к ужину. Вместе с тем я не знаю обычая более отвратительного, чем привычка французов при всех полоскать рот из стоящих на столе стаканов с водой: одни чинно вкушают, другие же в это самое время набирают полный рот воды, булькают и сплевывают мутную жидкость с остатками пищи, нисколько этим не смуща-

1. Эдинбург в XVIII в. был печально знаменит весьма несовершенными водопроводом и канализацией.
2. Клистире, лекарствах... биде (*франц.*).
3. "Ты что, не чувствуешь? Необходимо его переодеть — от него явно исходит дурной запах!" (*итал., венецианский диалект*). Цитата из пьесы "Добрая жена" (1749) Карло Гольдони (1707–1793).
4. Шуточками (*франц.*).

ясь. Я был знаком с одним молодым человеком, который, увидев, как изо рта его возлюбленной изрыгается зловонный фонтан, вмиг избавился от своего увлечения. Нисколько не сомневаюсь, что доживу до того дня, когда возродится гостеприимный обычай древних египтян: за стулом каждого вкушающего будут ставить "трон", а также класть изрядное количество использованной бумаги, дабы приглашенные на обед могли облегчиться не отходя от стола. <...>

На днях мы имели честь быть приглашенными на торжественный ужин, который устраивал, не пожалев во славу Франции денег на угощенье, мсье Б. (Бувье. — *А. Л.*). Он пригласил молодоженов, а также их свекровь и тестя, мсье Л-и (Лувиньи. — *А. Л.*), принадлежавшего к дворянскому роду Монтрей. Пришел и кое-кто из городских купцов, а также дядя мсье Б., веселый, очень походивший на бочонок, упитанный человечек, который в свое время служил на английском флоте; своим обществом удостоили нас также отец К., уроженец Ирландии, vicaire, или викарий здешнего прихода[1], и сын мсье Л-и, миловидный подросток лет тринадцати-четырнадцати. Repas, подававшийся в три приема, с entrée и hors d'oevres, состоял, не считая фруктов, примерно из двадцати блюд, прекрасно приготовленных rotisseur, однако plats[2] сменяли друг друга в некотором беспорядке. Наши юные дамы, как мне показалось, не слишком привыкли к столь торжественному застолью. Самое поразительное наблюдение из всех, мною сделанных, заключалось в том, что все сидевшие за столом французы не пропускали ни одно подававшееся блюдо; и говорят, что, будь этих блюд не двадцать, а все сто, они бы все равно испробовали каждое. Называется это у них "отдать дань уважения хозяину". Мсье Л-и посадили во главу стола — он и вправду был душой общества; высокий, худой, лицо суровое, чем-то похож на Дон Кихота, после того как тот лишился зубов[3]. В свое время он служил garde du corps, или королевским гвардейцем в Версале, благодаря чему был прекрасно знаком с королем и дофином, а также с министрами и вельможами, а стало быть, и с государственными тайнами, о коих рассуждал с важностью и красноречием. Мсье Л-и проклинал иезуитов и откупщиков, которые, говорил он, разорили Францию. Затем, обратившись ко мне, он спросил, не пьют ли англичане каждый день за здоровье madame la marquise[4]. Не сразу сообразив, что́ он имеет в виду, я ответил уклончиво, что англичан, мол, не обвинишь в отсутствии любезности к дамам. "Ах, — вскричал он, — лучшего друга, чем она, у англичан нет во всем свете! Если б не она, у них не было бы причин превозносить свои военные победы!" На это я отвечал, что единственная победа, одержанная французами в этой войне, добыта была одним из ее генералов; я имел в виду взятие Махона[5]. Тут я вспомнил, как в 1749 году в Генте чуть было не подрался на дуэли с французом, который утверждал, что все битвы, выигранные великим гер-

1. Имеется в виду Патрик Келчер, ставший приходским священником прихода Сан-Николя в 1754 г.
2. Ужин... закуски... первое блюдо... (*зд.*) повар... кушанья (*франц.*).
3. Речь идет об эпизоде из "Дон Кихота", когда странствующий рыцарь нападает на стадо овец, в результате чего теряет несколько зубов от камня, выпущенного из пращи пастуха.
4. Госпожи маркизы (*франц.*). Имеется в виду Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур (1721—1764), любовница Людовика XV. Мсье Л-и намекает на то, что маркиза де Помпадур, способствуя союзу с Австрией, развязала Семилетнюю войну.
5. Имеется в виду эпизод Семилетней войны: осада французами Минорки и взятие Махона (1756) под командованием маршала Франции герцога Ришелье (1696—1788), ставленника маркизы де Помпадур.

цогом Мальборо[1], были нарочно проиграны французскими генералами, дабы сорвать коварные планы мадам де Ментенон[2]. В доказательствах своего национального превосходства французы, надо отдать им должное, весьма изобретательны, а впрочем, они искренне убеждены, что они — самые богатые, самые смелые и самые счастливые и что Франция — самая могучая держава под солнцем, которую не победить никому. А между тем простые люди до сих пор пугают детей именем Мальборо. Сын мсье Б., который воспитывался в крестьянском доме, однажды, когда его привезли сюда, чем-то рассердил своего отца. Когда тот пригрозил, что его проучит, мальчик бросился за защитой к матери и, плача, сказал: "Faites sortir ce vilain Malbroug" ("Выгони этого негодяя Мальборо"). <...>

Мсье Л-и сочетал резкость политических суждений с изысканными замечаниями опытного волокиты, с вожделением поглядывая на свою commere[3], почтенную даму, сидевшую с ним рядом. Он поедал ее глазами, вздыхал, принимал томный вид, напевал нежные куплеты и то и дело целовал у нее ручку со всем пылом юного воздыхателя. Я имел неосторожность поздравить его с тем, что его сын — столь миловидный юный джентльмен. На эти комплименты он, тяжко вздыхая, отвечал, что у мальчика есть способности, но до сих пор не нашел он им должного применения. "В его возрасте, — сказал он, — я уже давно закончил курс риторики". Капитан Б., с подвязанной под подбородком салфеткой, наевшийся до того, что почернел лицом, очень походил на Санчо Панса, когда тот, точно так же подвязанный кухонным полотенцем, с мыльной пеной на лице, вошел в залу в сопровождении поварят герцога, которые собирались его побрить[4]. Так вот, сей морской остроумец, повернувшись к мальчику, с кривой ухмылкой заявил: "Мне кажется, тебе следовало бы брать пример с твоего отца и смотреть на вещи проще". В это время одна из племянниц, знавшая, что дядя очень боится щекотки, принялась щекотать его под мышкой, отчего толстяк попытался было вскочить, но потерял равновесие, перевернул тарелку, вывалив содержимое на сидящего рядом, и повалился на стул, после чего, вместе со стулом, ко всеобщему замешательству, рухнул на пол и наверняка бы задохнулся, если б его племянник не успел, проявив недюжинное проворство, распустить ему галстук. Когда все вновь расселись по своим местам и несколько успокоились, а капитан выразил сожаление по поводу случившегося, мсье Л-и взбрело в голову прочесть сыну лекцию о сыновнем долге. Лекция сопровождалась резкими упреками в адрес сына, которые тот воспринял столь близко к сердцу, что даже выскочил из-за стола. Почтенная дама заметила, что мсье Л-и был слишком строг, на что ее невестка, девица очень хорошенькая, заявила, что упреки, брошенные ее братцу отцом, вовсе не безосновательны, намекнув тем самым, что мальчишка предается кое-каким ужасным порокам, отчего некоторые из сидевших за столом заохали: "Ах! Ах!" "Да, — сказал, напустив на себя грустный вид, мсье Л-и, — у мальчика и впрямь пагубная страсть к азартным играм; за один день он проиграл в бильярд такую сумму, что подумать страшно". —

1. Речь идет об английском полководце и государственном деятеле Джоне Черчилле, первом герцоге Мальборо (1650–1722). Хорошо известна, в том числе и по-русски, популярная французская песенка "Мальбрук в поход собрался" ("Malbrouk s'en va-t-en guerre").
2. Франсуаз д'Обинье Ментенон (1635–1719) — любовница, впоследствии — вторая жена Людовика XIV; первоначально жена писателя Поля Скаррона (1610–1660).
3. Сватья (*франц.*).
4. "Дон Кихот", том II, гл. 15.

"Пятьдесят су[1] за один вечер!" — вскричала сестра. "Пятьдесят су! — воскликнула свекровь, не скрывая своего изумления. — Это немало! Это совсем немало! Он виноват! Он виноват! Но что ж вы хотите, мсье Л-и, молодость! Ah! Vive la jeunesse!" — "Et l'amour!"[2] — вскричал отец и, вытирая глаза, цепко схватил ее за руку. Мсье Б., улучив момент, вернул за стол юного джентльмена, который был прощен, после чего немедля получил очередное увещевание. Таким образом, за столом вновь воцарилась гармония, и ужин завершился фруктами, кофе и liqueurs[3].

Отправляясь на прогулку, булонский буржуа садится в запряженный одной лошадью фаэтон, который здесь называется cabriolet и нанимается за полкроны в день. Имеются также почтовые кареты, куда помещаются четыре человека, двое лицом к лошадям, двое спиной; экипажи эти, впрочем, сделаны очень плохо и на редкость неудобны. Чаще же всего в этих краях ездят на осликах. Каждый день на окраинах города можно лицезреть огромное число женщин, передвигающихся на этих животных. В зависимости от ветра они свешивают ноги на ту или другую сторону от седла и правят соответственно правой или левой рукой; в других же частях Франции, равно как и в Италии, дамы ездят верхом на лошадях и для этой цели надевают бриджи.

Когда я говорил, что французы с юмором относятся к пышным ритуалам своей религии, я вовсе не имел в виду, что среди них не бывает людей угрюмых. Во Франции вы найдете немало религиозных фанатиков, однако есть и просто люди замкнутые, есть и меланхолики. Люди по-настоящему набожные, в отличие от Англии, здесь не редкость. В любое время суток вы можете видеть, как они ходят из церкви в церковь, лица скрыты под капюшоном, на плечах длинные камлотовые плащи; идут они медленно, с постными лицами и опущенными глазами. Те из них, кто беден, доставляют монахам немало хлопот; они мучаются угрызениями совести; ни разу не было, чтобы, войдя в церковь, я не увидел бы их стоящими на коленях в исповедальнях. Богатая devotée[4] имеет своего собственного исповедника, которого принимает — и щедро угощает — у себя дома; обычно духовный отец пользует всю семью. Со своей стороны могу сказать, что мне ни разу не приходилось встречать религиозного фанатика, который в то же время не был бы лицемером. Их претензии на высшую святость и на полное владение всеми страстями, с коими человеческому разуму до сих пор справиться не удавалось, порождают привычку к притворству, которая, подобно всем прочим привычкам, со временем становится их природой, покуда, в конце концов, они в совершенстве не овладевают искусством лицемерия. Энтузиазм и лицемерие никоим образом не совместимы. Самые ярые фанатики из всех, мне известных, в действительности были великими сластолюбцами и отъявленными проходимцами.

Среди низших классов всего более обращают на себя внимание моряки: селятся они в одном квартале и состоят на службе у короля. Эти выносливые, крепкие люди в основном исполняют обязанности рыбаков и лодочников и плодятся, как кролики. Находятся они под покровительством чудотворного лика Девы Марии. Ее статуэтка хранится в од-

1. В XVIII в. 1 су равнялся двадцатой части ливра и соответственно двадцатой части одного фунта стерлингов.
2. "Ах, да здравствует молодость!" — "И любовь!" (*франц.*)
3. Зд.: ликеры (*франц.*).
4. Верующая (*франц.*).

ной из церквей, и с ней каждый год совершается религиозное шествие. Согласно легенде, статуя Богоматери, вместе с другим награбленным добром, была вывезена из Булони англичанами, захватившими город при Генрихе VIII. Не пожелав жить в стране еретиков, статуя якобы сама села в лодку, переплыла море и остановилась перед входом в гавань в ожидании лоцмана. Лодка была за ней спущена, благополучно доставила ее в город, и с тех пор она продолжает покровительствовать булонским лодочникам. Сейчас лик Богоматери очень черен и очень неказист; к тому же статуя во многих местах изуродована, руки и ноги были, насколько я понимаю, отсечены и использовались для набивания табака в трубку, что, впрочем, нисколько не мешает верующим наряжать ее в очень дорогое одеяние и выносить из церкви вместе с серебряной лодкой, построенной за счет местных моряков.

Тщеславие, столь свойственное французам, распространяется и на canaille. Последняя нищенка позаботится о том, чтобы иметь серьги и носить на шее золотой крест, который, кстати сказать, является одновременно свидетельством богобоязненности и предметом туалета; без такого крестика ни одна, даже самая бедная, женщина на людях не появится. Простые люди здесь, как и во всех странах, где жизнь их убога и грязна, отличаются грубыми чертами лица и темной кожей. <...>

Через десять дней я отправляюсь в дальнейший путь и Булонь, признаться, покидаю с сожалением. <...> Следующее письмо напишу из Парижа. Мои лучшие пожелания нашим друзьям в А.[1]. Оттого, что нахожусь я от вас всех на столь далеком расстоянии, мне немного тяжело на душе. Неизвестно ведь, вернусь ли я когда-нибудь. Здоровье мое весьма шаткое.

Прощайте.

Письмо шестое

Париж, 12 октября 1763

Дорогой сэр,

о нашем путешествии из Булони в Париж особенно рассказывать нечего. Погода нам благоприятствовала, дороги были в состоянии приличном. В Монтрейе и в Амьене нас приняли радушно, однако во всех прочих местах, где нам приходилось останавливаться, столкнулись мы с чудовищной грязью и самыми бессовестными поборами. Не стану описывать Аббвиль и Амьен, которые видели мы en passant[2], равно как не хочу отнимать у Вас время рассказом о конюшнях и дворце Шантийи, принадлежащих принцу Конде, где мы побывали в последний день нашего путешествия; не буду также подробно останавливаться на впечатлениях от Tresors de St. Denis[3], каковые, наряду с надгробиями в церкви аббатства, мы не без интереса разглядывали, покуда нам готовили обед. Все эти достопримечательности упоминаются в десятках всевозможных справочников, путевых заметок и руководств, которые Вы наверняка изучали. Замечу лишь, что

1. Возможно, Смоллетт имеет в виду клуб "Андерсон" в Глазго, где в XVIII в. обедали местные литераторы и университетские профессора.
2. Мельком (*франц.*).
3. Сокровища Сен-Дени (*франц.*).

церковь аббатства — это самый легкомысленный образец готической архитектуры, который мне приходилось видеть, даже воздух внутри не отдает сыростью, столь ощутимой в наших старых соборах. И это вовсе не случайно. В церкви имеются прекрасные мраморные статуи, что украшают надгробия, однако статуи эти изваяны во французском вкусе, который прямо противоположен простоте древних. Все в них показное, одежды их причудливы или, как выразился один из наших английских живописцев, "в них все трепещет". Что же до сокровищ, которые по определенным дням показывают народу бесплатно, то хранятся они в шкафах или арсеналах, и если драгоценные камни и впрямь настоящие, то им поистине нет цены, однако поверить в это трудно. И то сказать, я слышал, будто все, что выставлено напоказ, — не более чем фальшивка; есть, однако ж, необработанные камни, и в самом деле имеющие огромную ценность, а также многие курьезы, достойные того, чтобы на них обратили внимание. Монах, что показывал их нам, как две капли воды похож на нашего друга Гамильтона[1].

Следует сказать несколько слов об одной особенности здешних auberges, которая вполне согласуется с французским национальным характером. Владельцы постоялых дворов, а также хозяйки и слуги в своем отношении к чужестранцам услужливостью, прямо скажем, не отличаются. Вместо того чтобы подойти к дверям и пригласить вас войти, как это было бы в Англии, они словно вас не замечают, предоставляя вам самому отыскать кухню или узнать, как туда пройти; оказавшись на кухне, вам придется несколько раз спросить комнату, прежде чем прислуга проявит желание сопроводить вас наверх. В целом обслуживают вас с видом до унизительности равнодушным, сами же между тем строят планы, как бы обобрать вас до нитки. В этом, пожалуй, и состоит забавная разница между Францией и Англией; во Франции с вами любезны все, кроме хозяев гостиниц; в Англии, напротив, если по отношению к вам и проявят любезность, то лишь на постоялом дворе. Говоря о любезности и услужливости французов, я, естественно, не имею в виду тех подлых бездельников, что роются в багаже путешественников в разных частях королевства. Хотя на наших дорожных сумках стояла свинцовая печать и у нас был с собой passavant[2] с таможни, при въезде в Париж карету нашу обыскали, и женщинам пришлось выйти и стоять на улице, покуда обыск продолжался.

Я попросил своего друга снять мне в Париже гостиницу, в Сен-Жермен, что он и сделал, и мы поселились на втором этаже "Отеля де Монморанси", который обошелся мне в десять ливров в день. Меня бы, признаться, устроили и номера подешевле, но коль скоро пробыть в Париже я рассчитывал всего несколько дней, к тому же мне предстояло принимать посетителей, я нисколько не огорчился, что мой друг несколько превысил свои полномочия. Позволил я себе и еще одну расточительность — нанял carosse de remise[3], за которую плачу двенадцать ливров за день. Помимо необходимости не только принимать посетителей, но и наносить визиты, я не мог покинуть Париж, не показав жене и девицам самые примечательные места в столице, как то: Люксембург, Пале-Руаяль, Тюильри, Лувр, Дом инвалидов, а также Версаль,

1. Вероятно, Арчибальд Гамильтон-старший (1719–1793) — владелец типографии, где печаталось "Критическое обозрение" Смоллетта.
2. Таможенное пропускное удостоверение (*франц.*).
3. Наемная карета (*франц.*).

Трианон, Марли, Медон и Шуасси. Вот почему я счел, что разница в цене между carosse de remise и шестиместным наемным экипажем будет не слишком велика, тем более что первая необычайно элегантна, хотя, пожалуй, излишне разукрашена, а второй очень неказист и неудобен. К моей величайшей досаде, был я также вынужден нанять valet de place[1], ибо мой собственный слуга по-французски не говорит. Вы и представить себе не можете, с каким пылом и проворством эти подлые valets стремятся ограбить иностранцев. Когда вы подъезжаете, он вас уже ждет, немедля кидается помогать вашему слуге носить и распаковывать багаж и проявляет к вам столь неподдельный и назойливый интерес, что отвязаться от него очень нелегко, даже если вы заранее вознамерились такого слугу не нанимать. Он с готовностью продемонстрирует вам рекомендации от своих бывших хозяев, в гостинице единодушно поручатся за его честность. Надо признать, что молодцы эти очень проворны и услужливы, да и честны — в том, по крайней мере, смысле, что не обворуют вас в расхожем понимании этого слова. Вы, к примеру, можете совершенно спокойно доверить ему принести из банка сто луидоров, однако он беззастенчиво обчистит вас во всем остальном. Суть в том, что valets облагают поборами всех, кто вас обслуживает: портного, цирюльника, модистку, парфюмера, сапожника, торговца мелким товаром, ювелира, шляпника, traiteur[2] и виноторговца; даже владелец вашей кареты платит ему двадцать су в день. Сам же он берет вдвое больше, поэтому, думаю, мой мальчик на посылках зарабатывает больше десяти шиллингов в день, и это не считая пропитания, на которое он, кстати говоря, не имеет никакого права. Жизнь в Париже, если мне не изменяет память, за последние пятнадцать лет стала почти вдвое дороже — как, впрочем, и в Лондоне <...>

Простые горожане и даже парижские буржуа в это время года питаются в основном хлебом и виноградом, что представляется мне весьма разумным. Если б в Англии ели столь же простую пищу, мы бы наверняка жили лучше французов, ибо они, при всем своем жизнелюбии, крайне нерадивы, а великое множество праздников не только еще более способствует их склонности к безделью, но и лишает половины того, что обеспечил им их труд, а потому, не живи наши простолюдины на широкую ногу, то бишь будь они скромнее в еде и выпивке, в Англии жизнь была бы дешевле, чем во Франции. В доме напротив моей гостиницы живут цветущие девицы, племянницы или дочери кузнеца, которые с утра до вечера решительно ничего не делают. С семи до девяти утра они жуют виноград и хлеб, с девяти до двенадцати причесываются, а всю вторую половину дня сидят у окна и смотрят на улицу. Подозреваю, что они не дают себе труда стелить собственные постели или убирать квартиру. Этот же дух безделья и праздности я наблюдал во всех частях Франции и во всех сословиях.

Такое впечатление, что все в Париже с тех пор, как я был в нем последний раз, словно бы уменьшилось в размерах. Лувр, Пале-Руаяль, мосты, Сена ни в коей мере не соответствуют тем воспоминаниям, какие у меня сохранились. Если память не точна, воображение буйствует. Когда я побывал у себя на родине (в Шотландии. — *А. Л.*) после четырнадцатилетнего отсутствия, я точно так же обнаружил, что все стало меньше, и не поверил своим глазам.

1. Слуга, лакей при гостинице (*франц.*)..
2. Трактирщика (*франц.*).

Дома́ французов, несмотря на их веселый нрав, очень угрюмы. Какие бы ни были красоты в Версале, вид у города мрачный. Квартиры темны, дурно обставлены, грязны и жалки. Возьмите за́мок, часовню или сад — все они, вместе взятые, будут являть собой причудливое сочетание великолепия и убогости, изысканного вкуса и фатовства. В отличие от Англии, здесь не найти радующих глаз жилищ, изысканной мебели, чистоты и удобств. Французский гений являет собой странный парадокс. При всем их непостоянстве, легкомыслии, любви к bons mots, их тянет в меланхолию, они любят церковную музыку, длинные, манерные речи. В самых известных драматических произведениях почти нет действия, а диалоги в комедиях состоят из плоских и вялых нравоучений, начисто лишенных остроумия и блеска. Я знаю, тайные поклонники Люлли[1], Расина и Мольера меня не одобрят.

Речь не идет о бюстах, статуях и картинах, коих и в Версале, и в самом Париже, и в округе великое множество. Особенно поражает огромная коллекция непревзойденных полотен в Пале-Руаяле, которая принадлежит герцогу Орлеанскому. У меня нет ни умения, ни желания давать критический отзыв этим chef d'œvres, на что ушел бы не один том. Трижды с изумлением разглядывал я сей кладезь живописи, однако должен все же сказать, что полотна доставили бы мне куда большую радость, будь их вдвое меньше; подобное изобилие приводит в замешательство: не знаешь, с чего начать, и перебегаешь от одного шедевра к другому, не успев ничего толком рассмотреть. К тому же залы темные, и многие картины плохо освещены. Что же до Трианона, Марли и Шуасси, то смотрятся они крохотными закутками, и, несмотря на невероятные славословия, расточаемые дворцам французских королей, возьму на себя смелость утверждать, что английскому королю живется ничуть не хуже. Должен, впрочем, исключить Фонтенбло, в котором не был.

Считается, что Париж раскинулся на пять лиг, или пятнадцать миль, в окружности; и если это так, он должен быть более густонаселен, чем Лондон. Улицы здесь и впрямь очень узкие, дома очень высокие, и на каждом этаже живет другая семья. Но, сравнив наиболее подробные планы двух великих городов, я пришел к убеждению, что Париж намного меньше Лондона и Вестминстера; подозреваю, что преувеличено и число парижан; ошибаются те, кто считает, что население Парижа достигло восьмисот тысяч, ибо это на двести тысяч больше, чем должно быть по похоронным спискам. Дома французской аристократии из-за своих внутренних дворов и садов занимают очень много места, равно как и принадлежащие им школы и церкви. Нельзя при этом не признать, что парижские улицы запружены народом и экипажами.

Французы начинают подражать англичанам — впрочем, в основном в мелочах. Когда я был в Париже в последний раз, мне не доводилось видеть ни одного знатного горожанина, будь то мужчина или женщина, кто не появился бы на улице в полном одеянии, даже если он вышел ненадолго и рано утром; к тому же и в помине не было того, что называется perruque ronde[2]. Теперь же по утрам я наблюдаю на столичных улицах людей в халатах и в коротких париках, прикрывающих лишь часть головы. Ввели у

1. Жан-Батист Люлли (1632–1687) — французский композитор.
2. Букв.: круглый парик (*франц.*).

себя французы и petite poste[1], переняв у нас пенни почту и несколько ее усовершенствовав, и я слышал, что существует план подвести в каждый дом воду, которая потечет по свинцовым трубам из Сены. Переняли они и обычай принимать холодную ванну: делается это в деревянных постройках на берегу реки; вода впускается и выпускается с помощью кранов, находящихся по бокам ванны. Мужчины и женщины моются в разных комнатах, со всеми удобствами и за смехотворную плату. <...>

Во французском характере, несомненно, есть много нелепого. Вы знаете, что, когда люди света выезжают на охоту, выглядят они прекомично — наряжаются в высокие сапоги, надевают на голову парик с сеткой, берут с собой шпаги и пистолеты. На днях я лицезрел следующую сцену. На дороге в Шуасси остановился fiacre или, по нашему, шестиместный наемный экипаж, и из него вышли пятеро или шестеро вооруженных мушкетами мужчин. Они разошлись по лесу и спрятались за деревьями. Я спросил нашего слугу, кто эти люди, вообразив, что это, должно быть, лучники или законники, преследующие какого-то преступника. Представьте же мое удивление, когда слуга ответил, что эти господа à la chasse[2]. Оказалось, что они приехали из Парижа, дабы развлечься охотой на зайцев — то бишь пострелять зайцев, если те пробегут мимо. Что ж, если в их планы входило разогнать дичь, более действенного способа и впрямь не придумаешь, ибо в здешних местах зайцев такое количество, что я сам видел с десяток этих животных на одной поляне. Думаю, такой способ охотиться "из кареты" следовало бы перенять и нам, дабы несколько расшевелить лондонских олдерменов, которые охотиться верхом, с собаками по старости и тучности неспособны.

И все же в одном французы, безусловно, нас превосходят. Я имею в виду умение одеваться. Считается, что мы подражаем их модам; в действительности же мы являемся рабами их портных, цирюльников и прочих. Иногда создается впечатление, что наши собственные лавочники вступили в заговор против нас, объединившись с французскими. Когда выходцы из Франции приезжают в Лондон, они разгуливают по городу в туалетах, сшитых по моде их собственной страны, и мода эта у нас, как правило, вызывает восхищение. Прекрасно, так почему же в таком случае ей не следовать? Нет, мы кичимся тем, что самым нелепым образом отступаем от той самой моды, коей восхищаемся, и пребываем в счастливом заблуждении, будто тем самым проявляем независимый нрав. Но нам не хватает духу выдерживать эту линию, когда мы посещаем их страну, — тогда бы, возможно, и они, в свою очередь, пришли в восхищение от нашей моды и последовали нашему примеру, ведь с точки зрения истинного вкуса моды обеих стран одинаково абсурдны. <...> Какими бы различными ни были вкусы каждого человека, разница в одежде между двумя странами очевидна. И что же? Когда англичанин приезжает в Париж, он не может выйти на улицу до тех пор, пока не изменит свой облик до неузнаваемости. Стоит только ему войти в гостиницу, как он сочтет необходимым незамедлительно послать за портным, цирюльником, шляпником, сапожником и всеми прочими лавочниками, занятыми экипировкой человеческого тела. Он считает своим

1. Дешевая, букв. маленькая почта (*франц.*). Пенни-почта (то есть почтовые услуги, которые оцениваются в один пенс) была создана в Англии в 1683 г.; в Париже первые — неудачные — попытки создания такой почты относятся к 1653 г., однако королевский патент на "маленькую почту" получен был лишь в 1758 г. Пиарроном де Шамуссе (1717–1773).
2. Охотятся (*франц.*).

долгом сменить даже пряжки на туфлях и гофрированный воротник; он готов пойти на все, лишь бы соответствовать сегодняшней парижской моде. Как бы холодно ни было в это время в Париже, он должен непременно щегольнуть своим habit d'été или demi saison[1], не додумавшись надеть что-то более теплое и менее соответствующее моде. Сходным образом, ни преклонный возраст, ни болезни не будут служить оправданием человеку, если он выйдет на улицу без шляпы. Женщины еще более подвержены капризам моды, а поскольку предметы их туалета весьма многочисленны, нам с вами наверняка станет не по себе, когда мы увидим свою супругу в окружении целой толпы couturieres[2], модисток и камеристок. Все ее платья и пеньюары должны быть перешиты. Ей понадобятся новые платья, новые туфли, новая прическа. Ей не обойтись без платьев из тафты на лето, из травчатого шелка — на весну и осень, атласные и камчатные — на зиму. Добропорядочный муж, что круглый год носил beau drap d'Anglettere[3] и парик с косицей, теперь должен пошить себе камлотовый, прошитый серебром камзол для весны и осени, шелковые камзолы — на лето и камзол, отделанный золотом и бархатом, — на зиму; парик же у него должен быть в сетке, и носить его следует à la pigeon[4]. Такое разнообразие нарядов совершенно необходимо всем, кто претендует на высокое место в обществе. Однако по возвращении на родину вся эта мишура становится бесполезной. Англичанин не сможет выйти из дому в Лондоне, пока с ним не произойдет обратная метаморфоза, а следовательно, у него будут все основания считать, что лавочники Парижа и Лондона договорились между собой, чтобы его обобрать. И от них, несомненно, зависит мода в обеих столицах; наши соотечественники, правда, находятся в подчиненном положении, ибо, как бы англичанин ни вырядился, в Париже, да и в любом другом европейском городе, он не котируется; тогда как французский petit maître почитается везде, в Лондоне в том числе. А поскольку англичане последнее время полюбили ездить за границу, хочется, чтобы они набрались антигалльского духа, не боялись являться на люди в доморощенном английском платье и к французским модам относились с тем же философским пренебрежением, каковое демонстрирует честный джентльмен по имени Уиг-Мидлтон. Сей несокрушимый патриот по-прежнему появляется в том же самом, наспех завитом парике, в том же котелке и в том же кафтане с обшлагами, которые надевали четверть века назад, и будет носить этот наряд, словно бросая вызов всем революциям моды. <...>

В заключение должен сообщить Вам, что даже почтенные владельцы парижских магазинов не считают для себя зазорным обирать покупателя самым бессовестным образом. Вот вам пример. Один из самых надежных marchands в этом городе запросил за люстрин шесть франков, заявив, прижимая руку к груди, en conscience, что сам он отдал за него пять франков; не прошло, однако, и трех минут, как тот же самый люстрин он уступил за четыре с половиной франка, а когда покупатель уличил его во лжи, преспокойно пожал плечами и сказал: "Il faut marchander"[5]. Несколько человек, которым я склонен доверять, говорят, что с подобной изворотливостью сталкиваешься во Франции повсюду.

1. Летний наряд... демисезонный наряд (*франц.*).
2. Портних (*франц.*).
3. Добротное английское сукно (*франц.*).
4. Зд.: залихватски (*франц.*).
5. Торговцев... честно, чистосердечно, от души... "Нужно уметь торговаться" (*франц.*).

Следующее письмо Вы, скорее всего, получите от меня из Нима или из Монпелье.

Всегда Ваш и проч.

Письмо седьмое

Миссис М.[1]

Париж, 12 октября 1763

Сударыня,

буду рад, если мои наблюдения о французском национальном характере Ваше любопытство удовлетворят. Что касается француженок, судить о них я могу лишь по их внешнему виду; впрочем, он таков, что возникает ощущение, будто женщина разумная и с хорошим вкусом настолько сжилась с абсурдом того, что зовется модой, что отбросила разум и скрыла свою истинную сущность, дабы сделаться смехотворной и внушать страх. Такое, впрочем, случается, в том числе и у нас на родине, где французским причудам подражают самым неловким образом. Повсеместное же распространение сих нелепых мод — очевидное свидетельство отсутствия в мире вкуса и всеобщего падения нравов. Не стану описывать, как одевается знатная французская дама, Вам это должно быть известно куда лучше, чем мне; берусь, однако, утверждать: Франция — это тот неисчерпаемый кладезь, откуда различные королевства и государства Европы черпают дурной вкус, распущенность и сумасбродство. А источником, пополняющим сей кладезь, являются тщеславие и невежество. Ничего не стоит доказать, исходя из природы вещей, а также из размышлений о том, ради чего придумана одежда, что такое естественная красота и как ее понимали древние, которые, безусловно, смыслили в ней ничуть не меньше, чем ценители красоты наших дней, — что нет ничего более чудовищного, неудобного и презренного, чем современное платье. Вы сами прекрасно осведомлены обо всех недостатках сегодняшней моды и часто при мне над ней издевались; я же остановлюсь лишь на одной ее особенности, которая, как мне представляется, довела человеческую претенциозность до последнего предела безумия, а именно на том, как современные дамы ухаживают за своими лицами. Когда в Англии побывали индейские вожди[2], мы смеялись над тем, сколь нелепы их разукрашенные щеки и веки. Смеяться, однако, надо было не над ними. Насмешники не учли, что индейцы красят лица не за тем, чтобы понравиться окружающим, а для того, чтобы вызвать ужас у своих врагов. Думаю, что Ваш пол прибегает к румянам и киновари с иной целью: улучшить цвет лица, вызвать к себе расположение, скрыть природные изъяны, а также разрушительное действие времени. Я не стану сейчас касаться того, порядочно ли таким образом вводить человечество в заблуждение; если это и не порядочный, то, во всяком случае, искусный, хорошо продуманный способ понравиться окружающим. Но пользоваться краской так, как того требует французская мода от всех знатных дам, кото-

1. Скорее всего, Кэтрин Маколей, историк, жена друга Смоллетта, шотландского врача-акушера Джорджа Маколея (1716 — 1766).
2. В "Продолжении Истории Англии" (часть V) Смоллетт пишет о трех вождях индейских племен, посетивших Лондон в мае 1762 г.

рые и в самом деле не выходят из дому не разукрашенные, — значит, на мой взгляд, предстать в глазах всякого еще сохранившего представление о приличиях во всем своем гнусном и презренном убожестве. Что до белил, коими француженки в несколько слоев покрывают шеи и плечи, это еще в определенной мере простительно, ибо кожа у них обычно смуглая или землистого цвета, — но вот румяна, которыми они безыскусно малюют лица от подбородка до самых глаз, не только лишают их всякой индивидуальности, но вызывают у окружающих ужас и отвращение. Вы ведь знаете, сударыня, что без этой чудовищной маски ни одна замужняя дама не будет принята при дворе или в любом благородном собрании. На густо нарумяненные лица третье сословие права не имеет — такой привилегией пользуются единственно дамы светские. Подобно тому как их лица спрятаны под искусственным румянцем, их головы покрыты огромной копной искусственных волос, завитых на лбу, в точности как у негров Гвинеи. Естественный цвет никакого значения не имеет, ибо от пудры все головы становятся одного цвета, и ни одна женщина Франции не появится в свете, будь то раннее утро или глубокая ночь, не напудрив предварительно голову. Первыми в Европе стали пользоваться пудрой поляки, дабы скрыть коросту на голове[1], однако нынешняя мода пудрить волосы и делать высокие прически, по всей видимости, заимствована у готтентотов, которые обмазывают свои курчавые головы бараньим жиром, а затем посыпают их порошком под названием "бушу"[2]. Сходным образом кудри светских дам сначала завиваются, отчего начинают напоминать курчавые волосы африканских негров, а затем покрываются чудовищной смесью из свиного жира, сала и белой пудры. <...>

Сия безобразная, размалеванная маска уничтожает всякую красоту, зато неказистости и уродству всячески благоприятствует. Мужской взгляд постепенно с ней свыкается, привыкает к ее непотребному виду, который лишает его возможности отличить одну женщину от другой и, сведя все лица к одному, дает каждой женщине равные шансы заполучить поклонника, чем в каком-то смысле вызывает в памяти обычай древних спартанцев, коих обязывали выбирать себе спутницу жизни в темноте. Судить же о том, что у француженок не *на* голове, а *в* голове, я не берусь, ибо имел случай беседовать лишь с несколькими из них. Однако из того, что доводилось мне слышать об их образовании и веселом нраве, ждать от них ума, чувства и рассудительности не приходится. Родители не только разрешают им с детских лет говорить все, что вздумается, но и всячески их в этом поощряют, вследствие чего с возрастом они приобретают бойкость языка и выучивают набор фраз, который содержит в себе все то, что называется "светской болтовней". Одновременно с этим они начисто теряют стыд, вернее сказать, стараются не испытывать сие обременительное чувство, каковое ни в коей мере не является врожденным. Тех девиц, у кого нет гувернанток, отправляют на несколько лет в монастырскую школу, где им внушают предрассудки, с которыми они живут всю оставшуюся жизнь. Вместе с тем я никогда не слышал, чтобы у них была малейшая возможность развивать свой ум, полагаться на силу разума, прививать себе вкус к сочинительству или же к любо-

1. Во времена Смоллетта считалось, что именно поляки подвержены кожному заболеванию головы, которое по-латыни так и называлось "plica polonica" ("польский колтун").
2. Название, которое уроженцы Мыса Доброй Надежды дали растению diosma crenata.

му другому осмысленному или полезному делу. После того как они овладели наукой болтать без умолку, без устали танцевать и играть в карты, считается, что они вправе появляться в grand monde[1] и исполнять все обязанности, сопряженные с положением знатной дамы. Коли разговор зашел о картах, то следует заметить, что научаются они играть не только для удовольствия, но и на интерес; и то сказать, вы вряд ли встретите уроженца Франции, неважно, мужчину или женщину, кто бы не был истинным игроком, превзошедшим все тонкости и уловки карточного искусства. То же и в Италии. Одна знатная дама из Пьемонта, мать четырех сыновей, во всеуслышание заявила, что самый старший будет представлять семью в свете, второй пойдет служить, третий станет священником, а самого младшего, четвертого, она воспитает азартным игроком. Сии авантюристы нередко посвящают себя развлечению путешественников из нашей страны, ибо считается, что у англичан полно денег, что они опрометчивы, беспечны и совершенно не смыслят в картах. Особенно опасен такой проходимец, когда он охотится на вас не один, а на пару с женщиной. Я знавал одного французского графа с его супругой, которым удавалось дочиста обобрать даже наиболее благоразумных и осмотрительных из наших соотечественников. Он был вкрадчив, услужлив, даже угодлив и предупредителен; она — молода, хороша собой, бессовестна и коварна. Если оказывалось, что англичанина, которому предстояло стать жертвой бесчестной игры, не удавалось обмануть мужу, с ним принималась кокетничать жена. Чего она только ни делала: и пела, и плясала, и смотрела на него влюбленными глазами, и вздыхала, и делала ему комплименты, и жаловалась на жизнь. Если же и после всего этого он оставался к ее чарам равнодушен, она льстила его тщеславию, превознося богатство и расточительность англичан; окажись он глух и к этому славословию, она пыталась, используя свой последний козырь, всячески его разжалобить. Со слезами на глазах говорила ему о жестокости и равнодушии ее сановных родственников, сообщала по секрету, что муж ее — младший сын из небогатой дворянской семьи, что достаток их более чем скромен и не соответствует ни положению ее супруга, ни широте его натуры, что на него подали в суд, и тяжба их совершенно разорила, что, наконец, оба они непременно погибнут, если не найдут благородного друга, который ссудит их суммой, достаточной для завершения процесса[2]. Те же французы, кто не преследует столь постыдные цели, азартны по привычке, и, не имея иного, более осмысленного времяпрепровождения, не зная, чем себя занять, они проводят большую часть жизни, предаваясь этому худшему из грехов. Есть тут, разумеется, и немало исключений: Франция дала миру Ментенон, Севинье, Скюдери, Дасье и Шатле[3], однако выводить характер французских женщин, руководствуясь этими примерами, — все равно что назвать конопляник цветником на том лишь основании, что среди конопли растут несколько лилий или лютиков.

1. В свете, в великосветском обществе (*франц.*).
2. С похожей парой сталкивается, приехав в Париж, герой "Перигрина Пикля".
3. Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза Севинье (1626–1696) — французская писательница, автор писем дочери и друзьям; ее письма — образец классицистической прозы. Мадлен де Скюдери (1607–1701) — французская романистка; хозяйка модного литературного и светского салона "Субботнее общество", автор многотомных морализаторских романов "с ключом" ("Артамена", 1648–1653; "Клелия", 1654–1661). Анн Лефевр Дасье (1651–1720) — французская писательница, переводчик и ученый-античник; автор прозаических переводов на французский язык "Илиады" (1699) и "Одиссеи" (1708). Габриэль Эмиль де Бретей, маркиза де Шатле (1706–1749) — французская писательница, любовница Вольтера; автор работ о Лейбнице, перевода "Начал" Ньютона и др.

Женщину принято считать слабым полом; однако в этой стране мужчины, на мой вкус, еще более ничтожны, чем женщины: от них всегда приходится ждать неприятностей. Из всех прохвостов на земле французский petit maître — самый беззастенчивый, да они все petit maîtres, от маркиза, разодетого в шелка и кружева, до garçon barbier[1]! Измазанный едой с ног до головы, он с важным видом расхаживает по улице, высоко задрав голову в парике с длинной косицей и держа шляпу под мышкой. Я уже замечал, что тщеславие — великая движущая сила этого народа, от аристократа до крестьянина, и коль скоро французы не дают себе труда ни скрывать своего тщеславия, ни управлять им, оно побуждает их совершать поступки самые вздорные, даже непотребные. <...>

Французам, не стану этого отрицать, никак не откажешь в природных способностях, однако в то же самое время они отличаются прирожденной ветреностью, которая в молодости мешает им эти способности развить. Ветреность усугубляется негодным образованием, а также умением обвести вокруг пальца легкомысленных людей, живущих фривольной, пустой жизнью. Какой-нибудь иезуит или любой другой монах учит француза читать на родном языке и молиться на языке, который он не понимает. Учителя танцев и фехтования, сих благородных наук, учат его танцевать и фехтовать. Под присмотром своего парикмахера и valet de chambre[2] он в совершенстве овладевает искусством причесываться и наряжаться. Если в придачу француз еще научается играть на флейте или на скрипке, то он и вовсе неотразим. Однако более всего гордится наш француз тем, что он, как никто другой, умеет вести беседу с прекрасным полом. В процессе этого общения, к коему его приучили с молодых ногтей, он, точно попугай, механически заучивает весь набор французских комплиментов, которые, как Вы знаете, есть пустые фразы, и ничего больше. И этими комплиментами он безо всякого разбора забрасывает всех женщин, упражняясь в искусстве, известном под названием "волокитство"; попросту же говоря, он признается в любви всякой женщине, что станет его слушать. Бессчетным повторением сих пошлых комплиментов он добивается того лишь, что становится очень дерзок, очень фамильярен и очень нагл. Скромность или робость, как я уже говорил, в кругу этих людей совершенно не известны — не уверен даже, что на их языке подобные слова существуют.

Если бы меня обязали определить, что такое учтивость, я бы сказал, что это искусство нравиться. Мне представляется, что искусство это непременно подразумевает наличие благопристойности и тонкости чувства. Так вот, эти качества (насколько я мог заметить) у француза напрочь отсутствуют. А потому назвать его учтивым могут лишь те, кто этих качеств точно так же лишен. Его главная цель — украсить свою собственную персону тем, что он называет "красивой одеждой", иными словами — одеться по последней моде. И ничего удивительного, что сердце женщины, не преуспевшей в науках и лишенной даже начатков здравого смысла, трепещет от одного вида сего разодетого вертопраха, когда тот появляется в кругу ее поклонников. Это столь радужное впечатление подкрепляется отпускаемыми им напыщенными комплиментами, каковые ее тщеславие воспринимает совершенно буквально, а также усердными ухаживаниями сего галантного

1. Щеголь... щеголи... подмастерье цирюльника (*франц.*).
2. Камердинера (*франц.*).

кавалера, который, впрочем, волочится за своей дамой исключительно от нечего делать. Оттого что француз вращается в женском обществе с юных лет, он не только знаком со всеми привычками и причудами слабого пола, но и научается оказывать женщинам тысячи мелких услуг, коими пренебрегают, занятые делами более важными. Безо всяких церемоний входит он в спальню дамы, когда та еще в постели, подает ей все, что она просит, проветривает ее ночную сорочку и помогает ей ее снять. Он присутствует при совершении туалета, помогает выбирать наряды и дает советы относительно того, как наложить на лицо румяна. Если же он наведался к ней, когда она уже одета, и замечает малейший недочет в ее coiffure, то обязательно настоит на том, чтобы исправить оплошность собственными руками; если он увидит хоть один выбившийся из прически волосок, то извлечет расческу, ножницы и помаду и возьмется за дело с ловкостью профессионального friseur[1]. Он сопровождает ее повсюду, куда бы она ни ехала, по делам или развлекаться, и оттого, что посвящает ей все свое время, становится вскоре незаменим. И это еще самая приятная сторона его характера; взглянем теперь на него с другой, неприглядной стороны. Француз вмешивается в ваши дела с самым наглым и назойливым любопытством, а затем, проведав все ваши тайны, судачит о них. Если вы нездоровы, он выспросит вас о симптомах вашего заболевания с бóльшим интересом, чем с кем ни попадя ваш врач, и часто при этом пользуясь языком самым вульгарным. Затем он предложит вам снадобье собственного изготовленья (ибо все они шарлатаны) и обязательно будет требовать, чтобы вы уделили ему время, не обращая ни малейшего внимания на мнение тех, кого вы сами назначили заботиться о вашем здоровье. Даже если вам очень нездоровится и никого не хочется видеть, он обязательно проникнет к вам в спальню, а если вы ему в посещении откажете, он не на шутку разобидится. Я знал одного такого petit maître: он настоял на том, чтобы дважды в день наносить визиты одному несчастному еле живому джентльмену и беседовал с ним на самые различные темы, покуда больной не отправился на тот свет. И подобное участие — следствие не привязанности или уважения, а исключительно тщеславия, чтобы потом можно было похвастаться своим благородством и человеколюбием. А между тем из всех людей, мне известных, французы, на мой взгляд, менее всего расположены к сочувствию и состраданию себе подобным. Их сердца черствы и невосприимчивы, легкомыслие же таково, что неприятным мыслям и чувствам они не станут предаваться слишком долго. Французы — известные дамские угодники и этим кичатся; вместе с тем стоит французу завоевать женское сердце, как он, дабы польстить своему тщеславию, выставит напоказ все тайны своей дамы. Если же он потерпел неудачу, то станет подделывать письма и выдумывать истории, порочащие имя отказавшей ему. Казалось бы, подобное коварство должно вызвать к нему ненависть и отвращение всего прекрасного пола, однако происходит обратное. Прошу прощения, сударыня, но женщины более всего на свете любят, когда их знакомых и подруг изобличают или выставляют в дурном свете, и каждая женщина настолько уверена в своих неотразимых чарах и в своей осмотрительности, что полагает, будто в ее силах удержать при себе самого непостоянного и исправить самого коварного ухажера.

1. Прическе... парикмахера (*франц.*).

Если француз вхож в вашу семью и к нему отнеслись дружески и с уважением, за вашу дружбу он "воздаст" вам тем, что будет домогаться вашей жены, если она хороша собой; если же нет, то сестры, или дочери, или племянницы. В случае если ваша жена даст ему отпор, или же все его попытки совратить вашу сестру, или дочь, или племянницу окончатся ничем, он, вместо того чтобы честно признать свое поражение, станет волочиться за вашей бабушкой и, бьюсь об заклад, тем или иным образом изыщет возможность разрушить мир в семье, где ему был оказан столь теплый прием. Того, чего француз не в силах добиться с помощью комплиментов или прислуживаясь, втираясь в доверие, он попытается добиться посредством любовных писем, песенок или стишков, которые у него на этот случай всегда имеются про запас. Если же его выведут на чистую воду и упрекнут в неблагодарности, он, как ни в чем не бывало, заявит, что за вашей женой всего лишь волочился и что волокитство во Франции считается неотъемлемым долгом всякого, кто претендует на хорошее воспитание. Мало того, он заявит, что его попытки соблазнить вашу жену и лишить невинности вашу дочь явились неопровержимым доказательством особого расположения, какое он питает к вашей семье.

Когда же француз испытывает к нам, англичанам, чувства по-настоящему дружеские, то это оказывается испытанием еще более тяжелым. Вы ведь знаете, сударыня, обычно мы неразговорчивы, дерзость нам быстро надоедает и разозлить нас ничего не стоит. Ваша французская подруга будет являться к вам в любое время дня и ночи, она вас заговорит, станет задавать вопросы, касающиеся ваших домашних и личных обстоятельств, попытается влезть во все ваши дела и навязывать вам свои советы с неустанной докучливостью. Будет интересоваться, сколько стоит то, что на вас надето, и, получив ответ, не колеблясь заявит, что вы переплатили, что платье ваше, безусловно, дурно скроено и пошито, что на самом деле стоит оно много дешевле и давно вышло из моды, что у маркизы или графини такой-то есть похожий наряд, но гораздо элегантней и bon ton[1], да и обошелся он ей ненамного дороже, чем вы заплатили за вещь, которую никто не стал бы носить.

Если стол будет уставлен пятьюстами блюдами, француз обязательно попробует каждое, а потом посетует на отсутствие аппетита. Об этом мне уже писать приходилось. Один мой знакомый выиграл солидную сумму, заключив пари, что petit maître попробует четырнадцать различных блюд, не считая десерта, а затем отругает повара, заявив, что тот не повар, а жалкий marmiton — поваренок.

Французы обожают свои волосы, и любовь эту они, по всей вероятности, унаследовали от дальних предков. Первые французские короли славились длинными волосами, и народ этой страны, естественно, считает их необходимым украшением. Француз скорее расстанется со своей религией, чем с волосами, от которых он не откажется ни за что на свете. Я знаю одного господина, страдавшего постоянными головными болями и оттоком крови от глаз. Врач посоветовал ему коротко постричься и каждый день принимать холодные ванны. "Как?! — вскричал больной. — Отрезать волосы?! Слуга покорный!" Он отказал своему врачу, потерял зрение и чуть было не лишился разума, и теперь его водят по улицам, его волосы лежат в мешке, а на глаза надет шелковый платок.

1. В хорошем вкусе, изысканнее (*франц.*).

Граф Сакс[1] и другие авторы, пишущие о войне, не раз доказывали всю абсурдность ношения солдатами длинных волос. А между тем нет в этой стране ни одного солдата, который бы не носил длинную косицу, оставляющую след на его белом мундире, и сие вздорное фатовство распространяется даже на низшее сословие, на самых неимущих. У decrotteur, который чистит обувь на углу рядом с Пон-Неф, свисает до пояса точно такая же косичка, и даже у крестьянина, что возит на осле навоз, волосы заплетены en queue[2], хотя у него может не быть ни рубашки, ни штанов. Свою косичку он считает украшением, чтобы заплести ее, тратит немало времени и сил и, демонстрируя ее миру, тешит тем самым свое самолюбие. Оттого, что у простых людей этой страны грубые черты лица, невысокий рост, оттого, что они постоянно гримасничают, а косичка их париков напоминает хвост, у французов имеется некоторое сходство с большими павианами, когда те встают на задние ноги. Очень возможно, именно этим сходством объясняется то, что их выставили на посмешище соседи[3]. <...>

Французов принято считать неискренними и упрекать в отсутствии великодушия. Но упреки эти, мне кажется, не имеют под собой достаточных оснований. В этой стране высоко ценятся и всячески поощряются знаки дружеского участия и привязанности, каковые, впрочем, не следует понимать буквально. И если с их великодушием встречаешься, прямо скажем, нечасто, то изъян этот следует приписать не столько отсутствию благородных побуждений, сколько тщеславию и хвастовству, которые, поглощая французов целиком, лишают их возможности оказывать благодеяния. Тщеславие и в самом деле настолько укоренилось во всех сословиях, что французов можно считать величайшими эгоистами на свете, и самый жалкий нищий будет рассуждать с тем же самомнением и заносчивостью, что и первое лицо в государстве. Сознание своей бедности или бесчестья ничуть не помешает французу вступить в разговор, сделать сомнительный комплимент самой обворожительной даме, добиться расположения которой у него нет никаких шансов. При этом он не задумывается о том, есть ли жена у него самого, а у дамы, за которой он приударил, — муж; собирается ли она постричься в монахини или обручена с его лучшим другом и благодетелем. Он ни минуты не сомневается, что его ухаживания будут приняты, и если он встретит отпор, то виноват в этом будет ее плохой вкус, однако в своих собственных достоинствах не усомнится никоим образом.

Следовало бы еще очень много сказать о воинственности французов, а также об их представлении о чести, которое столь же абсурдно и пагубно, однако письмо это и так растянулось на много страниц, в связи с чем оставим эти темы до следующего раза.

Имею честь, сударыня, оставаться
уважающим Вас, преданным Вашим слугою.

1. Имеются в виду воспоминания французского полководца маршала Мориса Сакса (1696—1750) "Мои мечтания, или Мемуары об искусстве воевать" (1757), про которые английский публицист, историк и философ Томас Карлейль (1795—1881) сказал, что они "написаны под воздействием опиума".
2. Чистильщика сапог... с косичкой (*франц.*).
3. Аллюзия на памфлет "Закон есть бездонная яма", вошедший в "Историю Джона Буля" (1712), сочинение английского врача, памфлетиста и острослова, ведущего автора сатирического клуба Мартина Писаки, друга Дж. Свифта и А. Попа Джона Арбетнота (1667—1735), который назвал Людовика XIV "Льюисом Бабуином" (по аналогии с Бурбоном).

Астольф де Кюстин

Записки и путешествия, или Письма из Швейцарии, Калабрии, Англии и Шотландии, где автор побывал в различные эпохи своей жизни

Главы из книги

Перевод с французского и вступление Веры Мильчиной

Литературная судьба французского писателя Астольфа де Кюстина (1790—1857) сложилась так причудливо, что у нас в России он знаменит больше, чем на родине[1]. В самом деле, кто такой Кюстин для Франции? Просто один из многих писателей первой половины XIX века — эпохи, когда во Франции творили авторы куда более прославленные: Гюго и Стендаль, Бальзак и Жорж Санд... Зато в России даже те, кто не читал ни строчки Кюстина, все-таки скорее всего хоть краем уха слышали, что жил на свете такой маркиз, который написал какую-то книгу о России, где то ли разругал нашу страну, то ли расхвалил...

Книга Кюстина "Россия в 1839 году" (1843) — явление уникальное. Уникальное хотя бы разбросом мнений насчет того, как же все-таки французский путешественник относился к описываемой стране. Пожалуй, точнее всего выразился в 1844 году один из первых читателей этой книги, московский почт-директор Алек-

© Вера Мильчина. Перевод, вступление, 2007

1. Более полные сведения о биографии Кюстина и о восприятии его "России в 1839 году" современниками см. в моей статье "Несколько слов о маркизе де Кюстине" (в кн.: Кюстин А. де. Россия в 1839 году. – СПб., 2008. С. 709–725).

сандр Яковлевич Булгаков: "И черт его знает, какое его истинное заключение, то мы первый народ в мире, то мы самый гнуснейший!" Действительно, в книге Кюстина найдутся цитаты, подтверждающие оба эти "заключения": оттого правительство Николая I книгу запретило, американские советологи XX века увидели в ней пророческое описание "России Сталина и Брежнева", а Вадим Кожинов умилился обилию "восхищенных и потрясенных" высказываний Кюстина о России...

Кюстин, однако, не ответчик ни за американских советологов, ни за советских славянофилов. Он действительно написал и о России, и о русском народе, и о русских пейзажах много хорошего, но предъявил русским и много претензий, зачастую весьма резких и язвительных. Русские читатели, в точном соответствии с известной пушкинской формулой, придуманной задолго до приезда Кюстина в Россию ("Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство"), обиделись на эти кюстиновские "шпильки" и продолжают, кажется, обижаться до сих пор. Эта живость читательского восприятия порой не позволяет заметить, что Кюстин был не только обличителем "империи фасадов", но и тончайшим стилистом, мастером меткого афоризма в духе французского семнадцатого века.

Кюстиновский литературный талант проявлялся более всего в жанре путевых заметок. Кюстин оставил и несколько романов из светской жизни, но искусство интриги ему решительно не давалось, и в романах этих самые удачные и запоминающиеся места — это, пожалуй, психологические максимы и отвлеченные рассуждения. Зато в книгах о чужих странах — Англии, Испании, России — Кюстин показывает себя настоящим мастером. Не случайно Бальзак, прочтя книгу Кюстина об Испании (1838), убеждал ее автора, что, "посвятив подобное произведение каждой из европейских стран, он создаст собрание, единственное в своем роде и поистине бесценное", и отмечал, что Кюстин "в превосходной степени владеет искусством сообщать читателю свои впечатления". Книга Кюстина о России по сей день переиздается не только во Франции, но и за ее пределами, что же касается книг об Англии и Испании, их судьба сложилась иначе и они известны несравненно меньше. А между тем блестящих афоризмов, выразительных описаний, метких "диагнозов" и нелицеприятных характеристик в них едва ли не столько же, сколько и в книге о России. Все дело, очевидно, в том, что англичане и испанцы оказались менее обидчивы и попросту не обратили внимания на кюстиновские колкости.

Первая часть "Записок и путешествий" — "Швейцария-Италия-Калабрия", написанная по юношеским воспоминаниям 1811—1812 годов, менее оригинальна; куда более любопытная вторая часть, посвященная путешествию по Англии и Шотландии летом 1822 года. Годом раньше, уступив настояниям матери и надеясь побороть собственные гомосексуальные склонности, Кюстин женился, а в Англию отправился сразу после крещения новорожденного сына; вернулся он оттуда с англичанином Эдвардом Сент-Барбом, который на три десятка лет стал его верным спутником; по возвращении из Англии Кюстин пережил сразу несколько страшных потерь: смерть жены, сына и матери; решился посвятить себе литературе; выпустил в 1829 году без имени автора свой первый роман "Алоис" и начал переработку своих дневниковых записей 1811—1812 и 1822 годов, которые и вышли в самом начале 1830 года, став первой книгой, которую сорокалетний Кюстин подписал своим именем.

В надежде, что когда-нибудь дойдет дело и до полного русского издания, мы публикуем здесь начало английского путешествия Кюстина. Все особенности стиля и мышления маркиза в этом фрагменте налицо. Кюстин открыто заявляет свое право на субъективность суждений, на противоречия самому себе. Порой кажется, что он нарочно придирается к англичанам, ища, в чем бы еще их упрекнуть; впрочем, он сам прекрасно сознает эту свою особенность и парирует возможные упреки: "Вы находите, что я сужу англичан чересчур сурово; однако ес-

ли описания мои вселяют в вас желание познакомиться с этим народом и с этой страной, — в чем можете вы меня упрекнуть? Путешественники способны оскорбить чужие народы лишь одним — равнодушием, а в этом пороке меня обвинить невозможно". Кюстин находит у англичан немало замечательных черт, отсутствующих как у французов вообще, так и у него самого в частности. Однако, с восхищением и почти с завистью отметив хорошее, он немедленно выворачивает описанное наизнанку и отыскивает в хорошем — дурное. Вот один из многих примеров. Всю жизнь страдавший от нерешительности, робости и недостатка силы воли, Кюстин пишет с нескрываемой завистью:

"В Англии причуды человеческой мысли властно подчиняют себе материальную жизнь; *воля* у англичан накладывает свой отпечаток на все, вплоть до привычек, которые здесь, в отличие от других стран, вовсе не отданы на откуп случаю. У англичан мир практический и мир умозрительный стремятся к слиянию; более чем какой бы то ни было народ современной Европы, английский народ приблизился к своего рода политическому единству..." Казалось бы, все хорошо, но Кюстин на этом не останавливается и продолжает: "...однако достиг он этого видимого преимущества за счет утраты силы духовной: вместо того, чтобы возвышать землю до неба, он опускает небо на землю; он подчиняет небо своей жестокой логике и своим неумолимым расчетам. Человек деятельный от этого выигрывает, человек созерцающий — проигрывает. Что касается меня, я, пожалуй, предпочел бы чуть меньшую *последовательность* и чуть большую преданность идеалу; я скорее согласился бы надеяться, страдать, мечтать и молиться где-нибудь в другом месте, чем жить в совершенном довольстве под началом г-на Оуэна и до конца моих дней не думать ни о чем другом, кроме усовершенствования шпульки"[1].

По этой модели Кюстин описывает самые разные стороны английской жизни. Англичане привержены комфорту; казалось бы, для путешественника возможность ночевать на комфортабельных постоялых дворах — немалая удача; однако Кюстин и в этом умеет разглядеть оборотную сторону. Главное занятие большинства англичан, пишет он, это — "постоянное попечение об улучшении физического благополучия. Устроиться *комфортабельно* есть цель усилий каждого англичанина. Это волшебное слово, сообщающее направление всей жизни, узаконивает привязанность англичан к материальным удовольствиям и становится основой домашнего эгоизма, подобно тому как *польза* слишком часто служит оправданием политическим несправедливостям".

Эта материальная усовершенствованность английской повседневной жизни — постоянный предмет размышлений Кюстина; его Англия — это не столько страна "оригиналов", людей, охотно усаживающихся на своего "конька", сколько страна стереотипов, копий, единообразия даже в оригинальничанье, и эта тирания моды и привычек кажется Кюстину недостаточной компенсацией за политическую свободу, которой в Англии — это он готов признать — больше, чем в других странах. Впрочем, книга об Англии далеко не так политизирована, как книга о России. Кюстина, в отличие от многих его современников, таких, например, как Жермена де Сталь или Бенжамен Констан, видевших в Англии прежде всего страну торжествующего либерализма, политическая сторона английской жизни волнует меньше, чем сторона социально-бытовая.

"Всякий англичанин, к какому бы сословию он ни принадлежал, — пишет Кюстин, — хочет жить, как другой англичанин: по одному английскому дому, одной английской семье, одному английскому столу или стулу можно судить о домах, семьях и стульях всей Англии; сословные различия, так очевидные здесь в

1. Здесь в 1830 году Кюстин критикует индустриальный рай с тех же позиций, с каких три десятка лет спустя критиковал его Достоевский в "Записках из подполья", когда рассуждал об "экономическом довольстве", которое человек всегда готов отвергнуть ради "неэкономической бессмыслицы" и "фантастической мечты".

общественном устройстве, почти не заметны в повседневной жизни. Нетрудно вообразить, какое влияние приобретут очень скоро новые нравы в стране, где, можно сказать, не только книги, но все, что служит для жизни материальной, за один день, подобно газете, облетает все королевство из края в край". И далее, с присущим ему умением разграничивать даже самые близкие синонимы, Кюстин рассуждает об отличии "однообразной" дикой Шотландии от "единообразной" цивилизованной Англии: "В первую не потрудилась внести разнообразия природа; во второй все устроено по одному образцу волею общества; в обеих достаточно провести по одному дню, чтобы понять, что вы будете думать о них через два месяца. Если вы видели Лондон и его окрестности, во всех дальнейших странствиях по Англии меняться перед вашим взором будут только названия, а если вы побывали в Эдинбурге и полюбовались бесплодными берегами первого попавшегося озера, спустились в первую попавшуюся заболоченную низину, взобрались на первую попавшуюся гору, поросшую вереском, можете считать, что вы видели всю Шотландию. <...> Кажется, будто из Лондона во все концы Англии были отправлены образцы мебели, блюд, напитков и даже трактирных служанок и хозяек постоялых дворов, ибо все, что можно увидеть, услышать и съесть в одном доме или городе, встречается и во всех других, так что не устаешь спрашивать себя, где же находится тот *стереотип*, с которого воспроизведено все в Англии. Общество здесь такое тесное, сообщения между различными его частями так быстры, часты и легки, что, стоит некоему новшеству явиться в одном конце страны, как оно тотчас умножается до бесконечности и проникает повсюду".

Кюстин, как уже было сказано, мастер афоризма. Порой эти афоризмы просто эффектны (о статуе премьер-министра Питта в городе и о его могиле в Вестминстерском соборе, украшенной одной лишь надгробной плитой: "Гордыня воздвигла статую, смерть довольствовалась камнем"), порой психологически точны ("Тревога для меня есть род хмеля"), порой играют роль социологического диагноза и прогноза: "Есть две отвлеченные, невидимые, таинственные, неизъяснимые, неуловимые, непостижимые силы, которые, однако, объясняют всю политическую мощь и все торговое превосходство Англии: <...> это общественное мнение и пар"; "Англия — страна романов, так что иностранцы, знакомящиеся с этой страной, чувствуют себя так, будто попали в кабинет для чтения"; "Нужно исследовать Италию, чтобы узнать, чем был род человеческий; нужно увидеть Англию, чтобы предсказать, чем он станет". Последнее замечание особенно важно; если младший современник Кюстина Алексис де Токвиль в своей "Демократии в Америке" (1835) описал Америку как общество абсолютной демократии, к которой неотвратимо движется человеческий род, то Кюстин сходным образом описывает Англию как общество "стереотипной" индустриальной цивилизации, которая в будущем станет уделом всего человечества. Обоим авторам нарисованная ими перспектива представляется отнюдь не радостной и не желательной, но, к несчастью, неизбежной.

Книга Кюстина состоит не из одних абстрактных рассуждений; в ней есть прелестные бытовые зарисовки: например, путешественники едут темной ночью в дилижансе и от скуки начинают рисовать словесные портреты невидимых соседей, а при свете дня проверяют: угадали или нет? Или вот поразивший Кюстина пример пуританской суровости: поскольку в воскресенье полагается отдыхать, английские методисты стараются, чтобы индюки проводили этот день отдельно от индюшек, петухи — от кур, и проч. "Какими же ханжами нужно быть, — восклицает Кюстин, — чтобы так строго блюсти нравственность скотного двора!"

О религии Кюстин (убежденный католик) размышляет и в более серьезном тоне; он пытается понять, в чем заключается сущность протестантизма, и приходит к выводу, что это — религия, зависимая от сиюминутных обстоятельств человеческой жизни, религия, апеллирующая к логике, а не к чувствам, и обраща-

ющаяся только к человеку, сформированному определенными социальными условиями, а не к человеку вообще, человеку любой эпохи.

Но о чем бы ни писал Кюстин: о светской жизни или о природе, о промышленности или о религии — он всегда остается умным, хотя порой и весьма привередливым наблюдателем, к чьим суждениям стоит прислушаться.

Путешествие в Англию и Шотландию

Булонь, 22 июля 1822 года

В ранней юности мы так мало знаем внешний мир и так плохо знакомы с собственной своей натурой, впечатления сменяются в нашей душе с такой быстротой, что мы не умеем выбрать из разнообразных и зачастую противоречивых ощущений то единственное, которое позволило бы нам составить верное представление о предметах, нас окружающих, и о действии, оказываемом ими на наше воображение.

В 1811 году совершил я любопытное путешествие, однако, как ни старался, не смог описать его связно и последовательно; суждения мои были в ту пору еще недостаточно зрелы, и я не умел отличать впечатления, производимые вещами, от самих этих вещей, переменчивость же моего воображения рассеивала мое внимание и мешала предаться регулярным занятиям. Десятилетние испытания если не закалили, то, по крайней мере, охладили мой ум; я научился не поддаваться впечатлениям мимолетным и не принимать каждое из них за жизнь в целом; я знаю теперь, как мало следует доверять ощущениям самым сильным, и пытаюсь не судить о предметах по тому образу, всегда быстротечному и всегда обманчивому, какой оставляют они в человеческой памяти.

Я полагаю, что автору путевых заметок потребно, помимо таланта, особое умение, без которого невозможно передавать с точностью различные сцены, представляющиеся взору путешественника; льщу себя надеждой, что хотя бы этим умением я в известной мере обладаю; состоит оно в том, чтобы ставить на службу достоверности рассказа все, вплоть до заблуждений нашего ума; в самом деле, для того чтобы перенести читателя в незнакомый мир, точность описаний важна куда менее, нежели их искренность.

Итак, вместо того, чтобы выносить суждения о фактах и предметах, я стану описывать их с как можно большей правдивостью. Таким образом, мне не придется избавляться от предрассудков ради того, чтобы говорить правду, а читатели смогут внимать моим рассказам, не разделяя моих убеждений. Я заслужу меньше славы, но потрачу меньше труда. Я назову журнал своего путешествия "Мои первые впечатления"[1], и, вняв этому предупреждению, тот читатель, который ищет в путевых заметках лишь зрелых наблюдений и суждений, основанных на многолетнем опыте, сможет отложить эту книгу в сторону, даже не открыв. Зато я смогу быть уверен, что мимо моей книги не пройдут другие читатели — любящие узнавать в картинах и описаниях характер того, кто их нарисовал, и полагающие, что эгоизм, порок столь отвратительный, когда

1. Автор отказался от этого названия, сочтя его чересчур напыщенным. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. автора.*)

он проявляется в наших действиях, превращается в источник занимательности, стоит ему лечь в основу творений нашего ума. Писатель, способный совершенно позабыть о самом себе, пренебречь самыми насущными потребностями своей души из почтения к беспристрастности, станет философом, но из него никогда не выйдет художник. Страсть так же необходима путешественнику, как и поэту! Я не принадлежу к тем, кто полагает, будто, описывая то, что видишь, позволительно не прибегать к помощи воображения.

Я не стану следовать никакой системе, я буду просто заполнять свой журнал изо дня в день, зачастую включая в него отрывки из моих писем. Дело читателя — извлекать истину из суждений порой самых противоречивых. Когда пишешь, что́ чувствуешь, без противоречий не обойтись.

Журнал моего путешествия

Кале, 23 июля 1822 года

Местность, по которой пролегает дорога, ведущая из Парижа в Булонь и Кале, представляет собой, как всем известно, плоскую, голую и однообразную равнину; впрочем, местоположение Булони красиво, а окрестности приятны для взора. Берег, усыпанный мельчайшим песком, тянется между морем и высокими скалами сколько хватает глаз; идя этой эспланадой, не встретишь ни единого камня, ни единого клочка земли, покрытого галькой или валунами. Здешний берег — не что иное, как гигантская театральная сцена, для которой море играет роль задника, или терраса на краю океана. Под вечер берег этот изумительно красив; лучи заходящего солнца, освещая море и длинную цепь меловых скал, создают картины столь блистательные и разнообразные, что, будь они изображены на полотне Верне, их, пожалуй, сочли бы неправдоподобными.

Булонь есть что-то вроде пригорода Лондона; кажется, будто единственные ее обитатели — англичане, слоняющиеся по городским улицам или по только что описанному мною берегу; в общей сложности англичан здесь около шести тысяч, но оттого, что они пребывают в непрестанном движении, можно счесть их колонию гораздо более многочисленной. Французский язык в Булони постепенно выходит из употребления, и все, вплоть до местных служанок, никогда не покидавших Пикардии, предпочитают изъясняться по-английски. Я изо всех сил старался сохранять верность родному языку, однако собеседники мои, приписывая мои действия претенциозности или снисходительности, именовали меня "милордом" и отвечали мне фразами, смысл которых, несмотря на улыбку, призванную их пояснить, оставался для меня смутен. Соседи наши заполонили эту часть Франции; судить о первоначальном характере здешних жителей ныне уже невозможно. Преображение столь стремительное представляется скорее странным, нежели радостным.

Я побывал в окрестностях Булони, где на самой высокой точке побережья только что воздвигли колонну, которая некогда была задумана Бонапартом; он желал *увековечить* таким образом победу, которую *намеревался одержать над англичанами*. Это бахвальство, навеки запечатленное в камне, этот триумфальный монумент, завершенный королем Франции в обстоятельствах, столь отличных от тех, в которых был он

задуман, навеяло мне мысли, от пересказа которых я воздержусь; предоставляю каждому читателю заполнить этот пробел по своему усмотрению, ведь мои собственные рассуждения, помести я их здесь, понравились бы одним, но наверняка отвратили бы других. Скажу лишь одно: пребывание в Булони помогло мне по-новому взглянуть на Бонапарта. Оставаясь в Париже, можно думать, что император всеми забыт, здесь же повсюду жива память о нем[1].

Возвращаясь берегом в Булонь после осмотра колонны, я встретил своего знакомца англичанина, который показал мне место, где однажды Наполеон, желая испытать свою армию, велел девяти тысячам французов погрузиться на корабли за два часа; кивнув в сторону моря, старый военный скромно признался: "Только оно смогло нас защитить". Беспристрастность — вежливость англичан, и меня всегда поражает в них стремление сочетать с предрассудками самыми ограниченными суждения самые справедливые. Вообще, сама их скромность есть следствие гордыни, ибо служит им средством одерживать победы над нами *даже в беседе.* За эту небольшую жертву, принесенную на словах, они постоянно берут реванш в делах, в повседневных поступках; что же касается этой мнимой непредубежденности, то она зачастую проистекает именно из их самолюбивого желания показать себя не только более богатыми и могущественными, но и более цивилизованными, чем мы.

Море очень спокойно; завтра я пущусь в плавание; из Парижа я уезжал в самом печальном расположении духа, однако когда я смотрю на море, мною овладевает *охота путешествовать*: это демон, который вечно сулит мне исполнение всех моих желаний и по этой причине распоряжается мною полновластно. Должно быть, любовь к странствиям ослабевает в нашей душе по мере того, как угасает в нас способность питать иллюзии, ибо любовь эта есть не что иное, как надежда, укрывающаяся под маской любознательности.

Я рад, что покинул Булонь и добрался до Кале; тот, кто не видел этого старинного города, название которого украшает страницы истории, тот, можно сказать, не побывал в Англии. Полдня, проведенные в Кале, оставили в моей памяти след самый отрадный; все в этом городе, от улиц до самого моря, имеет вид печальный и уродливый, однако *я уже путешествую:* эти волшебные слова преобразуют все вокруг.

*Письмо к ****

Дувр, 25 июля 1822 года

Шестичасовая агония, изнеможение, как после долгой болезни, мучения, какие редко выпадают на долю путешественника даже зимой — вот на что я обрек себя, простившись с Вами. Я страдал куда сильнее, чем мои *товарищи по агонии,* ибо конвульсии, сотрясавшие мой желудок, были так ужасны, что я лишился чувств; на несколько секунд я *расстался с жизнью.* Волны бились о борт корабля с такой силой, что оторвали шлюпку, крепко привязанную к корме на высоте верхней палубы, и я заметил, как моряки, дотоле притворявшиеся, что им все нипочем, онемели от ужаса. Речам мат-

1. Сегодня Бонапарт у нас вновь вошел в моду, однако в 1822 году до этого было еще далеко.

росов можно доверять так же мало, как и виду той стихии, с какой они имеют дело; при отплытии из Кале они уверяли меня, что погода превосходная, а море покойно; а между тем самый молодой юнга был достаточно опытен, чтобы догадаться, что плавание будет нелегким. Не будь наше судно приводимо в движение паром, мы бы не смогли достичь конечного пункта за один день, ибо шквальный западный ветер дул нам навстречу с такой силой, что постоянно отбрасывал нас к берегам Франции.

Плавание наше заняло времени втрое больше обычного, и все, кто находился на борту, исключая команду, безмерно страдали от морской болезни. В те минуты, когда ветер ненадолго стихал, нас возвращали к жизни звуки духового оркестра; море и музыка прекрасно уживаются друг с другом: бесконечность и смутность связаны столькими узами! Ровный шум волн размеряет время ничуть не хуже, чем ритм мелодии; этот союз природы и искусства так развлекал меня, что не однажды заставлял забыть о страданиях физических.

Местоположение Дувра весьма живописно; нависающие над городом высокие скалы, старый замок, расположенный неподалеку, на высоком берегу, и меловая скала, описанная Шекспиром в одной из самых поэтических сцен "Короля Лира", — все это служит замечательным предуведомлением для знакомства с Англией. Но поначалу я был так измучен, что не сумел ощутить первые впечатления от Дувра с той живостью, с какой всегда встречаю всякий новый для меня край. Обыкновенно путешествие служит мне не чем иным, как комментарием к тем чувствам, с какими я уезжаю из дома, и, о чем бы я ни размышлял, осматривая чужую страну и знакомясь с чужими нравами, *предчувствия* никогда меня не покидают. Одно из величайших удовольствий, какое могут доставить путешествия, состоит в возможности сравнивать то, что видишь, с тем, что предвидел. Однако вчера я не был способен ни видеть, ни предвидеть; я был так немощен, что, ступив на новую для меня землю, помышлял лишь о том, чтобы поскорей добраться до постели!

Наутро, пробудившись в английском городе, я, к величайшему моему изумлению, нашел его чрезвычайно похожим на наши города; надобно смотреть очень внимательно, чтобы оценить особую элегантность, присущую англичанам; поверхностный наблюдатель не заметит изысканной чистоты и приятности, превращающих Англию в особый мир, и не увидит ничего, кроме черных домишек под серым небом и тех же заурядных людей, какими заполонена вся Франция. Подобным недоброжелательным размышлениям предавался я под влиянием своего нездоровья, влачась с постоялого двора к морю, вид которого даже через сутки после плавания внушал мне непреодолимый ужас. Только тут обнаружил я то обстоятельство, какое прежде заслоняли от меня муки, причиняемые морской болезнью: пока я плыл на корабле, лицо мое обгорело так сильно, что мне впору скрывать его под маской.

Дувр — очень маленький городок, не имеющий иных достопримечательностей, кроме старого замка и громадных скал, нависающих над морем. Пребывание в Дувре дает так же мало представлений о том, что такое Англия, как пребывание в Кале — о том, что такое Франция. Тем не менее церемонная, молчаливая, чуть скованная учтивость слуг на постоялом дворе, элегантность экипажей, чистота всей утвари так поражают приезжего, что он начинает думать, будто попал в волшебную сказку, меж тем как французские постоялые дворы, слуги и *рыдваны* та-

ких мыслей не пробуждают ни в малейшей степени. Дома здесь чрезвычайно малы, но зато имеют такой вид, словно покрашены только вчера; все, что служит человеку в повседневной жизни, от шлагбаумов на дорогах до мебели в комнатах, похоже на детские игрушки, однако англичане не менее всего напоминают людей, которые забавляются всеми этими прелестными вещицами; впрочем, их серьезность и важность не делают край, где они обитают, печальным; радостный вид сообщает местности трудолюбие ее обитателей, а вовсе не их любовь к забавам.

Большая часть домов в Дувре выстроена из кирпича, который скоро темнеет от сажи; однако внутренность этих закопченных клеток не может не потрясти француза; невозможно передать, насколько изысканно обставлены волшебные замки, именуемые постоялыми дворами, и насколько почтительны к гостям люди, там служащие: если в других странах этикет властвует только при дворе, здесь его правила соблюдают даже в кабаках.

Одна из самых поразительных особенностей английского характера — это почтительность англичан к людям вышестоящим; по правде говоря, с людьми нижестоящими они зачастую обходятся довольно непочтительно[1]; в Англии все безмерно уважают законы, как писаные, так и неписаные, однако здесь редко можно встретить ту предупредительность, к какой человека ничто не обязывает, ибо она проистекает из некоей тонкости чувства, из некоей чуткости и сметливости, какою ни один законодатель не может наградить и какую ни одно правило не может предписать.

Разумеется, почтение англичан к закону служит залогом многих добродетелей; однако, если его довольно для укрепления общества, оно не избавляет ни от педантства, ни от безвкусия; в других странах нравы служат противовесом законам; здесь же они не уравновешивают законы, но, напротив, их поддерживают, отчего общественный порядок делается, бесспорно, более прочным, но частная жизнь становится менее забавной. Фронда — превосходное лекарство от скуки!

Другая причина принужденности и стеснения, поражающих нас в светских сношениях англичан, — гласность прессы, которая, пользуясь совершенной свободой, угрожает разоблачениями всем и каждому: любой поступок любого частного лица, будь то пребывание на балу или на прогулке, разговор или, еще того хуже, какое-либо нарушение благопристойности и правил приличия, какое-либо покушение на привычный порядок на следующий же день становятся предметом обсуждения в многочисленных газетах, читаемых в самых отдаленных уголках королевства. Боязнь привлечь к себе всеобщее внимание, а тем более навлечь на себя осуждение делает людей до смешного подозрительными и лицемерными; они куда сильнее страшатся *полиции* газетчиков, которым всегда рады прийти на помощь соседи и слуги, родственники, враги и друзья, чем страшатся наши соотечественники тайного шпионства настоящих полицейских агентов. В Англии полиция поистине *национальна*, ибо опирается на нравы и предрассудки, а такой полиции противиться невозможно.

1. В доказательство достаточно напомнить о том, на какие дорожные тяготы обрекают английские дамы своих горничных. (*Прим. автора*) В другом месте, ведя речь о хозяйке дорогой гостиницы, которая утверждала, что мест в этой гостинице нет, до тех пор пока не увидела на дорожном сундуке Кюстина медную табличку с обозначением его титула, после чего место сразу нашлось, Кюстин замечает: "Лишнее подтверждение того, что мне было известно и прежде: в отличие от нас, англичане не путают *свободу* с *равенством*. Под свободой они понимают вовсе не *равенство*, а *законность*". (*Прим. перев.*)

Этот народ достиг таких высоких степеней цивилизации, что ему, пожалуй, недостает *невежества*; есть невинность воображения, прелесть простодушия, проистекающая исключительно из неведения, — но можно ли чего-либо не ведать в стране, где самые ничтожные подробности жизни каждого немедленно становятся достоянием всех; где женщина не может согрешить без того, чтобы вся нация не узнала немедля о тайных ее заблуждениях; где мужчина не может начать сорить деньгами без того, чтобы все соотечественники не принялись тотчас же подсчитывать его расходы; где представители почти всех сословий судят, толкуют, объясняют добрые и злые дела всех и каждого; наконец, где проступки, сама странность которых, казалось бы, должна служить залогом их потаенности, становятся, на горе душам чистым и чувствительным, предметом описаний и обсуждений? В таком обществе можно встретить особ достойных, но тщетно стали бы мы искать в нем характеры, исполненные первобытного простодушия и природной прелести. Самые мимолетные движения души утрачивают в таком обществе всякую независимость, всякое очарование, ибо подлежат своего рода публичному надзору, надзирателем же служит общественное мнение, этот *тиран-протектор*[1] английского общества! Разумеется, эта свобода печатать все, что душе угодно, дает множество выгод политикам, но в то же самое время причиняет множество неудобств частным лицам. Общественная свобода, зиждущаяся на домашнем рабстве, — вот, на мой взгляд, источник величия этой удивительной нации; среди современных государств нет ни одного, чье политическое устройство было бы более схоже с устройством обществ античных.

Нынче утром я поднялся на высокую, в несколько сотен футов, скалу, где стоит Дуврский замок. Самая древняя часть этого здания, если верить легендам, выстроена Цезарем и представляет собою зрелище весьма живописное; остальные постройки были возведены при Вильгельме Завоевателе; они до сих пор пригодны для жилья. Сегодня в них размещается пороховой склад. Под замком тянется целая сеть подземелий, куда иностранцев не допускают; однако, проходя по песчаному берегу у подножия меловых скал, сообщающих всему этому английскому побережью вид столь величественный, я заметил на высоте двухсот футов от уровня моря, составляющей ровно половину от общей высоты этой естественной стены, отверстия, похожие на большие окна: именно к этим устрашающим брешам приводят те подземные галереи, которые мне не разрешили посетить. Узилище, двери которого ведут в пропасть, рождает мысли самые мрачные и приводит на память сцены, повторявшиеся в истории Средних веков с прискорбной частотой.

Ближе к вечеру я снова вышел из города, чтобы подняться на ту скалу, с вершины которой можно увидеть пропасть, воспетую Шекспиром. Скала эта, самая высокая во всей округе, есть не что иное, как меловая глыба высотой пять сотен футов, отвесно спускающаяся к морю; сверху рыбацкие суденышки, сновавшие у наших ног, казались такими крошечными, что напоминали чаек, качающихся на волнах. Место это запечатлено в одной из самых восхитительных сцен "Короля Лира". Шекспирово описание так поэтично и так точно, что я не могу отказать себе в удовольствии привести здесь его перевод. "Подойдите ближе, сказал он,

1. Кюстин обыгрывает официальный титул Оливера Кромвеля — лорда-протектора английской республики. (*Прим. перев.*)

мы стоим на вершине скалы; с каким ужасом погружаем мы взоры в эту головокружительную бездну! Вороны и галки, парящие в небе над морем, кажутся отсюда мелкими букашками. Посередине скалы какой-то человек, цепляясь за камни, собирает солец-траву; что за страшное ремесло! Когда смотришь с этой высоты, рыбак, идущий по берегу, превращается в мошку, корабль, стоящий на якоре, — в малый ялик, а ялик — в едва заметный поплавок. Здесь наверху не слышно шума волн. Я не хочу больше глядеть в эту бездну, разум мой мутится, еще мгновение, и я рухну вниз"[1].

Таково место, откуда я долго любовался морем, которое являлось мне между разломами скал во всем своем великолепии. На горизонте сквозь дымку сверкал в последних солнечных лучах французский берег, а ближе к английскому берегу солнце медленно опускалось в светлые облака, которые из-за полного безветрия застыли недвижны посреди небесного океана. На гладкой поверхности моря кое-где тихо покачивались несколько кораблей, как будто нарочно помещенные туда рукою гениального художника или воображением гениального поэта для оживления пейзажа. Как мал человек в сравнении с природой! Взирая на великие создания Творца, всегда особенно остро ощущаешь собственную ничтожность; но если человек мелок, человечество велико. Я испытывал гордость, видя множество кораблей, скользящих по океанской глади так же легко, как скорлупка, брошенная ребенком, скользит по поверхности ручья. Земля вся без остатка служит удовлетворению потребностей цивилизованных обществ, и если природа бунтует против отдельного человека, она безропотно покоряется законам и даже прихотям усовершенствованного человечества. Подобно Божеству, она жертвует индивидом ради продолжения рода! Вернувшись на постоялый двор, я обнаружил, что, хотя погода стоит превосходная, платье мое и шляпа вымокли от росы так, как будто я только что искупался, а ведь здешние края — далеко не самые влажные в Англии.

Страницы моего журнала

Лондон

Если по обстановке дома можно судить о складе ума его хозяина, то характер нации легко угадать по тому виду, какой сообщила она своему родному краю. Более всего поразил меня в Англии дух подражания, который, кажется, пронизывает все поступки здешних жителей. Одной из главных черт национального характера сделалось стремление к единообразию. Каждый вменяет себе в обязанность ничем не отличаться от соседа и, забыв о гордой самобытности древних бриттов, тщеславится своим сходством с толпой.

Не то чтобы среди их потомков невозможно было отыскать особ бесконечно странных, однако естественное стремление к оригинальности проявляется сегодня не столько в причудах людей, сколько в чрезвычайной старательности, с какой они подражают один другому. Можно, конечно, сказать, что в столь безоговорочном подчинении власти моды ви-

1. Король Лир. Акт IV, сцена 6. (*Прим. перев.*)

дят они еще один способ казаться необычными. Однако своенравны они только все вместе, а каждого порознь независимым не назовешь: сегодняшние англичане — это не люди, которые выказывают свой нрав, не обращая никакого внимания на окружающих; это *нация маньяков*, подчиняющих ничтожнейшие обстоятельства своей жизни педантическим требованиям ума в высшей степени прихотливого. Такое *единообразие в мелочах* сразу же сообщает Лондону в глазах чужестранца вид любопытный и забавный. Во Франции, где нынче более всего пекутся о вещах основательных, люди притворяются, будто презирают моду, и даже самые верные ее рабы, как бы сильно ни мечтали они снискать *славу* на этом поприще, опасаются обнажать свои чаяния. В Англии же мода сделалась деспотом, который открыто тиранит всю нацию без остатка, и английский народ, чересчур степенный для того, чтобы вести себя легкомысленно, занят не чем иным, как *методической* погоней за пустяками. Кто-то может заметить, что дома на обочине дороги, ведущей из Дувра в Лондон, не повод для рассуждений столь серьезных, но ведь французы сегодня помешаны на серьезности, тогда как англичане только и мечтают, что о легкости в мыслях. Боюсь, как бы эта замена подлинных свойств на притворные не привела к тому, что французы сделаются более неловкими, но не более глубокими, а англичане — более легкомысленными, но не более приятными. Сношения между разными нациями цивилизованного мира способствуют обмену нравами и обычаями, однако наибольшее хождение при этом имеют черты порочные и смешные. Таланты, какого бы рода они ни были, не подлежат пересадке, они цветут лишь на той земле, из которой выросли; то, что поистине оригинально, не может не быть в высшей степени национальным. Воображение, окрашивающее творения ума яркими красками, никогда не бывает независимо от предметов, поражающих наши чувства; при желании отсюда можно даже вывести, что воображение есть одно из наиболее материальных свойств человеческого ума.

До сей поры самым удивительным для меня остается вид английских дорог и рек. Во всем этом сполна проявляется восхитительный гений нации путешественников. Через иные из здешних городов ежедневно проезжают от полутора до двух сотен общественных экипажей, следующих в Лондон или из Лондона; реки и заливы, устья рек и морские гавани покрыты судами самой разной величины, которые, движимые некоей волшебной силой, устремляются к своей цели, не прибегая ни к парусам, ни к веслам, и доставляют царям морей богатства всего земного шара. Этим удивительным машинам не страшна более игра ветров, благодаря им морское сообщение сделалось столь же регулярным, что и движение почтовых карет по суше. Покоряясь новой силе, неведомой прежде, корабли пересекают океан с небывалой легкостью, оставляя за собой клубы дыма, меняющие самый вид морской глади. Издали эти дымящиеся суда напоминают хижины посреди равнины. Паровые машины окажут на судьбу рода человеческого влияние, важность которого сегодня трудно оценить в полной мере; особенную опасность будут они, по всей вероятности, представлять в сражениях на море: паровые суда смогут бороздить океаны, невзирая ни на ветра, ни на течения, так что нации, не овладевшие этим новым видом оружия, неминуемо попадут в зависимость от тех, в чьем распоряжении оно уже имеется. Говорят, что уже построены и паровые экипажи и что я увижу их на дорогах Шотландии. В здешнем общест-

ве механические искусства главенствуют над всеми прочими, и эта склонность к механике содержит в себе нечто устрашающее: она *заменяет* жизнь, но не дарует ее. В Англии, где человек тщится подражать Создателю, а механическая сила почти повсеместно заменяет силу живую, *алгебра*, по выражению одной остроумной женщины, *поставлена на службу домашнему хозяйству*.

Английские дилижансы, именуемые stages, — одно из главных украшений здешних дорог. Из их миниатюрных копий вышли бы прелестные детские игрушки. Они мчатся по обсаженной деревьями аллее, *уносимые* со скоростью ветра четырьмя могучими конями в элегантной сбруе. Внутри сидят женщины, чей наряд, хотя и не всегда удовлетворяет требованиям хорошего вкуса, неизменно опрятен, и мужчины, чье обхождение холодно, но учтиво и, как правило, куда менее вульгарно, чем у французских буржуа; все эти люди, держащиеся так достойно, что их можно счесть принадлежащими к избранному обществу, размещаются диковинным образом *вокруг* экипажа, в котором путешествуют и которому сообщают вид перевернутой пирамиды: на империале усаживается такое множество народа, что кажется, будто верх у этой кареты шире, чем основание. Четырнадцать персон буквально привешены к империалу спереди, сзади и с боков на высоте двенадцати футов, и если бы англичане не содержали свои дороги в идеальном порядке, такой способ путешествовать сопровождался бы многочисленными несчастными случаями. Однако в Англии дороги между городами не шире садовых аллей и убраны так же тщательно. Проложены они, впрочем, не прямо, а в соответствии со всеми особенностями той или иной местности, и вьются по земле, радуя глаз.

Иностранцев любовь англичан к путешествиям на империале приводит в изумление; ни пронизывающая влажность воздуха, ни сила ветра, ни печальный цвет неба, ни почти беспрестанный дождь — ничто не заставляет местных жителей и даже жительниц укрываться внутри экипажа. Не успел я ступить на английскую землю, как почувствовал себя запертым в клетку; этим-то климатом англичане, по их словам, *наслаждаются*, словно самой теплой погодой. Пожилые люди взбираются на империал так же ловко, как посетители ярмарки влезают на верхушку шеста, увенчанного призом, а те, кому ловкости недостает, пользуются приставными лесенками: с их помощью даже самые дебелые матроны достигают вершины странствующей горы, именуемой дилижансом. Меня немало поразило равнодушие, с каким все в Англии переносят погоду, кажущуюся мне решительно несносной. Под проливным дождем ехали мы меж идеально ухоженных полей и домов, выстроенных с той аккуратной элегантностью, которая в Англии имеет вид совершенно *натуральный*. По этой причине изумление, которое поначалу вызывает весь этот безупречно упорядоченный мир, скоро проходит; здешняя страна обязана своим характером и своей прелестью вкусу и предприимчивости своих обитателей; люди превратили ее в элегантный сад, и первое впечатление, на меня ею сделанное, было то холодное удовлетворение, с каким мы всегда созерцаем плоды тщательного труда.

Я прибыл сюда вчера вечером; на душе у меня было невесело. Никто не желал понимать мой английский. Слух здешних жителей столь изощрен, что им недостаточно слышать слова, они ищут привычной для них интонации. Один, без спутников, в одиннадцать вечера, под дождем, какие обычно льют только в ноябре, в огромном городе, рядом с которым

Париж может показаться крошечной деревушкой и в котором нанятая для меня квартира имеет вид особенно ничтожный, я в сердцах спрашивал самого себя, что привело меня в эти негостеприимные края.

Лондон, на мой взгляд, самый неприятный из всех больших европейских городов; однообразие здешних улиц и домов производит впечатление самое печальное. Без разнообразия не бывает гармонии, ибо гармония проистекает лишь из сочетания различных частей, образующих единое целое. В Лондоне вы напрасно стали бы искать выдающиеся творения архитектуры, здесь все здания похожи одно на другое, а между тем нельзя сказать, что город этот застроен регулярно, ибо регулярность есть плод искусства, а к пошлому однообразию маленьких бурых клеток, тянущихся по обеим сторонам улиц этого огромного города, искусство ни малейшего отношения не имеет[1].

Сколь ни называй эти клетки домами, странная манера покрывать их крышей, обходясь без фризов и без карнизов, делает их похожими на те недостроенные здания, которые на зиму укрывают соломой или досками, чтобы уберечь от дождя. Это удивительное отсутствие вкуса сообщает всему Лондону вид города, который еще только предстоит построить, а вовсе не богатой и многонаселенной столицы. Ничто здесь не радует взор, а превратности климата не располагают ни дух, ни тело к наслаждению теми благами, какие Англия обрела исключительно благодаря воздействию цивилизации. Спертый, дымный воздух душит меня, свинцовое небо давит, и я с утра до вечера чувствую себя заключенным во влажную сумрачную темницу, где дуют осенние ветры. Здешний климат навевает такую печаль, какую воображение развеять не в силах; самое безудержное любопытство не может не угаснуть под непрерывным действием удручающего однообразия, на котором зиждется жизнь в этом храме скуки.

Англичане находятся в постоянном движении, однако движутся они, пожалуй, лишь из опасности застыть на месте, ибо, в сущности, совершенно не интересуются ничем из того, что, по видимости, любят; все их пристрастия есть не что иное, как мнимости; восемь месяцев в году они разъезжают по большим дорогам, и это называется у них жизнью в деревне; четыре месяца *путешествуют* по лондонским улицам и паркам в определенные *фешенебельные* часы, тратя на эти прогулки не меньше пятнадцати часов в день, и это называется у них *жизнью в свете.* Подобная деятельная праздность — не принадлежность одних только высших сословий, но своеобразный инстинкт самосохранения, присущий людям всех состояний, ибо в здешних краях все, что не движется, *покрывается плесенью.* В Сити половина торговцев меняют квартиры каждый вечер, а по субботам в новые жилища перебирается, кажется, едва ли не весь Лондон; сторожить лавку оставляют в этом случае приказчика, который бесится от невозможности встряхнуться, как и все остальные, дабы предохранить себя от действия атмосферы, непригодной для жизни. Если солнцу случается показаться из-за толстого слоя тумана и дыма, который обычно скрывает его от взоров лондонцев, лучи его светят так слабо, что предметы почти не отбрасывают тени, а то, что в Лондоне именуют прекрасной погодой, есть род полумрака, в котором черный цвет, обычно господствующий в этой насквозь продым-

1. В здешних краях все меняется с немыслимой быстротой. За время, прошедшее с 1822 года, в Лондоне выстроили прекрасный квартал, взяв за образец улицу Риволи.

ленной столице, сменяется цветом светло-серым; прошу заметить, что я пишу эти строки *в августе месяце.*

Знакомый врач уверил меня, что с англичанами, которые ветреным днем охотятся на берегу моря, происходят несчастья, подобные тому, какое постигло меня во время плавания. Однако английская медицина ушла так далеко вперед, что воспаления такого рода вылечивают здесь в два дня! В этой стране все, что зависит от человеческой мудрости, усовершенствовано беспредельно. Сегодня вечером я отправлюсь в свет, скрыв обгоревшее лицо маской, и наверняка окажусь самым смехотворным посетителем тех гостиных, где мне предстоит побывать.

Лондон, 6 августа

Я был представлен обществу *совершенно* английскому; я оказался единственным иностранцем среди множества англичан, из которых вдобавок почти никто не бывал на континенте. Итак, меня окружали люди, совсем не похожие на тех новых представителей английской нации, которые рыскают по Европе, подбирают там все самые смешные новинки и горделиво привозят их домой как образцы элегантности и хорошего вкуса. Эта чисто английская гостиная, на мой взгляд, скучна, как и любая другая, но чуть более старомодна: холодные лица, принужденные манеры и церемонные поклоны привели мне на память романы Ричардсона; впрочем, за этой неколебимой учтивостью видна природная доброта, производящая впечатление куда более приятное, нежели равнодушие *элегантных людей*, едва прикрытое светскими манерами и пленительными улыбками: то, что вызывает уважение, может наскучить, но не способно досадить; иное дело — злоязычный порок. Обязанности дворецкого исполняла горничная; выпив чаю и насладившись пением г-жи Кампорези, которая всегда радует меня своим искусством, я отправился к леди ***, у которой в тот вечер собрался весь цвет лондонских модников. Я прибыл туда в полночь и тотчас словно перенесся из прошлого века в век нынешний. Я увидел у леди*** нескольких *денди* (в прежние времена их, пожалуй, назвали бы *петимэтрами*, однако это слово уместно здесь лишь отчасти). Вне всякого сомнения, грубые фаты такого рода получают власть в свете лишь после революции. Каждому из этих мужчин кадят несколько девиц на выданье, падких на все яркое и заметное. Денди, этот султан *раутов*, сидит на диване, не выпуская из рук трости; борода у него намеренно неопрятная, одеяние смехотворное; взирая на мир сквозь монокль, зажатый между бровью и нижним веком, он делает вид, будто вовсе не слушает собеседника, и никогда не отвечает на обращенные к нему слова, ибо неучтивость нынче в большой моде.

В этом-то изысканном кругу явился я, с распухшей и пылающей физиономией, какой не увидишь даже на картинах Тенирса, и в довершение всего с аккуратно подстриженной бородой! Неудивительно, что в глазах людей элегантных я погубил свою репутацию раз и навсегда: быть может, поэтому я и отзываюсь о них так нелестно. Этот род людей оказывает самое неблагоприятное воздействие на нравы остальных, ибо англичане в высшей степени склонны перенимать в точности все, что, по их мнению, отвечает требованиям *хорошего тона.* Английское легкомыслие от-

личается от нашего тем, что, если в Париже удовольствие есть не более чем забава, в Лондоне оно — важное дело. По элегантному англичанину сразу видно, чего стоила ему эта элегантность; соседи наши созданы для серьезных трудов, и, как бы ни старались они казаться беззаботными гуляками, природная суровость все равно берет свое; нет ничего легче, чем подражать порокам фата и стать смешным, как он; куда труднее сделаться таким же очаровательным — именно это я хотел бы внушить тем *неуклюжим повесам*, которые ценою стольких усилий обзаводятся пороками, почти непростительными даже в тех случаях, когда они приобретены невольно. Самые остроумные люди глупеют, выступая в заемных ролях, ибо, обладая способностями выдающимися, берутся за дела, подобающие лишь посредственностям; возможно, я предубежден против английского общества и забываю, что *денди*, который дебютировал бы в Париже рядом с г-жой де***, виконтом де*** и герцогом де***, по возвращении домой мог бы описать увиденное куда более язвительно, чем описываю я *фешенебельное* общество Лондона. Однако в Париже можно отыскать все, что угодно, и это отличает его от Лондона, жители которого в своем поклонении оригинальности на редкость однообразны.

Французы имеют совершенно ложное представление о том приеме, какой оказывают в Лондоне иностранцам. За исключением тех, кто притязает на роль *денди*, здешние жители, сколько я могу судить, обладают изрядным запасом доброты, которую не способны скрыть ни дурное расположение духа, почти никогда не покидающее женщин, ни надменность, отличающая мужчин. Я убедился в этом добродушии англичан после приема у леди***. Я возвращался домой пешком, в одиночестве, и чувствовал себя совершенно потерянным в этом роскошном квартале Лондона, где улицы так широки и так похожи одна на другую, так плохо освещены, несмотря на множество маленьких фонарей, и так пустынны поздней ночью! Сбившись с пути в этом гигантском лабиринте, я печально взирал на здешние улицы — своеобразные галереи, окаймленные тротуарами и бесконечными рядами низких и тусклых фонарей, вид которых приводит в отчаяние бедного путника; не зная, в какую сторону двинуться, я остановился в нерешительности и вдруг заметил на противоположной стороне улицы хорошо одетого мужчину. Я направился к нему и попросил объяснить, как мне добраться до дома. Он отвечал, что объяснить не может, но вызвался меня проводить, а по дороге осведомился, не имел ли он чести видеть меня только что в гостиной леди***. Я отвечал, что иду оттуда, и едва не расхохотался при мысли, что, должно быть, прохожий узнал меня в темноте благодаря моей странной физиономии. Получив утвердительный ответ, спутник мой сделался еще учтивее и довел меня прямо до дверей моего дома, отстоявшего довольно далеко от места нашей встречи и, как выяснилось, еще дальше — от дома любезного моего провожатого. Мы простились, так и не представившись друг другу. Я знаю очень мало французов, которые оказали бы подобную услугу бедному чужестранцу, заблудившемуся ночью на улицах Парижа. У нас во Франции слишком высоко ценится наглость; французы, можно сказать, возвели некое изощренное бесстыдство в ранг аристократической привилегии; впрочем, когда больше гордиться нечем, поневоле приходится хвастать собственной неучтивостью: люди пустые и дурно воспитанные встречаются во всех классах общества, но элегантная глупость отличает лишь редких представителей высшего сословия. Те, кто желает выделиться насмешками над окружаю-

щими и презрением к ним, были бы весьма разочарованы, когда бы узнали, до какой степени, несмотря на свои *великосветские манеры*, приближаются они к самой низкой черни если не тем, что поражает наши взоры, то во всяком случае тем, что занимает их души. В хорошем обществе распространено грубое обхождение, которое снисходительно именуют непринужденностью, тогда как зиждется оно не на чем ином, как на подлых чувствах, помноженных на дворянскую спесь и глубочайшее невежество. Когда бы в самом деле представители высших сословий не отличались от всех прочих ничем, кроме наглости, они очень скоро оказались бы во власти некоей *нарочитой грубости*, губительной для развития благороднейших свойств человеческой души; в этом случае светское общество мало чем отличалось бы от толкучего рынка, ибо все заурядное сродни простонародному. Странно, что эта неучтивость по расчету сделалась во Франции, и только в ней, принадлежностью людей хорошего общества, тогда как им, напротив, следовало бы подавать пример безупречного вкуса и общежительности! Как бы там ни было, я с сожалением вынужден признать, что спокойное достоинство, сердечная учтивость и подлинная любезность встречаются во Франции куда реже, чем за ее пределами.

Несколько дней назад я направился в Грейвзенд, городок в десяти лье от Лондона, и возвратился назад на пароходе. Такое путешествие, вне всякого сомнения, любопытнейшее из всех, какие можно предпринять в Англии. На протяжении четырех лье по обеим сторонам реки тянутся здесь здания, представляющие собой главные арсеналы британской державы. На берегах Темзы англичане основали своего рода колонию, предназначенную для снабжения всего мира. Здешние постройки, удивительные как разнообразием, так и величиной, не могут быть названы ни городом, ни деревней; это просто-напросто бесконечная цепь торговых заведений и мастерских, заполненных на удивление хитроумными и мощными механическими приспособлениями; это ряд складов, расположенных так близко к воде, что их можно заполнять и опустошать без помощи транспорта, посредством одних только вращающихся кранов; наконец, это порт длиной в два лье, так плотно забитый судами, что Темза здесь более всего напоминает затопленный лес. Впервые творение рук человеческих сделало на меня впечатление, какое прежде производили только грандиозные сцены природы. Я никогда не забуду эти острова из кораблей, величаво поднимающиеся над водой, в то время как берега реки почти полностью скрыты другими группами кораблей, у которых верхушки мачт прячутся в тумане и делают реку похожей на поросшую лесом долину с озером посередине.

Я проезжал через этот лабиринт на закате; в неярком свете заходящего солнца, лучи которого едва пробивались сквозь тучи, множество кораблей с парусами, мачтами и снастями являли такое удивительное зрелище, что мне показалось, будто я вижу не порт в богатейшей стране мира, а дикий край, куда не ступала нога человека, или театральную декорацию, изображающую сцену в аду. Двойные, тройные ряды кораблей потрясают воображение, ибо обличают безмерную мощь; кажется, что для того, чтобы привести все их в движение, не хватило бы и целого мира. Представьте себе, что вы стоите на Новом мосту в Париже и вдруг видите, что все дома на острове Сите превратились в суда! Всякий, кто въедет в Лондон по этому морскому проспекту, а назавтра двинется назад в одном из тех дилижансов, о которых я уже рассказывал, сочтет, что по-

бывал в волшебной сказке, и останется об Англии куда более лестного мнения, нежели тот, кто пробудет в этой стране несколько недель. Прежде чем пристать к берегу в лондонском порту, корабль проплывает мимо великолепной Гринвичской больницы, которая, невзирая на все свои изъяны, представляет собой один из прекраснейших архитектурных памятников Англии — если, конечно, не считать церквей. Вдобавок это место рождения королевы Елизаветы.

За Гринвичем взору открывается картина, вселяющая ужас: на берегу стоят несколько виселиц, и ветер раскачивает тела повешенных. Есть люди, которым казнь через повешение кажется аргументом в пользу представительного правления; что касается меня, то я не нуждался в этом примере, чтобы убедиться в умеренности английской *филантропии.* Впрочем, каких взглядов ни придерживайся, невозможно, я полагаю, без возмущения видеть при въезде в столицу сцены столь варварские.

Две части Темзы — выше и ниже Лондона — совсем непохожи одна на другую. Дальше Лондонского моста корабли не заходят, поэтому все течение Темзы от Лондона до Ричмонда и выше не имеет, кажется, никакого иного предназначения, кроме украшения берегов. Здешние края — роскошный парк, созданный для увеселения тех, кто живет в замке, иначе говоря — в Лондоне. В Ричмонде сразу забываешь о торговле и обо всех тех сценах, какие наблюдаешь в столице. Там все предаются утомительной деятельности, все кричат и суетятся, все движимы духом наживы; здесь повсюду царит покой и тишина, здесь всё, не исключая и алчности, затихает. Деревья склоняют свои древние ветви к реке и почти касаются ими медленно текущих вод. В часы прилива, когда течение Темзы поворачивает вспять, вода поднимается чуть выше низких берегов и, кажется, только чудом их не затопляет. Стада, пасущиеся на склонах, сообщают пейзажу такое очарование, словно их поместили там нарочно; речные суда доставляют во все уголки этого парка великое множество элегантно одетых мужчин и женщин; волны, покорствующие народу мореплавателей, ласково бьются о борта этих кораблей, направляемых беззаботными вожатыми. Подобные сцены, разыгрывающиеся на расстоянии всего нескольких миль от лондонского порта, поражают взор и ум. Двигаясь между барок, наполненных людьми, которые, кажется, избавлены от любых жизненных тягот, чувствуешь себя среди душ, оставивших свои тела на берегу. Мало я знаю мест, так же радующих глаз, как тот вид, который открывается с вершины ричмондского склона. Излучины реки, зеленые купола деревьев, которые тянутся до самого горизонта по зеленой равнине, образуя различные живописные группы; покой, тишина и в то же самое время оживление и богатство пейзажа; испарения, поднимающиеся вечернею порою от лугов и сливающиеся в небесной дали с облаками, — все здесь напоминает человеку, утомленному жизнью в свете, о наслаждениях неподдельных. Великое очарование природы заключается в том, что она, оставляя человека наедине с самим собой, обращает его к Богу, тогда как светская жизнь, по видимости сближая людей, на деле их разъединяет.

Берегам Темзы между Лондоном и Туикнемом я могу адресовать один-единственный упрек: любуясь этими прекрасно расположенными деревнями, этими парками с ровно подстриженным газоном, этими высокими деревьями, имеющими столь ухоженный вид, что их так и хочется назвать счастливыми, этими прелестными пологими склонами, я чувствую себя в роскошном саду, однако великолепие его не мешает мне

сожалеть о небрежной независимости дикой природы. В здешнем райском уголке я вижу кругом одни лишь парковые аллеи и невольно ищу глазом какую-нибудь пустошь, какой-нибудь кусок земли, заросший сорняками, какие-нибудь заброшенные дома, вид которых помог бы мне поверить, что все, что я вижу, существует на самом деле и что эта старательно выполненная, прекрасно нарисованная и еще лучше отлакированная *декорация* не исчезнет в мгновение ока, как это бывает с декорациями в опере. Говоря короче, английские пейзажи подобны людям, которые лишены природного очарования и обретают приятность лишь ценой больших усилий; ничего дурного в этом нет, однако, восхищаясь победой, невозможно забыть о том, чего она стоила.

*Письмо к****

Лондон, 7 августа 1822 года, одиннадцать вечера

Обратите внимание на время, когда я начинаю это письмо; я только что воротился с *завтрака*, который герцог Веллингтон устроил для герцога Йоркского и еще трех-четырех сотен гостей. В Англии от вещей остаются одни названия: завтраком здесь именуют трапезу, которая начинается в пять часов пополудни. Англичане получают удовольствие от того, что начинают день на шесть часов позже, чем во всех прочих странах, и возмещают это опоздание за счет части завтрашнего дня; такой распорядок кажется им верхом элегантности. В Англии сорят временем так же, как во Франции некогда сорили деньгами.

Ареной празднества, на коем я имел честь присутствовать, был скверный английский сад на холме, высящемся над знаменитым Вулиджским арсеналом, в четырех лье от Лондона. Больше всего это место напоминает кабачок для простонародья в окрестностях Парижа; стада барашков пасутся здесь рядом с пушками, бомбами и понтонными мостами — все это ради увеселения почтенной публики. Для начала нам в течение нескольких часов демонстрировали, как взлетают в небо ракеты Конгрива; люди, которые находят удовольствие в забавах такого рода, напоминают мне Перрена Дандена, осведомляющегося у своей пассии: "Вам видеть довелось когда-нибудь допрос?"[1] Вдобавок ко всему чудовищные эти снаряды оказались гораздо более грозными, чем ожидали присутствующие; они так мощны, что не гаснут в воде. Затем нам предоставилась возможность пересечь настоящую железную долину: здесь собраны пушки, которыми Англия может в несколько часов вооружить бесчисленное множество кораблей. Двадцать тысяч орудий разного калибра, вытянувшихся длинными рядами внутри величественной ограды, — настоящее море меди, свидетельствующее о могуществе империи, которая занимает очень мало места на суше, но способна объявить войну любой державе, куда можно приплыть по морю, — иначе говоря, все-

1. Расин. Сутяги. Акт 3, сцена 4. Перрен Данден — имя нарицательное для обозначения несправедливого и алчного судьи. (*Прим. перев.*)

му свету. Заодно мы осмотрели любопытные машины, призванные ускорить артиллерийскую стрельбу, и наконец в пять часов пополудни в увитой зеленью галерее, не отличающейся ни простотой сельской беседки, ни роскошью дворца, нам подали довольно скверный *завтрак*.

Почти во всех английских празднествах есть что-то путаное, нескладное; англичане — народ, который трудно развеселить; уныние овладевает ими в разгар самых бурных забав. Английский характер подобен английскому небу: он холоден и мрачен; только тот, кто испытал на себе влияние здешнего климата, способен это понять. Мне достало бы двух месяцев жизни в этой стране, чтобы подхватить сплин; этот физический недуг избирает своей жертвой воображение и отнимает у человека желание и способность искать развлечений; угар душит несчастного, туман давит, потемки обступают со всех сторон, а отчаяние в конце концов лишает даже воли к бегству. Только тот, кто жил под небом Англии, может постичь характер англичан.

После трапезы нам показали свое искусство канониры; упражнения их были скорее шумными, нежели приятными; впрочем, они переправили заряженную пушку через пруд и тотчас после этого выстрелили из нее, причем уши наши могут засвидетельствовать, что влага нимало не повредила орудию. Испытание это, прошедшее в высшей степени удачно, весьма меня развлекло. Буколические сцены рядом с кофейными столами; военные сцены в тенистой роще; герцог д'***, беседующий с официальной любовницей герцога де***; великосветские дамы, с презрительным видом прогуливающиеся подле офицерских жен, которые не могут поверить, что попали в общество столь блестящее; ротонда, где танцуют только вальсы и кадрили, ибо английские танцы в Англии не в чести; наконец, зарядные ящики на аллеях, освещенных бумажными китайскими фонариками, — вот что наблюдал я в саду до тех пор, пока усталость и скука не заставили меня двинуться прочь. Вечер должен был завершиться фейерверком, но у меня не хватило мужества его дождаться; вдобавок меня уверили, что англичане не мастера устраивать зрелища такого рода.

Самое приятное впечатление, какое осталось у меня от этого *завтрака*, — воспоминание о прекрасном закате, втором закате, виденном мною в Англии. Когда внезапно хлынувший дождь разогнал шумную толпу зевак, глазевших на ребяческие забавы, только что мною описанные, я остался один под деревом на вершине холма; на несколько мгновений солнце вырвалось из-за туч и позволило мне насладиться созерцанием Темзы вечернею порой. Закаты в этих краях изумительно красивы, однако облака нечасто позволяют увидеть это величественное зрелище! Редко выдается такой вечер, когда туман немного рассеивается и горизонт вспыхивает ярким огнем; сама плотность воздуха в такие минуты сообщает последним лучам угасающего светила насыщенный цвет и мрачный блеск, неведомые в других краях и подчеркивающие красоту окружающего пейзажа. Зрелище это вознаградило меня за те огорчения, какие причиняла мне в течение всего долгого дня представлявшаяся моему взору смесь величия и мелочности; мне казалось, что царь природы торжествует над шумом и пышностью, с какими устроили свое празднество люди, и с вершины своего сверкающего трона бросает на пустые забавы рода человеческого взгляд спокойный, но презрительный.

Впрочем, поскольку первая обязанность путешественника есть обязанность говорить правду, добавлю под конец, что мы даже вообразить себе не можем, как элегантны английские экипажи. В Вулидже все кареты запряжены четверней: богатые ливреи слуг, блеск упряжи, ловкость и отвага, с какой кучера, одетые не менее тщательно, чем их господа, правят превосходными лошадьми, невзирая на толпы людей и уличные заторы; все это великолепие, царящее в прихожих и на конюшнях, превращает разъезд после многолюдного английского бала в зрелище более элегантное и любопытное, чем само празднество. Во Франции тоже есть красивые экипажи и ухоженные лошади, но их мало; здесь же подобная роскошь распространена повсеместно, а небрежность встречается куда реже, чем у нас — изысканность.

*Письмо к****

Лондон, 8 августа 1822 года

Сколько я ни прогуливаюсь по Лондону, я не нахожу ничего, что захватило бы мое воображение, исключая необъятность этого города; в самом деле, он так огромен, что описание его размеров может показаться неправдоподобным; но одно дело величина, а другое — величие; последнего Лондону недостает. Это скопление человеческих жилищ исполнено мощи — но не красоты. В этом отношении Лондон очень сильно отличается от итальянских городов, величавых, хотя и утративших могущество. Великим я называю лишь то, что поднимает душу над материальными заботами; усилия, устремленные к цели сугубо земной, могут вызвать у меня удивление, но не способны пробудить мое восхищение. Лондон — не что иное, как *всемирный склад* или *мировая ярмарка*; слова, без сомнения, лестные; но присмотритесь к вещам, и подробности торговых сделок очень скоро отвратят от себя ваше воображение.

Сегодня я видел один из величайших английских памятников; надобно пересечь железный мост — одну из лондонских достопримечательностей, — не меньше получаса блуждать в лабиринте улочек, по обеим сторонам которых полным-полно лавок, магазинов и других странных построек, возведенных для удовлетворения разнообразных нужд здешних торговцев, и наконец перед вами предстанет пивоваренный завод господ Барклая, Перкинса и компании. По размерам дом этот вместе со всеми службами не уступит небольшому городку. Спустя несколько веков наши потомки, осматривая руины этой громады, с трудом смогут угадать, каково было ее назначение. В этом лондонском Колизее в последнюю очередь можно заподозрить фабрику напитков. На *внешних* работах, к числу которых относятся перевозка бочек, доставка сырья, починка бочонков, чанов и механизмов, заняты две сотни рабочих и сто восемьдесят лошадей, причем лошади здесь такие, каких в других местах не сыщешь. То ли оттого, что их кормят каким-то особым образом, то ли оттого, что английские коневоды сумели усовершенствовать породу, но здешние кони — нечто среднее между обычной лошадью и слоном. Конюшня, где содержатся эти сто восемьдесят исполинов, убрана так пре-

красно, как у нас убирают только конюшни принцев. Впрочем, для варки *портера* здесь не используют ни людей, ни лошадей, этим занимается паровая машина — невидимый и всемогущий правитель этого своеобразного королевства. Мне объяснили, что пар, приводящий в действие рычаг, от которого зависит работа всей фабрики, служит заменой восьми десяткам лошадей. Я видел, как с помощью паровой машины наполняются водой резервуары на четырех этажах, причем в каждом из этих резервуаров можно утонуть. Пару лет назад одна бочка *портера* лопнула, и окрестным жителям пришлось плавать по улице на лодках.

Несколько высоких зданий на территории завода сверху донизу заполнены ячменем; довольно открыть небольшой люк на первом этаже, и все зерно, содержащееся в доме, высыпается сквозь это отверстие; бесконечные механизмы и колеса, огромные печи и чаны, в существование которых трудно поверить тому, кто не видел их своими глазами, — все это превращает лондонский пивоваренный завод в заведение, совершенно не похожее на то, какое ожидает узреть иностранный путешественник, отправляясь смотреть, как варят пиво.

Несколько лет назад один здешний пивовар устроил бал *в бочке*, и на него явился весь двор; позавчера один несчастный утонул в одном из самых маленьких чанов господ Барклая и компании. Прежде чем *портер* разольют по бочонкам, он хранится в резервуарах, каждый из которых представляет собой целый дом; в других, подземных хранилищах, просторных, как церкви, содержатся бесконечные ряды бочек, в которых пиво должно оставаться три года, прежде чем сделается годным к употреблению. При виде всех этих чудес и при мысли о богатствах, которые за ними стоят, я пришел в тупое изумление, не имеющее ничего общего с удовольствием. Механизмы всегда производят на меня действие сильное, но тяжкое: машина, подражающая человеческому уму, завораживает меня и страшит! Чем лучше я понимаю, что голос мой не сможет оказать никакого влияния на работу этих неумолимых снарядов, тем сильнее опасаюсь, что молотки расплющат меня, а колеса увлекут за собой; я бегу от этих слепых орудий невидимой силы с чувством, какое испытывал бы, спасаясь от диковинного зверя. Расчетливые умы могут восхвалять эти *формулы*, предназначенные для облегчения домашнего труда, что же до меня, я полагаю, что с усовершенствованием механики дело обстоит точно так же, как со многими другими талантами и способностями души, необходимыми лишь тем, кто ими наделен. Разве не наблюдаем мы ежедневно, как дорожат осторожностью люди осторожные и как легко обходятся без нее те, кто от природы опрометчив?

Каждая нация, как и каждый индивид, имеют свои *произвольные потребности*, которые суть не что иное, как иллюзии, рожденные соединением данного характера с данными обстоятельствами. Народы столь же великие и счастливые, что и народ английский, но еще более могущественные, чем он, не ведают ни одного из тех хитроумных способов, какие употребляются в Англии для добывания вещей жизненно необходимых; поэтому, отдавая должное здешним бесчисленным изобретениям, я говорю себе, что, пожалуй, предпочел бы такую роскошь, которая не имела бы единственной целью наживу. Конечно, усовершенствованные машины сделались в сегодняшней Англии вещью, без которой местным жителям обойтись невозможно; но точно так же не могут обойтись без лекарств люди, расслабленные предшествующим применением снадобий и теми излише-

ствами, какие вначале вынудили их возбуждать угасшие силы этим искусственным способом. Впрочем, следует побывать в этой стране машин, чтобы увидеть, каким плодовитым способен стать человеческий гений, даже когда посвящает себя вещи самой бесплодной из всего, что породила цивилизация, – заботе о благосостоянии сугубо материальном.

Осмотрев пивоваренный завод Барклая, я вернулся в Сити и пересек этот человеческий муравейник, превосходящий движением и шумом все, что довелось мне видеть в крупнейших городах европейских, не исключая и Неаполя. По главным улицам этого квартала Лондона тянутся в противоположных направлениях две цепи экипажей самой различной формы, причем все они, от неповоротливой телеги угольщика до элегантного дилижанса богатого банкира, от тачки приказчика до дилижанса, запряженного четверкой великолепных лошадей, едут один за другим с одинаковой скоростью, с трудом прокладывая себе дорогу сквозь толпу! Здесь, в Сити, расположены Биржа и порт, самые главные банкирские дома и самые большие магазины. Поблизости находятся также лондонские доки; здесь корабли Старого и Нового света стоят на покое во внутренних гаванях, вокруг которых выстроены громадные хранилища для товаров из Америки и Азии; одним словом, в этой части Лондона вершится столько дел, что людской поток заполняет улицы с десяти утра до позднего вечера, не иссякая ни на минуту. Двигаться по этому лабиринту улиц, загроможденных людьми и экипажами, – дело, требующее величайших предосторожностей; наняв тильбюри[1], я в течение часа с лишним только и делал, что проклинал английское богатство и собственную судьбу. Наконец, чтобы перевести дух, я остановился подле собора Святого Павла: глазам моим предстало римское сооружение, перенесенное в страну, очень далеко отстоящую от Италии, в страну, где нет ни чистого неба, ни поэтической земли, ни воспоминаний, ни тишины.

Собор Святого Павла превосходит размерами парижскую церковь Святой Женевьевы, но уступает римскому собору Святого Петра; выстроен он с величайшей пышностью, но не украшен ни картинами, ни скульптурами и потому показался мне творением незавершенным. Без помощи изящных искусств великие памятники создать невозможно; голые холодные стены ранили мой взор, оскорбили вкус и привели в оцепенение ум. Подъем на вершину собора стоил мне больших усилий, за которые я не был вознагражден, хотя и смог увидеть, а точнее, угадать сквозь туман и дым весь Лондон вместе с окрестностями, а также Темзу, струящую свои воды меж лугов и садов, напоминающих леса. Вид этот, без сомнения, прекрасен, и даже красноватый цвет, в который лучи солнца, пробивающиеся сквозь клубы дыма, окрашивают дома, не лишен оригинальности: кажется, будто весь город охвачен огнем; однако в этом унылом климате не ощущаешь ничего, кроме усталости, и вместе с первым глотком того тяжелого продымленного воздуха, какой составляет обычную лондонскую атмосферу, в душу твою входит сплин! Мне трудно представить себе, чтобы у человека, осужденного проводить жизнь под сумрачным небом Сити, оставались силы и желание развлекаться. Никто более меня не ценит игру света и воздуха, однако в Англии, где все без исключения печальны, я делаюсь печальнее всех и впервые в жизни с неким смущением сознаю, что есть страны, где я не смог бы существовать.

1. Легкий двухколесный экипаж. (*Прим. перев.*)

Довольно невнимательно осмотрев собор Святого Павла, я отправился в лондонский Тауэр, занимающий столь славное место в истории Англии и воспетый в "Ричарде III" Шекспиром — могучим гением, умевшим находить в своем отечестве предметы, достойные похвал, и возвеличивать их. Англичане должны гордиться тем, что их страна произвела на свет поэта, чья философия не уступает мудростью самой истории, художника, чьи поэтические картины не уступают богатством символов самой природе. Создания Шекспира не менее поучительны, чем создания Творца. Человек, который желает познать самого себя, может задуматься над пьесами Шекспира или над картинами природы, — результат будет один и тот же; упрочивает же славу этого великого поэта то обстоятельство, что в совершеннейших его творениях точность самых подробных наблюдений никогда не сковывает величественного полета фантазии, а в самых ярких описаниях он никогда не погрешает против правды чувства — правды поэтической, но повинующейся законам столь же незыблемым, что и самая прозаическая действительность. Ни разу не случалось мне приблизиться к месту, описанному Шекспиром, не испытав того почтения, какое история сама по себе внушить не способна; ибо если поэзия не освятила имена участников великих событий, рассказы о них остаются всего лишь эскизами настоящего полотна: им недостает цвета.

Эту волшебную силу поэзии я испытал, войдя в лондонский Тауэр; не стану его описывать, ничего особенно любопытного в нем нет, а что касается доспехов и оружия прославленных полководцев всех времен и народов, которое здесь выставляют напоказ с ребяческой гордостью, то это шарлатанство скорее ослабило, нежели усилило первоначальное мое впечатление; то же самое можно сказать и о королевских сокровищах, таинственно сверкающих в тусклом свете единственной лампы: ни роскошь их, ни их блеск не могут, на мой взгляд, извинить издевательство над иностранцами, которых средь бела дня заманивают в некое подобие тюремной камеры и которым за большие деньги позволяют в течение нескольких мгновений насладиться зрелищем этих великолепных безделиц.

Претерпев действие скуки — неизбежной спутницы всякого добросовестного путешественника — в стенах Тауэра, я направился в здание менее древнее, в котором располагается арсенал. При виде этого заведения, удовлетворяющего потребности сегодняшней Англии, я с изумлением перенесся из прошлого в будущее. Четыреста тысяч ружей, собранные в двух залах, по двести тысяч в каждой, потрясают воображение: этих запасов достало бы на то, чтобы за один час вооружить все население Лондона, и, глядя на этот склад оружия, располагающийся почти без охраны посреди города, где такое множество жителей страдает от зависти, рождаемой разом и нищетой, и богатством, я спрашивал себя, не слишком ли много в Англии запасов всякого рода. Однако вспомнив, что англичане видят в своей стране не что иное, как арсенал, обеспечивающий потребности целого мира, понимаешь, отчего здесь так много складов, ломящихся от товаров. То, что прежде казалось избыточным, отныне делается всего лишь необходимым, хотя все равно поражает воображение.

После собора Святого Павла и Тауэра я осмотрел Вест-Индские доки, расположенные на восточной окраине города. Это две параллельные внутренние гавани, каждая длиной в четверть лье; по обеим их сторонам тянутся двойные ряды навесов и складов высотою в четыре-пять этажей. Здесь хранятся все товары, привозимые из Америки. Одна из этих внут-

ренних гаваней предназначена для разгрузки прибывающих кораблей; другая — для погрузки товаров на борт кораблей, готовящихся к отплытию. Некоторое представление об этих доках можно составить лишь с помощью поэтических описаний Карфагена и Салента[1]; правительство, не участвовавшее в постройке этих доков, не вмешивается и в управление ими, так что порядок здесь поддерживают те самые, кто это заведение основал. В Англии не подавляют промышленность под предлогом ее защиты и позволяют ей достичь высших степеней развития, по видимости о том не заботясь. Предоставьте народ негоциантов самому себе, и он очень скоро сделается настолько просвещен, чтобы как следует внять собственным своим интересам; но если вы утверждаете, будто знаете интересы народа лучше, чем он сам, то он рано или поздно станет в точности таким глупым, каким вы его считаете. Благодаря мудрой умеренности правительства промышленность в Англии развивается несравненно быстрее, чем в любой другой стране мира. Для торговли свобода есть синоним поощрения. Поэтому в Англии и мануфактуры, и торговые заведения достигают исполинского размаха; кажется, будто тебя окружают здесь существа гораздо более могущественные, чем обыкновенные люди: умные машины перевозят неподъемные грузы с легкостью — чтобы не сказать с ловкостью, — внушающей ужас. Я видел, как стволы красного дерева, превосходящие толщиной самые старые наши дубы, взлетают ввысь и переносятся в другой конец просторного склада с помощью механизма, который производит эти действия так же непринужденно, как вы переворачиваете полено в камине. Я видел крытые галереи длиной в одну восьмую лье, где хранятся бесчисленные бочонки сахара, еще только *ожидающие*, чтобы их переместили в прилегающие склады; под этими галереями вырыты целые подземные города — туда попадают бочки с ромом, привезенные с Ямайки. Я желал бы описать вам причудливые формы многочисленных машин, чьи разнообразные рычаги и хитроумные движения поддерживают жизнь в этом рукотворном мире. Я желал бы описать вам этих маленьких людишек, которые суетятся, подобно муравьям, вокруг чудовищных орудий, созданных их собственным гением и приводимых в движение силою их крошечного мозга. Но это зрелище так сильно утомило меня, что я больше не могу о нем рассказывать; добавлю только, что все эти чудеса — плод деятельности ассоциации, основанной двадцать лет назад несколькими негоциантами. Все наиболее поразительное, чем может похвастать английская промышленность, создано за последние тридцать лет; судите сами, как стремительно возрастает мощь этой страны.

1. Легендарный город в древней Италии, на примере которого Фенелон в романе "Приключения Телемака" (изд. 1699) демонстрирует идеальные способы управления государством. (*Прим. перев.*)

Ханс Кристиан Андерсен

Базар поэта. Путевые заметки 1826–1872 гг. В Швеции

Главы из книг

Перевод с датского и вступление Норы Киямовой

Ханс Кристиан Андерсен, автор всеми любимых сказок, оставил по себе также стихи и прозу (шесть романов), романтические трагедии, шуточные пьесы и водевили, три (!) автобиографии и — описания своих путешествий, причем далеко не всех.

Первое свое путешествие он проделал еще четырнадцатилетним мальчиком, отправившись из родного Оденсе, что на острове Фюн, в Копенгаген, веруя, что его ждет там славное будущее. Точно так же устремлялся он впоследствии из Дании в чужие края, веруя, что обретет там сокровища для ума и сердца. Он исколесил чуть ли не всю Европу и повидал краешком глаза Северную Африку и Малую Азию.

В 1840 году Андерсен пустился в одно из самых долгих своих путешествий, продлившееся девять месяцев. Он побывал в Германии, Италии, Греции, Константинополе, на Дунае и через Вену и Прагу возвратился на родину. Итогом этой поездки явился "Базар поэта" (1842), наиболее известная книга его путевых очерков.

"Описание путешествия, — размышляет в предисловии к современному датскому изданию "Базара поэта" Кьель Хельтофт, — становится и автопортретом. Чем достовернее и непосредственнее передается тот или иной эпизод, тем лучше мы узнаем самого рассказчика". По его словам, мы читаем сегодня путевые

© DSL/Borgen, 2002, 2003, 2006
© Нора Киямова. Перевод, вступление, 2007

очерки Андерсена не только для того, чтобы насладиться его писательским даром или же ощутить дыхание минувшей эпохи, но, гораздо в большей мере, желая проследить извилистые пути восприятия необыкновенного человека.

Мы следуем за ним по городам и весям — и видим его самого: страдающего, к примеру, от зубной боли или же загнанного непогодой в дрянной трактир, но не унывающего всерьез и повествующего о своих злоключениях с мягким и тонким юмором.

"Русский путешественник" Карамзин уже в третьем письме с дороги (Рига, май 1789 года) сетует на негодную кибитку, скверных лошадей, переломившуюся ось, проливной дождь и грязь. То же описывает более чем полвека спустя и Андерсен ("Долина Сетер"). Путешествия в ту пору были сопряжены с изрядными неудобствами и прямыми опасностями: плохие дороги, неудобные дилижансы, несносные попутчики, убогие постоялые дворы, холода, не говоря уж о разбойниках, военных действиях, эпидемиях и карантинах (недаром Андерсен так горячо приветствовал появление поезда, на котором можно было, по понятиям того времени, стремительно перемещаться в пространстве).

При всем при том Андерсен был довольно-таки отважным путешественником. Как он напишет позднее в своей книге путевых очерков "Поездка в Португалию" (1868), двойственность его натуры заставляла его страшиться опасностей, но одновременно пробуждала в нем желание и силы преодолевать их.

"Путешествовать — значит жить", — замечал Андерсен в одном из своих писем, и фраза эта стала крылатой, — "тогда жизнь становится богатой и живой, ты питаешься не как пеликан собственной кровью, а от великой природы".

Он писал, чтобы добыть средства для путешествий, и путешествовал, чтобы было о чем писать. Им двигала жажда увидеть новое и получить внешние импульсы, столь необходимые для его творчества. Места и люди, живопись, музыка, театр — во всем этом Андерсен черпал вдохновение и силы, особенно на первых порах, когда встречал мало понимания в литературной среде на родине. Особенное воздействие оказывала на него природа: в ней все "свято", говорит он, "здесь ты неизменно пребываешь у сердца Господня".

Во времена Андерсена ознакомительные и образовательные поездки, выражаясь сегодняшним языком, как правило, вели на юг. Помните Дюймовочку? Ласточка зовет ее "в теплые края, где солнце светит ярче, где всегда лето и растут чудесные цветы". Теплые края, и в первую очередь la bella Italia, — источник вдохновения и лейтмотив многих историй Андерсена.

Между тем Андерсен много ездил и по родной Дании, а также заново открыл для своих соотечественников соседнюю скандинавскую страну — Швецию, в которой бывал не раз. Летом 1849 года он посетил ее вновь, но то была година испытаний, разгар прусско-датской войны. Германия, где Андерсен впервые узнал писательскую славу, где он обрел самых своих благодарных читателей, стала страной-неприятелем; Дания несла тяжелые потери; в числе павших оказались и те, кого он знал лично; настроенные антинемецки знакомые Андерсена упрекали его в недостатке патриотизма... "Я был болен душою, — писал он, — я страдал нравственно и телесно; мне требовалось переменить обстановку..." Что он и сделал, и это привело к написанию книги "В Швеции" (1851), занявшей среди его путевых очерков особое место. Путешествие в Швецию — своего рода бегство от мрачной действительности. За описаниями чудесной природы, красочной народной жизни, памятных мест ощущается подспудный страх перед гибелью и уничтожением; противовес этому — настойчивое стремление рассказчика найти красоту гармонии в сотворенном мире и истолковать все встреченное на пути как символ выживания и торжества над смертью.

Помимо того что Андерсен мастерски вырезывал из бумаги картинки, он увлекался коллажами — и это за полвека до кубистов и дадаистов. Книга "В Швеции" удивительно напоминает коллаж: Андерсен описывает свое путешествие вовсе не в том порядке, в каком его совершил, а свободно компонует путевые очерки, перемежая их историями (которые позже вошли в его "Сказки и истории"), стихотворениями и поэтическими эссе. Неслучайно он назвал эти очерки "В Швеции" — это и путешествие, и состояние души. Душа поэта как эолова арфа, отзывающаяся на малейшее прикосновение ветра.

Когда самобытнейший "Базар поэта" увидел свет, анонимный критик бросил Андерсену такой упрек: "Книга его <...> содержит почти одни лишь картины природы тех стран, которые он повидал, рассказы о произведениях искусства, которые он созерцал, и об отдельных лицах, которых он посетил; напрасно вы попытаетесь с ее помощью составить себе сколько-нибудь ясное представление о примечательных жителях Греции или узнать правду о политических умонастроениях турок — единственного восточного народа Европы. Андерсен забывает о греках ради Парфенона и о турках ради Константинополя. Андерсен описывает, живописует: перед нашими глазами предстают края, города, произведения искусства; и однако ж он нередко восклицает: 'Это была сцена, достойная кисти художника!', 'Если б я был художником!' В том-то его ошибка и заключается, что он желает быть художником более, нежели писателем..."

В этих раздраженных словах есть немалая доля правды: Андерсен был, как бы мы сказали сегодня, ярко выраженным визуалистом. Он редко пускается в абстрактные рассуждения, у него нет наклонности к рефлексии и резонерству; политические события и судьбы мира волнуют его, но выражает он это по большей части в опосредованной форме, его сила — в выразительных, запоминающихся картинах и лирических зарисовках. Быть может, такое видение мира, преломившееся в его литературных произведениях, и объясняет во многом ту легкость, с какой они сами путешествуют по свету.

Он пишет импрессионистическими мазками, подобно художнику, что, оставив темное ателье, отправился на пленэр. Он "живописует", не утомляя тяжеловесными отступлениями. Он подмечает мельчайшие детали, но не углубляется в них; предается восторгу, не впадая, однако, в сентиментальность.

Любознательный, приметливый, умный, чуткий и — чувствительный — путешественник, Андерсен ищет сказку в действительности, и действительность в сказочном мире, в котором путешествует. А теперь туда попадем и мы.

Базар поэта

Мои сапоги
(Правдивый рассказ)

ЕСТЬ в Риме улица, которая называется via purificazione[1], улица очищения, да только о ней этого не скажешь! Вся она в колдобинах, повсюду валяются кочерыжки и старые черепки; из двери остерии валит дым, а супруга моего соседа напротив — что поделать, но

1. Via della Purificazione. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

это правда, — супруга моего соседа напротив каждое утро вытряхивает из окна простыни. В сей улице проживает много иностранцев, однако в этом году страх перед лихорадкой и злокачественными болезнями удержал многих из них в Неаполе и Флоренции. Я обитал один-одинешенек в большом доме; хозяин с хозяйкой, и те в нем не ночевали.

То был большой, холодный дом с сырым садиком, где росли всегонавсего гороховый стебель да наполовину сгнивший левкой; в соседних же садах, расположенных выше, были живые изгороди из цветущих роз и деревья, все в желтых лимонах. Эти последние хорошо переносили беспрестанный дождь, розы же, напротив, выглядели так, будто пролежали с неделю в море.

Вечерами в огромных стылых комнатах было до того одиноко, между окон зиял черный камин, а на дворе бушевала непогода. Все двери были тщательно заперты на замок и закрыты железными ставнями, но что толку, в дверных щелях пронзительно свистал ветер, лучины в камине вспыхивали, не распространяя, однако ж, кругом тепла; холодный каменный пол, нагие стены и высоченный потолок, похоже, были предназначены лишь для летней поры.

Ежели мне иной раз хотелось устроиться поуютнее, то приходилось сперва надевать дорожные сапоги, сюртук, плащ и мохнатую шапку, вот тогда можно было согреться! Разумеется, тот бок, что ближе к камину, наполовину поджаривался, но в этой жизни надо уметь поворачиваться, я и вертелся точно подсолнечник.

Вечера так и тянулись бы, не надумай мои зубы давать нервические концерты; можно было лишь подивиться тому, с какою сноровкою они исполняли их. Изрядная датская зубная боль и в сравнение не идет с итальянской. Здесь боль играла на зубных клавишах так, словно по ним ударяли Лист или Тальберг; она то прокатывалась на переднем плане, то на заднем, как если бы друг другу ответствовали два воинственных хора, а большой передний зуб меж тем пел партию примадонны со всеми болевыми фиоритурами, руладами и коленцами; во всем чувствовалась такая слаженность и такая сила, что под конец я был уже не человек!

Вечерние концерты сменялись ночными. Во время одного такого ночного концерта, когда окна сотрясались от бури, а за ними ливмя лил дождь, я уныло взглянул на ночник; рядом с ним лежал мой письменный прибор, и я увидел совершенно отчетливо, как поверх белой бумаги пляшет перо, словно им водит незримая рука. Но ничего подобного, оно ходило само по себе! Оно писало под диктовку, и кто же ему диктовал? Хоть это звучит невероятно, но это правда! поверьте мне на слово! — то были мои сапоги, мои старые копенгагенские сапоги, насквозь пропитавшиеся дождевою влагой, почему им и было отведено место в камине возле тлеющих углей. Если я мучился зубной болью, то они страдали от водянки! Они диктовали свою биографию, каковая, по моему мнению, способна пролить свет на итальянскую зиму 1840—1841 года.

Сапоги говорили:

"Нас двое братьев: правый сапог и левый сапог! Вот наше первое воспоминание: нас хорошенько натерли воском, после чего надраили. Я мог смотреться в моего брата, мой брат — в меня, и мы увидали, что мы — единая плоть, вроде Кастора и Поллукса, как сросшиеся сиамцы,

которым суждено жить и умереть, существовать и окончить существование на пару. Оба мы — коренные копенгагенцы.

Сапожный подмастерье вынес нас в свет на своих руках, что пробудило в нас сладостные, но обманчивые ожидания относительно нашего предназначения. Тот, кому нас доставили, тотчас же потянул нас за ушки и, когда мы прильнули к его ногам, сошел с нами вниз по лестнице. От радости мы скрипели! На дворе лил дождь, а мы все скрипели!.. Правда, только лишь в первый день.

Ах, сколько же на этом свете приходится преодолевать мокроты!.. Мы не были от рождения водостойкими и оттого не чувствовали себя счастливыми! Ни одна щетка не могла вернуть нам лоск и блеск нашей юности, коим мы сверкали, когда сапожный подмастерье нес нас по улицам на своих руках; поэтому как описать наше счастье, когда однажды утром мы услыхали, что поедем за границу, в Италию, в эту ласковую, теплую страну, где будем ступать лишь по мрамору и античной почве, будем впивать солнце и наверняка обретем заново молодой блеск. Мы уехали!.. Самые длинные отрезки пути мы проспали в чемодане, грезя о теплых странах. В городах же, напротив, мы как следует осматривались вокруг, однако там было сыро и промозгло, как в Дании; в подошвах у нас сделался антонов огонь, их пришлось отнять в Мюнхене, и нас снабдили искусственными, но сработаны они были на славу, будто родились вместе с нами. "Только бы перевалить через Альпы! — вздыхали мы. — Там мягкая, хорошая погода!" И вот мы перевалили через Альпы, но погода оказалась отнюдь не мягкою и хорошей! Было дождливо и ветрено, а если нам случалось ступать по мрамору, он до того леденил, что выжимал холодный пот из наших подошв, и они оставляли влажный отпечаток там, где мы проходили. Зато куда как оживленно бывало по вечерам, когда коридорный перенумеровывал сапоги и туфли постояльцев; расположившись среди незнакомых нам сотоварищей, мы слушали их рассказы о городах, откуда они приехали! Там была пара чудесных красных сафьяновых голенищ с черными оголовками, кажется, это было в Болонье; они поведали нам про жаркое лето в Риме и Неаполе, поведали про свое восхождение на Везувий, где у них спалило оголовки подземным жаром; ах! нас едва ли не потянуло умереть этакой смертью. Только бы нам перевалить через Апеннины!.. Только бы нам попасть в Рим — и мы туда попали!.. Но вот уже неделю за неделей мы ходим под дождем да по слякоти! Ведь надобно все осмотреть, а примечательностям и ливням нету конца! Нас не согрел ни единый солнечный луч, нас охаживал холодный ветер! О Рим! Рим! Этой ночью мы впервые пьем тепло благословенного камина и будем пить, покуда не треснем! Передки уже отходят, мы просим каши, тут уж пиши пропало! Но прежде чем мы примем эту блаженную смерть, мы хотим, чтобы история наша была положена на бумагу, а останки наши пусть отвезут в Берлин, дабы мы упокоились подле того, кто имел мужество и отвагу описать Италию 'wie es ist!'[1], подле правдолюбца Николаи!" И тут сапоги развалились! Стало тихо-претихо, ночник мой погас, сам я задремал, а проснувшись поутру, принял все это за сон, однако же заглянул в камин — сапоги со-

1. "Какова она есть!" (*нем.*) "Италия, какова она есть в действительности: Повествование о примечательном путешествии в гесперийских краях как предостережение для всех тех, кто туда стремится" (1834) — книга немецкого писателя Густава Николаи (1795—1852).

вершенно скукожились, они стояли рядом с холодной золой, будто мумии; я посмотрел на лист, что лежал возле ночника, то была серая бумага, испещренная кляксами, перо и впрямь по ней бегало, но все расплылось, ибо перо положило воспоминания сапог на серую, дрянную бумагу, я же записал то, что упомнил, и не надо забывать, это не я, а мои сапоги роптали на la bella Italia!

Пегас и лошади Ветурина[1]

Диалог

А какие только лады не описывались путешествия, но в виде диалога, я полагаю, еще ни разу.

24 февраля 1841 года в ранний утренний час из Рима через porta sanct Giovanni[2] выехала изрядно груженная дорожная карета, которую тянули две обыкновенные клячи и передний конь, до того красивый, до того ретивый и огневой, — то был сам Пегас, и вполне резонно, что он позволил себя запрячь, ибо в карете сидели два поэта, а кроме того певец духовного звания, до того ретивый, полный юношеского задора; он только что был выпущен из монастыря, чтобы изучать в Неаполе генерал-бас[3]. Уже в Альбано он сбросил монашеское одеяние и натянул черный сюртук; он тоже мог сойти за поэта; а еще там была синьора, обожавшая поэзию и поэтов, вот разве что она терпеть не могла ехать спиною вперед. Подобралось, как вы понимаете, общество, которое Пегасу везти очень даже пристало. Они направлялись в Неаполь; а теперь послушаем диалог.

Первый день путешествия

Пегас

"По древним дорогам, мимо водоводов длиною в милю, высящихся подобно колоннам у дворцового входа, мимо заросших кустами гробниц ведет путь в Альбано. Единственный, кто нам повстречался, это капуцин с сумой на плече. Мы приближаемся к могиле Аскания[4]! Словно каменный колосс, поросший травой и кустарником, высится она у самой дороги! Пойте же это, сидящие в карете пииты, пойте Римскую Кампанью!

Лошади ветурина

Давай-ка тяни вместе с нами! Что означают эти скачки? Дорога теперь пошла в гору. В Альбано мы будем кормиться целых два часа, овес

1. У Андерсена так же, как и у Гоголя, — ветурин (veturin); правильно: vetturino (*итал.*) — наемный извозчик, кучер и одновременно проводник.
2. Правильно: Porta San Giovanni — городские ворота, построенные в 1574 г. на юго-восточной окраине Рима, за которыми начиналась Аппиева дорога.
3. Генерал-бас (basso generale, *итал.*) — возникший в Италии в конце XVI в. в практике органного и клавесинного аккомпанемента упрощенный способ записи гармоний с помощью басового голоса и проставленных под ним цифр, обозначающих созвучия в верхних голосах.
4. Место на дороге между Римом и Альбано, где, по преданию, погребен сын троянского героя Энея Асканий, или Юл, легендарный родоначальник рода Юлиев (Цезарь, Август).

там хорош, конюшня большая. Ох, когда-то еще наступит вечер и нам дадут отдохнуть!

Пегас

Мы в Альбано! В этой улице есть один дом, мы проедем совсем рядом, он маленький, всего в два этажа, и преузкий; дверь отворяется, из дому выходит охотник, у него бледные щеки, черные как уголь глаза! Это Дон Мигель, бывший король Португалии, вот о чем сложить бы стихотворение! Вы слышите, поэты в карете? Нет, не слышат, один любезничает с синьорой, другой обдумывает трагедию.

Лошади ветурина

Ну вот мы и передохнули! Пора трогаться! Путь неблизок, дорога ведет вверх-вниз! Да не гляди ты на эти камни, это могила Горациев; то старая история. Пошевеливайся!

Пегас

Какие пышные деревья! Как стелется барвинок! Дорога идет глубоким ущельем, плещут родники, а высоко на горе средь древесных крон вздымается величественный церковный купол Аричии! Звонят колокола. При дороге крест, мимо бредут пригожие девушки, приседают перед крестом и молятся, перебирая четки. Мы подъезжаем к Дженцано, поэты выходят из кареты, они хотят видеть озеро Неми, которое некогда было кратером! Ну да эта история еще старее, чем про Горациев! Помчимся же, пока поэты изливают свои восторги; в Веллетри они нас нагонят! Нам охота мчать!..

Лошади ветурина

Он точно рехнулся, этот передний конь! Ни стоять не может, ни идти шагом! А ведь не маленький, пора б уже научиться.

Пегас

Далеко внизу под нами лежат зеленые, поросшие травою болота и скалистый остров Цирцеи на море[1]! Мы в Чистерне, маленьком городке, на подходе к коему апостол Павел был встречен друзьями из Рима. Пойте сие, поэты. Вечер красив, звезды сверкают; в местном трактире хорошенькая служанка, взгляните-ка на нее, поэты, и воспойте огненную лилию на болотах.

Второй день путешествия

Лошади ветурина

Иди хоть чуток потише! А не галопом! Впереди едет карета! Обгонять ее нам не след! Ты что, не слыхал, в карете две немецкие дамы, они без мужского сопровожденья и попросились ехать с нами в компании, потому как боятся разбойников! Здесь неспокойно! Однажды здесь мимо нас просвистела пуля!

1. На самом деле – скалистый мыс.

Пегас

Дождь так и хлещет! Все вокруг залито! Тростниковые хижины, того и гляди, уплывут с затопленных зеленых островов. А ну, поскачем напропалую! Дорога ровнехонька! Вон стоит великолепный монастырь, монахов там нет, их прогнали болотные испарения; монастырские стены и мраморные колонны покрыты зеленой плесенью, пол порос травою, под куполом носятся летучие мыши. Мы вбежим через распахнутые ворота прямо в церковь — и остановимся! И тогда вы увидите, как дама, которую мы везем, застынет от страха, уподобясь чудесному мраморному изваянию! И тогда вы услышите, как капельмейстер наш запоет, голос его красив, он споет гимн своему избавлению! А оба поэта поведают миру о смертельно опасном приключении в Понтинских болотах!

Лошади ветурина

Побойся кнута! Держись-ка середины дороги! Скоро мы в Террачине, там мы передохнем, и на границе тоже передохнем, и возле таможни! Это самое хорошее во всем путешествии!

Пегас

Солнце озаряет красно-желтые скалы, болота лежат позади! У самой дороги — три высокие пальмы! Мы в Террачине! Куда подевалась наша компания? Один из поэтов направился в гору, между рослыми кактусами, вокруг — сады с лимонными и апельсиновыми деревьями, каждая ветвь гнется под тяжестью ослепительно-желтых плодов; он подымается к развалинам крепости Теодориха[1], смотрит поверх травянистых болот на север, и сердце его поет:

...любимая,
Роза из дивного вертограда!
Ты — мое все, ты — жизнь моя,
Свет очей моих и моя отрада,
Благоуханный бутон![2]

Другой же поэт сидит внизу, на море, средь волн, средь могучих обломков скал, он смачивает губы соленою влагой и ликует: "О бурное море, о покойное море! Ты, как и я, обнимаешь всю землю: то твоя невеста, то твоя муза! Ее воспеваешь ты в бурю! Стихнув же, грезишь о небе! О ясное, о прозрачное море!.."

Лошади ветурина

И славного же овса нам задали в Террачине! Дорога тоже была хоть куда, а возле таможни в Фонди у нас была предолгая остановка! Глянь, дорога пошла в гору! Вот не было печали!.. То вверх, то вниз! Удовольствие не из приятных!

1. Развалины храма Юпитера, позднее получившие название в честь Теодориха Великого (454–526), короля остготов с 471 г. и правителя Италии с 493 г.
2. Слегка видоизмененная цитата из песни "Разливает лампа свой белый свет" датского поэта Х. П. Хольста, современника и друга Андерсена.

Пегас

На ветру трепещут плакучие ивы! Змеею извивается дорога, ползущая вверх по склону мимо ветхих укреплений и оливковых рощ, освещенных красным вечерним солнцем! Над нами, на горе — живописный город, внизу по дороге движутся крестьяне! Эти горы полны поэзии! Приди же сюда, ты, кто способен это воспеть! Оседлай меня! Мои поэты в карете лентяйничают! Мы понесемся прочь ясным, звездным вечером, мимо циклопических стен, откуда свешивается густой плющ, драпируя пещеры, которые, быть может, укрывают разбойника! мимо обветшалых могил, где под ударами кинжалов пал Цицерон! Средь высоких лавровых изгородей и сияющих лимонов подъедем мы к его вилле! Этой ночью мы будем видеть сны в Мола ди Гаэта!

Лошади ветурина

Да уж, дорога была — не приведи господь! Где же я поем? Где попью? Хоть бы овес был добрый! А вода свежая! Только бы мы добрались всяк до своей кормушки!

Третий день путешествия

Пегас

Под сенью цитрусовых дерев сидела прекрасная синьора, один из поэтов читал вслух итальянские стихи, звучные и красивые; капельмейстер приклонился к высокому лимонному дереву и, слушая, бросил взгляд между кипарисов, на море, где солнечные лучи падали на белые корабельные паруса! Другой поэт бегал по полю, собирал красные анемоны, плел венки, нет-нет да и срывал один-два сияющих апельсина, и они взлетали в ясный воздух золотыми яблоками! На сердце у него был праздник, на устах — песня, он чувствовал: "Я снова в Италии!" В конюшне стояли лошади, опустив морды в кормушку, им тоже было хорошо; но а там, где стоял я, Пегас, в стене была калитка, притом открытая; я просунул туда голову, окинул взглядом верхушки лимонных деревьев и темные кипарисы, белый город на перешейке и заржал; я полагаю, поэты должны были узнать меня по моему ржанию.

Лошади ветурина

Ну вот, пора опять двигаться дальше! В Санта-Агату, там изрядный корм! А затем в Капую, мощную крепость со скверной водою! Зато скоро конец путешествию!

Пегас

До чего же синеют горы, до чего же синеет море, а у неба своя, ослепительная, синева, это три оттенка одного и того же цвета, это любовь, высказанная на трех разных языках. Поглядите, как сверкают звезды, поглядите, как сияет огнями город, что впереди нас, это Неаполь, чудесный город, полный жизни, "Неаполь, Неаполь!"

И вот мы очутились в Неаполе!

Путевые заметки 1826–1872 гг.

Страницы из моего дневника

Похороны Рафаэля

...В пятницу 18 октября 1833 года я впервые приехал в Рим. Моя счастливая звезда привела меня туда именно в тот день, дабы я мог присутствовать на похоронах великого художника Рафаэля. Это звучит как шутка, однако же это правда! Четыре часа спустя после моего прибытия его должны были захоронить в церкви Santa Maria della rotunda (Пантеоне). Дело обстояло так: в Академии Св. Луки[1] хранился череп, который выдавали за Рафаэлев и к которому френологи долгое время относились с большим почтением; тем не менее возникли некоторые сомнения в его подлинности, и, чтобы разрешить их, с дозволения папы могила была открыта; череп оказался все же не Рафаэлев — Рафаэль лежал в целости и сохранности, голова была на месте. Римский художник Камуччини получил исключительное право запечатлеть место погребения. Знаменитый Орас Верне[2] этого не знал, и поскольку был там, то взялся за карандаш, собираясь зарисовать могилу. Один из папских стражей запретил ему это, он удивился, но тем не менее преспокойно ответил: "Ну, а нарисовать ее дома по памяти ведь не возбраняется?" Возразить на это было нечего. С полудня до шести вечера он успел написать маслом красивую, достоверную картину, после чего заказал доску, с коей можно было получить отпечаток, но ее конфисковали; тогда он отправил в полицию резкое письмо, где потребовал, "чтобы по истечении суток доска была ему возвращена, ибо на искусство, в отличие от соли и табака, нельзя ввести монополию!" Доску ему вернули, однако он переломил ее пополам и отослал обломки, вместе с пылким письмом, Камуччини. Он не желал употребить свою работу ему во вред. Камуччини восстановил доску, сопроводил ее дружеским ответным письмом и вовсе отказался от намерения издать свой рисунок, и каждому теперь было позволено зарисовывать могилу сколько душе угодно. На дороге, ведущей туда, торговали гравюрами с изображением бессмертного Рафаэля: то был скелет, лежавший в открытой нише; на иных сверху был помещен его прекрасный портрет — таким он выглядел при жизни.

На закате, когда все колокола зазвонили к "Ave Maria", римляне и иностранцы устремились в церковь, куда впускали по билетам. Под высоким купольным сводом сияли тысячи ламп, все кругом было убрано черным. Столпившиеся в молчании люди, дым ладана — все это вызывало у меня удивление. Перед алтарем, под которым должны были заново погрести Рафаэля, на высоком черном возвышении стоял открытый гроб красного дерева, хранивший священные останки художника; с гроба свисала большая золотистая пелена. Вокруг стояли, в средневековой

1. Знаменитая художественная академия, основанная в 1593 г. в Риме итальянским живописцем Ф. Цуккаро; существует и поныне.
2. Орас Верне (1789–1863) — французский художник, получивший широкую известность как автор патетических батальных полотен.

одежде, с огромными алебардами, папские солдаты-швейцарцы. Кардиналы, священники и профессора Академии обступили гроб полукругом, между тем как невидимый хор запел "Miserere". Люди склонились до земли, они почитали художника как святого... Сообщение о том, когда и почему могила была вскрыта вторично, было зачитано и положено в гроб, затем опустили крышку, и некоторые видные граждане Рима приложили к ней свою печать. После чего гроб под торжественную музыку и пение был опущен в могилу под алтарем, поблизости от того места, где покоится Ганнибал Карраччи[1].

В Швеции

Тролльхеттан

КОГО мы повстречали в Тролльхеттане? О, это удивительная история, и мы ее расскажем.

Сойдя на берег возле первого шлюза, мы словно бы очутились в английском парке; широкие дорожки выложены щебнем и подымаются короткими террасами между залитыми солнцем лужайками; здесь приятно, очаровательно, но все это не захватывает; если же вы, напротив, жаждете впечатлений, тогда вам надобно пройти чуть повыше, к старым шлюзам, глубоким и узким, пробитым с помощью взрывов в твердой скале. Грандиозное зрелище, а глубоко внизу кипит в черном ложе поток. Отсюда можно обозреть долину и реку; речной берег на другой стороне подымается зелеными волнистыми холмами, среди которых виднеются лиственные деревья и выкрашенные красным деревянные дома, а замыкаются холмы скалами и еловым лесом. По шлюзам проходят пароходы и парусники, сама же вода — услужающий дух, который переносит их через горы; из лесу доносится гудение, рев и шум; грохот тролльхеттанских водопадов сливается с шумом лесопилен и кузниц.

"Через три часа мы пройдем шлюзы, — сказал капитан, — за это время вы сможете осмотреть водопады. А наверху около трактира встретимся".

Мы двинулись по тропинке в лес, нас окружила целая ватага простоволосых мальчишек, все они хотели быть нашими провожатыми; крича наперебой и противореча друг дружке, они давали каждый свое объяснение тому, как высоко стоит, или не стоит, или могла бы стоять вода; на сей счет большие разногласия есть и среди ученых. Вскоре мы остановились на вересково-красной скале, головокружительной террасе; перед нами далеко внизу ревущий поток: Адский водопад, а над ним — водопад за водопадом, полноводная, обрушивающаяся с размаху река, вытекающая из самого большого озера Швеции... Какой вид, какой рев, что сверху, что снизу! Это как волны в море, но в море пенящегося шам-

1. Прав.: Аннибале Карраччи (1560—1609) — выдающийся итальянский художник, которого современники окрестили "новым Рафаэлем".

панского, кипящего молока; на самом верху они разбиваются о две скалы, отчего водяная пыль стоит как туман над лугом, ниже поток сужается, обрушивается вновь, несется вперед и, кружа, отступает, как успокоившееся море, после чего, низвергаясь Адским водопадом, с морской мощью совершает долгое свое падение... Что за ураганный рев в глубине, что за зрелище! Тут не хватает слов!

Не нашлось их и у наших крикливых маленьких провожатых, они онемели, а когда снова принялись пояснять и рассказывать, то не очень-то в том преуспели, ибо некий старый господин — никто его раньше не приметил, но сейчас он был среди нас, — перекрыл все своим на удивление звучным голосом; он знал эти места и говорил о старине, как будто то было вчера.

— Здесь на скалистых островах, — рассказывал он, — в языческие времена, как их называют, бились друг с другом богатыри. Жил в этих краях богатырь Стэркоддер, и полюбилась ему красивая девушка Огн, приемная дочь Альфа, ну а ей был милее Хергример, и тогда Стэркоддер вызвал его на поединок у этого водопада, и тот нашел свою смерть, а Огн подбежала, схватила окровавленный меч своего жениха и вонзила его себе в сердце; Стэркоддеру она не досталась. Прошло сто лет и еще сто, лес был тогда густой и дремучий, здесь рыскали волки с медведями лето и зиму; здесь хозяйничали злые разбойники, никто не мог обнаружить их логово; оно было вон там; около водопада под Верхним островом, на норвежской стороне, и была их пещера, теперь-то она обвалилась... А вон тот утес наверху!..

— Да, Утес Портного! — загалдели мальчишки. — Он рухнул в 1755 году.

— Рухнул, — проговорил старик, словно бы удивляясь тому, что об этом знает кто-то еще. — Все когда-нибудь да рушится, а портной рухнул вмиг. Разбойники привели его на скалу и потребовали: если он хочет, чтоб они его отпустили, пускай вместо выкупа быстро сошьет там платье; он взялся было за дело, но только сделал первый стежок и вытянул нитку, как ему стало дурно и он упал в бурлящий поток; вот скалу и назвали Утесом Портного. Однажды разбойники поймали молоденькую девушку, она их выдала; она разожгла в пещере огонь, дым увидали, пещеру нашли, разбойников схватили и убили; водопад, что около нее, зовется Воровским, там, под ним, есть еще одна пещера, вода в нее то ворвется, то, вскипев, отхлынет назад; отсюда это видно да и слышно, но еще лучше слышно под сводами у горного духа!

И мы направились дальше, вдоль водопада, к Верхнему острову по таким же аккуратным, устланным стружками дорожкам и пришли к Шлюзу Польхема, отверстию в горе, пробитому взрывами для первого задуманного шлюза, который так и не был построен, зато благодаря человеческому умению тут возник самый впечатляющий из всех тролльхеттанских водопадов: в черную бездну отвесно падает бурный поток. Горный склон соединен здесь с Верхним островом легким железным мостом, который перекинули через пропасть; ты идешь по шаткому полу над улетающим сокрушительным потоком и вот уже стоишь на скалистом островке в окружении сосен и елей, которые растут из расщелин; перед нами низвергаются волны моря и разбиваются о каменную глыбу, где мы стоим, окропленные вечным моросящим дождем; поток по обеим сторонам несется, будто выпущенный из исполинской пушки, и раз-

бивается на каскады; мы озираем их все до единого, и нас объемлют гармоничные гулы, неизменные на протяжении тысячелетий.

— А на тот вон остров совсем никому не попасть? — спросил кто-то из нашей компании, показывая на островок побольше, расположенный над самым верхним водопадом.

— Я-то знаю, кому это под силу, — чудно́ улыбнувшись, кивнул старик.

— Это был, наверно, мой дедушка, — сказал старший из мальчиков, — а вообще туда если кто и попадает, то раз в сто лет. Крест, что там стоит, поставил мой дедушка. Зима была суровая, Венерн[1] замерз полностью, льдом перекрыло устье, и поэтому дно здесь оставалось много часов сухим, так рассказывал дедушка, с ним туда пошли еще двое, они поставили веху и вернулись обратно; и тут как загрохочет, будто пальнули пушки, лед тронулся и река разлилась и затопила луг с лесом. Все, что я говорю, сущая правда.

Один из путешественников процитировал Тегнера[2]:

Свирепым троллем с гор отвесных
Бросалась Гёта, сея жуть!
Но взорван камень, и чудесный
Проложен паруснику путь!

— Бедный тролль! — продолжал он. — Могущество и величие твои убывают! Человеческий ум обгоняет тебя, можешь у него поучиться.

Словоохотливый старик скорчил гримасу, забормотал что-то в бороду... но мы уже стояли у моста перед трактиром, пароход прибыл по открывшемуся пути, все поспешили подняться на борт, и вскоре он уже полным ходом плыл по реке над водопадом, как будто того и в помине не было.

— Да как такое возможно? — спросил старик.

Он понятия не имел о пароходах, никогда их прежде не видывал и потому сновал вверх и вниз; то он стоял в машинном отделении и пристально разглядывал его устройство, словно бы намереваясь пересчитать все винты и заклепки, то взбирался на колесные кожухи, то перевешивался через поручни. Плаванье по каналу, судя по всему, было для него внове, карта и путеводители оказались предметами совсем незнакомыми, он вертел их и так и сяк, читать он, по-моему, не умел. Однако он знал этот край, вернее, знал о прошлом этого края.

Всю ночь, что мы плыли по Венерну, он не спал; он изучал скорость, с какою двигался пароход; поутру, когда мы стали подниматься из Венерна по шлюзовым террасам из озера в озеро, все выше и выше над равниною, он был занят так, что и представить себе нельзя; тут мы прибыли в Муталу... Шведский писатель Тёрнерос[3] рассказывает о том, как он ребенком спросил однажды: что это там внутри часов тикает? И ему ответили: "Это — Бескровный!.." Леденящий ужас сродни тому, что охватил юного Тёрнероса, заставя детский пульс лихорадочно биться, а

1. Венерн и упоминающиеся далее Сильян, Ельмарен, Виген, Веттерн — названия шведских озер; Гёта — река.
2. Исайя Тегнер (1782—1846) — поэт-романтик, классик шведской литературы.
3. Адольф Тёрнерос (1794—1839) — шведский писатель, публицист и филолог; испытал влияние национального романтизма.

волосы на голове встать дыбом, овладел в Мутале стариком из Тролльхеттана. Мы ходили по большому мутальскому заводу. То, что тикает в часах, бьет здесь сильными ударами молота. Это Бескровный, что высосал жизненные соки из человеческой мысли и тем самым обрел члены из металла, камня и дерева; это Бескровный, что через человеческую мысль получил силы, коими не обладает от природы сам человек. Восседая в Мутале, Бескровный простирает через большие залы и помещения твердые свои конечности, суставы и кости которых — это колеса, цепи, прутья и толстая железная проволока... Войди внутрь и посмотри, как раскаленные болванки, прессуясь, превращаются в длинные железные прутья — Бескровный ссучивает раскаленный прут. Посмотри, как ножницы режут тяжелые металлические листы, режут так бесшумно и мягко, точно они из бумаги; послушай, как он кует, искры так и сыпятся с наковальни! Гляди, как он переламывает толстые железные брусья, переламывает по мерке, с такой легкостью, как если бы то были палочки сургуча. Под ногами у тебя громыхают длинные железины, с металлических плит снимается стружка; прямо перед тобою вращаются большие колеса, а над твоей головой бегут живые проволочные нити, крепкие, тяжелые железные шнуры, тут стукотня и гуд, а если ты выйдешь во двор, где под открытым небом свалены котлы для пароходов и железнодорожных вагонов, то увидишь, что и сюда дотянулся и оттаскивает их своим саженным пальцем Бескровный. Все — живое, человек стоит лишь и запускает и останавливает! При виде всего этого тебя прошибает пот, ты вертишься по сторонам, застываешь на месте, склоняешься и не знаешь, что сказать, из одного лишь благоговения перед человеческой мыслью, которая наделена здесь железными конечностями, а большой стальной молот тем временем знай отвешивает тяжелые удары, он как будто приговаривает: "Дело, дело! Тысячи, тысячи талеров чистой прибыли! Дело, дело!" Услышь это, как слышал я, увидь это моими глазами... Старый господин из Тролльхеттана целиком ушел в созерцание, он поворачивался, нагибался, ползал на коленях и совал голову во все углы и между машинами, ему хотелось во все вникнуть, рассмотреть гребной винт, понять его устройство и действие под водой, при этом у него у самого по лицу градом катилась влага; он непроизвольно шагнул назад, прямо ко мне в объятия, иначе бы он угодил в машину, где его переломило бы пополам; он взглянул на меня и пожал мне руку.

— И все это происходит естественно, — сказал он, — просто и понятно. Корабли идут против ветра и против течения, плывут над лесами и горами, вода должна подымать, пар — двигать?

— Да, — ответил я.

— Да, — повторил он и снова произнес "да", со вздохом...

Тогда я этого не понял, а понял спустя несколько месяцев, к каковой поре я тотчас же перескочу, и мы снова перенесемся в Тролльхеттан. Я прибыл сюда осенью на обратном пути и провел несколько дней среди этой могучей природы, куда все более и более вторгается хлопотливая людская жизнь и мало-помалу превращает все живописное в фабрично-полезное. Тролльхеттан должен приносить пользу, пилить бревна, приводить в движение мельницы, ковать и разламывать; одно возле другого вырастают строения, через пятьдесят лет здесь будет целый город... Но история моя не о том! Я прибыл сюда, как уже было сказано, осенью; тот же рев, те же гулы, тот же подъем и опускание шлюзов, те же говор-

ливые мальчишки, что водят путешественников к Адскому водопаду, железному мосту, островку и трактиру. Здесь я и сидел, перелистывая собранные на протяжении ряда лет книги, куда путешественники записывали свои имена, а также чувства и мысли, навеянные Тролльхеттаном; почти всегда одно и то же — удивление, выраженное на разных языках, чаще всего по-латыни, причем следующими словами: "Veni, vidi, obstupui!"[1]. Один написал: "Я видел, как шедевр природы шествует через шедевр искусства!" Другой не может высказать, что он видел, а того, что он видел, не может высказать. Некий заводчик приветствует пользу от шлюза и пишет: "С величайшим удовольствием повидал эту полезную для нас в Вермланде работу Тролльхеттана". Пасторша из Сконе, как она себя именует, придерживалась семейной темы и написала в памятной книге о чувствах, навеянных Тролльхеттаном, лишь одно: "Дай Бог счастья моему зятю, ум-то у него есть!" Иные присовокупили к чужим излияниям плоские остроты, зато средь всей этой писанины сверкает, подобно жемчужине, стихотворенье Тегнера, собственноручно им здесь записанное 28 июня 1804 года.

Гёта с гор сходила в танце, хладный
Ветерок в волнах ее играл;
Тут нежданно каменной громадой
На ее пути Тролльхеттан встал.
Тролль, взъярившись, грозно забурлил,
Парусники в бегство обратил.
Но могучей дланью человек
Ту преграду взял и сокрушил.
А затем соединил навек
Океан и ложа горных рек.

Я поднял глаза от книги, и кто же передо мной стоял, кто мне явился, чтоб вновь исчезнуть? — старик из Тролльхеттана; пока я себе странствовал, забравшись аж к берегам Сильяна, он непрерывно совершал плавание по каналам, осматривал шлюзы и заводы, изучал пригодность пара ко всякой службе; он заговорил о железных дорогах, которые надумали прокладывать в Швеции, о ветке между Ельмареном и Венерном... Однако железных дорог он никогда еще не видал, поэтому я описал ему эти протяженные пути, которые представляют собой то валы, то высоченные мосты, то залы длиною в мили, пробитые в горах взрывами, рассказал про Америку и про Англию.

— Завтракаешь в Лондоне, и в тот же самый день пьешь чай в Эдинбурге.

— Это и я могу, — произнес старик, причем таким тоном, как будто никто, кроме него, на это не способен.

— Я тоже могу, — сказал я, — и я это делал.

— Кто ж вы такой? — спросил он.

— Обыкновенный путешественник, — ответил я, — путешественник, который оплачивает свой проезд. А вы кто?

Тут старик вздохнул.

1. "Пришел, увидел, оцепенел!" (*лат.*) — парафраз Цезарева "пришел, увидел, победил" ("veni, vidi, vici").

— Вы меня не знаете, мое время прошло, власть моя кончилась, Бескровный сильнее меня... — сказал — и скрылся.

И тогда я понял, кто это был! Каково же приходится бедному Горному духу, который лишь раз в столетие выходит наружу поглядеть, как подвигаются дела на земле. Это был Горный дух, и никто другой, ибо в наше время любой просвещенный человек намного умнее; и я не без чувства гордости взглянул на свой век, с его шумящими колесами, тяжелыми ударами молота, ножницами, что так мягко режут металлические листы, толстыми железными брусьями, которые переламываются, точно палочки сургуча, и музыкой, где звучит удар молотом: "Дело, дело, сто тысяч талеров!", и все это благодаря пару — благодаря человеческой мысли и гению!

Был вечер; я стоял на пригорке возле старых тролльхеттанских шлюзов, смотрел, как по лугу на распущенных парусах плывут корабли, большие и белые, похожие на привидения. Тяжело громыхая, отворялись шлюзовые ворота, так, рассказывают, отворялись медные врата тайного судилища. Вечер был такой тихий; в глубокой тиши слышались водопады Тролльхеттана, словно хор сотен водяных мельниц, всегда одна и та же мелодия, одна-единственная, а сквозь нее пробивался мощный глубинный грохот, как бы идущий из-под земли, именно это и давало ощутить бесконечную тишину в природе. Внезапно из-за деревьев показалась большая птица и, тяжело взмахивая крыльями, полетела в лес, спускавшийся к водопадам. Был ли то Горный дух? Хочется верить, так оно всего интереснее.

Попрошайки

ХУДОЖНИК Калло — кто ж не знает этого имени, тем более после гофмановских "в манере Калло"[1], — создал несколько превосходных портретов итальянских нищих; на одном из них — парень в невообразимых лохмотьях; он тащит свои пожитки и большое знамя с надписью "Capitano de Baroni"[2]; не верится, чтобы этакая бродячая тряпичная лавка существовала в действительности, и, признаться, в самой Италии мы такой не видели, ибо там у нищего мальчишки вся одежда зачастую состоит из жилета, в коем на подобные лохмотья не хватит материи; но мы увидели такое здесь, на севере.

Возле канала, соединяющего Венерн и Виген, на тощем, сухом плоскогорье торчали, точно чертополохи, скрашивающие убогий пейзаж, двое нищих мальчишек, до того оборванных, до того обтрепанных и картинно чумазых, что мы решили, будто перед нами — оригиналы Калло, либо же это затея предприимчивых родителей, желающих привлечь внимание путешественников и побудить их расщедриться; природе такого не создать; отрепья были прилажены до того дерзновенно, что каждый из мальчиков вмиг преобразился в Capitano de Baroni.

Младший имел на себе нечто, по всей вероятности, служившее когда-то курткой очень дородному человеку, а сейчас доходившее мальчику едва не до пят; вдобавок все держалось на обрывке рукава и на помочи,

1. Имеются в виду "Фантазии в манере Калло" Э. Т. А. Гофмана.
2. Король воров (*итал.*).

образовавшейся из полоски со швом, единственного, что уцелело от подкладки. Переход от куртки к штанам обнаружить было весьма затруднительно, лохмотья слились воедино; все одеяние предназначалось для приема воздушных ванн, столько там было отдушин; желтая полотняная тряпка, присоединенная к нижним сферам, служила, как видно, намеком на рубашку. Большущая соломенная шляпа, явно побывавшая под колесами, и не раз, сбилась набекрень, и льняные вихры беспрепятственно лезли наружу там, где отставала тулья; красивее всего здесь было голое, смуглое плечо и такое же смуглое предплечье.

На другом мальчике были только панталоны, и тоже оборванные, однако же лохмотья были привязаны к телу, привязаны шпагатом; одна бечевка — у щиколоток, вторая — под коленом, третья — над, а четвертая, кроме того, — вокруг пояса; по крайней мере, он старался не растерять что имел, ну а это всегда вызывает уважение.

"Прочь отсюда!" — крикнул с корабля капитан, и мальчик с притороченными лохмотьями повернулся, и мы... мы увидели просто-напросто шпагат, завязанный бантиками, щегольскими бантиками. У мальчика был одет всего лишь фасад; штаны были у него только спереди, сзади же — токмо шпагат, голый, нагой, благословенный шпагат!

Сала

ВЕЛИКИЙ шведский король, спаситель Германии, Густав Адольф[1] основал Салу; лесочек поблизости храним еще преданием о юношеской любви доблестного короля, о его встрече здесь с Эббою Браге. Серебряные рудники Салы — самые большие, самые глубокие и самые старые в Швеции, они уходят вглубь на триста шестьдесят саженей, что почти равно глубине Балтийского моря. Одного этого уже достаточно, чтобы вызвать интерес к городку; как-то он выглядит сегодня? "Сала, — говорится в путеводителе, — расположена в лощине, в плоской и малопривлекательной местности". И так оно и есть. Окрестности лишены всякой прелести, а проселочная дорога ведет прямо в город, у которого нет своего лица. Он состоит из длинной улицы с одним узлом и несколькими волоконцами; узел — это площадь, а волоконца — переулки, что к ней привязаны. На длинной улице, вернее сказать, длинной для маленького городка, было совершенно безлюдно, никто не выходил из дверей, никто не показывался в окнах. Наконец, к моей радости, поравнявшись со скобяной лавкой, где в окне были выставлены набор булавок, косынка и два чайника, я узрел человека — одинокого, стоящего неподвижно приказчика, который, свесившись через прилавок, глядел в открытую дверь. Наверняка он записал под вечер в своем дневнике, если у него таковой имелся: "Сегодня через наш город проехал путешественник, кто такой, известно одному Господу Богу, но не мне!" Вот что говорило лицо приказчика, а лицо у него было честное.

В трактире, куда я пришел, царила такая же загробная тишина, что и на улице; ворота были закрыты наглухо, но внутри все двери стояли настежь, посреди горницы расхаживал дворовый петух и кукарекал,

1. Густав II Адольф, правивший Швецией с 1611 по 1632 г.

желая показать, что в доме все ж таки кто-то есть; впрочем, дом был весьма живописен, с открытым балконом, обращенным во двор. На улице уж очень кипела жизнь: там висела старая вывеска и поскрипывала на ветру, как живая. Я видел это из моего окна, а еще я видел, что мостовой на улице завладела трава. Ярко светило солнце, но светило как будто бы в одинокое жилище холостяка или же на горшок с бальзамином старой девы; было тихо, как в шотландское воскресенье, хотя дело происходило во вторник; все так и настраивало на "Ночные размышления" Янга[1].

Я заглянул с балкона в соседский двор: ни души, но перед тем там играли дети; там был разбит садик из сухих палочек, их воткнули в рыхлую землю и полили водой; там все еще лежал черепок, очевидно служивший лейкой. Палочки означали розы и герань. То был чудесный сад! Ах! Мы, большие, взрослые люди, играемся точно так же, разбиваем сад с розами любви и геранью дружбы, поливаем их своими слезами и кровью сердца... и однако же они так и остаются сухими палочками, без корня. Это была грустная мысль, я это чувствовал и, дабы сухие палочки превратились в моем воображении в цветущий жезл Ааронов, вышел наружу; я двинулся по волоконцам и длинной нити, то бишь по маленьким переулкам и большой улице, где оказалось оживленнее, нежели я смел ожидать; мне повстречалось стадо коров, бредущее домой или из дому, этого я не знаю, они шли без вожатого. Приказчик все еще стоял за прилавком, он через него перегнулся и поздоровался, путешественник ответно приподнял шляпу; это стало в Сале событием дня. Прости, тихий город, выстроенный Густавом Адольфом там, где его юное сердце узнало первую любовь и где серебро залегает глубоко под землей, то есть уже за городской чертою, "в плоской и малопривлекательной местности"!

Я никого здесь не знал, провожатого у меня тоже не было, я и пошел за коровами и попал на кладбище; коровы побрели дальше, я же перелез через каменную ограду и очутился среди могил, где росла высокая трава и почти на всех надгробных камнях стерлись надписи, лишь на одном или двух можно было разобрать: "В... году", но каком? И кто же здесь упокоился? Все было стерто с камня, как стерт с лица земли тот, кто ныне был прахом во прахе. Какую жизненную драму разыгрывали вы, умершие, в тихой Сале? Над могилами сияло заходящее солнце, на деревьях не шевелился ни один лист; тишина, мертвая тишина царствовала в городе серебряных рудников, который в воспоминании путешественника — не более чем рама, куда заключен свесившийся через прилавок приказчик.

Долина Сетер

ВСЕ было в порядке, повозка осмотрена, о добром кнуте и том позаботились! Лучше бы два кнута, заметил хозяин скобяной лавки, что его продал, а у хозяина скобяной лавки был опыт, его-то порой и недостает путешественнику! Спереди лежал целый мешочек "мелочи", медных монет низкого достоинства, чтобы уплачивать мосто-

1. Эдвард Янг (1683–1765) — английский поэт и драматург, автор знаменитой поэмы "Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии".

вой сбор, подавать нищим, оделять подпасков или всякого, кто будет отворять нам воротища, во множестве перекрывающие проселочную дорогу; да только открывать их пришлось нам самим! Дождь лил как из ведра; никому неохота было выходить в этакую погоду. Камыши на болоте кивали и кланялись, у них шел пир на весь мир, их верхушки шумели: "Мы пьем пяткою, пьем макушкою, пьем всем туловом и, однако, твердо стоим на одной ноге, ура! Мы пьем на ты с плакучею ивой, с промокшими цветами на склоне, в чашечках у них вода выплескивается через край! Кувшинка, пузящная, белая барышня, держится куда лучше! Ура, у нас пир! Ливень льет-поливает! Мы шумим и поем! Это наша собственная песня! Завтра ее подхватят лягушки и раскваканются: новехонькая!"

И камыши раскачивались, а дождь лил как из ведра. Да уж, самая что ни на есть подходящая погода, чтобы ехать в прославленную долину Сетер любоваться ее красотами. Тут у кнута оторвалась плеть; ее привязали раз и другой, она становилась все короче и короче, а под конец ни плети не стало, ни кнутовища, оно последовало за плетью или, вернее, уплыло. Дорога была вполне судоходною и давала исчерпывающее представление о том, как начался всемирный потоп. Одна кляча налегала что было сил, другая еле-еле тянула, валек возьми да и тресни. Спасибо тебе, судьба, за чудесную поездку! В складке кожаного фартука образовался глубокий пруд, откуда вода стекала мне на колени. Потом из повозки выскочил винт, потом рассучились веревочные постромки и надоело держаться нагруднику. О, прекрасный трактир в Сетере, я жажду добраться до тебя более, нежели чем попасть в прославленную долину! А лошади шагали все медленнее, дождь припускал все сильнее, и... до Сетера было еще далеко.

О, терпение, тощий паук, безмятежно оплетающий своей паутиною ногу ждущего в приемной зале, затяни ею мои вежды и погрузи меня в дрему, тихую, как лошадиная поступь. Терпение... нет, его в повозке, направлявшейся в Сетер, не было. Однако до придорожного трактира рядом с прославленною долиной я все-таки под вечер добрался.

По двору были раскиданы в уютнейшем беспорядке навоз и земледельческие орудия, шесты и солома; там сидели куры, отмытые до того, что походили если не на призраки, то по меньшей мере на куриные чучела, а пресытившиеся влагой утки жались к мокрой стене. Принимавший лошадей работник был неприветлив, служанки еще неприветливее, проку от них оказалось мало; лестница была кривая, пол покатый и только что вымытый, и густо посыпан песком, воздух сырой и холодный; а через дорогу, чуть ли не в двадцати шагах отсюда, находилась прославленная долина, сад, созданный самою природой, прелесть которого — в лиственных деревьях и кустах, в родниках и бурливых ручьях. Я же видел ложбину, из которой торчали верхушки деревьев, и все это затянул глухой пеленою дождь. Весь вечер просидел я, глядя, как туда обрушивается этот ливень из ливней, впору было подумать, что Венерн, Веттерн и еще одно-два озера в придачу хлещут с небес сквозь громадное решето. Я спросил еды и питья, но не получил ни того ни другого; по лестнице бегали вверх и вниз, на очаге что-то скворчало, служанки болтали, работники пили водку, появлялись приезжие, их размещали, подавали им жареное и пареное; прошло несколько часов, я учинил служанке нагоняй, на что она флегматично ответила: "Господин сидит и знай себе пишет, где ж ему есть-то!"

Вечер тянулся долго, "однако вечер минул", как говорится в "Первенце"[1]; в трактире стихло; все приезжие, кроме меня, тронулись дальше, явно надеясь найти лучший ночлег в Хедеморе или же Бруннбеке. Внизу, в грязной распивочной, видной мне в полуоткрытую дверь, сидели несколько работников и играли в засаленные карты, под столом, тараща красные глазищи, лежала большая собака, в кухне было пусто, в горницах ни души, пол мокрый, окна сотрясал ветер, лил дождь... "А нука в постель!" — сказал я себе.

Я проспал часа два, не больше, и проснулся от вопля, донесшегося с дороги. Я подскочил, было сумеречно, темнее в это время года ночь не бывает! Часы показывали заполночь. Я услышал, как кто-то с силой толкнулся в ворота, закричал басом, после чего принялся колошматить по доскам ворот. Кто к нам ломится: выпивший или умалишенный? Тут ворота отперли; последовал краткий обмен словами; я услыхал, как с перепугу истошно заголосила баба; поднялась кутерьма; по двору забегали, стуча деревянными башмаками; ревела скотина, сюда же примешивались грубые мужские голоса; я уже спустил ноги с постели. Бежать или остаться? Что делать? Я выглянул из окна, внизу на дороге ничего не было видно, дождь все еще шел. Вдруг по лестнице затопали тяжелые шаги, кто-то отворил дверь в смежную с моей комнату... и замер!.. Я прислушался; дверь моя была заложена большим железным крюком. В комнату вошли, протопали по полу, подергали мою дверь, потом ударили в нее ногой... а дождь не переставая хлестал по стеклам, и ветер сотрясал оконные рамы.

"Есть здесь приезжие? — крикнул чей-то голос. — В доме пожар!" Тут я оделся, выскочил за дверь и — на лестницу; дыма я не заметил, но, очутившись во дворе — а двор был весь из дерева, обширный и длинный, — увидел и пламя и дым. Огонь перекинулся из хлебной печи, за которой никто не присматривал, случайный проезжий, увидя это, завопил, забарабанил в ворота, и... заголосили женщины, заревела скотина, стоило пламени высунуть им свой красный язык.

Тут приспела пожарная труба, и огонь потушили; уже рассвело; я стоял на дороге, едва ли не в ста шагах от прославленной долины. Я вполне мог забежать в нее, что я и сделал, а дождь поливал, вода струилась и журчала, кругом был сплошной родник. Под ударами ливня деревья вывернули наизнанку листья, они приговаривали, как давеча камыши: "Мы пьем макушкою, пьем пяткою, пьем всем туловом и, однако, твердо стоим на одной ноге, ура! Ливень льет-поливает, мы шумим и поем! Это наша собственная песня, новехонькая!"

То же самое пели вчера камыши, так что это было старо. Я глядел... и глядел... и могу сказать о долине Сетер только одно: она вымылась!

1. Изданная анонимно комедия Андерсена (1850).

Льюис Кэрролл

Дневник путешествия в Россию в 1867

Фрагменты книги

Подготовка публикации, перевод с английского и вступление Н. Демуровой

В июле-августе 1867 г. Чарльз Латуидж Доджсон (1832—1898), более известный под псевдонимом Льюис Кэрролл, по приглашению своего друга и коллеги Генри Парри Лиддона (1829—1890) совершил вместе с ним поездку в Россию. Это путешествие было предпринято не из одного лишь желания повидать далекую и в те годы мало известную в Англии страну. Оно имело целью установление более тесных связей между Англиканской и Русской православной церквами и было приурочено к пятидесятилетию пастырского служения главы Русской православной церкви, митрополита Московского Филарета, которое праздновалось 17 августа в Троице-Сергиевой лавре и широко отмечалось по всей России.

Оба друга были стипендиатами колледжа Крайст-Черч, который в то время считался чуть ли не лучшим среди оксфордских колледжей (во всяком случае королева Виктория именно туда посылала своих сыновей для получения университетского образования). Это значило, что Доджсон и Лиддон были членами ученого совета колледжа и имели пожизненную стипендию, дающую им возможность заниматься науками и/или богословием в стенах Крайст-Черч, пользоваться его библиотекой и всеми другими возможностями, а при желании и преподавать. И Доджсон, и Лиддон были священнослужителями. Лиддон к этому времени уже был священником и пользовался репутацией талантливого проповедника и серьезного богослова. Доджсон был математиком, но — по непременному условию тогдашнего статута Крайст-Черч — должен был принять и сан священнослужителя. После долгих колебаний он ограничился посвящением в сан диакона (то есть младшего священника, который может при желании читать проповеди, но не ве-

© Н. Демурова. Перевод, вступление, 2007

дет никакой работы в приходе). И Доджсон, и Лиддон были сторонниками "объединения" Восточной и Западной церквей, которое широко обсуждалось в те годы как на Западе, так и в России.

Лиддон вез рекомендательное письмо к митрополиту Филарету от влиятельного деятеля Англиканской церкви епископа Оксфордского Сэмюэла Уилберфорса (1805—1873), которого близко знал и Доджсон. Были у них и письма к другим видным россиянам, лицам церковным и светским. К сожалению, в жаркую летнюю пору они мало кого застали в городе. Зато с митрополитом Филаретом встреча состоялась (в Троице-Сергиевой лавре 12 августа 1867 года, за несколько дней до празднования юбилея) и произвела на обоих англичан глубокое впечатление. Об этом они писали в своих дневниках и в письмах домой, в частности Сэмюэлу Уилберфорсу.

Доджсон относился с большим уважением и приязнью к Лиддону; он ценил его ум, остроумие, доброту и глубокое религиозное чувство. Их связывала искренняя дружба и общность интересов, хотя в вопросах догмы Доджсон уже и в те годы проявлял бóльшую широту, чем Лиддон. Впоследствии они разошлись, но сохранили глубокое уважение друг к другу.

Разумеется, помимо церковных дел, Доджсона и Лиддона многое интересовало в России, что и нашло свое выражение в дневниках, которые вели оба.

Дневник Кэрролла писался для себя — для памяти — и не предназначался к публикации. Лишь спустя 37 лет после смерти автора он был впервые издан Джоном Фрэнсисом Макдермоттом (The Russian Journal and Other Selections from the Works of Lewis Carroll. Edited & with an Introduction by John Francis McDermott.New York: E.P.Dutton & Co., Inc.). В 1977 году вышло повторное издание этого сборника в издательстве Довер (Dover), по которому и был выполнен данный перевод.

2 августа (пятница)

В 2.30 мы отбыли в Москву, куда приехали на следующее утро в 10. Мы взяли "спальные места" (приплатив 2 рубля); в 11 вечера явился проводник и произвел в купе всякие манипуляции. Спинка дивана поднялась вверх, превратившись в полку; сиденья с ручками исчезли, появились валики и подушки — и в результате мы устроились на означенных полках, которые превратились в весьма удобные постели. На полу можно было бы устроить еще трех человек, но, к счастью, никто больше не появился. Я не ложился до часу ночи, стоя, чаще в одиночестве, в конце вагона на открытой площадке с поручнем и навесом, откуда открывался превосходный вид на те места, мимо которых мы проносились; правда, шум и тряска здесь были гораздо сильнее, чем внутри. Время от времени на площадку выходил проводник; пока было темно, он не возражал против моего пребывания там, возможно, даже радовался какому-то обществу; однако, когда я попробовал выйти на площадку на следующее утро, он вдруг превратился в деспота и заставил меня ретироваться.

В Москве мы нашли экипаж и носильщика от "Dusaux Hotel", куда мы направлялись.

5 или 6 часов мы бродили по этому удивительному городу — городу белых и зеленых кровель, конических башен, выдвигающихся одна из другой, словно в подзорной трубе, городу золоченых куполов, где, словно в кривом зеркале, отражаются картины городской жизни; городу церквей, которые снаружи похожи на кактусы с разноцветными отрост-

ками (одни венчают зеленые почки, другие — голубые, третьи — красные с белым), а внутри все увешано иконами и лампадами и до самого потолка расписано красочными фресками; и, наконец, городу, где мостовые изрезаны ухабами, словно вспаханное поле, а извозчики требуют, чтобы им надбавили 30 процентов, "потому как сегодня Императрица — именинница".

После обеда мы поехали на Воробьевы горы, откуда открывается величественная панорама на целый лес церковных колоколен и куполов с излучиной Москвы-реки на переднем плане; с этих холмов армия Наполеона впервые увидела город.

5 августа (понедельник)

День посвятили осмотру города. Встали в 5 и отправились к 6-часовой службе в Петровском монастыре; по случаю годовщины освящения храма служба была особенно торжественной. Музыка и вся обстановка были чрезвычайно красивы, но служба оставалась во многом мне непонятной. Присутствовал епископ Леонид, которому принадлежала главная роль в обряде Причастия; причащали всего одного ребенка, а более — никого. Мы с интересом наблюдали, как по окончании службы епископ, сняв перед алтарем роскошное облачение, вышел в простой черной рясе, как толпились на его пути люди, чтобы поцеловать ему руку.

После завтрака, когда стало ясно, что дождь зарядил надолго, мы решили заняться осмотром интерьеров; то, что мы увидели, описать словами невозможно. Мы начали с храма Василия Блаженного, который внутри так же причудлив (почти фантастичен), как снаружи; гид там самый отвратительный из всех, с кем мне когда-либо приходилось иметь дело. Его первоначальный замысел состоял в том, чтобы прогнать нас сквозь храм со скоростью 4 миль в час. Увидев, что это не удается, он принялся греметь ключами, топтаться на месте и шаркать ногами, громко петь и бранить нас по-русски, словом, только что не тащил нас за шиворот дальше. Прибегнув к простому упрямству и удобной глухоте, мы все же умудрились сравнительно спокойно осмотреть эту церковь, или, вернее, группу церквей, расположившихся под одной кровлей. У каждой из них свои особенности, но общими для всех являются позлащенные врата и живописные фрески, покрывающие все стены и уходящие высоко в купол.

Потом мы отправились в Оружейную палату, где осматривали троны, короны и драгоценности до тех пор, пока в глазах у нас не зарябило от них, словно от ежевики. Некоторые троны и прочее были буквально усыпаны жемчугом, будто каплями дождя.

Затем нам показали такой дворец, после которого все другие дворцы должны казаться тесными и неказистыми. Я измерил шагами один из приемных покоев — в нем оказалось 80 ярдов в длину и не менее 25 или, пожалуй, 30 в ширину. Таких покоев мы видели, по меньшей мере, 2, а кроме того, еще множество других просторных залов — все высокие, изысканно убранные, от паркета из атласного дерева и прочих пород до расписных потолков, всюду позолота — в жилых комнатах стены обтянуты шелком или атласом вместо обоев, — и все обставлено и убрано так, словно богатство их владельцев не имеет границ. Потом мы отправились в ризницу, где, помимо неслыханных сокровищ — богато рас-

шитых жемчугом и драгоценными камнями риз, распятий и икон, — хранятся три огромных серебряных котла, в которых приготовляют елей, употребляемый при крещении и прочих обрядах, и рассылают по шестнадцати епархиям... После обеда мы заехали, как договорились, к мистеру Пенни и отправились вместе с ним на русское венчание — чрезвычайно интересная церемония.

Перед началом службы большой хор из собора исполнил пространное и красивое песнопение — и дьякон (из Успенской церкви) великолепным басом прочитал нараспев некоторые части литургии, понемногу повышая голос (я бы сказал, если только это возможно, каждый раз на полтона) и увеличивая при этом звук, пока последняя нота не прозвучала под сводами так, словно ее пропел многоголосый хор. Я и не представлял, что один голос может произвести такой эффект.

Одна часть церемонии — возложение венцов — показалась мне едва ли не гротеском. Принесли две великолепные золотые короны, которыми священник сначала помахал перед женихом и невестой, а потом возложил им на головы — вернее, на голову бедного жениха; на невесту, чьи волосы были предусмотрительно уложены в весьма сложную прическу с кружевной фатой, надеть венец было невозможно; дружка держал его у нее над головой. Жених, в строгом вечернем платье, со свечой в руках, увенчанный, словно царь, короной, с покорным и грустным выражением лица, выглядел бы жалко, если бы не был столь смешон. Когда все гости разошлись, священник пригласил нас осмотреть восточную часть храма, находящуюся за золотыми вратами, и, наконец, распрощался, крепко пожав нам руки и наградив "поцелуем мира", которого удостоился и я, хотя был в светском платье. Остальную часть вечера мы провели с нашими друзьями, мистером и миссис Пенни.

6 августа (вторник)

Мистер Пенни любезно прошел с нами по Двору (или Базару) и показал нам, где лучше всего купить иконы и прочее. Перед тем мы поднялись на колокольню Ивана Великого, откуда во все стороны открываются чудесные виды Москвы со сверкающими на солнце золотыми куполами и колокольнями. В 5 1/2 мы выехали вместе с двумя братьями Уэр[1] в Нижний Новгород; это путешествие стоило всех тех неудобств, которые нам пришлось претерпеть с самого его начала и до конца. Наши друзья взяли с собой "commissionaire"[2], который говорил по-французски и по-русски и оказался нам очень полезен, когда мы что-то покупали на ярмарке. Такая роскошь, как спальные вагоны, на этой дороге неизвестны; пришлось нам устраиваться, как могли, в обычном вагоне второго класса. По пути туда и обратно я спал на полу. Монотонность нашего путешествия, которое длилось от 7 часов вечера до после полудня следующего дня, нарушила лишь одна неожиданность (не скажу, что особенно приятная): в одном месте нам пришлось выйти и переправляться через реку по временному пешеходному мосту, ибо железнодорожный мост здесь смыло наводнением. В результате двадцати или тридцати пассажирам пришлось под проливным дождем брести около мили. На линии случилось происшествие,

1. Братья Уэр: Томас Кеннет (1838?–1916) — выпускник Оксфордского Корпус Кристи-колледж и Эдвард Эш (1846–1915) — выпускник Оксфордского Нью-колледж. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Посредник, агент (*франц.*).

которое задержало наш поезд, и если бы мы захотели, как планировали первоначально, возвращаться в тот же день, то провели бы на Всемирной ярмарке всего 2 1/2 часа. Это явно не стоило труда и затрат, на которые нам пришлось пойти, и потому мы решили остаться еще на один день. Итак, мы отправились в гостиницу Смирновую[1] (или как-то так), ужасную, хотя, несомненно, лучшую в городе. Еда там была очень хороша, а все остальное очень скверно. Немного утешило нас лишь то, что, обедая, мы привлекли живейшее внимание шести или семи официантов; выстроившись в ряд в своих подпоясанных белых рубахах и белых штанах, они сосредоточенно глядели на сборище странных созданий, которые кормились у них на глазах... Время от времени их охватывали угрызения совести — ведь они пренебрегали своей великой официантской миссией, — и тогда все разом кидались к большому ящику в конце зала, в котором, судя по всему, не было ничего, кроме вилок и ложек. Если мы спрашивали что-нибудь, они сначала с тревогой смотрели друг на друга; затем, выяснив, кто из них лучше понял заказ, следовали его примеру, что вновь приводило их к большому ящику в конце зала... Значительную часть дня мы провели, бродя по ярмарке, покупая иконы и проч.

Ярмарка — чудесное место. Помимо отдельных помещений, отведенных персам, китайцам и другим, мы то и дело встречали каких-то странных личностей с болезненным цветом лица и в самых невероятных одеждах. Из всех, кого мы видели в этот день, самыми живописными были персы с их мягкими смышлеными лицами, широко расставленными удлиненными глазами, желтовато-коричневой кожей и черными волосами, на которых, как у гренадеров, красуются черные фетровые фески; однако все сюрпризы этого дня затмило наше приключение на закате: мы вышли к Татарской мечети (единственной в Нижнем) в тот самый миг, когда один из служителей появился на крыше с тем, чтобы произнести[2] или призыв к молитве. Будь даже этот крик сам по себе ничем не примечателен, он все равно представлял бы интерес своей исключительностью и новизной — однако мне в жизни не доводилось слышать ничего подобного. Начало каждого предложения произносилось монотонной скороговоркой, а по мере приближения к концу голос служителя поднимался все выше, пока не заканчивался долгим пронзительным воплем, который так заунывно звучал в тишине, что сердце холодело; ночью его можно было бы принять за крик феи-плакальщицы, пророчащей беду.

Послушные призыву, в мечеть начали стекаться единоверцы, причем при входе каждый снимал обувь; старший священнослужитель разрешил нам наблюдать за происходящим с порога. Молились они, насколько я понял, так: повернувшись лицом в сторону Мекки, они внезапно падали на колени, касались лбом ковра, вставали и повторяли то же самое раз или два, потом опять несколько минут стояли неподвижно, снова падали и так далее. По дороге домой мы посетили церковь, где шла вечерняя служба: как всегда, иконы, свечи, кресты, поклоны и прочее.

Вечером я отправился с младшим из двух Уэров в здешний театр; более простого здания я не видывал: единственным украшением внутри были побеленные стены[3]. Зал, очень просторный, был заполнен на од-

1. В оригинале "the Smernovaya" (имеется в виду "Смирновская").
2. Пропуск в рукописи.
3. Театр в Нижнем Новгороде после пожара располагался во временном здании.

ну десятую, не более, так что там было на редкость прохладно и приятно. Нам было нелегко следить за представлением, шедшим исключительно по-русски, однако усердно трудясь в антрактах над программкой с помощью карманного словаря, мы составили себе приблизительное представление о том, что происходило на сцене. Больше всего мне понравилась первая пьеса, бурлеск "Аладдин и волшебная лампа" — играли превосходно, а также очень прилично пели и танцевали; я никогда не видел актеров, которые бы так внимательно следили за действием и своими партнерами и так мало смотрели в зал. Лучше всех был актер по имени Ленский[1], игравший Аладдина, и одна из актрис в другой пьесе по имени Соронина[2]. Две другие пьесы назывались "Кохинхина" и "Дочь гусара".

7 августа (среда)

После ночи, проведенной в постелях, состоящих из досок, покрытых матрасом не более дюйма толщиной, подушки, простыни и стеганого одеяла, и завтрака, основным блюдом которого была удивительно вкусная большая рыба, называемая стерлядью, мы побывали в Соборе и в Мининой башне. В Соборе служили торжественную обедню — все здание было заполнено военными; мы подождали и услышали прекрасное пение.

С Мининой башни открывается великолепный вид на весь город и на излучины Волги, уходящей в туманную даль. Посетив еще раз Двор, около 3 часов мы отправились в обратный путь, во время которого претерпели, если только это возможно, еще большие неудобства, чем по дороге в Нижний, и около 9 часов утра прибыли в Москву усталые, но восхищенные всем увиденным.

12 августа (понедельник)

Чрезвычайно интересный день. Позавтракав в 5 1/2 мы вскоре после 7 вместе с епископом Леонидом и мистером Пенни поехали поездом в Троицкую лавру. Епископ, несмотря на ограниченное знание английского языка, оказался весьма приятным и интересным спутником. Богослужение в соборе уже началось, когда мы вошли туда, но епископ провел нас сквозь переполнявшую его огромную толпу в боковое помещение, соединенное с алтарем, где мы и простояли всю литургию; таким образом, нам выпала редкая честь наблюдать, как причащается духовенство — во время этого обряда двери алтаря всегда затворяют, а занавес задергивают, так что прихожане никогда его не видят. Церемония была весьма сложной: священнослужители творили крест и кадили ладаном перед каждым предметом, прежде чем взять его в руки, и все это совершалось с явным и глубоким благоговением. К концу службы один из монахов вынес блюда с маленькими хлебцами и подал каждому из нас: эти хлебцы освященные, а то, что нам их дали, означает, что нас помянут в молитвах. Когда мы вышли из собора, другой монах показал нам ризницу, а также живописную и фотографическую мастерские

1. Ленский Александр Павлович (1847–1908) — известный русский актер, впоследствии ведущий актер московского Малого театра. Кэрролл видел его в Нижнем в самом начале его карьеры (Ленский пришел на сцену в 1865 г.), однако это не помешало ему заметить талант актера.
2. В оригинале ошибка: прав. — Сорокина.

(здесь мальчиков обучают обоим этим искусствам, которые служат исключительно церковным нуждам); нас сопровождал русский господин, бывший с нами в храме, который любезно давал нам по-французски различные пояснения, а когда мы захотели купить иконы и проч., он справился о ценах и посчитал сдачу. Лишь после того, как он распрощался с нами и удалился, мы узнали имя этого человека, который оказал нам столько внимания (боюсь, что мало кто из англичан мог бы сравниться с ним в подобном внимании к чужестранцам): это был князь Чирков[1].

В живописной мастерской нам показали множество превосходных икон, писанных по дереву, а некоторые — по перламутру; трудность для нас заключалась не в том, что́ именно купить, а в том, чего не покупать. В конце концов, каждый из нас купил по три иконы, что было продиктовано скорее ограниченностью во времени, чем соображениями благоразумия.

Ризница оказалась настоящей сокровищницей — драгоценные камни, вышивки, кресты, потиры и проч. Там мы увидели знаменитый камень — отполированный и, словно икона, в окладе, в пластах которого видна (так, по крайней мере, кажется) фигура монаха, молящегося перед крестом. Я внимательно его разглядывал, но так и не смог поверить, что такой сложный феномен мог возникнуть естественным путем.

Днем мы отправились во дворец Архиепископа и были представлены ему епископом Леонидом. Архиепископ говорил только по-русски, так что беседа между ним и Лиддоном (чрезвычайно интересная, которая длилась более часа) велась весьма оригинальным способом: Архиепископ говорил фразу по-русски, епископ переводил ее на английский, после чего Лиддон отвечал ему по-французски, а епископ переводил его слова Архиепископу на русский. Таким образом, беседа, которую вели всего два человека, потребовала применения трех языков!

Епископ любезно поручил одному из студентов-богословов, говорящему по-французски, показать нам монастырь, что тот и проделал с большим рвением; среди прочего, он повел нас смотреть подземные кельи отшельников, где некоторые из них живут многие годы. Он подвел нас к дверям двух таких обитаемых келий; когда мы стояли со свечами в руках в темном и тесном коридоре, странное чувство стеснило нам грудь при мысли о том, что *за этой узкой и низкой дверью* день за днем проходит в тиши и одиночестве при свете одной лишь крошечной лампады жизнь человеческого существа...

Вместе с епископом мы вернулись поздним поездом в Москву, проведя в монастыре один из самых памятных дней нашего путешествия.

За обедом в Троицкой гостинице нам удалось отведать два истинно русских угощения: горькую настойку из рябины, которую пьют по стакану перед обедом для аппетита (она называется "рябиновка") и щи — к ним обычно подают в кувшинчике сметану, которую размешивают в тарелках.

1. Эдвард Вейклинг, издатель дневников Кэрролла, полагает, что имеется в виду князь Григорий Чирков, церемониймейстер при императорском дворе.

Тропами Брюса Чатвина

Брюс Чатвин *В Патагонии* / Перев. с англ. Ксении Голубович; *Тропы песен* / Перев. с англ. Татьяны Азаркович. – М.: Логос, 2006

Он родился в мае 1940 года в Шеффилде, Великобритания. В 1958 году окончил Марлборо-колледж и переехал в Лондон, где устроился работать грузчиком в аукционный дом Сотби. Но вскоре, благодаря незаурядному таланту к экспертной оценке, возглавил отдел по импрессионизму, став самым молодым начальником за всю историю предприятия. Дальнейшему развитию его карьеры помешала внезапная и почти полная слепота. Вняв совету врача, герой перестает рассматривать предметы искусства с близкого расстояния и обращает взор к горизонту – он уезжает в Судан. И прозревает уже в аэропорту. По возвращении из Африки (1966) путешественник увольняется из Сотби, поступает в Эдинбургский университет на отделение антропологии (диплом он так и не напишет). А в 1972-м становится корреспондентом "Санди таймс" и в этом качестве, узаконив любовь к перемене мест, объезжает почти весь мир. Он побывал в Алжире, Индии, Афганистане, Китае, Австралии, Латинской Америке. Друзья рассказывают о его редкой способности располагать к себе людей, благодаря чему он умудрялся оказываться там, куда чужаку вход если не заказан, то труднодоступен. Так, он не раз присутствовал на советах старейшин индейских племен, посещал недоступные для иностранцев территории Китая или, например, получил советскую визу, чтобы взять интервью у Надежды Мандельштам... Жизненная тропа Чатвина оборвалась во Франции, в Ницце, – в 1989 году он умер от СПИДа. Незадолго до смерти он совершил последнее путешествие – на этот раз в Грецию, и там принял православие. Заупокойная служба состоялась в греческой православной церкви Лондона на Moscow Road в тот самый день, когда была обнародована фетва против близкого друга "кочевника", писателя Салмана Рушди.

Все вышеизложенное не художественный вымысел, хотя указанных фактов хватило бы на несколько приключенческих романов, – это реальная биография знаменитого английского писателя и путешественника Брюса Чатвина. Автор романов "Наместник Оюда" (1980), "На темной горе" (1982) и т. д., путевых заметок "В Патагонии" (1977), "Возвращение в Патагонию" (1985), "Тропы песен" (1987) и др., лауреат нескольких литературных премий, Чатвин стал известен широкому российскому читателю лишь несколько лет назад. В 2005 году "ИЛ" (№ 4) опубликовала его роман "Утц" о страсти к коллекционированию. И вот недавно издательство "Логос" выпустило две книги путевых заметок писателя: "В Патагонии" и "Тропы песен".

"В Патагонии" – первая книга Чатвина, после выхода которой он, что называется, проснулся знаменитым. Это сборник этнографических очерков, сделанных во время путешествия по Южной Америке, или... новелл по мотивам этого путешествия. Отделить правду от вымысла, то

есть разобраться в том, чем в большей степени является книга — фикшн или нон-фикшн, беллетристикой или документом, — задача непростая (и, заметим, неразрешимая). Многие люди, узнавшие себя в персонажах чатвиновских "трэвелогов" (путевых дневников), обвиняли писателя во лжи и искажении фактов. На что он отвечал: я не увлекаюсь полуправдой, я пишу правду, а потом присочиняю половину. Как бы то ни было, именно коктейль из реальных событий, щедро сдобренный плодами богатой авторской фантазии, делает путевые заметки особенно интересными для обычного читателя. Чего стоит зачин, описание повода (даже если в нем нет ни слова правды), толкнувшего путешественника отправиться в Патагонию. На серванте в доме бабушки повествователя хранился кусочек "шкуры бронтозавра". Со временем доисторический реликт исчез, но "я по-прежнему интересовался Патагонией". Детский интерес и воплотился позже во взрослую поездку "по следам динозавров".

Чатвин прошел Аргентину пешком в одиночестве или в случайной компании, проехал на поездах и попутках. И привез оттуда воспоминания об отдельных людях и их историях, пейзажные зарисовки. Так сложилась книга, в которой каждая главка — рассказ с собственным сюжетом. А все вместе — Патагония, настоящее которой, по Чатвину, сосредоточено в прошлом, тождественно ему, между ними нет дистанции. В каждом населенном пункте путешественнику встречался проводник — человек, связанный с событиями далекого и очень далекого прошлого; в них участвовал он сам или его сосед, отец, дед, прадед и т. д. В книге практически нет актуальной информации: подробного описания городов, кварталов и прочего — за такими подробностями лучше обращаться к справочникам и путеводителям, — но есть то, что принято называть атмосферой или духом места. И уловив его, писатель умудряется разглядеть неожиданное: "Город [Буэнос-Айрес. — *Е. Т.*] постоянно напоминал мне о России: машины тайной полиции с торчащими антеннами, широкобедрые женщины, которые лижут мороженое в пыльных парках, и такие же подавляющие монументы, такая же картонная архитектура, такие же проспекты, которые, не будучи прямыми, создают иллюзию бесконечного пространства и ведут в никуда. Скорее царская, а не советская Россия, <...> Россия с ее продажными чиновниками, прижимистыми кулаками, Россия, которая закупает продукты за границей, а российские помещики с подозрением косятся на Европу. Так я и сказал одному своему другу. Многие так говорят, ответил он. В прошлом году одна старая белая émigrée приехала к нам в загородный дом и невероятно разволновалась, захотела зайти в каждую комнату, мы поднялись на чердак, и она воскликнула: 'Ах! Я так и знала! Это запах моего детства'".

Чатвин передвигается по Патагонии по "тропам беззакония", идет по следам эмигрантов — гангстеров, аферистов, авантюристов разного рода и племени. Одни оказались в Южной Америке, спасаясь от правосудия Старого Света, другие жаждали наживы, третьи — приключений. Кого-то (но таких "В Патагонии" меньшинство) занес сюда вихрь исторических катаклизмов на их родине. Чатвин рассказывает о банде Буча Кэссиди, наводившей страх на банкиров обеих Америк; о моряке Чарльзе Милворде, провернувшем не одну аферу, но так и не нарушившем данное отцу обещание не воровать; о чудаках, самостоятельно провозглашавших себя королями Патагонии; о загадочной и зловещей

секте "Brujeria", которая "существует для того, чтобы наносить вред обычным людям". Чатвин не только пересказывает (или выдумывает), но и делает собственные открытия и предположения — находит "прототип" шекспировского Калибана в местной легенде о великанах индейского племени теуэльче, "чья сила, рост и оглушительные голоса мешали разглядеть присущую им мягкость нрава", а в птицах, обитающих на Огненной Земле, "признает" альбатроса из "Сказания о Старом Мореходе" Колриджа. Сюжет поэмы Колриджа писатель возводит к событиям конца XVI века, когда английский мореплаватель Джон Дэвис на корабле "Дезайр" отправился к Южному морю. На одном из островов моряки забили двадцать тысяч пингвинов и поместили засоленные туши в трюм. В тушах завелся "мерзейший червь", который "поедал все за исключением железа" и едва не погубил команду. "Вот что общего между Джоном Дэвисом и Мореходом Колриджа: плавание к Черному Югу, убийство птицы — или птиц, наказание за этим последовавшее, дрейф через тропики, гниение корабля, проклятие умирающих".

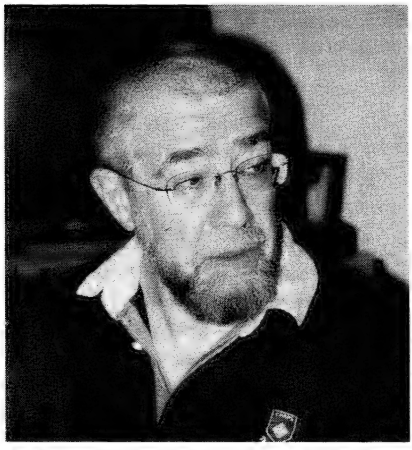
Путешествуя в поисках чего-то, каким-либо образом связанного с семейной легендой о родственнике, якобы нашедшем доисторическое животное и приславшем бабушке писателя лоскут диковинной шкуры, Чатвин собирает не факты, но предания — истории сродни той, что побудила его отправиться сюда.

В "Тропах песен", появившихся через десятилетие после "Патагонии", неутомимый путешественник странствует по Австралии, проверяя гипотезу, будто бы обыкновение некоторых племен кочевать было первопричиной истории. Австралию он выбрал, зная, что для аборигенов кочевье, движение — действие сакральное: "Я даже не могу вспомнить, когда именно впервые услышал это выражение — 'Обход' (Walkabout). И все же откуда-то у меня взялся этот образ: вот 'ручные' чернокожие, которые сегодня мирно и счастливо трудятся на скотоводческой станции, а завтра, не сказав никому и *безо всякой причины*, сматывают удочки и исчезают в голубых просторах, <...> а потом как ни в чем не бывало возвращаются обратно". К примеру, по-индейским верованиям, мир сотворен первопредками во Время Сновидений (в период, соответствующий описываемому в первых двух главах Книги Бытия), которые блуждали по земле, воспевали ее и тем самым творили окружающую реальность. Согласно этим представлениям земля не существует, пока ее не увидишь и не "пропоешь". Вся поверхность Австралии покрыта сеткой подобных "песенных троп". Абориген регулярно отправляется в "Обход" по одной из них, пропевает строфы, сложенные прародителем — тотемом племени, "тем самым заново совершая Творение".

Эта книга, написанная за два года до смерти, читается как апология путешествия и теоретическое обоснование чатвиновского бесконечного кочевания с континента на континент: только мир, увиденный и затем "пропетый", существует и существует именно таким, каким его увидел и запомнил наблюдатель. Что, в конечном счете, сводит на нет противоречие между выдумкой и правдой. "Я увидел это так!" — мог бы ответить писатель своим недоброжелателям.

Екатерина Тарасова

Сергей Гандлевский



Писатель и километраж

Вообще-то говоря, допущение, что ремесло писателя имеет хотя бы маломальское касательство к расстояниям, которые автор покрывает, почти столь же нелепо, как предположение, что мастерство хирурга или плотника как-то связано с легкостью на подъем и перемещениями специалиста в пространстве. Человеку для того, чтобы осуществиться в писательском качестве, нужны перво-наперво не охота к перемене мест, а совсем другие свойства натуры: графоманская жилка (страсть к писанине — расположению слов на бумаге), чувство стиля (расположение этих слов в своем и неповторимом, авторском, порядке), инфантилизм (пожизненная невзрослая впечатлительность), ущербность (самочувствие "белой вороны" и как следствие — то жар уничижения, то холод гордыни, порождающие ненормальное честолюбие, жажду обрести вес в собственных глазах и во мнении публики). Примерно такой набор личных качеств и зовется в просторечии литературным талантом. Все прочие особенности характера: широта и мелочность, смелость и робость, ум и глупость, наличие внятного мировоззрения или отсутствие оного, равно как любовь или нелюбовь ко всякого рода экскурсиям, имеют отношение не к писательству как таковому, а к чисто человеческим особенностям того или другого автора, обладателя литературных способностей.

Краеведение и бытописание, цифры и факты — удел принципиально иной отрасли словесности. Сошлюсь на мнение мастера литературного перевода В. П. Голышева: *возникает впечатление, что, когда ты вводишь новый материал, ты что-то для литературы делаешь. На самом деле — ничего подобного. <...> За счет голого материала получается журналистика.*

Писатель из каких-то своих соображений волен разжаловать себя в журналисты, но... Для настоящего журналиста поездка куда бы то ни было — цель, для писателя — средство: встряска собственного *внутреннего* содержания, испытанный способ стронуться с профессиональной мертвой точки. Впрочем, с тем же успехом такими плодотворными потрясениями могут стать смена места службы или местожительства, раз-

© Сергей Гандлевский, 2007

вод, неделя рыбалки или какое-нибудь житейское безобразие. Иными словами, журналист едет за тридевять земель, чтобы описать всякую невидаль, а писатель тайно или явно надеется, что временная перемена образа жизни поможет ему вернуться к его же навязчивой теме, будь то детство, смерть, смысл или бессмыслица бытия и т. п.

Писатель-экскурсовод, в отличие от гида-журналиста, нередко "загораживает" собой достопримечательности, ради которых, вроде бы, он предпринял путешествие, а любознательный читатель, в свой черед, обзавелся книгой. Удивительное дело, но именно эта странность в хорошем писателе и ценится. "Говори, говори, — мысленно просим мы сто́ящего автора, — нас увлекает твой монолог, он нас радует или бесит. Не умолкай, разговаривай. Предмет, занимающий твое внимание, — извержение вулкана или порез при бритье — второстепенен..."

Я, например, в отрочестве прочитав "Фрегат 'Палладу'", уже забыл за давностью лет, какие страны посетил Гончаров, но помню, что классик много брюзжал, на дух не переносил англичан и в совершенно мещанском своем самодурстве пожелал каким-то дальневосточным островитянам маршировать в мундирах европейского покроя вместо того, чтобы ходить в национальных хламидах и писать стихи палочками на табличках. Точь-в-точь по анекдоту о споре военных и гражданских, кто из них умнее, когда военные, торжествуя и как бы закрывая тему, вопрошают: "Раз вы, штатские, такие умные, что ж вы строем не ходите?"

Или другое писательское путешествие — "Путешествие в Арзрум". Наверняка существуют и более обстоятельные и профессиональные описания русско-турецкой войны 1829 года, но у какого исследователя читатель натолкнется на сцену, исполненную такого злодейского юмора? *Увидев меня во фраке, он* (пленный паша. — *С. Г.) спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наровне с властелинами земли и ему поклоняются. <...> Выходя из <...> палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали.*

Столь же необъективны, но хороши и занятны бывают и путешествия писателей во времени — мемуары. Потому что память даже порядочного и бескорыстного автора сама собой сортирует воспоминания по их эстетической пригодности-непригодности с точки зрения общей тональности будущих записок.

Путешествие может стать и личным подвигом писателя, вроде поездки Чехова на Сахалин. Но только прожженый циник-редактор решится поместить отчет о такого рода странствии в рубрику "Писатель путешествует".

И все-таки, многие писатели любили поколесить по свету, а мы с удовольствием и признательностью читаем их путевые очерки. Но, в первую очередь, не для того, чтобы пополнить свои знания о мире новыми сведениями — здесь дотошный и талантливый журналист сумеет не в пример больше, а чтобы еще раз подпасть под симпатичное нам обаяние — побыть в хорошей компании.

Петр Львович Вайль
[р. 1949]. Журналист и писатель. Главный редактор Русской службы *Радио Свобода*. Лауреат премии фонда *Знамя* [1994, 1996], премии имени А. Карельского [1996], *зоИЛ* [1998] и др.

Автор книг *Родная речь* [1990; в соавторстве с А. Генисом], *Гений места* [1999], *Стихи про меня* [2006] и др.
Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Дейв Эггерс
Dave Eggers
[р. 1970]. Американский прозаик, журналист, издатель.

Прославился после выхода своей первой книги – беллетризованной автобиографии *Душераздирающее творение ошеломляющего гения* [*A Heartbreaking Work of Staggering Genius*, 2000; рус. перев. 2007]. Автор романов *Вы познаете нашу скорость* [*You Shall Know Our Velocity*, 2002] и *Что такое что: автобиография Валентино Ачака Денга* [*What Is the What: The Autobiography of Valentino Achak Deng*, 2006], сборника рассказов *Короткие короткие рассказы* [*Short Short Stories*, 2005] и др. Составитель ежегодного альманаха *Лучшее американское необязательное чтение* [*Best American Nonrequired Reading*].
Рассказ *Another* взят из сборника *Как мы чувствуем голод* [*How We Are Hungry*. London: Hamish Hamilton, 2005].

Ласло Краснахоркаи
László Krasznahorkai
[р. 1954]. Венгерский писатель-прозаик. Лауреат премии Аттилы Йожефа [1987], премии Кошута [2004] и международных премий.

Автор романов *Танго сатаны* [*Satantango*, 1985], *И пришел Исаия* [*Megjott Ezsaias*, 1998], *Война и война* [*Haboru es haboru*, 1999], *С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река* [*Eszakrol hegy, Delrol to, Nyugatrol utak, Keletrol folyo*, 2003], сборника рассказов *Меланхолия сопротивления* [*Az ellenallas melankoliaja*, 1989] и др.
Рассказ *В сумрачном лесу* взят из книги *Пленник Урги* [*Az urgai fogoly*. Budapest: Szephalom Konyvmuhely, 1992].

Эван С. Коннел
Evan S. Connell
[р. 1924]. Прозаик и поэт.

Автор романов *Миссис Бридж* [*Mrs. Bridge*, 1959] и *Мистер Бридж* [*Mr. Bridge*, 1969], *Патриот* [*Patriot*, 1960], *Франциско Гойя. Жизнь* [*Francisco Goya: A Life*, 2004] и др., поэтических сборников, биографического исследования *Кастер и маленький толсторог* [*Custer And The Little Bighorn*, 1985], сборника коротких рассказов *Избранное* [*Collected Stories of Evan S. Connel*, 1995].
Рассказ *Lost in Uttar Pradesh* взят из *Harper's Magazine* [December 2005, vol. 311, № 1867].

Влодзимеж Ковалевский
Włodzimierz Kowalewski
[р. 1956]. Польский прозаик, литературный критик, преподаватель польского языка.

Автор сборников рассказов *Четыре рассказа о смерти* [*Cztery opowiadania o śmierci*, 1993], *Возвращение в Брайтенхайде* [*Powrót do Breitenheide*, 1998], *Рассказы давних лет* [*Opowiadania starej daty*, 2003], романов *Да заплачет Бог!* [*Bog zaplacz!* 2000] и *Эксцентрики* [*Excentrycy*, 2007].
Рассказ *Wieczór autorski* взят из сборника *Свет и страх* [*Światlo i lęk*. Warszawa: W.A.B., 2003].

Сьюзен Сонтаг
Susan Sontag
[1933–2004]. Американская писательница, лите-

Автор романов *Поклонник Везувия* [*The Volcano Lover*, 1992; рус. перев. 2004], *В Америке* [*In America*, 2000; рус. перев. 2004], сборников новелл, киносценариев, книг эссе *Против интерпретации* [*Against Interpretation*, 1966],

ратурный и художественный критик, режиссер театра и кино. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе Национальной премии литературных критиков [1978], итальянской премии Малапарте [1992], Национальной книжной премии [2000], Иерусалимской премии [2001], премии *Немецких издателей за вклад в дело мира* [2003], кавалер французского ордена *За заслуги в искусстве и литературе* [1999].

О фотографии [*On Photography*, 1976], *Болезнь как метафора* [*Illness as Metaphor*, 1978; рус. перев. *ИЛ*, 2003, № 8], *Под знаком Сатурна* [*Under the Sign of Saturn*, 1980], *Глядя на боль других* [*Regarding the Pain of Others*, 2003] и др. Эссе и рассказы Сонтаг не раз печатались в *ИЛ* [1992, № 1; 1996, № 4; 1997, № 4; 1999, № 1, 9; 2000, № 2; 2004, № 12; 2007, № 7]; на русском языке вышла книга ее избранной эссеистики *Мысль как страсть* [М., 1997].

Публикуемые эссе *Questions of Travel* и *Waiting for Godot in Sarajevo* взяты из книги *Куда падает ударение* [*Where the Stress Falls*. New York: Picador, 2002].

Лоренс Джордж Даррелл
Lawrence George Durrell
[1912—1990]. Английский писатель и публицист.

Автор романов *Черная книга* [*The Black Book*, 1938], *Белые орлы над Сербией* [*White Eagles Over Serbia*, 1957], цикла *Александрийский квартет*: *Жюстин* [*Justine*, 1957], *Бальтазар* [*Balthasar*, 1958], *Маунтолив* [*Mountolive*, 1958], *Клеа* [*Clea*, 1960], цикла *Авиньонский квинтет* [1974—1985] и др., книг путевых очерков *Горькие лимоны* [*Bitter Lemons*, 1957], *Греческие острова* [*The Greek Islands*, 1978] и др., стихов, драмы *Сапфо* [*Sappho*, 1950]. Старший брат писателя и натуралиста Джеральда Даррелла. В *ИЛ* [2000, № 11, Литературный гид *Лоренс Даррелл, или Путь эксцентрика*] публиковались отрывки из книги *Горькие лимоны* [перев. В. Михайлина], рассказы [перев. А. Ливерганта], стихи [перев. К. Медведева] и письма [перев. В. Михайлина] писателя.

Отрывки из книги путевых очерков *Сицилийская карусель* приводятся по изданию *Sicilian Carousel* [New York: Penguin Books, 1978].

Ян Юзеф Щепанский
Jan Józef Szczepański
[1919—2003]. Польский писатель, эссеист, репортер, киносценарист, переводчик.

Автор сборников рассказов *Сапоги и другие рассказы* [*Buty i inne opowiadania*, 1956], *Мотылек* [*Motyl*, 1962; рус. перев. 1967]; *Рассказы старые и очень старые* [*Opowiadania dawne i dawniejsze*, 1973], *Автограф* [*Autograf*, 1979], *Ultima thule* [1987], *Обеды при свечах* [*Obiady przy świecach*, 2003], сборников эссе *Перед неизвестным трибуналом* [*Przed nieznanym trybunałem*, 1975], *Все мы ищем* [*Wszyscy szukamy*, 1998], репортажей *Залив белых медведей* [*Zatoka białych niedzwiedzi*, 1960], *В рай и обратно* [*Do raju i z powrotem*, 1964; рус. перев. 1967], *Конец вестерна* [*Koniec westernu*, 1971] и др., романов *Польская осень* [*Polska jesień*, 1955], *Икар* [*Ikar*, 1966], *Остров* [*Wyspa*, 1968]. В *ИЛ* печатались его рассказ *За перевалом* [1974, № 7] и эссе *Логика террора* [1999, № 6].

Публикуемый текст *Mayowie* взят из сборника *Наше не наше* [*Nasze nie nasze*. Kraków: Znak, 1984].

Вида Огненович
Vida Ognjenović
Сербская писательница, драматург и режиссер, профессор Академии искусств в Нови Саде. Лауре-

Автор романа *Дом, где царят умершие ароматы* [*Kuca mrtvih mirisa*, 1995], нескольких сборников рассказов и сборников пьес.

Публикуемый текст взят из книги *Путешествие по следам путевых заметок* [*Putovanje u putopis*. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka, 2005].

ат премии *Просвета* [1994], премии имени Иво Андрича [1995], премии имени Бранко Чопича [1996] и премии имени Митрова Любиши за литературное творчество [1999].

Арис Фиоретос
Aris Fioretos
[р. 1960]. Шведский писатель греческо-австрийского происхождения, переводчик, литературовед и публицист.

Автор романов *Stockholm noir* [2000], *Правда о Саше Книше* [*Sanningen om Sascha Knisch*, 2002], сборников эссе *Критический момент* [*Det kritiska ogonblicket*, 1991], *Серая книга* [*Den gra boken*, 1994], *Черепа* [*Skallarna*, 2001] и др. Перевел на шведский язык романы В. Набокова *Пнин* [2000], *Лолита* [2007] и др., эссе Ж. Деррида [1991], стихи Ф. Гёльдерлина [2002] и ряд других произведений немецкой литературы.
Публикуемое эссе приведено по личному вебсайту автора www.arisfioretos.com; оно также входит в готовящуюся к изданию книгу *На ширину стопы* [*Vidden av en fot*], которая выйдет в январе в издательстве Норстедтс.

Видиа С. Найпол
Vidia Surajprasad Naipaul
[р. 1932]. Тринидадский писатель, пишущий на английском языке. Лауреат нескольких литературных премий и Нобелевской премии [2001].

Автор романов *Таинственный массажист* [*The Mystic Masseur*, 1957], *Дом для мистера Бисваса* [*House for Mr. Bisvas*, 1961], *Ненастоящие* [*The Mimic Men*, 1967], *Партизаны* [*Guerillas*, 1974] и др., сборника рассказов и очерков *Улица Мигель* [*Miguel Street*, 1959; рус. перев. *Библиотека "ИЛ"*, 1984], сборника повестей и рассказов *Флаг над островом* [*A Flag on the Island*, 1967]. В *ИЛ* были напечатаны повесть *Флаг над островом* [1981, № 4], главы из романа *Дорога в мир* [1996, № 9], интервью *Невроз обращенных* [2002, № 1], речь по поводу присуждения Нобелевской премии *Два мира* [2002, № 5] и роман *Полужизнь* [2003, № 5].
Текст выступления *Our Universal Civilization* публикуется по изданию *Писатель и мир* [V. S. Naipol. *The Writer and the World*. Random House, 2002, pp. 503–517].

Пол Теру
Paul Theroux
[р. 1941]. Американский прозаик.

Автор романов *Уолдо* [*Waldo*, 1967], *Семейный арсенал* [*The Family Arsenal*, 1976], *Отель "Гонолулу"* [*Hotel Honolulu*, 2001] и др., сборников рассказов, путевых записей и др.
В *ИЛ* были опубликованы рассказ *Уроки поэзии* [1996, № 10], фрагменты книги *Моя другая жизнь* [2000, № 3] и роман *Коулун Тонг* [2002, № 4].
Перевод выполнен по изданию *Все четыре стороны* [*To the Ends of the Earth*. New York: Ivy Books, 1994].

Мишель Деон
Michel Deon
[р. 1919]. Французский писатель, член Французской академии, Командор ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы, обладатель многих литературных премий.

Автор романов *Я забыть не хочу тебя, нет!* [*Je ne veux jamais t'oublier*, 1950], *Люди в ночи* [*Les Gens de la nuit*, 1958], *Дикие пони* [*Les Poneys sauvages*, 1970], *Сиреневое такси* [*Un taxi mauve*, 1973] и др., сборников рассказов *Аромат жасмина* [*Un parfum de jasmin*, 1967], *Цена любви* [*Le Prix de l'amour*, 1992], *Греческие страницы* [*Pages grecques*, 1993], *Французские страницы* [*Pages françaises*, 1999] и др., нескольких пьес и сборников эссе.
Перевод публикуемых эссе выполнен по изданию *Je me suis beaucoup promené...* [Paris: La Table Ronde, 1995].

Сергей Цейтлин
Sergei Tseytlin
[р. 1971]. Англоязычный писатель, поэт, эссеист, выходец из России, живет в Венеции.

Его произведения публиковались в журналах *New York City Venezia* и *Stirred Up*. На итальянском языке вышла его книга *Венецианская тетрадь и другие рассказы* [*Il Taccuino Veneziano e altri racconti*, 2005].
В *ИЛ* напечатан его рассказ *Ханья, Крит* [2007, № 5].
Публикуемое эссе взято из журнала *New York City Venezia* [2005, март/апрель].

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2006].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг и др.

Тобайас Джордж Смоллетт
Tobias George Smollett
[1721–1771]. Английский писатель, поэт, критик, драматург.

Автор романов *Приключения Родрика Рэндома* [*The Adventures of Roderick Random*, 1748], *Приключения Перигрина Пикля* [*The Adventures of Peregrine Pickle*, 1751], *Путешествие Хамфри Клинкера* [*The Expedition of Humphry Clinker*, 1771] и др.
Текст печатается по изданию *Travels Through France and Italy* [Clarendon Press, 1979].

Астольф Де Кюстин
Astolphe de Custine
[1790-1857]. Французский писатель.

Автор романов *Алоис* [*Aloys*, 1829], *Свет как он есть* [*Le Monde comme il est*, 1835], *Этель* [*Ethel*, 1839], *Ромуальд* [*Romuald*, 1848] и книг в жанре путевых заметок *Записки и путешествия* [*Memoires et voyages*, 1830], *Испания при Фердинанде VII* [*L'Espagne sous Ferdinand VII*, 1838] и *Россия в 1839 году* [*Russie en 1839*, 1843; рус. перев. 1996].
Текст печатается по изданию *Memoires et voyages* [Paris: Éditions François Bourin, 1992, где воспроизведено первое издание 1830 г.].

Ханс Кристиан Андерсен
Hans Christian Andersen
[1805–1875]. Датский писатель.

Помимо сборников сказок и историй [1835, 1843–1845, 1847-1848, 1852–1853, 1858–1872] публиковал романы, пьесы, путевые очерки. Среди его произведений – книга *Путешествие пешком от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер* [*Fodreise fra Holmens Canal til Ostpynten af Amager*, 1829], пьеса *Мулат* [*Mulatten*, 1840], роман *Импровизатор* [*Improvisatoren*, 1835; рус. перев. 1844] и др.
Путевые очерки публикуются по изданиям *En Digters Bazar* [Kobenhavn: DSL/Borgen, 2006], *Rejseskitser 1826–1872* [Kobenhavn: DSL/Borgen, 2002], *I Sverrig* [Kobenhavn: DSL/Borgen, 2003].

Льюис Кэрролл [наст. имя Чарльз Латуидж Доджсон]
Lewis Carroll [Charles Lutwidge Dodgson]
[1832–1898]. Английский писатель, философ, про-

Автор ряда математических работ, в том числе *Евклид и его современные соперники* [*Euclid and his Modern Rivals*, 1879], сказочных повестей *Алиса в Стране чудес* [*Alice's Adventures in Wonderland*, 1865; рус. перев. 1967], *Алиса в Зазеркалье* [*Through the Looking-Glass and What Alice Found There*, 1871; рус. перев. 1967], поэмы *Охота на Снарка* [*The Hunting of the Snark*, 1876; рус. перев. 1991], романа *Сильви и Бруно* [*Sylvie and Bruno*, 1889–1893] и др.
Текст публикуется по изданию *Дневник путешествия в Россию и другие записки. Сочинения Льюиса Кэрролла* [*The*

фессор математики Оксфордского университета, один из лучших фотографов XIX века.

Russian Journal and Other Selections from the Works of Lewis Carroll. Dover, 1977].

Екатерина Владимировна Тарасова
Филолог, критик.

Автор ряда публикаций по современной литературе Европы. В *ИЛ* были напечатаны ее рецензии и статьи о творчестве Р. Гари [2001, № 12], И. Бэнкса [2002, № 4], Дж. Барнса [2002, № 7], М. Брэдбери [2002, № 12], Дж. Джойса [2004, № 12; 2007, № 6].

Сергей Маркович Гандлевский
[р. 1952]. Поэт, прозаик. Лауреат нескольких литературных премий.

Автор книг стихов, эссе, прозы, среди которых – избранное *Порядок слов* [2000], роман <*НРЗБ*> [2002], стихи и эссе *Найти охотника* [2002].

Переводчики

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], а также романов П. Теру *Колулун Тонг* [2002, № 4], Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11—12] и др.

Юрий Павлович Гусев
[р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора Дёри [1997].

В его переводах опубликованы романы *Вина* и *Милосердие* Л. Немета, *Старомодная история* М. Сабо, *Градооснователь* и *Соучастник* Д. Конрада, романы *Без судьбы*, *Кадиш по нерожденному ребенку*, *Самоликвидация* и повести *По следам*, *Английский флаг* и *Протокол* И. Кертеса. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны повесть Д. Конрада *Тяжелый день* [1991, № 4], дневники Шандора Мараи [1993, № 12], рассказы М. Корниша [1995, № 3], Л. Дарваши [1997, № 2], роман С. Эрдега *Безымянная могила* [1998, № 5], главы из романа *Гунны в Париже* Д. Ийеша [2003, № 7], стихи Д. Петри [1998, № 10], И. Оравца [2001, № 3], Б. Балашши [2006, № 4] и др.

Елизавета Ильинична Домбаян
Преподаватель, переводчик с английского и французского языков.

В ее переводе публиковались произведения Г. Грина, Г. Пинтера, Дж. Янга, Д. Ноге, Ф. Лина. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны романы Э. Бёрджесса *Железо, ржавое железо* [совместно с А. Пинским, 2004, № 1-3] и Й. Шкворецкого *Два убийства в моей двойной жизни* [2005, № 3], отрывки из книги У. Фергюсона и И. Фергюсона *Как быть канадцем* [2006, № 11].

Марина Дмитриевна Габачова
Переводчик с польского.

Переводила рассказы Е. Сосновского, О. Токарчук. В *ИЛ* в ее переводе печатался материал *Писатели о переводчиках* для рубрики *Carte blanche* [2006, № 8].

Ольга Леонидовна Катречко
Переводчик с польского, преподаватель РГГУ.

В ее переводах опубликованы повести К. Грохоли *Никогда в жизни!*; *Сердце в гипсе*; *Я вам покажу!*; рассказы К. Филиповича, Т. Ружевича, Е. Сосновского, О. Токарчук и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов К. Филиповича [2002, № 4], фрагментов книги О. Токарчук *Дом дневной, дом ночной* [2006, № 6] и рассказ Вл. Ковалевского *Дом Денглера* [2007, № 5].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолиттл* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Дж. Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI-XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Полина Сергеевна Козеренко
Переводчик с польского. Аспирантка филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Наталья Михайловна Вагапова
Литературный и театральный критик, переводчик с сербского, хорватского, словенского и македонского языков, кандидат искусствоведения. Лауреат международной премии имени Юлия Бенешича [1982]. Награждена орденом Авроры Хорватской, учрежденным в честь поэта и философа, гуманиста эпохи Возрождения Марко Марулича [2006].

Автор книг *Формирование реализма в сценическом искусстве Югославии. 20-30 годы XX века* [1983], *БИТЕФ: театр и фестиваль* [1998]. В ее переводе изданы прозаические произведения И. Андрича, В. Петровича, М. Павича, Э. Коша, С. Велмар-Янкович, М. Крлежи, М. Матковича, А. Цесарца, Б. Зупанчича, Ч. Сиярича и пьесы М. Држича, М. Крлежи, М. Матковича, М. Павича, Д. Ковачевича, Г. Стефановского, И. Светины, Г. Челебича. В *ИЛ* печатались ее статьи, а также переводы глав из книги М. Матковича *Американский триптих* [1976, № 5], новелл *Шляпа из рыбьей чешуи* [1997, № 1], *Корсет* [1998, № 4], *Стеклянная улитка* и *Дамаскин* [1999, № 10] М. Павича, романа М. Гаврана *Юдифь* [2003, № 4], глав из книги М. Крлежи *Поездка в Россию* [2004, № 8] и др.

Александр Бердичевский
[р. 1983]. Переводчик со шведского и английского языков, лингвист. В настоящее время живет в Риге.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Виктор Петрович Голышев
[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛлюминатор* [1997], *Малый Букер* [2001] и *Либерти* за перевод [2003].

В его переводе издавались романы *Вся королевская рать* Р. П. Уоррена, *Свет в августе* У. Фолкнера, *Над кукушкиным гнездом* К. Кизи, *Амстердам* И. Макьюэна и др. В *ИЛ* напечатаны романы *Теофил Норт* Т. Уайлдера [1976, № 6-8], *Другие голоса, другие комнаты* Т. Капоте [1993, № 12], *Макулатура* Ч. Буковски [1996, № 1], *Железный бурьян* У. Кеннеди [1996, № 4], *Принц Вест-Эндский* А. Ислера [1997, № 11], *В опасности* Р. Хьюза [2002, № 8]; повести *Большой налет* и *10б тысяч за голову* Д. Хэммета [1988, № 7], *Когда я умирала* У. Фолкнера [1990, № 8], *Мальчишка Педерсенов* У. Гасса [1997, № 2], *Гей, на Запад!* и *Я забыл поехать в Испанию* [2004, № 4] и *Человек, который отказался от имени* [2007, № 5] Дж. Гаррисона, *Огонь в норе* Э. Леонарда [2007, № 1], рассказы Ч. Буковски [1995, № 8], Т. Капоте [2005, № 10] и др.

Елена Юрьевна Леонова
Переводчик с французского.

В ее переводе публиковались произведения Ж. Верна, П. Лоти, Ж. Кесселя, Э. Тевено, С. де Бовуар, М. Юрсенар и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны фрагменты книги Д. де Вильпена *Европеец* и интервью с Марион Мазорик [2006, № 9].

Лев Владимирович Оборин
[р. 1987]. Студент историко-филологического факультета РГГУ. Поэт, переводчик с английского.

В его переводах публиковались произведения Ш. Сильверстайна, О. Нэша, Э. Лира, А. Э. Хаусмана. В *ИЛ* напечатаны в его переводе стихи А. Э. Хаусмана [2006, № 6], рассказ С. Цейтлина *Ханья, Крит* [2007, № 5] и стихи М. Дж. Солтер [2007, № 9].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премии *Литературная мысль* [1997], *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна и Д. Китса, дневники С. Пипса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Вера Аркадьевна Мильчина
Переводчик с французского, историк русско-французских литературных и культурных связей первой половины XIX века. Лауреат премий имени А. Леруа-Больё [1995, в составе редакционного коллектива журнала *Новое литературное обозрение*, и 1997], имени М. Ваксмахера [2000]. Награждена медалью Французской академии и французским орденом Академической пальмовой ветви.

В ее переводе изданы книги О. де Бальзака, Ж. де Сталь, Ш. Нодье, М. Блока, Б. Констана, Жорж Санд и др. Соавтор перевода книг *Замогильные записки* Ф. де Шатобриана и *Россия в 1839 году* А. де Кюстина. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны *Записки Жирафы* [1999, № 8] и *Рассказы здравомыслящего насмешника* [2003, № 4] Ш. Нодье, *Амелия и Жермена* Б. Констана [2002, № 4] и др.

Нора Киямова
Переводчик с английского, датского и норвежского языков.

В ее переводе издавались произведения В. С. Найпола, Х. М. Свенсен, М. А. Хансена, К. Гамсуна, Х. К. Андерсена и др. В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы стихи П. Хейна [1976, № 10; 1984, № 1] и Х. Й. Сандсдалена [1983, № 6], сказки и истории Х. К. Андерсена [2005, № 7], притчи и рассказ Ю. Боргена [2005, № 11].

Нина Михайловна Демурова
Переводчик и литературовед, доктор филологических наук. Автор ряда работ по английской и другим англоязычным литературам.

Переводила романы и рассказы Р. К. Нарайана, Л. Кэрролла [*Алиса в Стране чудес* и *Алиса в Зазеркалье*], Э. По, Г. К. Честертона, Э. Олби, М. Эджворт, Ш. Делани, Дж. М. Барри, Р. Дала, Б. Поттер и др. Неоднократно печаталась в *ИЛ*.

Содержание журнала *Иностранная литература* за 2007 год [1–12]

Специальные номера

Ирландия: преданность неутраченной традиции [6]
Писатель путешествует [12]
Швеция XXI: новые голоса [3]

Романы, повести, рассказы, пьесы

Акройд Питер — *Лондонские сочинители.* Роман. Перевод с английского Инны Стам. Вступление Питера Рэя [7]
Антология современной ирландской новеллы [6]
Антология современной шведской новеллы [3]
Бобен Кристиан — *Эквилибрист.* Новелла. *Автопортрет у радиатора.* Роман-дневник. Перевод с французского и вступление Анны Чупахиной [8]
Болджер Дермот — *Улицы Марты.* Рассказ. Перевод с английского Марии Фаликман [6]
Вебер Анна — *Наведаться к Церберу.* Рассказ. Перевод с немецкого В. Седельника. Вступление Т. Баскаковой [8]
Венгер Алехандро Лейва — *Эликсир.* Рассказ. Перевод со шведского Марии Людковской и Александры Поливановой [3]
Вивег Михал — *Игра на вылет.* Роман. Перевод с чешского Нины Шульгиной. Вступление автора [1]
Вила-Матас Энрике — *Бартлби и компания.* Роман. Перевод с испанского Натальи Богомоловой
Вирдборг Йеркер — *После дня рождения.* Рассказ. Перевод со шведского Марии Людковской [3]
Гаррисон Джим — *Человек который отказался от имени.* Повесть. Перевод с английского В. Голышева [5]
Гуннарсон Ханс — *За стеклом.* Рассказ. Перевод со шведского Александры Афиногеновой [3]
Давидсон Сесилия — *Человек-утка. Несчастный случай. Первый снег.* Рассказы. Переводы со шведского Натальи Банке, Лидии Стародубцевой, Анны Савицкой [3]
Дойл Родди — *Анекдот.* Рассказ. Перевод с английского Ирины Пашаниной [6]
Донливи Дж. П. — *Леди, любившая чистые туалеты.* Повесть. Перевод с английского С. Ильина [4]
Капор Момо — *Зеленое сукно Монтенегро. Повесть о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше.* Перевод с сербского Василия Соколова. Послесловие С. М. Иванова [9]
Карвер Раймонд — *Рассказы.* Переводы с английского Г. Дашевского, А. Нестерова [10]
Кемпе Матс — *Санна.* Рассказ. Перевод со шведского Татьяны Доброницкой [3]

Киган Клэр — *Рябиновая ночь.* Рассказ. Перевод с английского Анны Гениной [6]

Ковалевский Влодзимеж — *Дом Денглера.* Рассказ. Перевод с польского Ольги Катречко [5]

Ковалевский Влодзимеж — *Авторский вечер.* Рассказ. Перевод с польского М. Габачовой и О. Катречко [12]

Коннел Эван С. — *Затерявшийся в Индиях.* Рассказ. Перевод с английского Елизаветы Домбаян [12]

Краснахоркаи Ласло — *В сумрачном лесу.* Рассказ. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева [12]

Леонард Элмор — *Огонь в норе.* Повесть. Перевод с английского В. Голышева [1]

Лутасс Лотта — *Голоса в пространстве.* Роман. Перевод со шведского Нины Федоровой [3]

Макгахерн Джон — *Парашютики.* Рассказ. Перевод с английского Ларисы Беспаловой [6]

Макинтайр Том — *Иная тишина.* Рассказ. Перевод с английского Евгении Тиновицкой [6]

Макканн Колум — *Как называется твоя страна за горой?* Рассказ. Перевод с английского Ирины Пашаниной [6]

Маккейб Патрик — *Помощник мясника.* Роман. Перевод с английского Ольги Дементиевской [6]

Маккейб Юджин — *Небо – рядом.* Рассказ. Перевод с английского Анны Веденичевой [6]

Монтерросо Аугусто — *Черная Овца и другие басни.* Перевод с испанского А. Казачкова [7]

Нурборг Черстин — *Ассизи.* Рассказ. Перевод со шведского Елены Ермалинской [3]

Рамбо Патрик — *Деревенский дурачок.* Роман-вымысел. Перевод с французского Екатерины Кожевниковой [2]

Рихлер Мордехай — *Версия Барни.* Роман. Перевод с английского В. Бошняка. Вступление А. Ливерганта [8—10]

Са Морейра Режис де — *Книжник.* Фрагменты романа. Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич [11]

Серрано Хулио Травьесо — *В Гаване идут дожди.* Роман. Перевод с испанского Маргариты Былинкиной [11]

Стасюк Анджей — *Ночь.* Славяно-германский медицинский трагифарс. Перевод с польского Марины Курганской. *Славяно-германский трагифарс.* Беседа Марцелы Богацкой-Вундлих с Анджеем Стасюком. Перевод с польского Марины Курганской [9]

Титли Алан — *Годо приходит.* Трагикомедия в двух действиях. Перевод с ирландского и вступление Т. Михайловой [6]

Фрил Брайен — *Целитель.* Пьеса. Перевод с английского и послесловие Марка Дадяна. *"Мы слишком одержимы прошлым".* О Брайене Фриле беседуют Майк Мёрфи, Финстан О'Тул, Деклан Киберд и Патрик Мейсон. Перевод с английского Е. Скрылевой [11]

Хемири Юнас Хассен — *На красном глазу.* Роман. Перевод со шведского Оксаны Коваленко [3]

Хольмквист Нинни — *Flower power.* Рассказ. Перевод со шведского Анны Фоменковой [3]

Хэйр Дэвид — *Поцелуй Иуды.* Пьеса. Перевод с английского Сергея Таска [5]

Цейтлин Сергей — *Ханья, Крит.* Рассказ. Перевод с английского Л. Оборина. Вступление Игоря Померанца [5]

Черчилл Кэрил — *Там вдали.* Пьеса. Перевод с английского и вступление Анны Гениной [1]

Эггерс Дейв — *Давай.* Рассказ. Перевод с английского С. Силаковой [12]

Эриксон Ульф — *Цвет неба, цвет надежды.* Рассказ. Перевод со шведского Александры Афиногеновой [3]

Якобсон Ларс — *Внезапная тишина в большом аэропорту.* Рассказ. Перевод со шведского Александры Афиногеновой [3]

Дебют

Карьер Стефан — *Давний спор.* Роман. Перевод с французского и вступление Т. Чугуновой [4]

Версия

Маар Михаэль — *Лолита и немецкий лейтенант.* Перевод с немецкого Е. Ивановой [4]

Лихберг Хайнц фон — *Рассказы.* Перевод с немецкого Е. Ивановой [4]

Сигнальный экземпляр

Кундера Милан — *Жизнь не здесь.* Глава из романа. Вступление автора. Перевод с чешского и послесловие Нины Шульгиной [10]

Стихи

Антология современной ирландской поэзии [6]

Берг Осе — *Стихи.* Перевод со шведского Екатерины Чевкиной [3]

"Вы находитесь здесь". Стихи. Переводы с итальянского Евгения Солоновича, Яны Арьевой. Вступление Евгения Солоновича [3]

Либерт Ежи — *Из трех книг.* Перевод с польского и вступление Бориса Дубина [1]

Малдун Пол — *Стихи.* Перевод с английского Г. Стариковского [6]

Махун Дерек — *Стихи.* Переводы с английского Г. Стариковского, А. Нестерова [6]

Нюберг Фредерик — *Стихи.* Перевод со шведского Галины Палагуты [3]

О'Дрисколл Деннис — *Obiter Poetica: из записной книжки.* Перевод с английского Марии Фаликман [6]

О'Дрисколл Деннис — *Стихи.* Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого [4]

Пикассо Пабло — *Поэтические тексты.* Перевод с французского и вступительная статья Михаила Яснова [10]

Раатгамаа Ларс Микаэль — *Стихи.* Перевод со шведского Галины Палагуты [3]

Рогхеман Виллем М. — *Стихи.* Перевод с нидерландского и вступление Дмитрия Сильвестрова [7]

Тауфер Вено — *"Время когти точит".* Стихи. Перевод со словенского и вступление Григория Кружкова [2]

Хансон Боб — *Стихи.* Перевод со шведского Алексея Прокопьева [3]

Хёгстрём Мартин *Стихи.* Перевод со шведского А. Лисина [3]

Хини Шеймас *Стихи из книги "Пересадка на кольцевую".* Перевод с английского и вступление Г. Кружкова [6]

Эриксон Хелена *Стихи.* Перевод со шведского Екатерины Чевкиной [3]

Другая поэзия. Антология

Бараш Александр *Дан Пагис: Жизнь после смерти* [5]

Завьялов Сергей "*Сожжение всех слов от A до Z*" [8]

Миньо Иван *проза о Даме.* Перевод с французского Сергея Завьялова [8]

Пагис Дан *Стихи.* Перевод с иврита Александра Бараша [5]

Из классики XX века

Йейтс Уильям Батлер *Стихи.* Перевод с английского и вступление Г. Кружкова [6]

Йонсон Уве *Две точки зрения.* Повесть. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Вступление Екатерины Скляровой [2]

Канетти Элиас *Заметки для Мари-Луизы.* Перевод с немецкого Анны Кацуры [4]

Кинселла Томас *Стихи из книги "Дублинские очерки".* Перевод с английского Д. Веденяпина [6]

Макнис Луис *Стихи.* Переводы с английского Г. Стариковского, А. Нестерова [6]

Тувим Юлиан "*Любовь в дожде нараспашку*". Стихи и афоризмы. Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула [11]

Хелман Лиллиан *Джулия.* Повесть. Перевод с английского Л. Беспаловой [2]

Хименес Хуан Рамон *Тишина лучше соловья.* Проза поэта. Перевод с испанского Анатолия Гелескула. Вступление Натальи Малиновской [7]

Литературное наследие

Андерсен Ханс Кристиан *Базар поэта. Путевые заметки 1826–1872 гг. В Швеции.* Главы из книг. Перевод с датского и вступление Норы Киямовой [12]

Гарсиа Лорка Федерико *Небесный балаган.* Перевод с испанского и вступление Анатолия Гелескула [4]

Геррик Роберт *Стихи.* Перевод с английского и вступление Марины Бородицкой [2]

Кэрролл Льюис *Дневник путешествия в Россию в 1867.* Фрагменты книги. Подготовка публикации, перевод с английского и вступление Н. Демуровой [12]

Кюстин Астольф де *Записки и путешествия, или письма из Швейцарии, Калабрии, Англии и Шотландии, где автор побывал в различные эпохи своей жизни.* Главы из книги. Перевод с французского и вступление Веры Мильчиной

Ницше Фридрих *"Я не человек, а судьба".* Письма 1887—1889 годов. Перевод с немецкого и вступление Игоря Эбаноидзе [1]

"Но я не изменял твоей душе, Кинара". Поэты английского декаданса. Перевод и вступительная статья Григория Кружкова [4]

Смоллетт Т. Дж. *Путешествие по Франции и Италии.* Фрагмент книги. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта [12]

К 100-летию со дня рождения

Вильгельм Вениаминович Левик [1]

Бородицкая Марина *Картинки из "зеленой гостиной"* [1]

Кружков Григорий *Один из всех* [1]

Литературный гид

Роберт Вальзер [7]

[*Автобиография. 1929? г.*]. Перевод с немецкого Т. Баскаковой [7]

Аман Юрг *В поисках блудного сына.* Эскизы к портрету Роберта Вальзера. Перевод с немецкого А. Егоршева [7]

Аман Юрг *Помешательство, или Внезапное молчание Роберта Вальзера.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого В. Седельника [7]

Беньямин Вальтер *Роберт Вальзер.* Перевод с немецкого Т. Баскаковой [7]

Вальзер Роберт *Малая проза и драмолетты.* Переводы с немецкого О. Козонковой, В. Седельника, А. Егоршева, Т. Баскаковой [7]

Вила-Матас Энрике *Здесь плачет сама проза.* Перевод с испанского Бориса Дубина [7]

Гасс Уильям Хауард *Роберт Вальзер.* Перевод с английского Бориса Дубина [7]

Дубин Борис *"Дух мелочей": воздушные изваяния Роберта Вальзера* [7]

Зеелиг Карл *Прогулки с Робертом Вальзером.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого В. Седельника [7]

Йегги Флёр *Ode.* Статья. Перевод с итальянского Ольги Сакун [7]

Музиль Роберт *Литературная хроника (июнь 1914).* Рецензия на "Истории" Роберта Вальзера. Перевод с немецкого А. Белобратова [7]

Паулс Алан *Меньше нуля.* Перевод с испанского Бориса Дубина [7]

Робер Марта *Прощание с романом.* Перевод с французского Бориса Дубина [7]

Сонтаг Сьюзен *Голос Вальзера.* Перевод с английского Бориса Дубина [7]

Хроника жизни Роберта Вальзера. Составил А. Егоршев [7]

Документальная проза

Ковелер Дидье ван *Клонировать Христа?* Перевод с французского Дмитрия Баюка [10]

Макгахерн Джон *О прошлом.* Фрагменты книги. Перевод с английского Юлии Муравьевой [6]

Спарк Мюриэл *Curriculum vitae.* Автобиографические заметки. Перевод с английского Светланы Силаковой [4]

Из будущей книги

Современная американская поэзия. Антология. Переводы с английского. Вступление Евгения Бунимовича [9]

Демурова Нина — *Беседы о Льюисе Кэрролле.* Фрагменты книги "Картинки и разговоры" [1]

Национальные предрассудки. Перевод с английского Т. Казавчинской, А. Ливерганта. Вступление А. Ливерганта [8]

Дискуссия

"Россия слышит, как поет Америка..." Конференция в Дартмуте [10]

Венедиктова Татьяна — *Путешествие Эмили Дикинсон из Америки в Россию* [10]

Лосев Лев — *Вступительное слово* [10]

Нестеров Антон — *Одиссей и сирены: Американская поэзия в России второй половины XX века* [10]

Шерр Барри — *Языковые игры орлов: Уитмен в переводах Чуковского и Бальмонта.* Перевод с английского С. Нещеретова [10]

Статьи, эссе

Вайль Петр — *Слово в пути* [12]

Гандлевский Сергей — *Писатель и километраж* [12]

Давенпорт Гай — *Три эссе.* Переводы с английского Анастасии Власовой, Дмитрия Воеводы [11]

Даррелл Лоренс — *Сицилийская карусель.* Фрагмент книги. Перевод С. Силаковой [12]

Деон Мишель — *Из книги "Я пространствовал немало...".* Эссе разных лет. Перевод с французского Е. Леоновой [12]

Клех Игорь — *Вокруг да около Шульца* [9]

Найпол В. С. — *Наша универсальная цивилизация.* Выступление в Нью-Йоркском манхеттенском институте. Перевод с английского В. Голышева [12]

Огненович Вида — *Путешествие по Норвегии с Исидорой Секулич.* Эссе. Перевод с сербского и вступление Н. Вагаповой [12]

Перротет Тони — *Семя Геракла.* Перевод с английского В. Голышева [10]

Персон Мальте — *Современная шведская литература: научно-фантастическое эссе.* Перевод со шведского Елены Серебро [3]

Сёдерблум Стаффан — *Заметки о новой шведской литературе.* Перевод со шведского Марии Людковской и Александры Поливановой [3]

Смирнов Илья — *Об одном стихотворении Ли Бо* [2]

Сонтаг Сьюзен — *К вопросу о путешествиях.* Эссе. Перевод с английского А. Нестерова [12]

Сонтаг Сьюзен — *Ожидание Годо в Сараеве.* Эссе. Перевод с английского В. Голышева [12]

Теру Пол — *Все четыре стороны.* Эссе. Перевод с английского С. Силаковой [12]

Титли Алан — *Уроки русского.* Перевод с английского О. Каркищенко [6]

Трэверс Памела — *Главное – соединять.* Перевод с английского Е. Скрылевой [6]

Уайнбергер Элиот — *Следы кармы.* Перевод с английского и вступление Аркадия Драгомощенко [1]

Фиоретос Арис — *Строчки из России.* Перевод со шведского Александра Бердичевского [12]

Хини Шеймас — *Три эссе.* Переводы с английского Г. Кружкова, Г. Стариковского [6]

Хлебников Борис — *Феномен Грасса* [1]

Хорев В. — *Станислав Игнаций Виткевич на русском языке* [10]

Цейтлин Сергей — *Между благоговением и привычкой.* Эссе. Перевод с английского Льва Оборина [12]

Щепанский Ян Юзеф — *Майя.* Из книги "Наше не наше". Перевод с польского Полины Козеренко [12]

Круглый стол

"Классик, современный классик, культовый автор, модный писатель..." [5]

Ничего смешного

Карсон Кирен — *Выгодная сделка.* Рассказ. Перевод с английского Марии Фаликман [6]

Уайт Бейли — *Мама делает выбор, или Какие опасности подстерегают вас на Юге.* Главы из книги. Перевод с английского и вступление Юлии Степаненко [7]

Эдельфельдт Ингер — *Самка обретает себя.* Комиксы. Перевод со шведского Анны Зайцевой [3]

Трибуна переводчика

Кружков Григорий — *Хроники вавилонского разделения* [11]

Наши гости

"Китаби Деде Горгут" – фантазия на тему [4]

Интервью

Вчитываясь в будущее. Беседы с Джоном Бэнвиллом, Джоном Макгахерном, Шеймасом Хини, Уильямом Тревором. Перевод с английского Е. Скрылевой [6]

Carte blanche

Барнс Джулиан — *Педант на кухне.* Перевод с английского Веры Пророковой [2]

Бородицкая Марина — *Горсть мелочи, или Записки из автобуса* [12]

Харитонов Марк — *Другая жизнь* [9]

Путешествие по книге

Венедиктова Татьяна — *О происхождении лиц "кавказской национальности"* [11]

Письма из-за рубежа

Гейзель Зиглинде — *"Танцевать в цепях: переводчики–музыканты–актеры в поисках своего текста".* Переводческая конференция в "Литературном коллоквиуме Берлина". Перевод с немецкого Т. Баскаковой [4]

Лестер Анастасия — *О литературных премиях 2006 года во Франции* [5]

Ливергант Александр *Дружба народов* [11]
Староселъская Ксения *Письмо из Гданьска* [9]
Ямпольская Анна *Русская неделя в Италии. Заболеть Россией, влюбиться в Рим...* [5]

Среди книг

Богомолов Николай *Первая книга новой серии* [1]
Боярская Анна *Неизвестная чешская поэзия* [8]
Ванханен Наталья *Всегда поэзия* [5]
Визель Михаил *Чистое искусство* [2]
Гирин Юрий *Книга о конкисте* [5]
Дементьева Ирина, Цукерман Зиновий *Немцы – не немцы* [11]
Коровин А. В. *Сотни душ пошли за мной...* [2]
Коровин А. В. *"Удивительнейшая сказка – это сама человеческая жизнь"* [2]
Костюков Леонид *Слышно хорошо* [7]
Мельников Николай *Несовершенное творение, или Стрельба дуплетом* [1]
Полубояринова Л. *Мастер-класс Н. С. Павловой* [9]
Скороденко В. *Исследователь, просветитель, наставник* [10]
Тарасова Екатерина *Русский Джойс – исторические факты и личные переживания* [6]
Тарасова Екатерина *Тропами Брюса Чатвина* [12]
Цукерман Зиновий. См. Дементьева Ирина [11]

БиблиофИЛ

Издательские планы. Панорама современной немецкоязычной прозы под знаком Гёте. С Г. М. Косарик беседует Светлана Силакова [1]
Издательские планы. С Дмитрием Волчеком, главным редактором издательства "Kolonna publications" беседует С. Силакова [11]
ИЛ рекомендует. На книжных прилавках 2007 года. Выбор главного редактора [2]
У книжной витрины с Константином Мильчиным [1, 5, 9, 10, 11]

Библиография

Ирландская литература на страницах "ИЛ" 1995–2006 [6]
Шведская литература на страницах "ИЛ" 1956–2006 [3]
Шведская литература в России. Книжные издания 1994–2006 годов. Составила Александра Поливанова [3]

Новый сеанс обратной связи. Обзор писем на читательскую анкету, опубликованную в 2006 году, № 12 [9]

Авторы номера [1—12]

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RNet в ЦАО

- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Джима Ната [р. 1938] *Гадкая дама* [1970].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко.
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова.
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая) Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.11.2007
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2787.
Тираж 7250 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

Поздравляем нашего постоянного автора

Евгения Михайловича Солоновича

с высокой наградой – присуждением звания
ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА Сиенского университета.

---

[1] 2008

СЭР АРТУР КОНАН ДОЙЛ: ДЭНИЕЛ СТАШАУЭР О ЖИЗНИ АРТУРА КОНАН ДОЙЛА В РУБРИКЕ "БИОГРАФИЯ" / ПОВЕСТЬ "ДОЛИНА СТРАХА", РАССКАЗЫ, СТИХИ И АВТОПАРОДИИ АРТУРА КОНАН ДОЙЛА В РУБРИКЕ "СОЧИНЕНИЯ" / ГРАНТ АЛЛЕН И РИЧАРД ОСТИН ФРИМЕН В РУБРИКЕ "ВИКТОРИАНСКИЕ ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ" / СТАТЬИ РОБЕРТА АНДЕРСОНА, МАЙКЛА ЧЕЙБОНА И ДР. В РУБРИКЕ "КОНАН ДОЙЛ И ШЕРЛОК ХОЛМС"

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2007, №12, 1-288

ИНДЕКС 70394